

ISSN 0130-7673

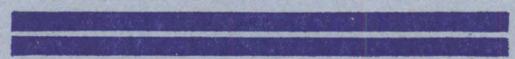
НОВОБЫИ
МИР

|| 2 ||

НОВОБЫИ МИР

|| 1985 ||

2



1985



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 2

Февраль, 1985 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

| | Стр. |
|--|------|
| НИКОЛАЙ ДОРИЗО — Из тетради военных лет, стихи | 3 |
| МИХАИЛ БОРИСОВ — Земля моя, стихи | 6 |
| ГЕОРГИЙ ТРИФОНОВ — Граница, стихи | 8 |
| НОЙ РУДОЙ — Стихи | 10 |
| С. ЕСИН — Имитатор. Записки честолюбивого человека | 11 |
| ФЕДОР СУХОВ — Стихи | 79 |
| ЮРИЙ БОНДАРЕВ — Игра, роман. Окончание | 80 |
| ФЕЛИКС ЧУЕВ — Стихи | 156 |
| УИЛЬЯМ СТАЙРОН — И поджег этот дом, роман. Продолжение. Перевел с английского В. Гольцшев | 158 |

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| ЦЕЗАРЬ СОЛОДАРЬ — И вечный бой... | 207 |
|-----------------------------------|-----|

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

| | |
|---------------------------|-----|
| С. АПТ — Черным по белому | 223 |
|---------------------------|-----|

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|---|-----|
| ЮРИЙ ЛОТМАН — Биография — живое лицо | 228 |
| В. КАМЯНОВ — В строке и за строкой. К 125-летию со дня рождения А. П. Чехова | 237 |

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

| | |
|---------------------------------|-----|
| <i>Литература и искусство</i> | 254 |
| Д. Чернис. Время диктует поэту. | |
| В. Адмони. Роман испытания. | |

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

| | Стр. |
|---|------|
| <i>Политика и наука</i> | 259 |
| В. Казаков. У истоков Вооруженных Сил. К 100-летию со дня рождения М. В. Фрунзе. | |
| Владимир Ситников. «Парадоксы» хозяйствования. | |
| ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ | |
| ЭРНСТ ГЕНРИ — В масштабах всей планеты | 265 |
| КОРОТКО О КНИГАХ: | |
| А. Ф я и м о н о в. — Николай Полотай. Черноморская Мадонна. Севастопольские новеллы. ✦ | |
| А н д р е й В а с и л е в с к и й. — С. Шервинский. Стихи разных лет. ✦ | |
| Н. Ч е г о д а р ь. — А. И. Мамонов. Пушкин в Японии. ✦ | |
| Э д г а р Ч е п о р о в. — Борис Асоян. «Дикie гуси» убивают на рассвете. ✦ | |
| И. К о н д а к о в. — В. Ф. Асмус. Историко-философские этюды. ✦ | |
| К о н с т а н т и н К е д р о в. — Д. С. Лихачев, А. М. Панченко, Н. В. Понырко. Смех в Древней Руси | 267 |
| КНИЖНЫЕ НОВИНКИ | 272 |

НИКОЛАЙ ДОРИЗО



ИЗ ТЕТРАДИ ВОЕННЫХ ЛЕТ

Солдатское письмо

Моя любовь, моя надежда,
К тебе отсюда не дойти
Ни по шоссе из Будапешта
И ни по Млечному Пути.
Разлука вечной мне казалась.
Но только вдруг с ночных небес
Как бы в ответ звезда сорвалась,
Упала вдаль, за черный лес.
И почему-то легче стало
Идти по улицам чужим...
Как будто сердце с ней упало
В полынный край к ногам твоим.

1945.

Баллада о солдатской могиле

Казачка мать,
Она в степи донской
О сыне павшем
Плачет день-деньской.
Ей из письма
Известно об одном —
Что сын погиб
В сраженье
За Днепром.
Но где лежит он,
Средь каких полей,
Как отыскать
Могилу сына ей,
Чтобы щекой
Коснуться жарких трав,
К груди холма

Забытого припав?
Кабы ей знать,
Кабы ей только знать,
Что за Днепром
Далеким
Чья-то мать,
Сыночка потерявшая
В бою,
К тому холму
Несет печаль свою.
Сидит и плачет
У прибрежных ив,
Тот
 безымянный
 холм
Усыновив.

1945.

..*

Сколько пронизанных пулями ветров,
Сколько разорванных взрывами далей,
Сколько у нас за спиной километров,
А на груди городов,
Отчеканенных в бронзе медалей.

Казалось, мы стали суровы и грубы,
 Просторы войны наши души заполнили.
 Вернулись. Поймали мы девичьи губы
 Своими губами. И поняли:
 Молодость с нами.
 Мы лучше, чем были.
 Значит, разлучены с родиной далями,
 Нежность мальчишечью мы сохранили
 Под боевыми медалями.
 Мы были солдатами.
 Так было надо.
 Но только война не была нам профессией.
 В едком дыму и в огне бесноватом
 Мы не расстались с поэзией.
 Помнится снежная полночь. Блиндаж.
 Солдат, замороженный ясностью месяца.
 Рука на шинели выводит сложнейший пассаж.
 В глазах его музыка светится.
 Там в огрубевших он пальцах берег
 Трепет рапсодий, нежнейшие звуки.
 В них не иссяк вдохновения ток...
 Вот что такое солдатские руки.
 Пришли мы, нас обняли мирные ветры,
 Вернулись, встречают нас тихие дали.
 Сколько у нас за спиной километров,
 А на груди городов.
 Отчеканенных в бронзе медалей.
 1945.

Стихи о победе

| | |
|---|--|
| Победа! Она нас в атаки бросала, Покоя лишала И сон отгоняла, И воздуха нам без нее Не хватало. О ней мы мечтали, В сраженья идя. Мы ждали ее У кавказских предгорий Сердцами, сухими От жгучего горя, Как в засуху степь Ожидает дождя. Победа! Она к нам хозяйкой Явилась. Счастливой слезой По щеке прокатилась. И грянула песней, И в сердце забилась, И сделала воду простую Хмельной. | Вчерашнее горе Уже не тревожит. Сегодня любой Незнакомый прохожий, Как сын или брат, Мне до боли родной. Исчезнут навеки Разлуки. лишенья, Окопы, раненья, И запах сраженья, И голос сирены, И тьма затемненья. Мы новые песни Возьмемся слагать. Да здоровствует свет В кварталах Ростова, Да здоровствует матери Нежное слово, Да здоровствует Родина-мать! |
|---|--|

Май, 1945.

Предчувствие

Моя вы!
 Мною не написанная,
 Не спетая ни разу мной,
 Моими мыслями пронизанная,
 Как роща в яркий свет дневной.

Видна отчетливо до листика,
Конечно, та! Лишь только та!
Так кто ж вы — муза или мистика,
Прозренье или слепота?
И я, который с трудной святостью
Не выпускал слова из рук,
С какой-то жаркой виноватостью
Своей женой зову вас вдруг.
Вас, удивительно случайную,
Мной не целованную, вас.
И перед божьей этой тайною
Не поднимаю робко глаз.
Вас, всю мне душу всколыхнувшую
И обновившую меня,
Вас, пусть мелькнувшую, блеснувшую,
Приму за свет большого дня.
И хоть не рассказать словами
О всех бессонницах моих,
Боюсь окончить этот стих,
Чтоб в мыслях не расстаться с вами.
Виденье юности моей,
Вы — лишь предчувствие. И все же
Предчувствие любви, быть может,
В сто крат самой любви сильней.

1941.

МИХАИЛ БОРИСОВ,
Герой Советского Союза

★

ЗЕМЛЯ МОЯ

* * *

Мы под обугленным селом,
Чумазые, как черти,
Не первый день в снегу живем
За сто шагов от смерти.
За сто берет и автомат,
Кучней ложатся мины,
Но пострашнее для ребят
Мороз, что дубит спины.
Шинель — не зимнее пальто,
И пахнут дни не щами,
И кашу в термосах
И то
Подносят к нам ночами.
Нас в три погибели свело
Лежанье это наше...

Мы рвемся в бой.
Зовет село
Теплом своим — Лебяжье.

Прикрой меня!

Александр Николаеву.

Мне истребители — родня,
Я их люблю
И понимаю.
С окопных лет еще, считаю,
Осталось это у меня
...Вот «Миги» рубят синеву
Над раскаленным Сталинградом,
Тянусь к ребятам
Жарким взглядом,
Их греволненьями живу.
У истребителя закон:
Пусть самого
Противник срежет,
Всегда товарища поддержит
Огнем и крылышками он.

Признаться, не было ни дня,
Когда бы я,
Как после взлета,
Не прикрывал и сам кого-то
И не просил:
— Прикрой меня!

Земля моя

С тобой мы вышли из огня,
Из суховея,
Земля моя,
Ты для меня
Всех звезд роднее.
Разлукой, вечною для нас,
Могильным хладом
Меня и в мой последний час
Пугать не надо.
У мирозданья на виду
Восстав из тлена,
Я снова мысленно пройду
Круги вселенной.
Пройду,
Придется — пропылю
И слово в слово
Про близость кровную твою
Скажу все снова.
А если где-нибудь найду
Прекрасней дали,
То и тогда
Спрошу:
— Звезду
Светлей вы знали?..

ГЕОРГИЙ ТРИФОНОВ



ГРАНИЦА

...И за кордон, верна добру и свету,
Лавина войск рванулась напролом.
Мы здесь, поодаль, делаем газету,
В пустой корчме,
Под орудийный гром.
Верстаем номер празднично и броско:
«Очищен край от нечисти тупой»...
И дом, и сад, и малая березка —
Все, что осталось, радуйся и пой.
Земля. Граница. Полосатый столбик.
В литых колосьях герб СССР.
Как ни пиши, не воссоздать их облик,
Явивших в смерти мужества пример,
Тех, кто сраженье в сорок первом принял,
Когда вломился черных танков клин,
И кто героем пал в атаке ныне
В земле немецкой, на пути в Берлин.
Верстаем номер: «Перешли границу»...
Легко ли видеть мертвые дома?
Но в первый оттиск, в свежую страницу
Приходит к нам история сама.
Она в бою великой правдой дышит.
И маршал перед ней — как рядовой...
Я знаю. нет в народе званья выше,
Чем победитель павший иль живой.

Берез зеленые косынки.
Лесной обыденный пейзаж.
И дятел, словно на машинке,
Строчит весенний репортаж.

Хлопочут девушки в пилотках.
Станок печатает листы.
И видишь в паузах коротких
Мир безыскусной красоты,

Где нет походных типографий,
Ночами пламень не горит
И только солнца мирный график
Над всей природою царит.



НОЙ РУДОЙ

★

.

Нет на войне нетронутых лесов,
Снаряды — не старательные пилы,
И пней кровоточащие распилы
Зияют вместо сосен и дубов.

Нет пашен, не изведавших войны.
Поля обезображены, изрыты,
И братскими могилами покрыты,
И кровью сыновей обагрены.

Не тронутых железом и огнем
Нет городов, селений и поселков —
Без свиста пуль, шипения осколков
И плача неутешного кругом...

Тебя средь ночи мой пугает крик,
Ты в ужасе меня, родная, будишь.
Век проживи — такое не забудешь,
А сорок лет для памяти — что миг.

.

О чем он думает, войной
Навек приговоренный к мраку?
Что видит — дым пороховой,
Свою последнюю атаку?
Чтобы смотреть, нужны глаза,
Но видеть может и незрячий...
Из-под ресниц его слеза
Не вспыхнет каплею горячей.
И дрожь его не тронет губ,
Он боль свою не выдаст плачем.
...А видит он такую глубь,
Какая и не снилась зрячим.

С. ЕСИН



ИМИТАТОР

Записки честолюбивого человека

Глава I

Я! Семираев, никогда не позволю себе опаздывать на работу. Без трех минут девять я уже в кабинете. Три минуты нужно, чтобы включить селектор, как следует усесться в кресло, повесить пиджак на спинку: демократизм в одежде — веяние времени, а стиль у меня простецкий, эдакий рубаха-парень — чуть раскидать бумаги в рабочем беспорядке, расположить так, будто со вчерашнего дня я не покидал своего трудового места, и оглядеться вокруг.

Я люблю свой кабинет. Не так-то просто было организовать экспозицию в музее таким образом, чтобы под кабинет ушла знаменитая графская спальня. Больше вроде и негде оказалось устроить директору кабинет. Ну ничего, это меня не смущает — все же лучшая комната во дворце. В конце концов, оба мы в своем роде аристократы.

Впрочем, иногда на портрете графа работы Левицкого, висящем напротив моего стола, я ловлю обозленный взгляд бывшего хозяина. Обычно это случается зимой, под вечер. Из трех полукруглых, до пола окон льется жемчужный свет. Вдали за чуть подмороженным стеклом видны парк с деревянными саркофагами, закрывающими нежную мраморную скульптуру, дальний пруд, угадываемый по чернеющим ветлам, и совсем далеко — тоненькая ниточка пригородной электрички. Перед самым окном на снегу прыгают вороны. И вот часов около четырех через крепкие зимние туманы вдруг прорывается солнце, обнажает заструги на сугробах и бьет дальше, через террасы, прямо в бывшую спальню. Тут мне кажется, что меняется куртуазная улыбка знаменитого авантюриста и кавалера. Чуть женственный в обрамлении пудренных локонов парика, рассыпавшихся по воротнику зеленого преображенского мундира, — чуть женственный подбородок начинает дрожать. Граф жестко сводит губы, брови у него ломаются. И я жду: разожмется вся в перстнях крепкая мужицкая рука, в которой просвещенный граф держит томик Вольтера? «Вон, — командирским тоном крикнет граф, — вон, холоп!» — и барской ручкой, оглаживавшей гривы знаменитых скакунов и ножки парижских танцовщиц, грозно укажет мне на дверь. Наяву в эти минуты мне снится, как я бегу, подхлестываемый голосом крепостника, сквозь анфиладу по-зимнему пустынных комнат и вслед, вдогонку жестокой неотвратимостью наказания летит скабрзный томик Вольтера и графский башмак. О, как бьется сердце! Я мчусь со всех ног и знаю, что сейчас откроются стеклянные двери низковатого вестибюля и простоволосый, в домашнем пиджачке, в валенках деревенский мальчишка — каким я приехал искать счастье в Москву — вылетит в снег, в сугробы. И тут же, краснорожая и подобострастная, всегда готовая выполнить несправедливую барскую волю, наваливается дворня. И бьют, бьют...

Бьют английские башенные часы за стеной в приемной, и я просыпаюсь.

Но нет! Граф по-прежнему висит на пеньковых шнурах напротив моего стола, и, уже привыкший к его зимним выходкам в эти часы ветреного заката, я поднимаюсь из-за стола, становлюсь напротив хозяйского портрета и говорю:

— В вашем почтенном возрасте, ваше сиятельство, не следует совершать лишних движений. И гневаться не следует. Ведите себя спокойнее, граф. Будьте сдержаннее, коли уж так бесславно сдали историческую площадку. Прошлое — ваше, но в исторической перспективе — я! Висите спокойно, миленький, иначе отправлю в совсем не комфортабельный запасник — у вас прежде была там людская или каретный сарай? — висите и не рыпайтесь, не тревожьте моей крепкой психики, иначе я покажу вам историческую справедливость во всей ее грубой и непреложной простоте.

Для своего кабинета я подобрал подходящие сюжеты: злейших врагов надо держать на виду, поблизости, чтобы был стимул жить!

Слева от хозяина, на той же стене — Илья Ефимович Репин. Этот сухорукий баловень судьбы представляет мне одного из великих князей. Длинное, как у лошади, не улыбающееся дегенеративное лицо, слюнявый рот, расплывчатые, белесые, еле прописанные глаза — умел пригвоздить старик. Умел польстить, глумясь над натурой. Как вылизано шитье, петельки на придворном сюртуке, разводы муара по голубой ленте. Ничего не поделаешь — шедевр! Великий князь, говорят, был личным другом одного из последних владельцев дворца. За это и сподобился много лет назад попасть в наш запасник. Правда, позже было мнение передать портрет в Третьяковку или в Русский музей. Ну уж дудки — мы не можем разбазаривать фонды своей коллекции. Этот инвентарный номер принадлежал графской канцелярии... Дудки! Еще догадываются некоторые умники выставить потом в экспозиции. Да обожрается ему, что ли, блаженному сухорукому старику, посмертной славой? Сколько можно! Пускай повисит у меня. И комната подходящая, и стенка не слишком уж светлая. Да и директору в таком соседстве репрезентативнее. Целее будет портретик. Искусство, знаете ли, принадлежит народу, а я его кровинушка, его плоть, его шустрый гений.

Остальные картины в комнате уж так, мелочовка, правда, все XVIII век, портреты, портретцы из усадеб, дамы в капорах и робронах, мужчины при лентах и в мундирах, но под самым потолком кабинета висит темненькое полотнышко — «Муза увенчивает художника». Кипарисики, луна, молоденький художник и муза с лавровым атрибутом и жеманным, похотливым выражением лица. Выбрала, дескать, и увенчала. А я, глядя на это полотнышко, все время размышляю: неплох счастливцев и хороша демократка, но кто же устраивал паблисити юному гению? Кто шепнул в розовое ушко беспристрастной любительнице прекрасного о существовании скромного жреца? Сама узнала? Ах, оставьте эти шуточки! Небось эту искусствоведку художник закормил диким медом, либо папа-рабовладелец прислал ей перед церемонией освежеванного бычка. Слава художника была в его руках. В назидание мне как постоянное напоминание о скрытых рычагах искусства и висит старенькая золоченая картинка. Помни, художник!

Моя гордость в кабинете — письменный стол. В первые дни, когда стол привезли из реставрации, меня охватывал некий мистический ужас. Стол не признавал человека. Он управлял им, он вел. Я все время боялся, что кто-нибудь без стука зайдет в кабинет, потому что стол заставлял принимать позы, держать спину прямо, делать величественные жесты. Я смирял стол, как норовистую лошадь, как молодого мустанга. Сначала я боялся всего: огромной столешницы, крытой синим сукном, бронзового литого бордюрика, обегавшего сукно

с трех сторон, единственного выдвижного ящика в центре. Я не знал, как за ним сидеть, потому что он выставлял меня голеньким: у стола не было ни спасительных тумб, фланкирующих человека со сторон, ни передней доски, прикрывающей низ туловища и ноги от посетитель. Лишь четыре лакированные ножки да бильярдное поле сверху. За этим дивной красоты и работы столом надо было сидеть в л о с и н а х! Я это понял потом. Но разве когда-нибудь я отступал? Разве человек исчерпаем в своей воле?

Отступить было некуда, мы начали привыкать друг к другу, и я понял, что становлюсь величественным. То, чего мне не хватало всю жизнь. Я будто вырос, я будто позабыл, как иногда на меня смотрят художники, мои собратья по цеху, коллеги, я будто перешагнул некий порог, за которым оставил постоянный страх разоблачения. Но, может быть, и время мне помогло — ведь справедлив же закон диалектики о переходе количества в качество — сотни картин и портретов, которые я написал, которые ругали мои завистливые собратья, но хвалила пресса, о которых выходили монографии, сотни этих работ как бы отчуждали от меня мое имя, сделали его плавающим в эфире, самостоятельным, и мне надо было дотянуться до собственного имени, жить, ходить и двигаться, как повелевало оно.

Но я не распространял тайну стола, я молчал, и в тяжелые минуты стол давал мне импульс. И разве можно было выдать эту тайну, сказать кому-нибудь, что за этим столом, по преданию, какой-то царь, какой-то российский император, находясь в гостях в графском дворце, то ли подписал манифест об освобождении крестьян, то ли читал проект этого манифеста, то ли подписал что-то другое! Но сидел, но читал, но подписывал! А здесь, конечно, не пиетет перед елочной мишурой монархии, а то совпадение судьбы, которое дает силы человеку: ведь за столом решались реальные, имеющие долговременное действие проблемы, так, может быть, и мне наперекор всему судьба подарит возможность оставить свое имя в будущем, сохранит мои картины. Хоть как-нибудь, боком припишет меня к истории. И потому, когда мне трудно, когда события подпирают, когда трещит семья моя и дом, я опираюсь руками о синее сукно и подмаргиваю хозяину графу. Спокойнее, спокойнее, Семираев. А разве ты так мало уже достиг?

...Без одной минуты девять. Как отъезжающий в поезде, я неотрывно гляжу на стрелки часов. Сейчас они в последний раз дрогнут: часовая окончательно утвердится на цифре «девять», а минутная захватит «двенадцать». Настает секунда моего морального торжества. Минутного торжества, но мне достаточно и его. Я нажимаю кнопку селектора, и где-то в глубине дворцового здания начинает выть зуммер вызова и потом, как всегда, раздается голос старшего хранителя Юлии Борисовны:

— Юрий Алексеевич, я вас слушаю.

— Доброе утро, Юлия Борисовна.

Одна задача уже выполнена: директор на месте, директор бдит, директор неутомим, для него не существует перемен погоды, тяжелых зимних рассветов, самочувствия, семейных обстоятельств — директор в кабинете, по его утреннему звонку можно проверять часы. Такая легенда живет в музее. Я поддерживаю ее, лелею и развиваю. Иногда вечерами, когда цепочкой через зимний парк в седьмом часу служащие торопятся на автобус или к вечерней электричке, которая через десять минут подвезет их к привокзальному метро, они часто могут наблюдать, как в трех полукруглых окнах первого этажа полыхает свет. Оставаясь в здании один, я не закрываю тяжелых занавесей на окнах. Расходясь домой, служащие видят: директор, склонившись над столом, подписывает бумаги.

Зато день — мой. Правда, и днем, вернее утром, советуясь с хранителем, заведующими музейными отделами, хозяйственниками, я как

бы между прочим, как бы проговариваясь, иногда планирую про себя: «В половине двенадцатого надо быть в министерстве, потом поеду на закупочную комиссию, в четыре свидание с приезжим коллекционером, который хочет предложить музею что-то неожиданное, в половине шестого я вернусь — ах, какой плотный день, думают мои сотрудники! — минут двадцать буду подписывать банковские поручения главному, он к тому времени подготовит документы, потому что послезавтра зарплата, а часиков с половины седьмого до восьми мы могли бы с вами хорошо и душевно посидеть, а?» И тут же, будто только вспомнив, что у всех семьи, магазины, свои заботы, опять как бы про себя говорю: «Ах нет. Вам надо идти домой, кормить домашних, а у меня? У меня старческая бессонница и единственная в жизни любовь и игрушка — музей. Нет, нет, в шесть чтобы вас в здании не было (зачем музею другой подвижник кроме директора?). Всё договорим и решим с вами после завтра. Что там у меня за заботы послезавтра?» Я листаю настольный календарь и вроде про себя шепчу: «Утром академия... Вот и времечко нам для душевного разговора: половина первого. Устроит?» Какие преданные зрители в моем театре одного актера! Какие благодарные сердца! Какие взгляды я получаю в ответ! «Ну конечно устроит, Юрий Алексеевич. А я к этому времени посмотрю весь материал». И решишь, как надо поступить, миленькая — в музее у нас работают в основном женщины, — и решишь хорошо, правильно. Я ведь, хочется мне признаться в ответ на восторженный взгляд, вообще думаю: зачем я вам нужен? Вы так прекрасно, деловито, талантливо, заинтересованно справляетесь сами. Для того чтобы было кого любить, бояться, творить о ком-то легенды? Любите, творите. А я буду днем писать свои портреты, думать над своими картинами. Я не могу забыть о себе. Ах, какая жажда бессмертия, восхищения, славы неистребимо сидит во мне! Надо только чаще смотреть на себя в зеркало: не прорывается ли она во взглядах, в жестах, руках?

— Доброе утро, Юрий Алексеевич, — слышится через селектор грустное контральто главного хранителя.

— Если вас не затруднит, Юлия Борисовна, — веду я свою партию осторожно и точно, потому что с женщиной, говорящей на шести языках и переписывающейся со всеми крупнейшими западными художниками, только так и можно, ибо в характере у нее не может угнездиться ни подозрительность, ни ненависть, ни мстительность (пустой характер!), а лишь фанатический интерес к искусству и той особи животного мира, которая называется человеком, — если вам, Юлия Борисовна, нетрудно, попросите ко мне Ростислава Николаевича.

— Он, кажется, спустился в мастерскую, — отвечает Юлия Борисовна. — Я закрыю хранилище и схожу за ним.

— Благодарю вас, Юлия Борисовна.

Ведь она, думаю я про Юлию Борисовну, патологически не умеет врать. Значит, из-за какой-то дьявольской привязанности к Славочке ей с утра уже искренне померещилось, что он пришел в момент нашего с ней разговора, она уже совершенно естественно утвердилась в своей фантазии и сейчас добросовестно шагает, переступая отечными ногами в войлочных туфлях, в подвал, чтобы обнаружить у закрытой реставрационной мастерской свою ошибку. Что же есть в этом Славочке, если все безоговорочно верят в его правоту? Как же сформулировать мне, профессору Семираеву, этот Славочкин феномен? Испускает он электричество, волны, флюиды, что ли?

Ведь слава богу, я уже знаю его семь лет. Ну, Семираев, сознайся... Сознаюсь: я боюсь его. Я боюсь его молчаливой тихой улыбки, широко посаженных глаз на скуластом лице, бледности, которую не берет загар и которая у него выглядит не знакомым нездоровья, а печатью какой-то потусторонности. Я боюсь вести с ним диалог, потому что, даже когда он соглашается со мной, в его непротивостоянии

есть оттенок какой-то своей, глубинной и уверенной в себе, а не только в логике доказательств правды.

Так было всегда, с первого курса. После первого семестра я понял, что совершил ошибку, взяв этого паренька в свою мастерскую, и принялся тихо и незаметно делать так, чтобы он ушел либо совсем — лучше совсем! — либо к другому мастеру.

Как-то дома за обедом Маша сказала:

— Папа, зачем ты это делаешь? Ведь Слава самый талантливый среди нас.

— Что делаю? — спросил я.

Я знал, что я делаю. Но сможет ли дочь сформулировать и осмелится ли сформулировать? Мне показалось вначале, что меня спасла опытность, когда я задал этот вопрос. О великая опытность! Великое умение холодно владеть ситуацией. За моими плечами уже были дискуссии искусствоведов, споры со зрителями и критиками, и, главное, не те споры, которые уже прошли, а те, которые я, докончив их в действительности, снова провел в своем сознании, где уже точнее отбивался, вовремя задавал нужный вопрос, мял, унижал, высмеивал, делал невеждой оппонента. И я хорошо запоминал все перипетии этого умственного спора и все точные слова и сбивающие наземь реплики.

Но здесь это не помогло. Мое «что делаю?» и мгновенная реакция могли опрокинуть опытного противника, но дочь или не знала жалости, или не ведала любви ко мне, или была так наивна, что ответила:

— Ты выживаешь Славу, потому что он самый талантливый в твоей мастерской и ты думаешь, что он талантливее тебя и что он настоящий художник.

И я поразился тогда бледности, которая покрыла вдруг лицо и шею моей дочери. Эта бледность, как мне казалось, не была спецификой волнения, а какой-то Славиной бледностью уверенной в себе правоты.

— Если Слава уйдет в мастерскую к Тарасову или Глазунову, я уйду вместе с ним, хотя ты и мой отец. Я ведь взрослый человек, папа, и могу таким образом выразить свое несогласие с отцом. Искусство ведь не семейное предприятие, правда, папа?

— Понимаешь ли, Маша... — начал я совершенно спокойно.

Впрочем, и весь разговор я провел спокойно. Не было ни громких слов, ни отцовских проклятий, ни криков, ни взаимных попреков. Я понял только одно: моя дочь знает, кто я такой. И возможно, это знает и Слава, но они, конечно, знают и то, чему я могу научить. В стране нет более верного взгляда и точной руки, и вряд ли они захотят потерять такого учителя. Но дочь мне дороже всего, потому что она феноменально талантлива. Наверное, больше, чем Слава. И она моя дочь. Это страховочный вариант судьбы. Если не получится у меня — должно получиться у нее. У нее есть фора — я. Потому что моим толкачом был только я, моя ловкость, моя двуличиесть. Я занимался искусством и одновременно был возле него, я думал о куске хлеба, а она пусть занимается только искусством, все остальное сделаю или я, или, если меня уже не будет, мое имя.

О великая опытность! О вечная моя привычка держать себя в узде! Я не вспыхнул, я спокойно продолжал:

— Понимаешь ли, Маша, применительно к вашему со Славой возрасту можно говорить только о способностях. Мне кажется, что то слово, которое ты употребила, выражает уже суть чего-то сделанного. И применительно к Славе мы будем говорить так, когда он что-то создаст. Пока он способный ученик, но он работает в моей мастерской и должен жить по ее законам. Я не могу создавать для него особую программу обучения. Если все играют гаммы в темпе адажио, то пусть в этом темпе — на первом, заметь, курсе — играет и он, хотя

бог и наделил его беглостью пальцев. Вот эту мысль и постарайся до него довести. И на этом давай закончим разговор, потому что дальше начинаются самолюбия...

В полукруглые окна видно, как в конце аллеи, ведущей к станции, появилась черная точка. Для посетителя это еще рановато. По неискоренимой привычке администратора я бросаю взгляд на каминные часы: постукивая вместо маятника бронзовой косой XVIII века, бронзовая смерть уже накосила половину десятого. Значит, появился на работе Славочка. Из нижнего цокольного этажа, из окна коридора возле реставрационной мастерской, забранного решеткой, сейчас на эту аллею неотступно глядит Юлия Борисовна. Взгляд у нее цепкий, дальнзоркий. Мне и смысла нет гадать, Славочка шагает от электрички или нет: первой оповестит о появлении своего любимца Юлия Борисовна. Она же сегодня, наверное, опять заведет разговор о том, чтобы разрешить реставратору приходить на работу к десяти. Но ответ мой тоже известен. Логика логикой, а порядок порядком. И воспитанная Юлия Борисовна уйдет от разговора. Славочка будет поступать по-своему, я буду нервировать его. Разыскивая его каждое утро, я никогда не осмелюсь, пересилив себя, сделать замечание. Маша? То ощущение безупречной своей правоты, которое распространяет вокруг себя мой ученик? Деликатность перед его обстоятельствами? Не знаю. Не могу, и все.

Наконец на селекторе загорелась лампочка вызова.

— Я слушаю вас, Юлия Борисовна.

— Я передала вашу просьбу Ростиславу Николаевичу...

В этот момент что-то вроде жалости шевельнулось у меня в душе. Бедный парень, ведь летел, наверное, на всех парусах. И все его понимают, ценят его самоотверженность, и лишь я свожу счеты с одаренностью, заставляю его расплачиваться за собственную слабость. Как же он, должно быть, ненавидит меня.

Я на минуту представил себе, как на другом конце города Слава поднимается по будильнику в половине шестого, если не в пять. Позже ему никак не успеть: больные ведь тоже поднимаются очень рано. Судно, белье, капризы. Дать поесть матери, поесть самому, прибраться в комнате, на кухне в их однокомнатной квартире на пятом этаже. Сбегать в булочную и молочную — открываются в восемь — и скорее скорее в автобус. И так уже семь лет, со дня поступления в институт. Образцовый единственный сын.

Маша пыталась меня разжалобить. Хотя, впрочем, вряд ли разжалобить. Мы оба с ней работали в домашней мастерской, в разных углах. Это еще было до того памятного обеда, но я уже заметил у нового студента эту удивительную бледность, когда делал ему замечание, уже заметил взгляд Маши, а потом ее отчужденное выражение и чуть поднятые от напряжения плечи — стеснялась меня, отца? — когда я подходил к мольберту Славика. А в тот день Маша говорила, говорила, и я еще подумал: «Как живо, как хорошо знает подробности, может быть, она уже побывала в этой однокомнатной квартире на пятом этаже в Отрадном? Задать бы ей этот вопрос. Может, отец и имеет право спросить?» Но жизнь меня научила: карты нельзя открывать никому никогда. В этом я убеждался неоднократно. Я не задал и в тот раз не деликатных личных вопросов. Но разве я не имел права высказать свое мировоззренческое отношение?

И я высказал:

— Для художника слишком большое бремя — быть еще и хорошим сыном.

Я не предвидел реакции-перевертыша:

— Это относится и к дочери?

— Не играй словами. Я сказал то что хотел сказать.

Как будто я ничего по существу в тот раз не сказал своей дочери. Я ответил ей не мыслью, а формулой, эдакой округленностью, имею-

щей лишь видимость глубокомыслия. Но я хорошо помню, как приличный человек, который ловит себя на постыдном желании украсть, мгновенный инстинктивный взгляд, который я бросил на стену домашней мастерской. Они висели рядом, два портрета, на почетном месте уже много лет и никогда не сменялись другими полотнами, как бывает, когда примелькавшиеся пятна и лица вдруг надоедают. Это было непрерывным самоистязанием, но одновременно и ритуальным актом для всех посетителей мастерской — дань постоянству в любви. Я хорошо помню, что бросил инстинктивный взгляд на портреты матери и первой жены. Разве их вживе я бестрепетно не вышвырнул из своей жизни, когда, каждая в свое время, они стали мне мешать (надо говорить точнее, точно, точно!); стали мешать моей карьере. Мешать тому заложенному во мне, что могло реализоваться.

А, видите ли, Славочка ни через что переступить не может. Даже не хочет insultную мать сдать в больницу для хроников. О, этот мальчик хочет всего: быть и хорошим художником, и хорошим сыном, и верным возлюбленным. Миленький мальчик ничем не хочет замутить своего душевного покоя. Он что, не понимает, что художник носит в душе ад? О эти чистоплюи! Им что, привести исторические параллели, рассказать о той брани, которую Микеланджело выливал на головы своих товарищей-художников, напомнить, как Бенвенуто Челлини пырлял инакомыслящих коллег по искусству ножом? Отстаивал и себя и свою точку зрения.

Разве с тех пор что-нибудь поменялось в нашем специфическом мире? Впрочем, сейчас незачем пырять ножом. Бывает достаточно не купить картину. Какая бездна здесь приемов, как быстро и, главное, непредвзято все решается. Только летает по черновичкам карандашик секретаря. «Мне кажется, правая фигура недостаточно прописана. Смотрите, рук нет — одни рукава пиджачка. А где под ними кости, мясо?» И все уже «видят», что никаких костей и мяса нет, и уже «видят», что и в ногах-то костей нет. Найдется ли такой, кто твердо скажет: «Чушь! Это живой человек!» Сознание скорее подсовывает недостатки. А вот проголосовали уже дружно — рассмотреть картину на следующем заседании закупочной комиссии, то есть через три месяца. Жарь, художник, в собственной мастерской на плитке ливерную колбасу по 64 коп. за кг. Вкусно получается, если со свежим лучком. Работай, надейся, жди следующего заседания.

Тебя еще не клюнул в задницу жареный петух, Славочка, чистый, пригожий ты мой мальчик? Художник — универсальная профессия. Он еще и интриган, и дипломат, и торговец. Даже Пушкин, мой милый, думал о суетном. Торговался с издателями. «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». Художник — белый и серый ангел сразу. А ты хочешь прожить в крахмальной рубашечке, не склонивши выи? Ты даже меня, своего учителя, не хочешь попросить ни о чем. Все сам. Ну так барабань. Нервничай, торопись на автобус, стрессуй, нянчись со своей душой, со своей мамочкой, идеальный сын, а когда ты будешь писать свои гениальные картины? Погоди; милоч, мы тебе подвалим работы в музей, мы тебе подвалим забот.

— Я передала вашу просьбу Ростиславу Николаевичу, и он готов сейчас же к вам зайти, — слышится через селектор голос Юлии Борисовны.

А сколько с ней, с высокоценимой и высокоинтеллигентной Юлией Борисовной, мне нянчиться? Не пора ли почтенной даме избавляться от романтических иллюзий и старческой влюбленности? Не в кошки-мышки здесь играем. А уж роль мышки для меня и вовсе была бы нова. В мой-то пятьдесят с лишним лет мне как-то негоже менять ампула. Будут, правда, валидолы, корвалолы, кардиамины, суета, а может быть, на недельку и гипертонический криз. Трус не играет в хоккей! Пора.

В моем голосе к свинцу начальственного гнева прибавляется — именно этого Юлия Борисовна и не любит — человеческое раздражение. Наддай, Семираев, наддай...

— Юлия Борисовна, я просил разыскать мне Ростислава Николаевича сорок минут назад. Время, которое я предполагал ему уделить, истекло. Теперь я смогу с ним переговорить только в конце рабочего дня.

Пусть понервничает мальчик, а заодно и оставит надежду улизнуть пораньше. Господь завещал нам зарабатывать свой хлеб в поте лица своего.

Я не успеваю выключить селектор, и голос Юлии Борисовны снова врывается ко мне в кабинет:

— Юрий Алексеевич, я убедительно прошу вас не откладывая принять Ростислава Николаевича. У него настоятельная, личная просьба.

Меня всегда деморализуют чужая настойчивость и неизвестность. Настойчивость подразумевает силу и уверенность. Неизвестность заставляет преувеличивать размер чужой силы и точки ее приложения. Может быть, что-то разнюхал мой гениальный ученик? Лягнула что-то Маша? У него поменялись планы? Информация — основа действия. Чтобы управлять событиями, надо ею владеть.

Неверно, что существуют большие события и малые. Малые события — это большие усилия малых людей. А малые люди умеют ставить палки в колеса большим. И потом, пожар надо гасить в зародыше. Горло полоскать, когда начало першить. Так что нам приготовил решительный и настойчивый Славик? Я разве боюсь? Просто чуть начинает сосать под сердцем. А собственную нервную систему надо беречь, настоящий марафон лишь начался. В искусстве побеждает не только талант, но и объем, масса. Что Пикассо со своей «Герникой» и без своих трех тысяч картин? А Микеланджело с одним «Давидом»? Лишь эпизоды истории...

Я поворачиваюсь к селектору:

— Хорошо. Пусть поднимается.

И тут же раздается телефонный звонок.

Я с детства тренирован на стрессах. В конце концов у каждого их хоть отбавляй. Но разве смог бы я работать, если б допускал до себя все? Если бы бросался переделывать каждое полотно по совету любого добродота? Если бы в рефлексии все время перемальвал свои поступки? У меня свой защитный аппарат, выработавшийся с годами. Любую ситуацию рассматриваю как не свою. И при плохом, трагическом известии первое, что я себе говорю: «Ну и что? Мир перевернулся? Жить можно?» И тут же быстро, мгновенно напрягаюсь: сделанного и прошедшего не вернешь — о нем жалеть нечего. Что делать дальше? Все усилия на будущее. Есть выход? Хорошо, будем точно и смело работать в этом направлении. Вперед, заре навстречу!

Когда умерла мать Маши, Мария-старшая, я сказал себе: ее не вернешь, цыц, не психовать. Цели две: объяснить все Маше и скрыть, как она умерла. Пока главное — второе. Несчастным случай. На этой версии и держался до последнего. Четырем допросам подвергли несчастного вдовца, и каждый раз я говорил: «Нет. Нет. Нет. Нет». По отношению к знаменитому художнику следственным органам приходилось вести себя с особой деликатностью. Ничего прямо, все в изящных вуалях. А разве скинешь с чаши весов мою безупречную биографию? Происхождение, восхождение, жизнь. И разве в мастерской художника не может стоять кислота, если уже лет десять я занимаюсь ксилографией? «Нет». Правда, у Марии, если мне память не изменяет, брат умер от белой горячки. «Нет». Правда, у покойной были странности — иногда она на неделю-две пропадала из дома. «Нет». Правда, племянник моей жены осужден за ограбление. Деревенские они, не-

развитая эмоциональная основа, тяжелое детство. Я сам родом из деревни, знаю...

Сейчас бы я добавил и еще кое-что, это бы сократило процедуру до двух разговоров: «У моей дочери тоже обнаружены странности. Какие? Она закончила художественный институт, по специальности живопись, но уже три года не притрагивается к холсту, карандашу, кисти».

В любой ситуации главное — не растеряться. Принять ее как данность и действовать. Это снимет первый, глубинный стресс. Но потом случившееся все же просачивается до эмоциональных основ. О, как страх, неуверенность, злорадия начинают трясти душу! Бессонная ночь разматывает перед тобою мерзкий кинофильм случившегося. И днем, что бы ты ни делал, как бы ни старался отвлечься, тревога и страх вползают в душу. Но и здесь я нашел противоядие. Боль от любой утраты стихает на третий день, выход из любого, самого безвыходного положения начинается брезжить в конце третьих суток. Да будут благоденственны они, третьи сутки! Помни о третьих! С этой мыслью я готовлюсь принять любое известие.

Зазвонил телефон, по которому могло звонить только очень большое начальство. А большое начальство — как кара небесная, здесь редко ждешь радости. И тем приятнее, когда у правила бывают исключения. Я, как всегда при таком звонке, подобрался, отринул все сиюминутное, мобилизовал память, внимание, реакцию. Я — чиновник.

— Семираев слушает.

По первым звукам голоса я понял, что звонит Иван Матвеевич — и начальство и друг, если только на горных вершинах административного успеха есть дружба. Но если ее нет, она удачно заменяется солидарностью сходного отношения к жизни, к ремеслу, к жизненным благам, к приемам профессиональной деятельности. Людям, одинаково понимающим эти проблемы, нет надобности расшифровывать их, подавать друг другу опознавательные знаки, какими-то особыми действиями выявлять свое отношение друг к другу. Мы, как птицы, узнаем друг друга по полету, по неуловимым признакам, не по словам. Слова — это лишь слова, жизнь соскучилась по поступкам. Важны не поздравления к празднику, а суть, отношение к человеческому делу. Иван Матвеевич не только мое художественное начальство, но и человек, верящий в меня, в мое искусство. Часто, когда я вижу, как глубоко и заинтересованно он разглядывает мои картины, я думаю: а может быть, я излишне строг к себе? Может быть...

О это сладостное «может быть»!

— Семираев слушает...

Но начальство все же начальство. Любовь любовью, однако она возникает лишь тогда, когда есть исполнительность, рвение с твоей стороны и уверенность в тебе, а лучше твердое знание, что ты не подведешь, — с той. Здесь надо уметь слушать и горькие истины.

— Слушай, Семираев, — как всегда, Иван Матвеевич берет проблему за рога, — здесь мы подумали, посоветовались, и, в общем, есть мнение...

Я боялся об этом и подумать. Неужели мне?.. Ведь это неправда, что выживают во времени только шедевры. Иногда даже среднее произведение, случайно продравшись через века, прицепившись, как ракушка к кораблю, к старым развалинам или новым дворцам, выплывает в сегодняшний день. В конце концов, мозаики Помпеи — лишь остатки массовой художественной культуры римлян, а фаюмские портреты — лишь инвентарная «фотография» покойника. Все ругают Исаакиевский собор за тяжеловесность, но Монферан-то принадлежит будущему, и сколько еще веков экскурсоводы будут поминать его фамилию, а также тех живописцев и скульпторов, что помогли украсить здание. Как важно примкнуть к большому делу... А дело сделано —

пусть потом разбираются. Значит, Иван Матвеевич будет предлагать это мне.

— В общем,— продолжает Иван Матвеевич, немножко потягивая новость, о которой я уже догадался,— есть мнение, чтобы фреску в Русском зале Института языка в Париже поручить тебе. Заказана тема «Русские реалисты»...

Друг—друг, но с Иваном Матвеевичем я знаю, как говорить. Говорить надо в ы д е р ж а н н о.

— Понятие «русские реалисты»,— осторожно перебиваю я Ивана Матвеевича,— видимо, надо трактовать широко. Я бы включил сюда и Шевченко, и Абая, и Низами. Можно и еще подумать.

— Правильно рассуждаешь, Семираев. Подкованно. Не зря мы тебя сделали директором музея. Когда подготовишь список, подьезжай, потолкуем. У нас тоже будут предложения. Рад?

— Рад, Иван Матвеевич. Но у меня есть один вопрос.

Радость — вещь пустая. Мне некогда предаваться разнообразным эмоциям. Пока идет разговор, я считаю.

Что там счетная машина «Минск» в третьем поколении. В своем деле свое, мною запрограммированное, я считаю быстрее. Я уже вижу эту фреску, вижу лица, вижу композицию. Выхожу на европейский класс! Вот он, мой корабль, который унесет меня и сотни моих картин в будущее. И я сделаю это. Я же мастер и я об этом знаю, и все знают об этом. Я сделаю как мастер.

А н а д о — как гений. И здесь одному мне не справиться. Здесь нужен Славка с его чертовщинкой, преувеличениями. Мне нужно это Славкино «чуть-чуть». Две трети он всегда городит лишнего, но я его подправляю, перепису. Подправляю так, что он и сам не узнает себя. Но все сразу станет живо. Такая площадка для меня великовата. А у него длинное дыхание. В свое время мотив карусели к моей знаменитой фреске «Рабочая окраина» дал он.

Я ведь не жадный, не мздоимец. Когда пять лет назад мне предложили расписать целую стену в новом московском клубе, я объявил тему у себя в институтской мастерской. Честно и искренне рассказал о трудностях этой своей новой работы студентам и предложил: в качестве контрольной курсовой работы каждый делает по эскизу. Все было скучно, традиционно. Только у Славика на переднем плане в воздухеплыли качели, и на них стояли во весь рост девушка в высоких башмаках (наверняка с Маши по памяти рисовал) и хватистый, лихой парень с цветком в петлице и с развернутой гармоникой. А для профессионала от этих качелей до карусели, плывущей над рабочей слободкой, было совсем рядом. Когда уже готовую, на стене, работу смотрел весь курс, что-то шевельнулось в глазах у Славы и Маши, но тут все ахнули, потому что на фреске был вроде тот же самый парень с гармошкой, хороший, ладный, хватистый, но парень этот был с лицом Славы. Прямое признание. Я так силен, что мне нечего скрывать. Ах да мастер, ай да молодец, ай да хитрец!

И в этой работе без Славы мне не обойтись. Значит, не зря, как чувствовал, законсервировал я его в реставрационной мастерской. Ревность? Интуиция?

— Ну что там у тебя за вопросик, Семираев?

— Ведь работа большая, ответственная. Мог бы я взять с собой за границу помощника?

— Ты только, Семираев, не размахивайся. Но одного-двух помощников себе подбери. Не большие. Командировка валютная. Пробьем.

Я повесил трубку и сразу посмотрел на музу, венчающую своего грека. Как, красавица, хватит ли в твоём магазине лаврушки? Придется быть порасторопнее. Пора, касаточка, выписывать на зелень наряд и требование. Особенно за количеством не гонись, но по всем правилам: венки, лента, овалы, пресса, статья в энциклопедии. До основного издания дело пока не дойдет, я согласен и на статью в «Ежегод-

нике». И хватит шутковать. Отпущенное для вас, миледи, время истекло.

Сейчас — Славик. Режим наибольшего благоприятствования. Он мой ученик, жених моей дочери. А родственникам надо помогать.

Славик вошел в кабинет со своим плоским чемоданчиком, который называют почему-то дипломат. Значит, не заходил в реставрационную и не считает нужным скрывать, что сегодня опоздал. Пока он шел к столу, я заметил, что он бледнее обычного. И еще совсем уже дурацкая мысль пришла в голову. Как всегда, Славик весь был чистенький, вымытый, ботинки блестели, на брюках стрелки, рубашка отменной свежести. Когда же он успевает так утюжиться? Кто стирает ему рубашки и пришивает пуговицы?

Но расслабляться на этих легких бытовых соображениях я не стал. Крепкие широкие скулы на лице моего ученика каменели более обычного, а далеко поставленные глаза сухохато блестели. Как трудно с этими непредсказуемыми личностями. Что задумал этот крепкий? Решил сдать мать в больницу для хроников и уезжает на Северный полюс? Сделал гениальные иллюстрации к «Мастеру и Маргарите» и бросает работу? Пришел меня убить? Просить денег? Мириться? Но при всех условиях — спокойствие. Выигрывает не тот, кто сбивает одну за другой пешки противника, а тот, кто ставит мат королю. Как хорошо, что Иван Матвеевич вовремя позвонил: один ход в запасе у меня уже есть.

— Юрий Алексеевич, я пришел вам сказать... — начал Слава.

— Бог с тобой, Слава. А где «здравствуйте»?

Инициатива уже в моих руках.

— Здравствуйте, Юрий Алексеевич.

— Как мама, Слава?

Не наградил бог меня большим умом, не дал того, что называется большим талантом. Я середняк. Но именно поэтому мне пришлось работать, защищаться. Мои сверстники были талантливы, но ленивы. Гениальны, но пили вино и без разбора любили женщин. Я люблю только свое будущее. Им не надо было доказывать, что они художники божьей милостью. А мне пришлось имитировать ум — и я взял начитанностью, талант — я взял работоспособностью, точным расчетом, терпением. Их всегда любили окружающие потому, что они так и е. А я заставлял себя уважать и любить. Я должен был знать людей. Высчитывать каждую их реплику и движение, аккуратно подыгрывать и, якобы споря, соглашаться. Они говорили, витийствовали, дискутировали во время наших студенческих застолий, а я молчал. Я открывал рот только в том случае, если за вечер собирал фразу, которая, будучи выкинута на стол, производила впечатление козырного туза. А теперь даже я говорю про себя: интуиция. А интуиция — это лишь опыт, знания, железное терпение и чугунный зад.

Интуиция меня не подвела.

— О маме я и пришел с вами поговорить.

Я замолчал. Не надо помогать человеку у тебя просить. Иначе наполовину ты сам становишься просителем.

— Врач сказал, что...

Боже мой, какой белый стал Слава! Ты можешь недоговаривать, мой мальчик. Ведь человеческое не чуждо и мне. Хотя, конечно, мама — это единственное в мире существо, которое поймет и простит. Только мать и могла простить меня. И сейчас тоже на том свете, если есть тот, иной свет, она молит за меня. Ну так что сказал врач?

— Врач сказал, что все закончится в течение одной-двух недель. Я бы хотел, Юрий Алексеевич, чтобы на работе...

— Все ясно, Слава. С сегодняшнего дня ты на работе находишься столько, сколько сочтешь нужным. Мы тебе будем отмечать табель. Если тебе нужны деньги, обращайся ко мне. У меня сейчас есть. Если не будет — найду. Не благодари. Экономь силы. Помни: я

на тебя рассчитываю. Ты же давно хотел посмотреть Париж? Летом на два-три месяца мы с тобой туда поедem: мне предложили там работу. А кого же брать в помощники как не собственного ученика? Иди, Слава, быстро. Каждую минуту ты должен быть с мамой. Закрой рот, не благодари. Быстро. Чтобы через минуту тебя в музее не было. Быстро! Быстро!

Здесь я на него почти кричал.

Он никогда не слышал, чтобы я кричал. Я не умею кричать. Это последнее оружие, и я знаю, что на окружающих, привыкших к моему тихому, выработанному многолетней привычкой сдерживаться, интеллигентному, мягкому голосу, это действует оглушительно. Здесь тоже есть свой механизм. Я начинаю токовать, внутри оставаясь совершенно холодным, развязываю одну за другой накрепко завязанные узелки на тайничках души и природной психики: глубоко дышу, сжимаю кулаки, физически напрягаюсь — и вдруг рождается крик. Я представляю, что у меня краснеет лицо, меняется выражение глаз. Но внутри я спокоен и могу остановить себя в любой момент. Где-то я читал, как Сальвини с семнадцатилетней Яблочкиной играл «Отелло» в Малом театре. В финальной сцене, когда в ужасе замер зал, этот ужас перед диким мавром, с пеной на губах стискивающим ей горло, передался и актрисе. И уже не поддельный, не актерский, а животный, человеческий страх прочел Сальвини в глазах юной партнерши. Тогда великий трагик неслышно для зала по-французски шепнул ей: «Не бойтесь, дитя мое». Кажется, по современной актерской терминологии это называется школой представления. Как называется, бог с ним, важно, чтобы школа действовала.

Я смотрел на солдатски крепкую спину Славки, когда он покидал мой кабинет, и думал: а шейку-то ты, сынок, держишь уже не так прямо. Благодарность — это, милый, то, что тебе не дано перешагнуть. Слабачок ты в этом. Не дано. Теперь и будешь долго бежать за мною, вывозя меня к славе, к венцу жизни.

Мои последние слова — в приемной тихая паника, секретарша изо всех сил лупит по машинке, чтобы заглушить несущийся из кабинета крик, — мои последние слова еще не затихли под фривольной лепниной графской спальни, а глаза уже смеялись, я улыбался, я ликовал. Эх, графчик, графчик, может, вы и хорошо утюжили своих крепостных. У меня иная школа, но какие эффекты! Слезайте с портрета, поделимся опытом. У вас за спиной было богатство, связи, сознание незыблемости деспотизма вашей власти — конечно, просвещенного деспотизма. А что у меня? Один фантом, психология, да капля ловкости. Но как работаю!

Слава закрыл дверь. И я мысленно увидел его белого, сломленного, стоящего прямо под табличкой «Директор музея Ю. А. Семираев».

Глава II

Жизнь всегда вяжет крепкие узлы. Полного счастья нет. Пока доберешься до сладкого ядрышка, обломаешь зубы о каменную скорлупу. И главное: все через полосочку, одно к одному. Да это кто же позволит Сусанне, когда я того гляди махну в Париж, лихим выражением выходя на пик своей жизни, — кто же позволит ей выкидывать фокусы, подрывать мой авторитет, наводить сиюминутную тень на личность профессора Семираева? Это что у профессорской жены за подозрительные родственники в Канаде? Что за престарелая тетка? Она что, раньше не могла возникнуть, или Сусанна не может еще годик потерпеть? Нет, и канадской дуре приспичило наконец-то объявиться, и московской приспичило в гости. Подозрительно. Хорошо, живем в либеральное время, и все же...

Какого ей, Сусанне, надо рожна в Канаде? Барахлом и здесь вся осыпана, не знает, что надеть, а что и продавать пора. Почти у каж-

дой армянки какая-нибудь тетка сидит за рубежом уже сто лет и помирает от ностальгии. А если все начнут разъезжать, то в век энергетических трудностей горячего не напасешься. Может, ей, Сусанне, тоже мировой славы захотелось? Да там, за рубежом, этих телепатов и волховательниц, этих сомнительных лекариц навалом, хоть бочками грузи.

Реализовываться надо здесь, на родине! Не баклуши бить, не бегать по премьерам, приемчикам и примеркам, а из-за письменного стола задницы не поднимать. Счастье и фортуна в науке, да и в жизни тоже, даются лишь тому, у кого пьедестал чугунный.

Нет, Сусаннушка, хоть и в один день нам с тобой пофартило, хоть чуть ли не в один и тот же час известия пришли тебе от ветхозаветной тетушки, а мне из инстанций от будущей славы — но тебе придется погодить. С зарубежной теткой, голубушка, тебе рано для общего сведения открываться. Вот вернется домой в блеске и триумфах, в лаврах на челе и с зарубежными чемодами муж, поклонившись Елисейским полям, наглядевшись на ненавистные сокровища Лувра, вот тогда и твоя очередь вояжировать. Лети в любую сторону света. Но только мы тебя, ласточка наша, слишком хорошо знаем, изучили досконально твой неукротимый нор («Я близ Кавказа родена!»), поэтому торопиться не будем, мнения своего пока не обнаружим, полсловечка упрека не промолвим, мы изобретем что-нибудь эдакое инфернальное, что тебе самой не захочется из Москвы, из теплой квартиры куда-то за тридевять земель, к черту на кулички.

Думай, профессор, думай!

Почему из дорогой столицы не захочется уезжать нашей подруге? Что произойдет? Что случится? А может быть, проще? Ничего не случится, а так, общая слабость, женщине под сорок, неможется.

Ах, Сусанна, дни наши с тобой золотые... Что я без тебя, что без меня ты? Но я ведь хитроумный и так все совершу, что даже Ивану Матвеевичу, давнему твоему дружку, пожаловаться на меня не сможешь. А ведь он все поймет. Наш с тобой сват, наш Гименей. Соединитель рук и душ. К обоюдной пользе и радости.

Кем я был до этой женитьбы? Всего лишь модный художник. Начинаящий модный художник. Ну, зарабатывал прилично. Но уже тогда хотел большего. Ни музея, ни звания еще не светило. Квартира, правда, уже имелась.

Я люблю свой дом в центре города, свою квартиру. Я строил ее долго и упорно, как муравей, потому что понимал: это не только моя крепость, не только спасительный плот на случай непредвиденных крушений — картины, мебель, иконы, — но это и моя визитная карточка, броская реклама для иностранцев, для заказчиков, для сильных мира сего, это как бы овеществленная вывеска моих художественных привязанностей, широты культуры, терпимости в искусстве. Здесь все имеет свой смысл и свой подтекст, рассчитанный на постороннее восприятие.

Я долго бился за эту квартиру. Пришлось написать не одну начальственную даму и не одну даму, муж которой имел хоть касательное отношение к живительному роднику распределения жилищных площадей. И я таки вырвал верхний этаж старого московского особняка — и уж дело техники, смазанной некими суммами, было перестроить чердак под огромную светлую мастерскую.

О молодость, пора дерзаний! Разве смог бы я сейчас с тем же стоицизмом выдержать наглых шабашников, казуистику добывания стройматериалов и саноборудования через чиновников зодчества благополучия всех рангов! Склоку с ГлавАПУ — Главным архитектурно-планировочным управлением! Последнее пало жертвой шабашников, рожденных предприимчивостью. Целая бригада мастеров в пятницу вечером сняла с дома все чердачные перекрытия, а в понедельник вместо ржавой крыши уже стояли стеклянные, на метал-

лических рамах, изготовленные заранее фонари, дающие свет в мастерскую, и новенькая, вздыбленная на полтора метра выше, чем раньше, кровля, отливающая дефицитным цинком. Сколько здесь было скандалов, нервов, крика, писем в газеты. «Вы что, разве не видели: на доме мемориальная доска?» Так хотелось, но тогда я не мог сказать этим крикунам, что рано или поздно на доме будет и вторая мраморная доска. Подумаешь, третьестепенный поэт XVIII века! Если бережно дышать на старину, то ведь и живым прохода не будет. В конце концов, каждая пядь земли выстлана костями. И что же — шагу не ступи? Пусть покойники заботятся о своих мертвецах. Мы живые, мы хотим крепко стоять на ногах, расширяться.

И опять знаменитый и модный Семираев написал пару портретов, и все скандалы постепенно ушли, потонули, забылись. И вот уже прагматический ЖЭК требует заплатить излишки за мастерскую — я безропотно, за год вперед. А потом в свою очередь потребовал у ЖЭКа, чтобы мастерскую приняли на баланс, внесли в инвентарный план, — и приняли, и вносят. А еще через год я принес в контору справку, что как член Союза художников на основании постановления Совета Народных Комиссаров от тридцать седьмого года имею право на пользование дополнительной площадью, и за излишки платить перестал.

Все текло к лучшему в этом лучшем из миров. И все плохое забывалось. Сейчас профессор Семираев просто занимает два верхних на собственные средства переоборудованных этажа в старом, переполненном жильцами особняке. Профессора не волнует неухоженный, с вонючими мусорными баками двор, куда приходит по утрам его служебная «Волга», грязь на лестницах, пахнущих кошками, слесари, на троих распивающие в подъезде, в который когда-то, придерживая стальную шпату, вбегал третьестепенный поэт XVIII века. Профессор так любит эту часть города, нетронутость ее старинной культуры, что ни за что не переедет ни в одну современную художественную мастерскую. (Хотел бы он, правда, знать, где это сейчас строят для живописцев т а к и е мастерские.) Да Семираев и сам — культура, и вряд ли справедливо лишать ее столицу.

Пусть в его квартире и беспорядок, даже не совсем живописный. Беспорядок, но не безответственность! Слишком много слесарей клубится в подъезде? Но профессор не такой уж не приспособленный к жизни дурачок, поэтому, естественно, его квартира подключена к электронной охране, к пульту. И если кто-нибудь прислонится только к скромной входной двери в квартиру, обитой стареньким, ветшающим дерматином, либо тронет стекло в высоких, как башни, фонарях мастерской, на пульте в ближайшем отделении вневедомственной сирены сразу раздается тревожный сигнал, и уже через пять минут желтая милицейская «канареечка» подлетит к дому и лихой наряд начнет шуровать на лестничной клетке и крыше. Дороговаты эти услуги, но мы за ценой, как говорится, не постоим!

А что квартира без настоящей разворотливой хозяйки? Улей без пчел. И соты есть, и цветов вокруг благоухание, а не жужжит ничего окрест — значит, и меда нет.

Улей был, злость была, молодые зубы, страсть выгрызть себе место в жизни, терпение были, непогрешимая — от природы — верная рука была да дружба молодого тогда Ивана Матвеевича. Тогда иногда я называл его еще Иваном, а когда изредка выпивали в мастерской, обращался и на «ты», но уже тогда Иван Матвеевич вращался в высоких сферах. Я рано распознал в нем птицу высокого полета. Хотя не по центральным вращался он, как сейчас, орбитам, а вроде спутника, в сторонке, но дружба его и тогда была почетна и полезна: человек при должности, со связями, услугами богат. А что с меня за ту дружбу было взять? Нечего! Разве только ключ от мастерской, когда с какой-нибудь сотрудницей надумает провести время

в приватной обстановке. На этот случай в холодильнике всегда мерзла бутылка шампанского, лимон хранился, ветчина да бутылка коньяка для «шлифовки» — свободных денег у него никогда не водилось ни раньше, ни теперь. И конечно, о всех юношеских шалостях Ивана Матвеевича я молчал. Мертво. Как граф Монте-Кристо. Иван умел быть благодарным. Дружба его была верна и выгодна.

Он-то мне и сказал, вернее напомнил, о чем и сам я догадывался: «Юрий Алексеич, тебе надо жениться. И чтобы старые слухи закрыты, и потому что без женитьбы тебе ходу не будет». Иван Матвеевич и познакомил меня с Сусанной. Вернее, вслух помечтал.

Нам тогда было лет по тридцать шесть — тридцать семь, возраст самый переходный, радикалитный, соли за то время, что мы в юности поели и попили, на суставах понаросло — поясницу утром не разогнешь, вот Иван Матвеевич и зачастил по медицине. А попал в руки Сусанны: почти кандидат наук, новые методы. Именно с легкой руки Ивана Матвеевича и пошла о Сусанне громкая слава по начальству.

И про женитьбу он завел разговор уже с прицелом. «Есть,— сказал,— у меня на примете для тебя, Юрий Алексеич, одна женщина. Оба вы друг другу подойдете, будете друг друга подпирать. Натуры артистические. Растете, оба пробиваетесь к жизни. Я ей тоже о тебе рассказал». «Ну тогда познакомьте». «Нет,— ответил Иван Матвеевич,— знакомить я вас не буду. Она познакомится с тобой сама. Она женщина неожиданная». «А как хоть, скажите, ее зовут». «Не скажу, со временем сам узнаешь». Я тогда о Сусанне не знал ни что она в моду вошла, ни даже того, что многие лечатся у нее, ни того, что оба мы в принципе и з о б р а ж а е м свою особенность, свою уникальность и свой талант. А может быть, все изображают, а потом эта масса и переходит в свое качественное изменение, сгущается, как материя, сжимается, как галактика, в то, что человеческая молва называет талантом?

Стоял июль — жаркий, парной. Надо было уезжать из Москвы, но еще загодя, в конце июня, меня пригласил на день рождения знаменитый композитор, чей портрет я тогда только что закончил. На такие мероприятия ходить мне неинтересно, но надо. Должно было быть много народу, а в толчее лучше всего заводить нужные знакомства. Всегда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Я выработал в себе привычку: к таким вещам относиться как к работе, как к необходимой, хотя и скудной ее части. Выпить как следует нельзя, еда самая обычная, день потерян, но может возникнуть нечто. Или услышишь что-нибудь важное из нашей художнически-культурной жизни: о готовящемся конкурсе, о хлебном заказе, который потом постарайся схватить или хотя бы передать кому-нибудь из своих, нужных друзей, а такие вещи не забываются, познакомишься с человеком, который может пригодиться в дальнейшем. А помощь в нашей жизни может возникнуть любая, ведь все в молодости нужно: и новая машина, и стройматериалы для дачи, и сменить талон в водительских правах, и организовать путевку, и попасть в зарубежную поездку. «Надо терпеть, Семираев»,— говорил я в эти минуты себе. Тратился на подарки, улыбался престарелым женщинам, старался нравиться, делал вид, что крепко пью, строил из себя рубаху-парня, эдакого милягу, самородка, пришедшего с котомкой в Москву, говорил с подвыпившими мужиками о хоккее, футболе, о счете матча Карпов — Корчной, об этих ненавистных мне предметах, потому что уже тогда, нет, еще раньше, с молодых лет, с первого курса института, меня интересовало только одно — мое будущее, слава, к которой я должен был протиснуться и пробиться.

Прием был назначен на дневные часы на даче, среди берез. На сколоченных из досок столах среди полянки стояли бутылки, блюда с ветчиной, салатами из ресторана, соленой рыбой, помидорами, редиской, луком. Возле забора, в углу огромного дачного участка шофер

знаменитости жарил шашлык, доставая из пластмассового голубого ведерка и нанизывая на шампуры кусочки баранины. Запах паленого мяса пронизывал окрестности.

Было человек сто пятьдесят. Народ постоянно подъезжал. Проезд к даче был заставлен машинами с изнывающими на жаре шоферами. Присутствовали балерины, генералы, писатели, ученые, врачи, сфера обслуживания от портнихи хозяйки до дантиста знаменитого композитора. Я ходил в этой толпе, часто чокался — доверие всегда вызывает хорошо пьющий человек, — часто чокался, но не пил, перекидывался со знакомыми невинными анекдотами, приглядывал возможных заказчиков, улыбался, слушал.

Гости табунились по интересам. Было суетно, разобщенно, лениво. Такое мое фланирование по саду продолжалось довольно долго, пока я не почувствовал, что происходит нечто неожиданное. Все как-то напряглось, встрепенулись и начали подтягиваться к высокой стройной женщине лет тридцати, только что вошедшей в садовую калитку. Я сразу зафиксировал: острый, пронзительный профиль, черные прямые волосы, разделенные пробором, мрачноватые глаза, утонувшие в глубоких глазницах. Послышалось, как рокот: Сусанна, Сусанна. Экстравагантное имя я отнес за счет восточного происхождения вошедшей, а всеобщее внимание расценил по-другому: «Чья-нибудь дочь, восточная княжна...»

— Кто это? — переспросил у стоящего рядом хозяина.

— Неужели ты не знаешь? Ну, это та, которая лечит. Та самая, которая стажировалась у великой Джуны и, говорят, уже ее переплюнула.

Это теперь «та самая» мне ясна и понятна. Это теперь я знаю ей цену и цену ее дорогостоящей упаковки. Ну что ж, сам создавал ей оправу, ставил декорации, помогал придумывать постоянную маску. Разве сравнишь сегодняшнюю Сусанну с той дилетанткой: какая уверенность в себе, какие позы, каков салон, в котором она принимает гостей, в котором она варит свою известность!

На наших двух верхних этажах особнячка все четко разграничено. Конечно, никаких видимых демаркационных линий нет, но исторически сложилось: верх мой — впрочем, домашние давно ко мне в мастерскую не поднимаются, — а внизу, в квартире, неприкосновенной является комната Маши. Она всегда бывает очень раздражена, когда, даже предварительно постучав, заходишь к ней.

Сусанна же человек общительный. В трех комнатах, которые числятся за ней, все полно какой-то нелепой чертовщины. По стенам висят африканские маски не подлинной, конечно, старины, а нечто, что для современных туристов африканцы строчат со скоростью конвейера. Висят всякие амулетки, картинки и масса самых плохоньких, до олеографий, икон. Сусанна сумела завесить ими всю стену в столовой, вынеся кое-что в коридор, откуда, кстати, я забрал в мастерскую прекрасный натюрморт Осмеркина. Под этой экспозицией «ритуальных» изображений стоит огромное резное кресло XVIII века, которое Сусанна тоже добыла где-то на периферии жизни, а рядом с креслом тяжелая китайская ваза, в которой небольшое опахало из павлиньих перьев. И кресло и опахало — все не так просто. В кресле она восседает во время своих публичных вечеров, наложения рук и предсказательных сеансов, а об особых функциях опахала я узнал сравнительно недавно. В кульминационный момент своих врачеваний и учебных сборищ Сусанна с опахалом в руке часто гасит свет, нажимая ножкой на напольный выключатель торшера. Свет меркнет лишь на мгновение — Сусанна предупреждает гостей, что это делается для сосредоточения, для облегчения медитаций, — но за это мгновение Сусанна (в ее руке все время колышется опахало) в темноте поднимает опахало кверху и за свою спиной легко проводит им по иконам, картинкам и медальончикам.

Потом вечер продолжается в зависимости от программы, но в самом конце, когда включается люстра и Сусанна появляется из кухни, толкая перед собой легкий столик с закусками и парой бутылок сухого вина, кто-нибудь обязательно заметит: все амулетики и иконки на стене висят уже не в прежней стройности, а перекошены, скособочились. Все внимательно рассматривают данный феномен. А Сусанна с подчеркнутой, но ложной скромностью говорит: «И вот так бывает после каждого опыта. Мне каждое утро приходится наводить здесь порядок. Какая-то истекающая из меня сила кособочит все иконы».

Как-то я разозлился и спросил у нее:

— Какая из тебя истекает сила? Ты бы лучше дописала свою диссертацию.

Взгляд у Сусанны сразу же стал пронизывающим, сухим и острым, как игла. Будто в зрачках, как в объективе, сдвинулась на последнее, двадцать второе, деление диафрагма. Ответ Сусанны был в характере моих собственных наблюдений:

— Истекает эмоциональная сила. Биополе. Его не зафиксируешь с фотографической точностью.

«З н а е т?»

— Очень уж научно ты, Сусанна, говоришь. Скорее физически осязаемая точность рук.

Руки у Сусанны действительно золотые. Все ее врачевание, пристальное глядение в глаза — все это чушь, хотя уже десять лет она ведет какие-то исследования в лаборатории с определением своего уникального, как некое нефтяное месторождение, биополя, потенциала волновой энергии, вероятности концентрации. Я всегда шучу, когда мы изредка встречаемся в нашей бескрайней квартире: «Ты, Сусанна, не женщина, а электрический скат». Я даже затрудняюсь сказать, серьезно ли моя жена дурачит своими сверхъестественными свойствами половину Москвы, или это бессознательное стремление женщины удерживать к себе внимание. Может быть, и не случайно она не защитила диссертацию по биологии? Может быть, действительно она соприкасается со скрытым от глаз других будущим? Или здесь просто чудовищная женская интуиция, точно бьющая в свои психологические цели? Иной раз так ловко откроеет кому-нибудь «что было», «что будет» — человек руками разводит. То ли в этом особая смысловая многогранность ее высказываний, из которых клиент увлекает свой, понятный ему смысл? Но, быть может...

Ведь, черт возьми, о ней даже сообщали иностранные журналы и поместили ее фотографию и живописный портрет, который я написал буквально в дни нашего первого знакомства. Может быть, что-то во всем этом и есть... Но зачем тогда опахало, амулет, кресло?..

А вот руки, золотые руки — это точно. Руки гениальной массажистки. Ведь с этого и началась ее карьера. Сусанна мастерски снимает боль, чудодейственно разглаживает радикулиты, немножко владеет гипнозом. Но какова сама карьера — от медсестры-массажистки, от девчонки из армянской слободки, окончившей курсы при районной больнице, до ученого, почти кандидата наук! Какова хватка и какова энергия! Может быть, хотя и живем много лет, а почти чужие, потому что понимаем друг друга, играем по одним правилам.

Играли. До сегодняшнего дня.

Теперь я выхожу на новое качество. Замахнулся на такую славу, что сбоя быть не должно. Знаменитый русский художник, автор «Реалистов», не должен иметь ни сучка ни задоринки ни в чем. Ни в своей личной биографии, ни в биографии жены. Перед поездкой в Париж, которая должна выбросить меня на гребень общеевропейской известности, мне нужно провести инвентаризацию даже в личной жизни. Думай, художник, смотри, вспоминая. Ты, как садовник, должен формировать крону дерева своей новой жизни. Лишние

веточки вон. Лишние побеги, отбирающие соки, отрезать. Иные законы — иная жизнь.

Мой первый портрет Сусанны, недавно опубликованный в «Штерн» в связи с чудодейственным излечением ею каких-то господ из посольства, до сих пор висит в столовой. Его она не сняла. Живая Сусанна в кресле сидит напротив таинственной и молодой Сусанны в старинной ореховой раме. Я помню, как я писал этот портрет, как впервые пришла Сусанна в мастерскую и как тонко, хотя и понятно мне — я только посмеивался, потому что мой принцип: писать надо еще и так, как того хочет заказчик, — руководила моей работой. Я, в конце концов, не Репин, чтобы издеваться над натурой, которая за это почему-то целует руки. Во время этих сеансов Сусанна осторожно подталкивала меня к тому, чтобы я вокруг ее головы и рук написал легкое сияние, такой легкий, светящийся, лучистый фон. Ее сил у. Я написал, удостоверил. С раскрытой ладони как бы скатывается свечение. Распахнутые огромные черные глаза. Из-за плеч встает сумрачно-напряженное сверкание, как бы некое шевеление субстанции.

Что делалось на выставке, когда в серии других моих портретов появился и этот с коротенькой надписью «Молодой ученый. Биолог С. Гикаян»! Как клубился вокруг портрета народ, как шептались, какие рассказы вали небылицы! Факт существования легендарной Сусанны впервые материализовался для широкой публики. До этого ходили лишь апокрифы. Именно после этой выставки Сусанна добилась разрешения, чтобы ее телефон и адрес Мосгорсправка и телефонный узел не выдавали. И вот когда я как-то приехал к ней в ее кооперативную квартиру на проспекте Вернадского, когда в подъезде заметил робко жмущихся по стенам людей, жаждущих исцеления, увидел гневную лифтершу, засыпанную подарками, тогда я впервые серьезно подумал: «Может быть, мне действительно стоит жениться на Сусанне. Очень хорошо мы бы сработали друг для друга. Такая серьезно возьмется за вожжи моей славы».

В волшебного лебедя превратилась «та самая». В лето лишь модная дамочка, занимающаяся сомнительными опытами. Выходит, при первой встрече я просчитал не все варианты? Не в полной мере проникся удивительными способностями Сусанны? Да пусть, думал, она хоть самого папу римского лечит. Мне-то что! Мне кисти в растворителе она все равно мыть не станет. Плохо я тогда просчитал, бездарно. Задним умом мы все крепки. Иван Матвеевич считал, оказывается, успешнее. Ему с начальствующей горки было виднее.

Именно с Сусанны, с этого портрета, у меня все по-настоящему началось. Она дала мне дополнительный импульс. Ввела в такие дома, что ого-го! И все же изломала своей страстью к суете и публичности. Какая неутомимость! В иностранное посольство позовут — она готова, на премьеру в театр — пожалуйста, на открытие выставки или показ мод — она в первых рядах. Если бы те силы, которые я потратил на нужные встречи и знакомства, чтобы казаться современным, человеком в гуще событий, да приложить к искусству, то, быть может... И все же мне нельзя так думать, я знаю свой потолок. Такая жизнь — форма моего существования в этом мире... Мы квиты с Сусанной.

Моя женитьба ей тоже многое открыла. Уже не шарлатанка, не сомнительная экспериментаторша, а безбедная и потому бескорыстная любительница, жена известного и состоятельного художника. Крышу она получила, Сусанночка. Но еще до женитьбы поняли мы, что одной повязаны веревочкой, поэтому женским умом сообразила, что выгоднее меня вперед выставлять. Я, дескать, всего-навсего скромная знахарка. Получила от своей темной и дикой бабушки неведомую силу, некий наукой не познанный дар и теперь несу их людям; а вот муж у меня — известный, великий художник. Она и про-

изнесла первая это слово — великий. И настойчиво это понятие внедряла в общественное сознание, и правильно делала, понимала — с моих дивидендов живем, потому что медленно ее биополе материализовалось в чистую валюту.

С каким энтузиазмом таскала она ко мне в мастерскую разных шведок и датчанок! Всегда после своих журфиксов показывала гостям мою мастерскую. Шла тихо, демонстративно, на цыпочках: мастер работает! Мне оставалось только ублажать своих милых заказчиц. А у них, конечно, свои интересы, свое паблисити. Смотришь, в Нью-Йорке или Стокгольме и выходит журнал с репродукцией написанного мною портрета. А жена посла, его дочь либо какая другая высокопоставленная дама — покровительница искусств, как известно, простому художнику позировать не может, только самому знаменитому, только великому, самому известному в стране. Это уже само собой разумеется. А здесь и я с таким журналом в руках любой заказ вырву. И скромненько пачку таких журналов начальству на стол: так что же, нет пророков в своем отечестве? Свой дар надо реализовывать. А в наше время ни один дар даром не расцветает. Реклама двигает коммерцию. И здесь Сусанна мастер, виртуоз.

Иван Матвеевич был прав: Сусанна действительно сама меня нашла. Но как! Она не дилетант, даже здесь проявила научный подход. Как хороший актер, выходя на сцену, она не позволяла себе приблизительно знать роль. По Станиславскому: и история, и предыстория, и сверхзадача. В подводной части этого айсберга всегда был свой материк. Перед нашей первой встречей она все обо мне узнала, развела. Я бы не удивился, если бы знал, что, готовясь к встрече, она составила на меня картотеку и пролистала историю болезни в поликлинике.

Мы встретились с нею на этом дне рождения будто бы совсем случайно. Она так виртуозно управляла своей свитой, что сумела, как matka, окруженная гудящим роем, не подойти, а оказаться подведенной ко мне. И тут Сусанна показала себя не только Кассандрой, но и Ермоловой, Аспазией, Сарой Бернар.

— Вы Семираев? Я узнала вас по фотографии в «Огоньке».

Мне осталось только надеть одну из привычных масок: скромный гений, рубаха-парень, деревенский мальчик, не сознающий сам, что творит.

— Я Семираев. Зовут меня Юрий Алексеевич.

— Я преклоняюсь перед вами. Уже двенадцать лет,— продолжала она, не давая возможности себя остановить,— я хожу на все ваши выставки. С самой первой: «Пейзажи родных мест». Я знаю все ваши картины.

Здесь я немножко оторопел. Этой лекарице вроде от меня ничего не надо. Зачем же такой фамилия? Может быть, не только истеричность и вежливость ведут незнакомку, а и искреннее чувство, потому что она вдруг начала осыпать меня названиями моих картин, проявлять знакомство с портретами, висящими в разных домах, о которых я сам-то позабыл, но которые почему-то видела и помнила она.

Вот это подготовка!

— Я преклоняюсь перед вами, Юрий Алексеевич, потому что так выразить то, что волнует нас всех в жизни и искусстве, смогли только вы. Каждый ваш портрет — это открытие. Вы открываете человека для человека.

Уже по-настоящему смущенный, я сказал:

— Если хотите, я напишу и ваш портрет.

И в этот момент она чуть заметно пожала мне руку. Кокетливо, но со значением, с тайным смыслом пожала руку и шепнула:

— Видите, я вас нашла.

Но главное она уже сделала. Публично, при всех произнесла слово. Взяла на себя смелость, чувствовала себя уверенной. И пусть

негодуют мои скромные товарищи по кисти, пусть шушукаются по углам, пусть называют меня копиистом, чертежником, хоть маляром. Слово сказано, мой миф созрел. Легенда началась. Я видел вбирающие глаза у людей, окружавших нас с Сусанной. Ясновидящая ошибется, но не солжет. Она, как младенец, истина в последней инстанции. Слушайте, запоминайте, удивляйтесь, негодуйте. Но эту историю вы расскажете еще двадцать раз. Комментируйте как хотите. Вам предстоит разнести легенду. Я назван как избранный. Моя задача теперь только поддерживать этот миф и давить, давить, давить других коллег-мифотворцев. Теперь вверх по лесенке успеха. Вперед, Семираев!

Не всем, но очень многим я обязан Сусанне. Она дошлифовала меня. То, что жило во мне как сплошной эмпиризм, приобрело характер системы. В конечном итоге и своими «Реалистами» я обязан ей: она все предусмотрела.

Она внушила, что свободным художником не проживешь. Пост нужен. Административный пост. Рубенс был послом. Мольер — директором театра. Некрасов издавал «Современник», а Семираеву достался музей. Подумать только, Семираев, своей кистью, своим мастерством ты готовишь себе дорогу к большой, долгой славе, танцуй же, Семираев. Ну пусть тебе за пятьдесят, но ведь еще крепко: ни склероза, ни гипертонии. Пока никого нет, пройди вальс-бостоном, танцем твоей юности, из комнаты в комнату. Ты же юн, Семираев, девушки смотрят на тебя, мужчины завидуют, мир рукоплещет тебе, все у тебя будет, все получится, ни перед кем не придется ломать шапку, дни твои пролетят беспечно, а лет через тридцать, всего седого, будут тебя под руки вводить в выставочные залы, а ты устало и расслабленно будешь шептать свои оценки. Семираев идет! Как же, живой классик. «Неужели тот самый? А я думал, он в прошлом веке жил». Да, да! А в школьных учебниках будет стоять: «Крамской, Репин, Суриков, Серов, Семираев — самые яркие представители русской школы живописи XIX—XX веков».

Смотрит на меня с портрета молодая Сусанна. Длинная шея, огромные глаза, сияние вокруг рук и головы. А я стою перед ней, как Адам перед господом, и думаю: не подведи, вывези и сейчас. У вас, вещунов и современных колдуний, во всем мире есть знакомства. В каждой столице кто-нибудь свой, какая-нибудь родственная душа. Ты уж напрягись, Сусаннушка, сейчас бы самый раз какую-нибудь статейку обо мне тиснуть, где-нибудь вякнуть обо мне по зарубежному радио. Нужно паблисити. А то оттягают заказ лучшие друзья, стхрумкают, ножку подставят, перебегут дорогу. Ты уж постарайся, пошли нервный, не поддающийся контролю таможни заряд кому-нибудь в Париж или Чикаго, в Прагу или Софию — тоже хорошо. А если даже появится в доме неожиданный гость, так сказать, нервная субстанция материализуется в приехавшего из-за рубежа корреспондента, искусствоведа, писателя, я и мастерскую покажу, и расскажу о своих глобальных задумках, а уж икры, водки, блинов русских, ныне подорожавшего коньяка — здесь мы ни перед какими затратами не остановимся, в такое дело вкладывать капитал — все равно что золото покупать по цене меди, мы даже гостю какую-нибудь плохонькую иконку подарим, лишь бы гость чувствовал себя уютно и хорошо, лишь остались бы у него в памяти хорошие воспоминания о русском самородке Семираеве! Здесь мы расстараяемся.

Размечтался я перед портретом своей жены. Нет, не благородные у меня были мысли. Но они мои. Что же мне перед собою рядиться? Дума моя только об одном: «Русские реалисты» должны достаться мне и только мне. Здесь я буду безжалостен. Я, как полководец, считаю и свои резервы и силы противника. Я все должен учесть: и моральный дух войска и географию. Надо все знать, чтобы ненароком конница во время атаки не скатилась в овраг. Теперь, когда я выхожу на стар-

товый отрезок своего марафона, когда бегу мимо во все глаза следящих за мною трибун, надо как следует просмотреть все личные дела. Из-за мелочи счастливая случайность не должна уйти. Действительно, руководить, как говорилось, — это предвидеть. А уж коли сам я с молодых ногтей конструирую собственную жизнь, то надо каждую тряпочку из прошлого перетряхнуть, ко всему быть готовым, так дело вести, чтобы прошлое не зацепило грядущее. А баланс не очень хорош. Есть прорехи в тылах.

В тот же день, когда Иван Матвеевич позвонил насчет «Реалистов», я зашел в комнату Маши. Здесь, может быть, слабое место. Дочь беспокоит меня больше всего. С Сусанной я справлюсь, потому что на ее хитрость есть моя. На прямоту и откровенность Маши нет управы, нет приема. А решать надо, и решать быстро, потому что без Маши я не получу Славу. Она его профессор и наставник.

Какая же была ошибка, что я помешал их браку! Как это было недальновидно, мелко и, сознайся, Семираев, неумно. Разве волновало когда-нибудь тебя маленькое тщеславие, маленькие пакости, крошечное честолюбие? Ты же боец на ринге: что тебе несколько пропущенных ударов, пара оплеух — важно пройти через все и победить. Важны овалы зала и твоя рука с поднятой победной перчаткой. Испугался талантливого мальчишки. Но ведь один раз, когда оставил его в своей институтской мастерской, превозмог себя. Справился с мелочовкой характера, поддался просьбе дочери, ее нажиму и ведь был доволен: сколько принес потом Слава пользы на курсе. А здесь разыграло ретивое. Просто струсил, Семираев, иметь возле себя, иметь в семье бледнеющего от волнения соперника. Да ведь ты сам говорил, что от возможности до действительности дистанция огромная. Он только талантливый мальчишка, для которого пробиться труднее, чем для тебя в его годы, потому что ты, кроме верной руки и снайперского глаза, имел еще и хитроумную, изворотливую голову. А что он? Тюха и гордец. Мальчик хотел жениться на твоей дочери. Вернее, даже по-другому: твоя дочь хотела выйти замуж за этого мальчишка. За него и ни за кого другого. Она первая, наверное, поняла, учуяла, что он перспективный. Ведь Маша все же твоя дочь. А у нее твое чутье. А ты закурил, завертел: а где будете жить? а что будете есть? Поставил гнусное условие: Слава сдаст мать в больницу для хроников. Всех хотел приобщить к своим грехам, всех сравнять.

Жить в одной комнате со своей больной матерью и молодой женой Слава не захотел. Он, видите ли, не мог себе этого позволить. Не мог позволить себе портить жизнь жене. Мне бы купить им трехкомнатную кооперативную квартиру, помочь, наладить лечение для этой женщины, матери Славы, да они бы все по гроб были мне обязаны. Стали бы рабами навсегда. Обеднел бы я, пошел с сумою по миру? Как мы любим ссылаться на свой горький и никчемный опыт: «Я приехал в Москву в одних портках, и никто кооператива мне не покупал!» И тогда Маша сказала: «Я буду ждать Славу». Я сказал: «До каких пор будешь ждать? Пока не останешься в старых девах?» «Сколько будет нужно, столько и буду ждать». — «Тургенева ты, дочка, начиталась. Устарел твой Тургенев. Сейчас все читают Юлиана Семенова». — «А я Тургенева читаю». Сказала — сделала. Но ведь и работать бросила.

Я не люблю входить в комнату Маши. После смерти матери она перетащила к себе все принадлежавшие той вещи. Нельзя сказать, что в комнате нет порядка, просто порядок, ведомый одной дочери. Она ничего не выбрасывает. Вся ее жизнь может быть описана через хранящиеся здесь предметы. Первая ее кукла, школьный портфель, первая маленькая палитра, на стенах ее детские акварели, большая палитра, которую она забрала из мастерской и перенесла к себе. Краски сохлились, закаменели. В комнате стоит мольберт. На нем, уже

два года, незаконченный Машин автопортрет. Прописано пол-лица. Один глаз черным буравом неотступно преследует входящего. Другая половина лица лишь намечена. Может быть, видимая половина моя?.. Здесь я знаю характер, потому что я знаю себя, знаю самое плохое. Чем же ты, Мария-старшая, наградила дочь?

Но это же и моя дочь! Чем живет она, с кем встречается, о чем думает? Случайно столкнувшись с ней на кухне, мы еле можем сказать друг другу два слова. Но когда я попадаю в ее комнату, мне хочется взять ее платок, перчатку, которую она надевала, шарф, зарыться в них лицом и вдыхать родной и знакомый запах.

На диване разбросаны разные тряпочки, цветные обрывки одежды, лоскутки. Последние полгода Маша вяжет круглые коврики из этих обрывков и дарит всем знакомым. Лишь бы не писать, не рисовать. Что она узнала, кто ей наболтал? Как-то я попросил: «Маша, свяжи коврик мне. Я постелю его под ноги у письменного стола». Через три дня она принесла мне коврик, сделанный из ленточек, которые она нарезала из старого материнского платья. Я узнал материал и расцветку. Желтое с черным. Почему она бросила работу?

Я сажусь на диван, и вдруг острая, как нож, мысль пронзает душу: «А к чему эта гонка? Ведь тебе уже за пятьдесят. Будет о тебе статья в энциклопедии или не будет — разве изменится что-нибудь в мире? Ведь живут же люди без всей этой мишуры. Живут и не задумываются о конечной цели существования. Заботятся о детях и внуках. А я даже не знаю, что заботит единственную дочь, чем она дышит». Эта мысль не впервые посещает меня. И я знаю, что единственное спасение — безжалостно гнать ее. Потому что от себя не уйдешь, в пятьдесят лет уже не переделаешься.

Какой-то детский порок, какое-то неясное мне самому унижение в детстве дало мне это обременительное честолюбие, и весь мой духовный мир вырел на его основании. Надо грустно принимать эту данность и, не останавливаясь, бежать на марафоне собственной жизни. А я так забегался здесь, что упустил дочь. А ведь в ней один из ключей к Славiku. Вот и опять легкомыслие сиюминутности. Когда понадобился Славик, вспомнил и о дочери. А с этим надо было разбираться раньше, потому что теперь сроки поджимают. Все думал, что как-нибудь с Машей образуется само собой. Страшился аналитического ума Славы. Боялся вводить его в свой дом. А его надо было давно поселить здесь, скрутить, обмять, заставить поступать по-моему. С ним надо было работать. Все придумано слабыми, безвольными людьми: любовь, преданность, дружба — это ритуалы, не больше. Все помазаны одним миром, ближе всего к телу своя собственная рубашка.

Ты же зоркий, мастер, смотри, наблюдай. По вещам, предметам в комнате дочери ты должен, как Шерлок Холмс, определить, догадаться, что с ней происходит.

Бегала когда-то здесь Маша, маленькое симпатичное существо с бантиком. Рисовала елочки и домики цветными карандашами. Какие же демоны вселились в нее? Отчего она так любит надеть на себя материнскую блузку и юбку и тихо, притаившись, сидеть где-нибудь в уголке? Ни движения, ни вдоха. За закрытой дверью будто пустая комната. Я несколько раз, обманутый этой тишиной, открывал дверь. И тут же Маша вставала, и два черных бурава сверлили меня...

Я сажусь на диван среди груды нарезанных тряпочек и еще раз медленно оглядываю комнату. На детском столике все те же куклы и аккуратно расставленный кукольный сервиз. Вдруг нижняя полированная дверца шкафа привлекает мое внимание. Я встаю, чтобы ее захлопнуть, но, подойдя, внезапно для себя раскрываю ее до конца. Весь низ заставлен бутылками. Разными: зубровка, старка, но в основном портвейн. И в этот момент в комнату открывается дверь и входит Маша.

Я за жизнь привык держать себя в руках. К чему вздохи, ахи, заламывания рук? Эмоции ничего не меняют в жизни. Я молча, не выражая удивления ни от увиденного, ни от внезапного появления дочери, закрываю дверцу шкафа и говорю:

- Здравствуй, дочь.
- Здравствуй, папа.
- Где ты была?
- Ездила в Кусково. Мне приснились ночью рисунки на петровских изразцах, и я ездила проверить, правильно ли я их помню.
- Ну и как?
- Изразцы оказались совершенно иными. Сон был фантастическим.
- Нам с тобой надо серьезно поговорить.
- О чем говорить? Ты все знаешь.
- Ты уже два года не работаешь.
- Ты знаешь причины. Мама и твои фотографии. Когда я узнала о существовании фотокомнаты в твоей мастерской, я подумала: зачем заниматься искусством, если можно такими простыми методами, какими пользуешься ты, добиваться выдающихся результатов? Зачем?
- О маме мы с тобой много раз говорили.
- Я вспомнила новые аргументы.
- Этим занимался следователь. Не бери на себя роль правосудия.
- У меня другой счет. Я никому не предъявляю обвинений.
- А что касается фотографии...— К этому я был готов, я только не знал, что она обнаружила лабораторию.— Разве во все времена художники не привлекали себе в помощь химию, физику, геометрию? Вспомни, как Джотто математически точно рассчитывал перспективу. Вспомни, что Леонардо был не только художником, но и физиком и математиком...

Пока я это говорил, мой ум метался в поисках выхода. Ясно одно: надо во что бы то ни стало отложить разговор, перенести его. Теперь, когда карты почти открыты, поискать новую систему доказательств. Но недаром я везунок. А впрочем, просто у меня дар каждое обстоятельство поворачивать так, чтобы оно помогало, а не мешало мне, из любой ситуации извлекать максимум пользы, заставляя ее работать. Еще рассуждая о Леонардо, я вдруг каким-то чудом услышал, что во входных дверях поворачивается ключ, и, немедленно прервав на полуслове фразу, сказал:

— Пришла Сусанна. Нам с тобою не имеет смысла обсуждать при ней наши семейные и профессиональные дела. Есть вещи поважнее. У меня сегодня был Слава. (Глаза у Маши сразу вспыхнули и лицо, шея побледнели.) Послушай, Маша, а ты видишься с ним?

Я ведь смею думать, немножко знаю свою дочь. Она, как покойница ее мать, никогда не соврет. И знаю эту породу все копящих в себе женщин. Им иногда надо выговориться. Только поймать надо эту минуту.

— Я видела Славу сегодня на переходе в метро, когда он ехал на работу.

Будто озарение посетило меня. Она ведь любит Славика не скоропелой, забывчивой, сегодняшней любовью. В нем и через него видит мир. Это какая-то артезианская любовь. Раз и навсегда. На всю оставшуюся жизнь. Они не выдумали, не внушили себе любовь, а реши и л и свою любовь, свою жизнь, молодые, средние, пожилые годы и свою старость. Они все знают о себе до конца дней. И тут нахлынула на меня лютая зависть к этой любви, к прочности характеров двух людей, к счастью этой прочности, которого не досталось вкусить мне. Ведь приобщиться к т а к о м у, постоять рядом и то счастье. И тут все, что связано со мною, с моими поисками и желаниями, показалось мне мелким, грязным, каким-то выморочным, показалось измусоленным и ничтожным по сравнению с их простенькой человеческой правдой.

Они не могут жить друг без друга. Какая же сладко-мучительная у них любовь!

— И ты подошла к нему?

— Нет. Я видела, что он опаздывает на работу. Я только на него посмотрела.

Да что же я, изверг? Разве я желаю плохого своему единственному ребенку? Разве я, взрослый и многоопытный человек, не могу переступить через себя, чтобы не мучить свое единственное дитя? Черт с ними, с деньгами, если за них можно купить не только счастье своему ребенку, но и удачу для себя.

— И часто ты не подходишь к нему?

— Часто.

— Маша, я был не прав...

— Так что, папа, сказал тебе Слава?

— Я сейчас тебе скажу. Но выслушай меня, выслушай своего отца, который не желает тебе зла. Я был не прав по отношению к Славе. Ты должна понять меня: я хотел убедиться, что ты его по-настоящему любишь и что он любит тебя. Поезжай сейчас к нему. Он сказал, что его матери очень плохо и врачи ожидают самого неблагоприятного исхода в течение недели. Но запомни: что бы ни случилось, ни произошло, останется она жить или нет, я сделаю все, чтобы вы были вместе. Хочешь, пусть переезжает к нам, хочешь, мы достанем для вас большой кооператив, чтобы одну из комнат превратить в мастерскую и вы смогли бы работать.

— Папа, я не уверена, что Слава примет что-нибудь от тебя.

И тут я злорадно подумал: «Примет, примет». Все мы мазаны одним миром. Гордости хватает, чтобы отказаться от малого, а для большого нужна большая гордость, а она вся повыветрилась. Нет ее.

Я говорил с дочерью искренне. В этот момент я и думал так. Глядя в ее лицо, я ловил в нем тревогу за Славу, испуг, боль, стремление скорее мчаться к нему, к его заботам, но ни разу в глазах не промелькнуло доверие и что-то похожее на благодарность мне. Она не знала и не чувствовала моих проблем, а если и понимала их, то сочувствия к ним, сострадания к отцу у нее не было. На лице отпечаталась отчужденность и досада, что я случайно проник в ее внутренний мир, к тому, что ей кровно и дорого. Моя дочь была на другом, враждующем материке. Она не хотела меня знать, потому что заранее меня знала. Не верила в мою — клянусь, она была! — не верила в мою выскользнувшую искренность. Лучше бы меня не было вовсе, читал я на ее лице. А уж коли я существую и она зависит от меня, то самое большее, на что она могла согласиться, это на гадливое, равнодушное перемирие.

Ну что ж, значит, как и всегда, — один. И все же воин в поле — воин и один. Значит, никому не давать пощады. По крайней мере ясно: надеяться надо только на себя. Тылы мои жидковаты. Значит, тем более ни о какой поездке Сусанны к канадской тетке речи быть не может. Сусанна хотя человек и экспансивный, но не без разума. Понимает: поехать не проблема, вернуться в прежнее беззаботное гнездышко труднее. Вернуться так, чтобы снова была сытая и незаботливая жизнь. Без этого она не уедет. Первое: конечно, соглашаться — пусть едет. Даже внешне радуется этой поездке, дескать, скорее освободит площадку. И чтобы эта беспокойная мысль у нее возникла, мы ей подбросим письмишко: а муженек-то ваш, Сусанна Карапетовна, вострит лыжи, находится в двусмысленной связи с некой юной и до некоторой степени прекрасной сотрудницей. Их видели! Да и вообще, уважаемая телепатка, вы ему изрядно обрыдли, под вашим телепатическим носом ищет он легкомысленные развлечения, увивается возле разнообразных дам. Выбирает. В том числе весьма сочувствующие взгляды бросает ваш профессор на главного хранителя Юлию Борисовну, которая не чета вам, хоть и постарше. Разговаривает она на шести языках, переписывается со всеми знаменитыми ху-

дожниками и доктор искусствоведения. Рекламу может дать Юрию Алексеевичу почище любой, потому что авторитет. Мнение ее, дескать, так же безапелляционно, как мнение газеты «Советская культура». А в зрелом возрасте Юрия Алексеевича, то есть в моем возрасте, главное не легкомысленные успехи, а солидность, польза для искусства и интеллектуальная близость, так что держите крепче штурвал семейной жизни, уважаемая Сусанна Карапетовна, не выпускайте из рук, а то чуть отвлечетесь — и ваш кораблик окажется совсем в ином порту.

Эту акцию мы совершим, так сказать, на затравочку, для создания общего тревожного фона. Здесь пойдут истерики, звонки, объяснения, мы, естественно, от всего будем отказываться, отнекиваться так искренне и так горячо, что поверить нам сможет только невинный шестилетний ребенок, да и тот нынче телевизора насмотрелся — умный. А потом на грунтовке общей нервозности организуем парочку ночных звонков с угрозами, нехорошими словами, лживыми намеками. Все как в жизни, все как в авантюрных романах.

Как дополнительная мера — ремонт машины. Отдадим машину Сусанночки в долгосрочный ремонт, угоним чинить по благу куда-нибудь в другой город. Сломается стереотип, походит пешком по большому городу, ознакомится с общественным транспортом, а мы нажмем на совместные посещения вечеринок и званых вечеров и, если моя драгоценная подруга выпьет лишнюю рюмочку, как всегда, останавливать ее не станем, потому что утром — плохое настроение похмельного синдрома, неуверенность, тремор рук, мои сочувственные взгляды, а там, смотришь, и подскочило давление, началась бессонница — и какая тут граница! Здесь надо о себе думать, в больнице надо отлежаться, привести нервную систему в порядок. Вот так-то.

Нечего меня ожесточать. Я на всех управу найду. Разве природа зря создавала такую совершенную мыслительную машину, как моя? Природа даром ничего не выдумывает. Каждый вид совершенствуется, точится временем. Не только изящные антилопы нужны лесам и полям, но и львы, и носороги, и всякая тварь ползающая, жужжащая, кусающая. Так за дело, мастер. Неудачи и упорство судьбы тебя только ожесточают. Через тернии вперед! «Реалисты» стоят хлопот, стоят свеч, а за Париж надо платить обедней.

Глава III

Что знает эта молодежь, Маша и Слава, обо мне? Почему даже дочь, которая профессионально должна понимать, как многого я достиг со своими средними способностями, каких выдающихся успехов я все же добился, — почему даже она не пытается меня понять, проявить сочувствие? Я выгрыз свое место в этом мире. Ей теперь, живя в огромной комфортабельной квартире, имея все условия для работы, — ей теперь легко рассуждать, что художественно, а что антихудожественно, что нравственно в искусстве, а что нет. А за счет чего она всю жизнь пила молоко, за счет чего имела всегда теплый дом и баранью котлетку, за счет чего перед глазами у нее всегда были картины Юона и Корина, Туржанского, Осмеркина, Моисеенко и Глазунова — так сказать, эстетическое воспитание на дому? За счет этого «антихудожественного». Видите ли, ей не нравится мой предварительный этюд к «Реалистам». Она так и сказала при постороннем, при Славе:

— Папа, ты хочешь, чтобы теперь весь мир узнал, как ты работаешь?

Мы остались вчетвером после поминок по матери Славы. Если мне что-нибудь надо — значит, надо. Что мне эта незнакомая женщина, ее болезнь и ее нищенский дом? Но мне нужен был Слава и — так уж получилось, не наоборот — через него Маша, которая по дочернему

долгу должна была бы идти сама за отцом. И я пошел на эти похороны, мерз в крематории в Никольском, а тем временем Сусанна с какими-то незнакомыми ей женщинами варила борщ, пекла блины, делала гуляш, кутью, резала колбасу и сало на закуску, бегала за водкой. Она понимает, когда припечет, что почем, моя верная жена. Она тоже поняла, чем для нее и для меня могут стать «Реалисты». И если я сказал, что пойдю на похороны неизвестной мне матери моего ученика, я, профессор и директор, день которого загодя распisan по минутам, и если сказал, что хорошо бы ей, Сусанне, помочь Славе с поминками, то моя многомудрая жена, моя сердцеедка тут не устраивала домашний бунт, не принялась спорить и возражать, хотя мы должны были идти на прием во французское посольство. Она сняла с рук все свои блестящие колечки и браслетики — знала, куда идет! — вынула из ушей камушки, каждый из которых по стоимости равен «Жигулям», взяла на кухню фартук, положила в хозяйственную сумку тапочки и тут же, в ночь, отправилась на квартиру к Славику варить картошку, свеклу и морковь на салат и резать колбасу. Значит, и она поняла, что он мне нужен. А может быть, именно Сусанна организовала мне его?

Как много всегда смерть собирает народу. Я жадно смотрел на остренький профиль незнакомой деревенской женщины, на дешевые восковые розы вокруг ее лица, на белую бумажную ленточку с православными молитвами на лбу — может, пригодится? Я жадно смотрел на простой деревянный гроб и лица старых женщин, столпившихся возле покойной, простые лица, изможденные трудной, в поте лица жизнью. И у Сусанны в тот момент лицо было отрешенное, печальное. И у меня лицо было печальное и сосредоточенное. Но ведь нам обоим эта женщина тысячу раз чужая. Мы двое попали на эти похороны по необходимости. Но, может быть, и все здесь скорее в силу традиции, в силу сложившегося ритуала.

Живому — живое. Когда выпадают зубы, надо есть простоквашу, а зубы у меня пока целехоньки. Меня не страшит смерть, разве имеет значение для моей оболочки, в какой ящик затолкают ее, уже начинающую разлагаться? Зубы у меня пока целехоньки, и я с удовольствием пережевываю мясо. Но только волк сразу пускает зубы в дело. Кулак давно перестал быть аргументом в споре. Сосредоточенное, грустное лицо профессора, задумавшегося о бренности живого, да побабьи. пригорюнившееся лицо его восточной жены иногда могут сделать больше.

Расчет был правильный. Еще неделю назад в музее я продумал все точно. Преданного сына надо брать на благодарность, как сома на подухшую лягушку, на память его неизвестной ранее мне матери. Ведь здесь даже Маша, эта овчарка при Славе, не посмеет подумать, что папа играет импровизационную роль в новой пьесе.

Что они, сопляки, знают обо мне? Я ведь уже в двадцать лет решил, что все в этом мире для нас, эгоистов, для людей, посвятивших себя одной сжигающей душу идее, лишь материал для нашего искусства. Нет уже человека. Нет и нет. Все человеческое кончается с жизнью. Остается лишь распадающаяся плоть. Лишь п а д а л ь, как сказал француз Бодлер. Так чего же преклоняться перед этой распадающейся плотью и нянчиться с нею? Ее надо тайно и молча закапывать, не оповещая никого. Разве такая у нас длинная жизнь, чтобы отвлекать живых? Права Библия: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Но я-то делаю живое дело. Сегодняшнее, сиюминутное.

Профессор Семираев мог бы сдать экзамен по актерскому мастерству даже великому Немировичу-Данченко, так искусно открывавшему таланты. Он бы разглядел меня среди видных претендентов, как в свое время разглядел незаметного Москвина в группе уже отвергнутых другими комиссиями. Ну что ж, с грустью скажу себе: какой актер пропадает! Но я сам зритель, сам костюмер, гример, капельдинер,

сценарист и критик. Я хороший актер, потому что умею играть свои необъявленные роли до самого падения занавеса.

Я поставил бы себе четыре за поведение в крематории: слишком много было жадного художнического любопытства в глазах. Но тут же, отправив на своей служебной «Волге» каких-то особо дряхлых старух, а сам вместе с другими старухами, помоложе, поехав на поминки в общем автобусе, я отыграл свой балл. А когда мы с Сусанной мыли на кухне посуду, пока быстро, как положено на поминках, сменились кутья, блины, стопка водки не чокаясь, борщ, еще стопка водки, гуляш, кисель для первой смены старух, а другая ждала своей очереди в коридорчике и на лестничной клетке, пока мы для этой второй смены слаженно, по-семейному — а кому же еще было этим заниматься как не нам, почти теще и тестю? — мыли и вытирали посуду, я думал: «Пожалуй, Семираев, Немирович-Данченко выдал бы тебе диплом с отличием». И еще я думал: «Скорее, скорее. Времени остается мало, уже скоро надо представлять подготовительные картоны, надо скорее переговорить со Славой».

Мы с Сусанной доиграли, как хорошие актеры, все до конца. Когда старухи разошлись, Сусанна вытерла клеенку на кухне, сложила фар-тук и тапочки в хозяйственную сумку, и тут я сказал:

— Слава, ты в музей пару дней не ходи, разберись с хозяйством, отдохни, на утрате своей не фиксируйся, ничего не вернешь, мама от-мучилась. Постарайся отвлечься и подумай о нашей будущей работе.

— А я у же подумал,— сказал Слава.

— Слава за эту работу, наверное, не возьмется,— вмешалась в наш разговор Маша.

— Нет возьмусь. Мне интересно,— возразил Слава,— я у же по-думал и сделал несколько набросков композиции. Это, конечно, лишь общая идея и вам, Юрий Алексеевич, может не понравиться. Я сейчас вам покажу.

— У меня, Слава,— сказал я как можно мягче,— тоже есть общая идея.

В первый же день, когда Иван Матвеевич позвонил насчет «Реа-листов», я начал думать о композиции. А что значит думать? Разве мы думаем? Просто мысль, еще неясная, туманный образ, вернее, параметры задачи: столько-то квадратных метров, такая-то высота, такие-то фигуры — эти условия как гвоздь входят в сознание, и так ходишь, хо-дишь с этим врезавшимся гвоздем, мерещатся какие-то убудочные варианты, и в один прекрасный день, как блеск молнии, все разреша-ется само собой. Иногда быстро, почти немедленно, иногда мучаешься месяцами. Но в первую же ночь после звонка Ивана Матвеевича в мас-терской я посмотрел энциклопедию, прикинул список деятелей куль-туры, перелистал свое собрание открыток с портретами выдающихся людей, и в эту же ночь общая идея моей главной в жизни картины замаячила передо мной. И удивительно, утром эта идея не показалась мне слишком экстравагантной или дурацкой. С каждым последующим днем я все больше утверждался в ней, и в моем воображении она об-растала конкретными подробностями, становилась отточеннее, начала приобретать характер сверхреальности. Мне стало казаться, что так и было... А почему бы и нет? «И поражение от победы ты сам не должен отличать...» Почему свой недостаток, вернее то, что Маша и молодые снобы вменяют мне в недостаток, не превратить в достоинство, в худо-жественный прием моей новой работы? И здесь уже дело техники — несколько карандашных эскизов.

Да, Славочка, да, дружочек. Видимо, мы все мазаны одним миром. Если ты художник, то душа твоя вмещает многое. И добро и зло густо перемешаны в ней. Значит, пока тяжело болела и хрипела в агонии твоя мать, ты, в последний раз взглядываясь в ее еще живое лицо, обду-мывал работу, которая приведет тебя, молодого счастливчика, в Па-риж? А может быть, твоя идея возникла, когда она уже умерла, и, **Вы-**

звал врача, чтобы он установил факт смерти, ожидая звонка в дверь, ты взял лист бумаги и карандаш? Так не разыгрываем ли мы друг перед другом чуткость, горе, привязанность? Горе — это когда срываются планы, когда уходит то, что принадлежит тебе по праву сильного. Так у тебя есть эскизик? Ну что ж, посмотрим. Сначала взглянем, что придумал ты, мой талантливейший ученик. Но сегодня, Славочка, в мои руки удача, я сегодня тоже неплохо подумал. Твоя задача — дать мне еще один дополнительный импульс. Посмотрим, чем мы обогатим друг друга.

— У меня, Слава, тоже есть общая идея, тоже уже готово несколько эскизиков.— Я похлопал себя по карману пиджака, где лежал блокнот с набросками.— Давай, как на военном совете, начнем с младшего — с тебя.

Впервые я смотрел работу Славы без тайной зависти. Идея была великолепна, но она была несколько не моя. Меня всегда поражала простота Славиных решений. В том, что он сделал сейчас, была такая взвешенная спокойная мудрость, как будто он прожил на свете не двадцать пять лет, а шесть десятков. Я смотрел и думал, что судьба дала мне дополнительный шанс: у меня есть талантливейший ученик.

На листе бумаги он нарисовал почти те же лица, что и я. Наши великие соотечественники сидели как бы в трех рядах амфитеатра. Один перелистывал книгу, другой писал формулы, третий размышлял, четвертый о чем-то спрашивал соседа, а сзади них, постепенно превращаясь в огромную, уходящую за пределы картины массу, возникали еще лица и лица — сразу возникала идея народа, который породил, воспитал и выдвинул из своих недр вождей культуры.

Я искренне восхитился этим простым и мощным решением. По внезапно загоревшимся глазам Маши я понял, что набросков она не видела, но они ей нравятся. В лице Сусанны тоже промелькнула тень одобрения.

— Очень хорошо, Слава. Этот эскиз надо поберечь, здесь многое может пригодиться. И если мы не воспользуемся им сейчас, то когда-нибудь ты сможешь разработать его в большую картину.

А про себя я подумал: «Есть контакт. Я получил импульс. Народ я возьму себе».

— А я вот что набросал, Слава, я сам.

Три десятка людей стояли полукругом, вдвинутым в глубь композиции. Они стояли отдельными группками, «по интересам». Поэты, прозаики, драматурги, обсуждающие что-то свое. Стоят свободно, но одновременно чуть позируя, чуть скованно, потому что на переднем плане спиной к зрителям, почти весь покрытый черным бархатом, перед громоздкой треногой стоит фотограф. Он поднял руку, и сейчас все замрут, потому что в этот момент люди, которых никогда нельзя было собрать вместе при их жизни, по знаку старомодного фотографа отправятся к нам, в будущее, в XX и XXI века!

Я знал, что это решение неожиданно не только для меня, чистого портретиста. Здесь были и портрет, и жанр, и мысль, и модное, но ненавязчивое ретро, поэтому даже набросок казался очень по-современному дерзким, почти модернистским. Но сумеют ли трое моих сегодняшних зрителей оценить? Мне, в общем-то, не нужна их оценка. Я знаю цену этой своей идее, но мне нужна была хотя бы объективность.

Первой прервала затянувшееся молчание Маша:

— Папа, ты хочешь, чтобы теперь весь мир узнал, как ты работаешь?

Конечно, это была ревность. Машенька поняла: реализовав в фигуре фотографа все слухи о том, что я рисую не только натуру, но часто пользуюсь фотографией портретируемого, я как бы публично их прекращал.

Да, это я. Фотограф — это я. Но попробуйте придумать такую композицию, попробуйте написать ее так, как пишет ее фотограф Семираев. Гений всегда с изъясном, как самое спелое яблоко в саду — с птичьим поклевом. Но ведь таких верных, как у Семираева, глаз и рук нет на обозримом пространстве. У Маши была ревность за Славу. Она-то, бедненькая, решила, что я сразу сдамся. Я тебе сейчас дам, доченька, бой.

— А я и не скрываю, как я работаю. Важен результат.

— По-моему, — перебил возникшую перепалку Слава, — то, что вы придумали, Юрий Алексеевич, очень интересно. Я бы только заменил фотографа телевизионным оператором с камерой. Или телевизионного оператора поставил где-нибудь сбоку, в другой точке, как повторение вашего мотива с фотографом. Даже пусть они будут оба. Разноцветные кабели, современная телевизионная камера дали бы хорошую декоративность, и появился бы новый смысл: «Реалисты» — двадцатого века. И одновременно две точки зрения: века двадцатого и века предшествующего.

Куй железо, пока горячо.

— А я, Слава, если ты позволишь, подумал бы о том, чтобы за главными персонажами поставить фоном множество людей, как у тебя в эскизе. Одно поколение проецирует смысл своих исканий на другое.

Я говорил все это совершенно спокойно. В эту минуту обостренного восприятия я качал ситуацию, потому что знаю: иногда в течение одной такой вдохновенной минуты можно сделать больше, чем за месяцы выхаживаний и сидений с карандашом, но внутри душа и сознание раздвоены. И другая половина души клекотала. Да откуда у этой молодежи — у дочери! — эта снисходительность тона, да что они знают обо мне?

...Когда у меня есть свободное время, я вызываю служебную машину и еду за двадцать километров от Москвы. Поблизости есть небольшая творческая дача, и шофер, высаживая меня на шоссе, в полной уверенности, что я иду туда, но я прохожу мимо, пересекаю небольшой лесок и попадаю к одной из городских свалок. И тут же слышу резкий птичий гомон, поднимается вспугнутая мною туча птиц, а когда птицы, успокоившись, садятся, привыкают ко мне, я хожу и наблюдаю свою любимую птицу — ворону.

Напрасно она вызывает в других неприязнь и брезгливость. Ворона самая мужественная и самая отчаянная птица. Я никогда не видел ворон парами. И живут ли они парами? Но весной, летом, зимой, как тяжелая молния, пересекает птица небо и, тяжело махая крыльями, ищет свою охотничью долю... У нее есть воля к жизни и мужество. Она не ищет других теплых краев, не квартирует в человеческом жилье, как разная пернатая мелочь вроде ласточек, только по крайней нужде сбивается в стаи, один на один против зимы и непогоды выходит эта мрачная птица. Она ничего не боится, ни собаки, забежавшей на свалку, ни дикого кота. Она умна и осторожна. Мне нравится медлительный взмах ее крыльев. Нравится наблюдать, как, не торопясь взлетев, птица четко, по операциям, словно воздушный лайнер шасси, поджимает под себя сильные лапы и как, схватив, никогда не делится добычей. Схватила, взлетела, унесла. Мне иногда мерещится, что если есть предыдущая жизнь, то я был не зайцем, не волком, а вороном. А если за пределами нашего существования есть, как говорят индусы, какие-то другие перевоплощения, то я тоже хотел бы быть мудрой неторопливой вороной. Этой одинокой и отчаянной птицей.

Как изболелась душа от попреков, которые я вынужден сносить. Что знают они обо мне? Ванька Жуков, русоголовый мальчик, случайно попавший в Москву и счастливо поступивший в обучение к сапожнику? Ломоносов, пробившийся силой таланта, который упал ему с неба? Нет. Был, дескать, своеобразный живописный Клондайк, и при

полном безлюдье Семираев застолбил участок. Время, мол, было такое. Время всегда т а к о е. На время всегда надо жать, давить.

...Да, был талант, был. Русоголовый мальчик перед войной карандашиком так точно срисовывал по клеточкам портреты из «Огонька», что маленькая деревня ахнула. Матушка Прасковья Михайловна всплеснула руками, учительница Лидия Владимировна восхитилась, а отец посмотрел и ничего не сказал.

— Разве плохо нарисовано?

— Нарисовал ты, Юрча, неплохо, но лучше бы ты нашу корову Звездочку рисовал.

— А Лидия Владимировна сказала, что хорошо.

— Ты бы, Юрча, лучше бы Звездочку рисовал или наших деревенских.

— А Лидия Владимировна сказала, что очень схоже.

В классе он самый маленький — метр с кепкой, — арифметика идет плохо, лошади его не любят, потому что слабый он и маленький: скинула его кобыла Зоология, и ребята с собой больше в ночное не берут. Матушка тоже жалеет, то яичко свеженькое принесет: «Выпей, сына», то морковку с грядки, то горсть черной смородины. В кого он только уродился такой маленький? Отец вроде рослый, в Красной Армии служил, культурный, счетоводом в колхозе работает, матушка тоже крупная, статная, а он, Юрча, метр с кепкой. Только Лидия Владимировна его поддерживает, говорит — талант. Она его талант пестует. Он, Юрча, по клеточкам уже многих знатных людей нарисовал, из газет в основном перерисовал или из журнала «Огонек». Лидия Владимировна в поощрение его таланта портреты эти повесила в классе в сосновых рамках. Из города же портреты не привезешь, далеко, деревня глухая, малая.

Он, Юрча, мучается, каждый день подходит к дверному косяку, где у него сделаны зарубки: никакого роста его личности нет. Только карандашиком аккуратно заштрихованные клеточки на портретах его над сверстниками возвышают. Ребята с ним уже осторожничают. Юрча и без клеточек в стенной газете может изобразить. Даже Алексея Кузьмича, родного отца, припечатал. Лидия Владимировна стенную газету колхозную делала и велела Юрче изобразить, как Алексей Кузьмич не вышел на уборку картошки. Тот говорил, оправдывался, что как бывший красноармеец, раненный в ногу, он не может исполнять тяжелую физическую работу, а также надо срочно ему готовить финансовый отчет за квартал. Лидия Владимировна предложила: пусть Юрча нарисует русскую печь, а на ней лежит Алексей Кузьмич, рядом с ним счеты, а печка, из которой идет дым, стоит на картофельном поле, где все работают. Юрча так и сделал, очень похоже, все его хвалили. Правда, сначала ему показалось, что негоже рисовать на печке отца. Отец в непогоду во сне стонал, а утром мать клала ему на поясницу горячий кирпич и растирала, только после этого Алексей Кузьмич мог приподняться и слезть с кровати. Но выслушав Юрчины сомнения, Лидия Владимировна очень вдумчиво на Юрчу посмотрела и сказала:

— Ты же пионер?

— Пионер.

— Тогда будь принципиальным. Субъективные причины могут найтись у каждого. Надо их преодолевать.

Что такое субъективные, Юрча тогда не знал. Но он преодолел. А когда нарисовал и поздно вечером вернулся из школы, где они с Лидией Владимировной украшали газету, то снова себя преодолел и дома ничего не сказал. Утром, в праздник, они все трое — Юрча, Алексей Кузьмич и матушка — пошли к правлению, все собирались туда, потому что должен был состояться митинг. А возле правления висела газета, и все ее разглядывали, читали, хвалили Юрчу за красивую работу. Отец посмотрел тоже.

— Это ты, Юрча, рисовал?

— Я рисовал.

— Хорошо нарисовал, похоже,— сказал отец.— Ты приятный товарищ.

А матушка заплакала. И с тех пор отец все от Юрчи боком, боком. И Юрча очень страдал от этого. Прибежит, бывало, в правление какой-нибудь пацаненок, отец его потреплет по голове на глазах у Юрчи, расспросит, как родители живут и какие отметки получает он в школе. А Юрчу, родного сына, никогда не погладит. И когда в сорок первом в армию уходил на нестроевую службу, тоже не поцеловал, по голове не погладил.

— Прощай, сын.

— Ты бы, Алексей,— сказала мать,— поцеловал сына на прощание, дал бы ему родительское благословение,— сказала и опять расплакалась.

— Мы мужики,— сказал отец,— нечего нам нежности разводить.

Так и не поцеловал. И Юрча этого ему не простил: «Ишь, обиделся за рисунки в стенгазете». А у Юрчи взгляд тяжелый и тогда был и ныне нелегкий, блезливый взгляд, завистливый. Через месяц в северной деревне получили похоронку. Это значит, остался Юрча у матери один.

...Когда я оглядываюсь назад, мне иной раз самого себя становится жалко. Сколько пришлось испытать, преодолеть, перетерпеть, раздавить в себе, а потом сказать: «Ничего, простится в последний раз, в будущем я стану лучше, в конце концов, делаю для великой цели». И самое в той, еще младенческой жизни гадкое из запомнившегося было, когда вернулся однажды пустой и разбитый из школы. Мать тогда спросила: «Ты чего так поздно, Юрча?» Мне бы расплакаться, признаться, ткнуться головой в материнский живот, а я уклончиво ответил: «Мы с Лидией Владимировной занимались арифметикой».

А уже потом все пошло легче! И когда из армии демобилизовался и не остался в селе, хотя мать уже перемогалась и была нездорова, когда не приехал на похороны матушки, когда умерла Мария-старшая. Я только всегда знал, что поступаю жестоко, но успокаивал себя — стечение обстоятельств, роковая необходимость — и мучился, а потом мучиться перестал, как отрубил: хватит, нечего себя растравлять ненужными переживаниями, художник должен отбросить от себя все, что мешает ему двигаться вперед. Я всегда позже был уверен: поступаю так, а не иначе ради своего звездного часа, ради искусства, ради будущего. Всем в то время мне можно было поступиться, все забыть, но не карандашик с бумагой. Уже в школе я понял: единственное, что прибавляет мне роста, помогает первенствовать, это мой острый глазомер, моя верная рука. И после армии, куда меня, к моей радости — лишь бы вырваться из деревни, от хворой матери, от бедности, — куда, к моей радости, меня забрили и я по фотографиям делал портреты ротных сержантов, уже маслом делал, не карандашом, а потом портреты офицерских жен, матерей, дедов, и делал их все согласно невысказанному желанию заказчика привлекательными — красивее, моложе, мужественнее, здоровее, чем на фотографиях, — я еще раз понял, что только здесь мое будущее, оно в моих руках и надо пробиваться во что бы то ни стало. Надо учиться.

Машеньке-младшей повезло, она выросла среди книг, среди альбомов с репродукциями великих произведений искусства. Первыми игрушками ее стали карандаш и краски, и она, вместо того чтобы делать из песка куличики, начала рисоватьдомики. В семь лет она уже писала акварелью, а я, когда поступил в Иркутске в художест-

венное училище, еще не знал, кто такой Валентин Серов. Чем пожертвовала Маша для того, чтобы учиться любимому делу? Ничем. В тринадцать лет у нее появились первые мальчики: телефонные звонки, экскурсии в музеи. А раньше Артек, академический пионерский лагерь. Кто сейчас полезет в чужую личную жизнь, кто станет копаться в грязном белье? Она сумела найти и полюбить Славу. Разглядеть его, завоевать. А до Славы в будни звонил какой-то Дима. По воскресеньям в подъезде вечно толкался курсант из авиационного училища Сережа, вечерами возил ее на папиных «Жигулях» сын космонавта Роман. А я никого не успел полюбить, я был одержим, ежедневно рисовал свои «гаммы» до обмороков, до изнеможения, как Рахманинов, упражнявшийся на слепой, незвучащей клавиатуре даже в поезде. Но я же был молодой, голодный. Разве кипение крови погасишь гаммами? И на первой же женщине, которую я узнал, узнал по слепой, безотчетной страсти, меня заставили жениться.

О эти ревнителн нравственности и справедливости! Сколько в них зависти и холодной желчи подо всем этим! Разве было кому-нибудь дело до внутренних переживаний студента-выпускника Семираева и натурщицы Марии — скромной семнадцатилетней девчушки, живущей в прислугах, или, как сейчас называют, в домашних работницах, у академика-химика. Девушка копила себе на пальто и чтобы купить корову в свое деревенское хозяйство. В деревне ее ждал жених, и девушка совсем не хотела выходить замуж за студента. А студент уже готовился к славе. Он писал, что знал раньше, по деревне: пастухов на фоне зеленых просторов, бабок возле развалившихся часовен, молодых трактористов, полных здоровья и не растраченных городом сил. Он имел мужество не рассусоливать, не обсуждать на бесконечных студенческих пирушках, что бы он написал, если б ему «дали», а, сжав зубы, работал, работал, работал в общезнитии, в учебной мастерской, на каникулах, когда все разъезжались. А потом как потрясение для всех — слух о первой выставке выпускника Института живописи Семираева. У него единственного было что выставлять. Как, у того Семираева, у которого роман с натурщицей? А это нравственно? Вроде кто-то видел, как эта натурщица плакала в уголке. У него талант? Талант тоже должен выполнять свои обязательства! Что-то закрутилось, завертелось, все зашумякались. Хорошо, Иван Матвеевич, тогда Ваня, секретарь их институтского комитета, прямо и определенно сказал: «Юра, если не женишься на Марии, выставки тебе не видать. Расписаться надо до комсомольского собрания. Ясно?» К несчастью, все тогда оформлялось ошеломляюще быстро, никаких трех месяцев со дня подачи заявления, никаких ожиданий. А Маша теперь спрашивает, почему такой молодой умерла ее мать. Что отвечу я ей? За ч а х л а с любимым мужем, завяла.

Неделю назад Маша все же решила продолжить разговор, который так внезапно, и для меня удачно, прервался приходом Сусанны и ее гостей. Уже во втором часу ночи, вернувшись от Славы, она в пальто поднялась ко мне в мастерскую. Я давно знал, что она никогда не говорит, с чем пришла, основная тема возникает позже, поэтому начал с разминочного вопроса сам:

— Ну, как дела у Славы?

— Ужасно. Там неотложка, посторонние люди. Видимо, не сегодня-завтра...

— Ты говорила со Славой?

— У нас все обговорено заранее.

— А что именно?

— Я, папа, берегу его от тебя. Наверное, нам не будет нужна большая квартира. Работать и жить можно и в однокомнатной.

— Чем я так перед тобой провинился?

— Я твоя дочь и хорошо тебя знаю. Я думаю, Слява сам по себе несет в душе целый мир, и ему нужно суметь выразиться. А ты, папа, научишь его разным штучкам, и это его собьет.

— Ты ведь, Маша, во-первых, моя дочь, а во-вторых, моя ученица.

— Именно из-за «во-первых» мне ты менее опасен. Как дочь я лучше всех знаю твои приемы и могу себя оберечь.

— Я имел в виду другое.

— Ты знаешь, что я в тебе ценю. Ты мастер, у тебя верный глаз, но, папа, настоящий художник для меня что-то другое. Как бы тебе объяснить?.. Вот когда слушаешь, например, Эдиту Пьеху, то вроде это приятно и хорошо, а потом ставишь пластинку с песнями Эдит Пиаф — и здесь не думаешь, хорошо это или плохо, здесь все подлинное. Она не вызывает ассоциаций. А если вызывает, то только сама с собой.

— Ты же не пришла со мной ругаться? Мне уже пятьдесят, и меня не переделаешь.

Я очень спокойно вел этот разговор, похожий на диалог из какой-нибудь современной пьесы. Будто бы я не говорил, а холодно и расчетливо суфлировал реплики. Мне давно неинтересно говорить о том, что я и как делаю. Почему-то все мои собратья по цеху ругают меня, даже стало хорошим тоном меня ругать. Но меня не собьешь. Ведь они ругают, потому что хотя бы по мастерству, по доходчивости я выше их. И я иногда боюсь, чтобы меня не сбили. Чем я тогда займу свою жизнь? Ведь тысячи людей, которым нравятся мои произведения, тоже что-то соображают. Пусть я работаю не для мирового искусства, а просто для этих тысяч. А что же, лучше делать шедевры и хранить их на чердаке? Картины, как жемчуг, гибнут, если не входят в соприкосновение с человеческим теплом.

— Ты же пришла, Маша, сказать мне что-то другое. Я даже скажу, зачем ты пришла. Ты уже два года не работаешь, и тебе нравится это безделье. Шкаф у тебя заставлен бутылками — это одно твоё занятие. Ты любишь, скорее очень любишь или хорошо придумала, что любишь, Славу — это второе твоё сладкое занятие. А для того чтобы не работать и всласть заниматься своими занятиями, ты придумала себе нравственную причину. Я тебе скажу, отчего умерла твоя мать.

...На последнем курсе я писал, наверное, самую свою знаменитую картину — «Красавицу». Я писал по воскресеньям в институтской мастерской, потому что Марии ее хозяева давали выходной. У нас не было никакой любви, а просто деловые отношения: за два часа работы с тремя десятиминутными перерывами Мария, ни чуточки не смущаясь, брала у меня тридцать рублей, которые я или отрывал от стипендии, или зарабатывал вместе с ребятами с курса на Киевском вокзале, где мы до глубокой осени разгружали вагоны с овощами. Платили нам так же, как я Марии: закончил работу — сразу получи.

Это была наиболее счастливая моя картина. Она потом объехала весь мир, и ее много раз репродуцировали. На пригорочке стояла девушка, простоволосая, освещенная солнцем, в такой тоненькой кофточке, что сквозь нее, контрастируя с загорелой шеей и руками, просвечивало нежное, не тронутое солнцем тело, просвечивала чуть наметившаяся грудь с розовыми плотными сосками. Успех картины был в выражении лица девушки, в радости нового пышного лета и юной стыдливой женственности. Я чуть стилизовал картину, и, несмотря на современный сельский пейзаж, разворачивающийся за спиной красавицы, ее тонкая кофточка была как бы из другой эпохи. Прозрачная ткань была по вороту обшита речным северным жемчугом, и в розовом ушке у натурщицы тоже лукаво поблескивали, как две капельки молока, две жемчужинки.

Мастерская была холодная, за окном серело, но Мария, уже привыкнув к нашей работе, потому что за последние два года позировала не одному мне, мастерски держала выражение, стояла не ежась, свободно и открыто.

В этот день мне работалось прекрасно. Все практически было завершено, и я делал последние мазки, те мазки, которые кладешь на полотно, уже рискуя, и оно или проваливается, или начинает дерзко дышать жизнью. Перед самым концом сеанса меня что-то не устроило в складках кофточки. Я, положив палитру, подошел, чтобы расправить, как мне хотелось, и, когда коснулся груди Марии, вдруг впервые — может быть, потому, что работа была закончена и я уже смотрел на Марию не как на объект изображения, а как на живую женщину, — вдруг впервые я новыми глазами увидел сквозь прозрачную ткань эту грудь с мелкими от холода пупырышками вокруг сосков; и впервые мне, еще не испытавшему близость с женщиной, в голову ударила кровь. Ударила почти до обморока. Но я сдержался. Голова всегда была у меня ясная, холодная. Я сдержался. Когда отходил обратно к мольберту, досчитал до десяти и успокоился. После сеанса на радостях, что работа закончена и, кажется, получилась, мы пошли в кино и сидели рядом. В таких случаях всегда говорится: «Они не видели картины», однако фильм я хорошо помню, но почему-то — вероятно, я еще не остыл от работы — несколько раз во время фильма вдруг всплывала в моей памяти одна и та же деталь моего портрета: прозрачная кофточка, под которой нежно светился и розовел упругий сосок. Сейчас я бы сказал, что вело меня подсознание, сейчас, со ссылками на Фрейда и без него, я мог бы все объяснить, но тогда, иззябнув на улице после фильма — Марии возвращаться к хозяевам было еще рано, — я упрямил, затянул ее снова в институт, в мастерскую. Мы поставили электрический чайник, хранившийся от пожарников под грудой реквизита, я растирал Марии побелевшие от холода ладошки, а потом как-то сам собой размяк мой ясный, рассудочный характер, я шептал какие-то слова, ничего не хотел предвидеть и думать о последствиях, и случилось все то, что и должно было случиться, когда двое молодых людей остаются вместе, когда в полумраке парует, посвистывая, чайник, на улицах холодно, метет поземка и согреться можно, лишь тесно прижавшись друг к другу.

Потом по воскресеньям мы еще несколько раз встречались. Я начал другую работу, Мария мне позировала, и, хотя я с нетерпением ожидал окончания сеанса, отношения наши не стали иными. Видимо, чтобы не чувствовать себя обязанным Марии, не быть зависимым, после каждого сеанса я по-прежнему давал ей обусловленную ранее сумму. И нас обоих это устраивало. Лирика лирикой, а дела делами. Мария даже рассказывала мне о своем женихе, который сейчас в армии, но скоро демобилизуется. Рассказывала, какой они построят дом и что корову назовут Звездочкой.

Я как-то спросил:

— А ты бережешься?

— Берегусь. Мне одна знакомая фельдшерица все рассказала.

Но ты тоже осторожничай.

А потом внезапно Мария сказала, что беременна. У меня все внутри похолодело. Что делать? Что? Я совершенно не владел ситуацией. Мне сразу показалось, что в моей жизни все закончилось. Дальше пойдут пеленки, детский крик, поиски заработка. Увидев мое побелевшее лицо, она встревожилась:

— Ты не волнуйся. Юра. Мне фельдшерица обещала все сделать.

— Тебе деньги нужны?

— Деньги не помешают. — спокойно сказала Мария. — У меня-то деньги есть, но я ведь на корову коплю. А грех у нас общий.

Но денег не потребовалось.

В тот день я успокоился и подумал, что Мария молодец, современная девушка и все неприятное кончилось, позади. Но отношения с ней надо прервать. Надо найти себе опытную вдовушку, чтобы хорошо было и сытно. Но мне в то время было и не до вдовушки, потому что возникла идея выставки в Доме студентов, начались всяческие комиссии, показы, выставкомы. Мне бы поговорить с Марией, сходить пару раз с ней в кино или кафе «Молодежное», проявить внимание. Затурканный работой, учебными делами, дипломной картиной, я ослабил бдительность, и Мария кому-то выплакалась на плече. Кому-то из знакомых парней в институте. Поползли слухи, заработали завистники. Под вопросом оказалась выставка. Я снова кинулся к Марии, а она за меня замуж не хочет. Она не хочет замуж, не хочет ребенка, она хочет обратно к себе в деревню, она хочет дожидаться своего жениха. И здесь Иван придумал иезуитский ход. Разыскал и крепко припугнули фельдшерницу: в то время аборт были запрещены. И вот когда Мария оказалась в положении безвыходном, она под диктовку Ивана написала все облитое слезами письмо жениху и вышла за меня замуж.

Разве я могу сказать Маше, что она незапланированный и нежеланный у матери ребенок?

Выставка дала нам комнату в коммунальной квартире. После рождения Маши Мария очень пополнила. Целыми днями она ходила по коридору и кухне растелешенная, в стареньком застиранном халате. Ничто, кроме маленькой Маши, ее не интересовало. Я смотрел на нее и думал: куда делось мое, хоть и крошечное, чувство к ней? Неужели эта молодая женщина послужила моделью моей знаменитой «Красавицы», которая к этому времени была уже растиражирована в тысячах экземпляров?

А я начал вести какую-то удивительную жизнь. После выставки стал модным художником. Если мои товарищи по цеху к выставке отнеслись довольно сдержанно, то широкая публика оценила ее очень высоко. Для многих портреты — без ухищрений — простых людей и мои простенькие пейзажи стали открытием не потому, что я изобрел или показал что-то новое, а потому, что в предшествующие годы художники этого не писали. Скромный деревенский пейзаж уступил место, потеснился перед краном-балкой, оказалась забытой выразительность лица сельского жителя, ибо в деревенском портрете на первый план выставлялась не человеческая сущность, а признаки сельской профессии. Если наша братия, художники, быстро сообразила, что мои работы — это скорее реставрация старых традиций в живописи, а приемы письма — просто приемы более локального, обобщенного современного стиля, то для иностранцев, часто не видевших и не представлявших богатств и традиций русской школы, я оказался неким модным Колумбом. Среди иностранной колонии в Москве на меня возник спрос. Я делал портреты шведских и итальянских дипломатов, французских киноактрис, писателей и журналистов, навещавших в то время Москву из-за рубежа. Все это накладывало лихорадочный отпечаток не только на ритм работы — пока карта идет, надо торопиться играть, а вдруг сорвется, снимешь кон! — но и на сам образ жизни.

У нас в комнате, где мы первоначально жили с ребенком и где была у меня и мастерская, постоянно толклись какие-то люди. Я не стеснялся нашего скромного быта, потому что понимал, что и он служит своеобразной рекламой: условия, в которых работает русский талант! Я даже не настаивал насчет их улучшений, правильно рассчитав, что это еще впереди. Но Марию весь наш быт ужасно раздражал. Она понимала, что при людях надо подтягиваться, заниматься уборкой, а ей этого не хотелось. И не по лености: она не любила мою работу, мой образ жизни. Ей по-прежнему хотелось только одного — к себе в деревню, в привычное русло и к привычным

отношениям. Она все время нервничала. У нас часто бывали скандалы, и, уже отойдя после них, расслабившись, она говорила:

— Не могу я так, Юра, брошу я тебя или отравлюсь уксусной эссенцией.

И всегда самым ненатуральным голосом, подразумевающим не-серьезное отношение к ее навязчивой идее, я говорил одну и ту же фразу:

— Дурочка, обожжешь пищевод и связки, останешься калеккой. Травись лучше моим растворителем для красок, там есть дихлорэтан — сразу бьет наповал.

Так мы и жили, каждый сам по себе, пока Маше не исполнилось пять лет и мы не переехали в новую двухэтажную квартиру с мастерской в реликтовом доме. Большая квартира, представительная мастерская диктовали свой образ жизни. То есть, по сути дела, он оставался таким же: работа, работа и одновременно какие-то встречи на стороне и постоянные люди в мастерской и в доме.

В новой квартире Мария ассимилировалась еще хуже, чем в нашем прежнем жилище. Все оставалось по-прежнему: слезы, надвигающаяся полнота, быстрое старение. Единственное, что поддерживало Марию, которой были не интересны ни мои друзья, ни мои посетители, это проснувшееся в ней стремление обихаживать наше жилище. Проснулись навыки юности — не сибаритствующей натурщицы, а вышколенной домработницы академика. Она мыла окна и полы, вытирала пыль, перетряхивала ковры, развела цветы, и поэтому приходящие к нам люди мешали ей теперь больше, чем раньше. Ей нужно было к ним выходить, потому что я честно старался приохотить ее к своему миру, надеялся, что встречи с образованными, много знающими людьми разовьют ее и если не сделают более культурной и тонкой, то хотя бы наведут внешний лоск. Мария же принимала эти попытки в штыки. Как-то она даже предложила:

— Юра, не тащи ты меня, когда приходят гости, не знакомь. Если что надо принести или подать, я и так принесу. Пусть думают: ходит какая-то баба, может, домоправительница, а может, домработница. А я буду сидеть у себя в комнате. Дел у меня много — и постирать, и зачинить, и Маше книжку почитать. А то я возле тебя сижу дура душой, слушаю умные разговоры, а сама разрываюсь: и то не готово и другое не сделано.

Естественно, я категорически отверг этот способ ее отвлечения от моих забот, но однажды, когда на меня нагрянула целая банда итальянских журналистов, которые, как я понимал, побывают у меня в мастерской один раз (посещение это стало частью официальной программы многих визитеров) и исчезнут навсегда, ни я, ни Мария их больше не увидим, — и вот когда человек восемь атаковали меня расспросами, веселили через переводчицу, рассказывая самые новые римские истории, и веселились сами, когда в мастерской среди моих картин загремел чей-то портативный магнитофон с песнями входящего в моду на Западе певца, в момент этого содома Мария внесла поднос с бутербродами бутылками вина и графином кваса, и я вспомнил — исключительно ради экономии своих сил и сил Марии, чтобы предельно сократить процедуру пребывания гостей, а то начнутся представления комплименты, вопросы о ребенке и т. д., — вспомнил о предложении Марии и ни с кем ее не познакомил, а она, расставив принесенное на столе в сторонке, не задержавшись, ушла. Вечер оказался длинным и каким-то беспечным. Жизнерадостные журналисты против своего обыкновения совсем по-русски принесли с собой в спортивных сумках изрядный запас выпивки — виски, джин. тогда это было в новинку, — все пошло в ход, я много и наравне с гостями пил когда все пьют, то выпивки обязательно не хватает, и я хорошо помню, что перед расставанием я открыл дверь, ведущую из мастерской в квартиру, и громко крикнул:

— Мария, в моей комнате в шкафу, на второй полке, бутылка столичной, пожалуйста, принеси нам! — И тут, помню, я еще и пошутил и для иностранцев, и для себя, и для Марии. — Но только, пожалуйста, Мария, — крикнул я, — не перепутай с бутылкой дихлорэтана!

Это была роковая шутка.

На следующий день Мария была мертва.

После ее похорон я стоял у окна в мастерской и смотрел во двор, грязноватый, покрытый серым от копоти снегом. Огромный, поднимающийся над ним вяз был весь разукрашен вороньими гнездами. Время было почти вечернее, серое. Вороны нестройно и страшно кричали. В мастерской за столом сидела Маша и, аккуратно макая кисточку в стакан с водой, что-то изображала. Вдруг Маша подошла ко мне, положила подбородок на подоконник и тоже стала смотреть на двор, на вяз, на ворон, а потом внезапно спросила:

— Папа, а что такое дихлорэтан?

...Как же я могу рассказать Маше, отчего умерла ее мать! Можно рассказать, только рассказав все. Но отцу — дочери? Отсрочку в свое время я получил. И вот теперь слова были найдены.

— Ты пришла, Маша, чтобы утвердиться в своем нравственном праве не работать и продолжать жить той жизнью, которой живешь. Так я скажу, отчего умерла твоя мать. Мама очень любила тебя. Но ни она не любила меня, ни я ее не любил. Ты спросишь, почему же мы тогда поженились? Потому что уже была ты. Я не бил маму, не обижал, но она хотела жить своей, другой жизнью. У мамы, правда, была плохая наследственность, отголосок которой я вижу в твоём безволии и нежелании взяться за работу. Но главное в другом: мама зачала с нелюбимым мужем и стала искать свой выход.

Слово было найдено раньше: мама зачала.

Глава IV

Жизнь разве измеряется годами? Она, как поется в популярной песне, измеряется мгновениями, моментами напряжения всех твоих сил. Ситуация — вот пульс времени. Ты чувствуешь себя хозяином, когда владеешь ситуацией, когда созрел, чтобы дать бой. Когда холодная, леденящая душу, но беспроегрышная отвага несет тебя вперед. Распрямяться — это в характере, в природе живого. Ветер гнет лозу, но чуть поутих — и снова она поднялась во весь рост. А может быть, когда дерево наберется силенок, когда обрастет мощным корьем ствол, оно и не гнется?

Разговор на кухне после смерти Славинной мамы — мой Аустерлиц, мой маленький домашний Тулон. Ведь, наверное, стремясь завоевать любовь и уважение человечества, мы прежде всего рассчитываем выиграть бой на своем семейном плацдарме. В родном отечестве нет пророков. Но именно возле своих виноградников настойчиво пророчит всевидец, здесь ведет главную тяжбу. А я устал от сопротивления дома, от противоборства Маши. Борьба на два фронта изнуряет. Я ведь какое-то время махнул на нее рукой. Пускай варится в собственном соку, пускай занимается Славой, пускай имеет собственное мнение, благо с ним помалкивает. Благо когда собственное мнение выражается в форме молчаливого неодобрения. Это я переживу. Но после того, как возникла идея «Реалистов», дочь стала агрессивной. Здесь уж дудки! Она боится моего влияния на Славу? Ищет правду вообще? А родной папа — самая близкая и доступная арена для упражнений в правоборчестве, родной папа вроде куклы, на которой самбист отработывает свои приемы? Пора распрямяться. Наступать нельзя, имея в арьергарде противника. А если уж все складывается так, что судьба выделила тебе мгновение удачи, то не воспользуется им лишь трус.

Тогда, на кухне, я сразу понял, что в этот вечер надо постараться взять все. Я не должен уходить от разговора, раз я уже узнал, что по крайней мере Слава мне не враг, мы уже почти работаем вместе, мы уже почти союзники против Маши. Разговор с дочерью надо вести при нем как при арбитре. Аргументы мы найдем, тем более что аргументы продуманы, они продуманы заранее, как у домашнего вора, который, заходя в комнату, где под бельем на полке в шкафу лежат деньги или золотые побрякушки, еще не открывая дверцу этого шкафа, на всякий случай уже знает, что он скажет, если кто-нибудь войдет, как объяснит, почему оказался здесь в неурочное время и что ему якобы надо в этом шкафу. Аргументы известны. Психологический настрой разговора? Откровенное, почти семейное выяснение отношений. При своих, спокойно, искренне, уважительно. Обнаженная, наглая правда. Ну что ж, вывози еще раз своего баловня, судьба!

— Ты, Маша, все время подчеркиваешь, как я работаю. В твоих словах подтекст о какой-то моей постыдной тайне. Я готов с тобою поговорить.

На минуточку я как бы забываю о Славе и Сусанне. Мы по-прежнему сидим вчетвером вокруг кухонного стола, накрытого чистой, но заношенной клеенкой, но гляжу я только на дочь. Я не обращаюсь взглядом за помощью к окружающим. У меня наболело, и я говорю отечески, с той степенью взволнованной искренности, которая подразумевает, что говорящий в пылу доказательств может проговориться. Плоховато меня знают, если так думают! Это похоже на крик в кабинете: я спокоен, как лунная поверхность до эры спутников, расчетлив, как белый медведь, выжидающий у лунки нерпу, чтобы ударом лапы перебить ей хребет. Ну что. Маша и Слава, ушки у вас на макушке? Но вы услышите лишь то, о чем раньше шушукались. И вам не о чем будет больше шушукаться. Вот она, сила гласности: проступок становится поступком, когда о нем не таясь, как об осознанной необходимости, говорят при всех вслух.

— Слава человек деликатный,— продолжаю я, все так же пристально вглядываясь в лицо дочери. Глаза она не поднимает. Рассматривает и вертит на пальце дешевое серебряное колечко с бирюзой, которое ей досталось от матери.— И Слава, дорогая дочь, после твоего бестактного замечания, как я работаю, постарался увести разговор в сторону, но я хотел бы сейчас вернуться к нему. Мы сидим здесь все люди близкие, почти семья. И я готов, Маша, для всех во всеулышание, не только для тебя, расшифровать твои прозрачные намеки. Я очень жалею, дочь, что мы с тобой на эту тему не договорили раньше. Ты воспользовалась своим правом члена семьи и поступила не совсем этично, вторгнувшись в мое личное. Для Славы и Сусанны я поясню: ты подобрала ключи и вошла в мой кабинет в мастерской. Ты, Машенька, не лишена пространственного мышления, поэтому, видимо, уже поняла, что между мастерской и кабинетом выгорожена еще небольшая темная комнатка. Ну и что ты там нашла? А? Орудия пыток? Робота, который пишет за меня картины? Артель моих тайных помощников? Что?

Дочь поднимает на меня ненавидящие глаза. Враги! Я понял, что на всю оставшуюся жизнь будем врагами! Боже мой. Семираев, что ты делаешь, ради чего? Ради чего ты позоришь собственную дочь перед женихом ее? Ты ведь знаешь, что, торопясь, ты просто забыл связку ключей в двери кабинета. Не задернул книжный шкаф, прикрывающий вход в тайную. Но, видимо, Семираев, тебе некуда отступить, потому что ты до мозга костей художник и до мозга костей заражен честолюбием. Ты подступил к запланированным вершинам, и тебе осталось только — штурм! И ты растопчешь свое отцовское сердце.

— Ты, Машенька, поступила безнравственно дважды: вошла в чужую мастерскую и плохо подумала об отце и учителе. Ты думаешь, я не осмелюсь при Славе и Сусанне сказать, что ты нашла в этой ком-

нате? Ты нашла фотолабораторию, мокрые отпечатки и поняла, что часто я снимаю, фотографирую своих портретируемых, перед тем как начинаю их писать. Но я тебе скажу даже больше. Ты нешла в стене щели с задвижкой. Туда становится автоматическая камера, предварительно наведенная на портретируемого, который, не зная об этом, сидит в мастерской в кресле. У меня здесь много приемов. Или навожу фокус на кресло, или ставлю фокусное расстояние по метражу, а кресло передвигаю на размеченные места. Ты знаешь, я человек с воображением. И камера автоматически каждые десять секунд делает снимок. Тридцать шесть снимков. Как в шпионском фильме. Итак, чтобы тебе был понятен процесс... Зарядив камеру, я возвращаюсь в мастерскую, включаю музыку — обычно Вивальди или Моцарта, эти композиторы делают людей безмятежными, расслабленными — и фотографирую, фотокамера начинает работать в заданном режиме. Я вижу, Слава и Маша, у вас удивленные глаза, вам кажется, что это нарушение каких-то правил. А каких? Я разве по клеточкам создаю свой портрет? Вы видели когда-нибудь, чтобы мой портрет был раскрашенной фотографией? Был без выдумки, был без какой-нибудь острой детали? Но разве в таком случае я не имею права изучать свою натуру? Не имею права изучать ее всеми доступными мне способами? Ведь у микробиолога объект его исследований такая мелкая частица природы, что он пользуется микроскопом, а от астронома звезда так далеко, что он пристраивает к окуляру телескопа. Так что же, запретить им пользоваться увеличительными стеклами во имя того, чтобы данные их наук были более личными?

— Наука! — врезала в мой монолог свою реплику Маша. — А мы занимаемся искусством.

— Ты не права, Маша. То, что ты говоришь, это обскурантизм. Мы на своих полотнах проецируем мир как его видим, то есть как его мы наблюдаем. Но, чтобы наблюдать, надо видеть. Здесь мы имеем право пользоваться всеми современными приемами. Вот сейчас мы начинаем работать над большой фреской, скажем, над большой картиной. Разве кто-нибудь из нас видел Белинского, Салтыкова-Щедрина, Чайковского? Но писать-то мы их будем по чужим портретам, по сделанным кем-то фотографиям. В чем же здесь разница? В чем же тогда обвиняешь ты, Маша, меня? Я кончаю. Давайте похороним этот инцидент. И давайте втроем спокойно работать. Я готов все забыть. Все это меня, положила руку на сердце, не обидело, потому что я не нахожу ничего постыдного в самом факте.

Так я сказал.

Но я-то знаю, зачем мне нужны эти фотографии. Я знаю изъясн, который природа мне дала в отместку за верную руку. По складу своего дарования я копиист, мелкий копиист, которому не дано зажечься непосредственно от самого огня природы. Моя стихия — поправки, дополнения, уточняющие моменты, соавторство. Мне нужен импульс. Я зажигаюсь лишь от опосредованного факта. Я способен сделать гениальным хороший этюд своего ученика. Выправить интересно задуманную картину до первоклассной. Я способен уловить яркую, самобытную, острохарактерную натуру, но выявить скрытый огонь в ней или тайный порок на стертом, невыразительном лице я не в состоянии. Это будет похожее лицо и не более. И здесь на помощь мне приходит фотография с ее разоблачающими возможностями. В мгновенном стоп-кадре иной раз больше откровений, чем в автобиографии или миллипейском досье. Фотография дает мне ту канву, по которой я уже вышиваю своими красками, направление идеи, которую я уточняю, прибавляя свое, и довожу до нужного мне звучания. Здесь я могу выбирать. У меня в руках дюжина зафиксированных состояний портретируемого и невысказанное, тайное желание: как человек видит сам себя. Да, и здесь надо догадываться. быть психологом, сердцеведом, потому что тайное желание не бывает однозначным. У него есть

первооснова: каждый хочет себя видеть умным, благородным, талантливым и по возможности привлекательным. А дальше в соответствии с умом, возрастом и профессией. Умным людям нельзя льстить слишком. Некрасивых надо делать только привлекательными. Актеру можно приписать все положительные качества, он с этим согласится. Начальствующие дамы любят, чтобы их писали в старинных интерьерах. Молодые технократы хотят в своих лицах видеть жесткость суперменов. Очень умного человека можно написать жестоким и властным. Люди по натуре жестокие любят сентиментальные аксессуары: цветы, собак, птиц. Общественные деятели должны выглядеть ре-пре-зен-та-тив-но.

Я иногда смотрел на Машу, когда она училась, и поражался: откуда она все брала? из каких своих тайников? почему так быстро, небрежно и весело работала? За два сеанса она делала с натуры такой эскиз, на который мне потребовалась бы неделя. Счастливым талант. Ей не нужно было долго анализировать натуру, как мне, отбирать и рассматривать отпечатки: казалось, только взглянув, она уже знала, как писать. Только мельком взглянув! И дальше уже писала по памяти, писала саму душу, суть модели, а внешняя похожесть — лицо, манера держаться, руки — все это возникало как следствие, само по себе, рожденное этой сутью. И ей так всегда было мало надо, чтобы написать портрет. Всего глаз, прядь волос, закрывающих половину лица, как на ее незаконченном автопортрете, чуть наметить овал лица, прописать руку — и все. Счастливая экономность, рожденная спецификой, дарованная. А мне нужен весь протокол: и галстук, и булавку в галстук, и отражение в этой булавке, и каждый завиток волос, и глаза, и морщинки под ними, и пористость кожи, и волоски на запястье... На это уходила уйма времени. Я-то знаю — все решает талант. А копиисту, чтобы маскироваться, должно придумывать себе виртуозную манеру. Маша могла бы написать сырой блин вместо лица да два обшитых обшлага, как у сухорукого Репина, и было бы похоже. А я давлюсь, мучаюсь и колонковой кисточкой выписываю каждый волосок.

Ничего не поделаешь, мне нужен импульс! Всем нужен импульс, но не каждый справляется с ним. Это было бы очень легко, если бы каждый мало-мальски умеющий держать кисть в руках, пользуясь и м п у л ь с о м, перерисовывал бы портреты с фотографий. Я недаром обшарил почти все музеи мира. Я недаром в студенческие годы написал не один десяток копий. Пока мои сверстники витийствовали за рюмкой водки, прижимали миленьких подружек в подъездах к пыльным батареям, я как проклятый одну за другой на каникулах писал копии в Третьяковке, в Музее имени Пушкина, в Русском музее. Я копировал пейзажи, жанровые картины, натюрморты, портреты. Я никогда не соблазнялся суетностью, чтобы продать уменьшенную копию «Неправного брака» или «Сватовства майора». Эта суета могла принести деньги, но отняла бы столько времени... В молодости, когда ум так быстро впитывает новое, когда для сна хватает пяти часов и, кажется, сами пальцы готовы запомнить чужую манеру, дороже всего должно быть время. Оно самое большое сокровище. Я знал, уверенный в своем призвании и надеждах, что закладываю фундамент для будущего, кую свое благополучие и, если повезет, славу. И поэтому безжалостно — денег-то и на лишний загрунтованный холст не хватало, — безжалостно, только закончив одну копию, доведя до возможной для меня в ту пору степени совершенства, безжалостно соскабливал еще не затвердевший красочный слой, чтобы написать новую, следующую. И не было чувства отчаяния или сожаления, когда лезвие мастихина разрушало гармонию и красоту, повторенную мною вслед за великими мастерами, не было сожаления, когда я представлял, что не пересчитаю, а рву в мусорную корзину синие пятерки, соблазнительные розовые десятки, зеленеющие, как молодые водоросли, полусотенные, которые

могли перейти ко мне в руки от ценителей первоклассных копий. Я отверг предложение одного шустрого любителя, восхитившегося моим исключительным умением выдерживать не только рисунок, стиль автора, но и фактуру чужого мазка, густого пастозного или подсвеченного изнутри мелкими прозрачными лессировками, — я отверг вполне деловое предложение организовать вместе с этим любителем некий синдикат по производству «неизвестных» шедевров крепостной живописи, найденных якобы по глухим углам, в маленьких городках и на чердаках у умирающих старух из бывших. Как ни близки были, ни желанны эти соблазнительные деньги, я поборол искушение. Мне дорого было время, потому что молодость проходила, я торопился выучиться, чтобы во всеоружии встретить жизнь.

Мои товарищи по учебе говорили: «Наше время — время динамики. Кому нужны мелкие штудии? Ты перерисовываешь Федотова и Крамского — так никто теперь не пишет. Надо работать размашисто, как Матисс или Леже. Юра, кому нужно твое вышивание? Ты учишься вышивать гладью, а жизнь заставляет кроить парашюты». Но я знал, что делал. Я наизусть, на память смог бы повторить лучшие картины Третьяковки или Русского музея. Импульс должен быть отработан, огранен. И уже помимо моей воли, когда глаз скользит по пробным фотографиям в тайной фотолаборатории, память, как листы расписаний в автоматических справочниках на вокзалах и в аэропортах, переворачивает передо мною образы мирового искусства. Я ничего не возвращаю, я творчески заимствую. Не komponуется фон? А что там напридумали мастера раннего Возрождения? Не ложится плоское, невыразительное лицо современной модели? А мы не будем его делать иным. Мы его обобщим и стилизуем под старинный портрет. Стилизуем чуть-чуть, придадим некую метафорическую недосказанность и обобщенность символа. Предшественники все сделали, все изобрели, умело komponуй и прячь концы в воду, мастер! И всегда учись, никогда не ленись лишний раз заглянуть в монографию о великом живописце. И не стесняйся: курочка клюет только по зернышку, а бывает сыта. Ищи — и обрящешь. Разберется в истоках только такой же хитрец с извращенным сознанием, как и ты. Только человек с извилистой, многомерной душой собирателя на дорогах и тропинках сделанного. Но тебя уже никто не обвинит. Ты слишком известен. Слишком много сделал парадных портретов. Пока живы традиции, мы не пропадем. Они нас выручат, вывезут, прославят, спасительно позволят сослаться на них!

А может быть, и не было быстрых гениев? Может быть, эти гении, эти Рафаэли, запершись в своих мастерских, неделями и годами отработывали композицию и цвет, выверяли форму и ракурсы, а потом, спрятав подготовительные эскизы в дальние папки, прилюдно под звуки лютней и флейт приглашенных музыкантов, под щебет знатных дам и роскошных куртизанок, под вскрипы учеников, впадающих в угодливый экстаз перед несравненным мастерством мэтра, эти Рафаэли, эти прославленные Аппелесы в нарядных камзолах, ведя игривую куртуазную беседу, творили к вящим легендам свои хорошо выверенные экспромты? Может быть, все, так же как и я — в поте лица, в напряжении всех духовных сил, в мелком заимствовании у предшественников, — добывали свою великую славу и право быть непогрешимыми? Но почему тогда столько шедевров у каждого! А у меня, известного, знаменитого, лишь много портретов и картин. Впрочем, два шедевра есть и у меня. По большому счету. Настоящие. Недаром, как талисманы, я их не продаю, не отдаю музеям. В скромных рамках висят они у меня в мастерской. Портрет Марии-старшей и матери. Наверное, кистью водило первое желание, первое страстное, захватывающее стремление обладать чужой, женской плотью. И все же нет. Настоящий, для знатоков, шедевр один. «Красавицу» Марию я ведь сфотографировал — на снежке в Сокольниках, в жемчуге первого

иней, в бликах первого, предвесеннего, еще февральского красноватого солнца. А потом помогла верная рука и несравненный Венецианов. Мать! Здесь память, и горечь, и раскаяние, и любовь к себе, к своей грешной, славолюбивой плоти, к своему желанию жить и выиграть жизнь, за которую она, мать, первая заплатила...

Я приехал в деревню через месяц после своей первой персональной выставки и разминулся с телеграммой, потому что ехал поездом. Мать уже похоронили. Она была последней, кого похоронили на нашем деревенском кладбище. И наша изба была в бывшей деревне последней, еще уцелевшей с тех пор, как всех за год до того переселили на центральную усадьбу и бульдозер порушил стены домов и построек. Изба, колодец, пустой сарай для коровы, а вокруг прямо к избе, к колодцу, небольшому огороду подступало поле овса. Было жутко оттого, что наш проселок вел только к одной избе; мать вместе со всеми не поехала. Она написала мне, когда пошли разговоры о переселении, и я ответил, чтобы тянула, никуда не двигалась, покуда не приеду. Она стерегла хозяйство и все мои этюды, наброски, которые я каждое лето, не имея еще квартиры в Москве, свозил к ней. Я ей написал: «Ничего не трогай. Я все разберу сам. Когда-нибудь это будет стоить большие тысячи». По моей просьбе — тогда это было еще немодно — мать несколько лет собирала иконы из покидаемых домов, старые расшитые полотенца, прялки, утварь, ходила даже к умирающим бабкам в дальние деревеньки. Я ей наказывал брать все — и, с ее точки зрения, плохие и хорошие. Потом я сам рассортирую. И с таким грузом она тронуться не могла.

До материнской избы меня никто не провожал. Наши свойственники, которых я встретил на центральной усадьбе, смотрели на меня косо, как на пьяницу или непутевого. Меня в чем-то будто подозревали. Ну черт с ними, тогда же сказал я себе. Родни у меня больше нет, и в дальнейшем, когда появилась у меня мастерская, а «Огонек» несколько раз печатал репродукции с моих картин, вдруг приехал кто-то из родни с сумкой, медом, с нашим пахучим малиновым вареньем; я попоил незваного гостя чаем на кухне, собрал все его дары и сказал: «Сегодня можешь переночевать, но чтобы это было в последний раз». Нет у меня родни. Я один за себя.

В избе все было прибрано, мои этюды хранились в холодной летней половине. А в зимней еще пахло матерью, долгой ее болезнью.

В избе я прожил четыре дня. На следующее же утро пришел бригадир, постучал кнутовищем в окно и, не здороваясь, сказал: «Ты скоро уезжаешь? Я собираюсь запахивать и это место». Четыре дня я подкапывал картошку на огороде, резал зеленый лук и ел без хлеба с прошлогодними солеными грибами. С утра до вечера я смотрел старые свои этюды, увязывал в пачки и накануне отъезда, когда бригадир рано поутру должен был пригнать мне грузовик под имущество, я вдруг подумал, что почти не помню лица матери. Помню ее руки, тепло и уют, которые она распространяла вокруг себя, а лица не помню. Помню лицо своей первой учительницы Лидии Владимировны, помню угрюмое лицо отца и его недоверчивый, недоуменный взгляд, который он часто останавливал на мне, а лицо матери забыл. И вдруг ночью непонятная, иррациональная паника овладела мною. Я начал вспоминать это лицо. Я засветил две керосиновые лампы, поставил мольберт и в зловещем разгроме переезда, в неприбранной избе с разбросанными вещами и остатками пищи на столе начал вспоминать...

Руки, оказывается, помнили, помнили лучше, чем мои глаза. Черту за чертой я вспоминал лицо матери. Я написал ее, в осеннем теплом платке стоящей возле старой яблони с облетевшими листьями и с одиноким, тронутым морозцем яблоком, чудом уцелевшим среди ветвей. Здесь так пригодилось мое умение писать все «до конца», до каждой морщинки. Две керосиновые лампы отбрасывали на стену мою

чудовищную ломающуюся тень. Мне стало страшно, и как в детстве бывает страшно и кидаешься к матери, так и я кинулся к памяти о ней, силой своего искусства пытаюсь в ее старом доме, где она прожила жизнь, вызвать ее, оживить ее своим сыновьим чувством, пытаюсь хоть на мгновение увидеть ее перед собою.

Работая тот раз, я будто бы ничего и не придумывал. Рисунок возник сам собою: старое дерево и старая женщина. В ту ночь я работал и гнал раздумья от себя прочь. Но невольно я все время задумывался над тем, как же сильно у простых крестьянских людей чувство крови, чувство родного. Ведь ни разу не поступила, чтобы было удобно только ей. Я написал, и она стала ждать меня в разоренной деревне, твердя: «Вот приедет сын, тогда и я двинусь». А ведь я действительно собирался приехать сразу после майских праздников. Но тут заканчивалась выставка, стало ясно, что много картин купят коллекционеры. Я понимал, что мать нездорова, у нее одно воспаление легких за другим, надо ехать, ехать. Но я уговаривал себя: привезу кучу денег, отрез ей на платье, туфли новые, приеду и скажу: «На тебе, мать, три тысячи рублей на корову». Я бы дал ей на тысячу, на две тысячи больше, чем она прислала мне.

Когда под утро я заканчивал портрет, я боялся дописать губы. Мне казалось, что, как только я положу последний мазок, мать откроет рот и скажет: «Что же ты так поздно, сынок? Я ведь здесь почти голодом изошла». Я знал, что так, наверное, и было, потому, как зачумленного, сторонились меня родичи и знакомые на центральной усадьбе. Когда я хотел устроить поминки, все отнеслись к этому так, что я понял: никто не придет. Только одна самая дряхлая в селе старуха сказала мне прямо: «Ты поминок не делай, парень. Мы твою матушку уже помянули. А вот будет девять дней, у меня в хате станем их править, и если ты не уедешь, дождешься — приходи. Только смотри, народ у нас серьезный». От этого серьезного народа я и сбежал. Ведь на глазах у всех, все знали, мать получала от меня письма, наверное, еще, простая душа, хвасталась: «Сын-студент из Москвы пишет, чтобы пока не переезжала, оставалась, ждала его». Наверное, еще подчеркивала: «Пишет, чтобы не трогалась, сам меня будет перевозить, заботливый. Знает, что мать здесь одна. Не хочет посторонних утруждать». На глазах у всех и корову мать в марте продавала. Стельную корову. Наверное, все сусеки уже повымела, запасы сыела, думала: того и гляди отелится буренка и подкормлюсь, отопьюсь первым молочком. Все небось отговаривали: «Да подожди, старая. Кто же весной стельную корову продает?» Но сынок прислал телеграмму, из студенческого скромного достатка за эту телеграмму немалые деньги заплатил, значит, нужда у него крайняя. А сын — крестьянская косточка, он все про крестьянское житье знает, знает, что в деревне корова — кормилица, понимает все ее ученый сын, значит, положение у него пиковое. А сын, зная материнскую безотказность для единого чада, был категоричен. Понимал маменькину психологию. «Срочно продай корову, вышли две тысячи. Юрий». У сына не одна, две задачи сразу. Доигрался: хотел Марии денег дать, от собственного ребенка хотел откупиться. И первая выставка — тоже образовался непредвиденный расход. Все-таки скорее выставка. С Марией уже была ясность.

С выставкой к тому времени все почти сладилось. Дали зал, инстанции просмотрели и одобрили мои картины. Даже отметили, что персональная выставка студента в тот момент, когда за рубежом студенты бунтуют, будет иметь политический резонанс. Валяй, студент, шуруй! Но все срывалось, хотя все было разрешено. Стрелочник, как всегда, был виноват. И зал дали и картины, но вдруг записал институтский столяр-багетчик и был отправлен на лечение в больницу. Не было на картинах рам. Все тянули, крутили, думали, что образуется, в ректорате искали разные выходы, но когда до откры-

тия осталось пятнадцать дней и уже стало ясно, что ни один багетный цех в Москве обраться семьдесят картин не возьмется, начали вдруг поговаривать, что можно бы взамен индивидуальной сделать отчетную выставку дипломных работ за последнее пятилетие, благо все они в рамках и хранятся в институте. Тут-то и нашел я некоего дядю Васю, который обещал за две тысячи в неделю все качественно сделать, «как у академика».

Ребята с курса, для которых моя выставка как нож в сердце — все-таки вместе учились, и я ничем особенным, кроме настырности, не отличался, а на курсе были и таланты и гении, — ребята с курса уже ходили бодренькие. Каждый считал, что он по крайней мере сделал свою «Олимпию», которая, как когда-то в Салоне, сразу вознесет его к известности. А главное, они радовались, что гамузом, все вместе оттеснят настырного втирушку и конъюнктурщика. Они замахнулись на меня! Но я уже созрел. Никто не ожидал, что из скромного деревенского парнишки вырос боец. У меня не оставалось выхода, и я дал телеграмму. А что мне было делать? Кем бы без этой выставки я был сейчас? Фортуны только единожды можно оседлать. Тогда-то, обвязав за рога нашу буренку веревкой, мать и повела продавать ее в райцентр. Моя выставка и мой шедевр стоили мне дорого.

Плата уже уплачена, ее не вернуть. О ней можно лишь говорить и сожалеть. Произносить разные слова. Все обертывается словами. Слова в конечном итоге покрывают все поступки. Надо только уметь называть вещи другими именами. И уже нет копииста — есть изучение натуры. Нет брошенной матери — есть долг художника. Смерть Марии — выход из душевного тупика. А обвинение дочери — инцидент.

— Ты говоришь, папа, об инциденте, — теперь уже Маша отвечает мне, давая понять, что прекрасно поняла мою мысль, — но я о другом. И дело не в твоём методе работы. Ты говоришь, что должен изучать натуру всеми доступными способами. Но зачем эти способы? В летчики не берут людей с дефектами зрения. Понимаешь, ты очень много делаешь у х и щ р е н и й, чтобы получить результат. Мне все время кажется, что, создавая то же самое, что и ты, безвестный, еще не пробившийся к т о т о мог бы сделать лучше, а ты со своим методом, со своими возможностями, наработанным авторитетом и связями уже з а н и м а е ш ь ячeyкy. Ведь в искусстве не ходят одними и теми же тропами, а ты слишком много захватил. Кого ты только в Москве не писал! Ну вот как, например, будет пробиваться Слава?

— А как я пробивался? Почему ты думаешь, что меня кто-то толкал, поддерживал, создавал условия? А тебе и Славе уже своим именем я, кстати, создаю режим наибольшего благоприятствования. Значит, ваше будущее зависит от...

— Ты хочешь сказать, что наше будущее зависит от твоего положения? А я не хочу, чтобы мое будущее в искусстве от кого-нибудь зависело. Мне надо знать, что я стою чего-то сама по себе.

— Я понимаю Машу. — Слава вмешался в разговор очень осторожно, и в тоне его чувствовалось стремление сгладить возникающий конфликт. — Речь идет о том, что в ваше время и художников было меньше, и поэтому все было на виду. Здесь, наверное, отбор был органичнее.

Но Машу оттеснить от спора Славе не удалось. Откуда у нее вдруг появились такое спокойствие, логически стройная концепция, такая убежденность? И что это за поколение в искусстве, которое начинает биться за все сразу? Но они совершают ошибку. Они соскальзывают в какую-то теоретическую область. «Теория, друг мой, сера...» Если им хочется отстоять взгляд на жизнь, стройную теорию, бег с ними, пусть отстаивают. Пусть говорят, приобретают победы в спорах. Моя стихия — практика. Они мне, Слава и Маша, сейчас нужны на эту единственную работу. После «Реалистов» я буду вне досягаемости, как спутник. Надо дать им выговориться. В запасе у меня есть и другая

тактика: если не получается сразу, с наскока, что же, возьмем в «долгую терку». Пускай говорят, говорят, говорят. А я буду слушать, соглашаться с мелочами, поддакивать, слушать и поступать по-своему. Потому что практические приемы жизни одинаковы, вечны. И в мире искусства сегодня, как и десять лет назад, как и сто, как и при Цезаре Борджиа. Возьмем измором, терпением, соглашательством. Пусть чувствуют себя победителями в теории.

А разве, когда начинал я, некоторым нашим молодым гениям тоже не казалось, что мэтры все захватили? Что нигде нельзя выставиться, что критики пишут об одних и тех же именах? Но если ты чувствуешь себя бойцом, надо не трепаться, а выходить на ринг, не забывать, что не только ты, но и тебе там могут попортить шевро.

— Если чувствуешь себя бойцом, Слава, надо выходить на ринг. Вот вы с Машей рассуждаете об органичном отборе, а что отбирать, из чего? У вас двоих пяток картин и десяток законченных портретов. Это очень немного, чтобы начать бомбардировать выставками. Ведь в нашем деле — как в выездке, где несколько лет приходится работать на судей, приучать их к новой манере, к привычкам, к посадке, а в живописи — к своей школе, к манере, к кругу интересов. Надо действовать потихоньку, не торопясь, имея в виду, что впереди жизнь.

— Но зачем ты лукавишь, папа? Ты сам стал известен после первой своей персональной выставки, которую получил, будучи студентом.

— Я просто был добросовестным студентом.

Я просто имел голову на плечах.

— Добросовестных студентов пруд пруди. Ты же понимаешь, папа, что я спрашиваю тебя о другом. Как же ты получил эту выставку? После этого случая наш институт выпускал живописцев еще более двадцати лет, а персональной выставки ни одному студенту не устраивали.

— Ваши студенты пишут изящные ростовские пейзажи, Плещеево озеро, красоты заполярного Урала. Совмещают учебный процесс и туризм. Здоровое желание выбраться подальше и увидеть побольше. А уж если нужда подопрет и выезжают на Ангару или Енисей, то и тут, набродившись по окрестностям, насмотревшись достопримечательностей, быстро-быстро отписывают свой производственный урок — краны, буровые, пневматические молотки, самосвалы, естественно, на фоне экзотического пейзажа. Или по-другому: пяток акварелей. Красивая девушка со сдвинутой на затылок каской — маляр? штукатур? крановщица? К такой девушке это все подходит. Парень с физкультурным разворотом плеч, со сдвинутой на затылок каской. Если за физкультурными плечами крыло самосвала, буровая вышка — значит, водитель, бурильщик. Иногда парню дают в руки производственные аксессуары — вилку с электродами, кельму, плоскогубцы, — и тогда сварщик, каменщик, электрик. И ничего, как правило, нет в этих парнях ни производственного, ни местного, потому что юным художникам некогда отыскивать натуру, узнавать людей, которых они пишут, а то, что выразительно само собой по своей природе, то и вколачивают в раму. А предмет искусства, не мне тебе, Маша, об этом говорить, — человек. Он единственно бесконечно разный и неповторимый. Я ведь в студенчестве не ездил в бог знает какие неизвестные края, а как хотелось! Поезд, иное звездное небо, легендарные места, катерок, улицы на берегу великой реки... Я знал, что там я наберу личных впечатлений и очень долго не смогу переплавить их в свои работы. Это отдаленные, слабые импульсы. Как свет от далеких звезд. Я пять лет, договорившись со своим профессором, ездил только к себе на родину. В знакомую, неухоженную деревню. Если я писал какого-нибудь дядю Ваню, то я его до печеник знал. Все, что он думает, мне было известно, как говорит и каким манером стопку ко рту подносит. Я работал там как на барщине. Каждый год я не по десять акварелек

привозил, а по три-четыре настоящих портрета. Теперь вам, Слава и Маша, что-нибудь стало ясно?

Чтобы стало совсем, как в букваре, ясно, про себя поправлюсь: не по три-четыре я привозил портрета, а по пять-шесть. Я здесь тоже руку набил. Дядя Ваня, он один. Он известен только в своей деревне. И если я сделаю его красивее, добрее, мужественнее, трудолюбивее, разве кто-нибудь меня укорит? Он ведь тоже для меня только импульс. Только повод для фантазии. Но импульс этот я фиксирую в своем воображении полностью, мне для этого, как на Ангаре, усилителей в своем мозгу строить не надо. Не для истории пишу — для жаждущей опрощения интеллигентной публики. Чуть картиннее разворот плеч, молодцеватая сигарка, зажатая в черной ладони, красная рубаха, которой у дяди Вани отродясь не было, но я не поленился и в институтской реквизиторской ее прихватил. И на полотне уже не конкретный дядя Ваня, а справный мужик, вольготно и весело живущий в своем краю. Живущий здоровой и прочной жизнью, той жизнью, о которой интеллигент, роняя сопли, мечтает. Время подошло такое, что соболеznовать соломенным крышам и умиляться иконописным лицам никто не хочет. Я уловил дух оптимизма, настрой, с которым на деревню смотрела интеллигенция. Хотите — смотрите. А если мой профессор, истинный, кондовый, беспололетний реалист, кривится — это факт его личной биографии. И чтобы не кривился заслуженный профессор, чтобы излишне его не волновать, я ему все портреты не показывал. Три-четыре — итог, так сказать, летней практики. Попроще портреты, понадежнее, рубахи на них не такие яркие. А остальные мои красавицы и красавцы стояли в подрамниках стопочкой у изголовья моей кровати и ждали своего часа.

К пятому курсу я понял: к составу пора прицеплять паровоз. Иван в это время уже был в профкоме. Он твердо верил в меня, в мой дар, в мой характер. Я знал — Иван поддержит, но толчок должен был идти извне. Иван подхватит, раструбит, не даст всем забыть.

Если бы милая моя дочь и будущий зять знали, сколько бессонных ночей провел я в размышлениях! Но мне уже было ведомо: если смолodu рывком не станешь знаменитым, будешь потом выгребать всю жизнь, и неизвестно, выгребешь ли к берегу. А когда под старость выгребешь, то весь изработаешься и дальше сил не будет. Но кто же должен был вывести меня к славе? Кто? Кто? Кто станет этим добрым и бескорыстным меценатом? Так я размышлял, лежа без сна на своем студенческом матрасике, пока однажды в бессонницу не надел радионаушники. И тут осенило. В наушниках раздалось: «Передаем концерт солистов московской оперетты». Вопрос был решен. Дальше дело техники. Женщины, артистки, красавицы! Вот хмель, который сдобрит мое сусло.

Времени я уже не терял. Стал копаться в прессе, в программках, афишах, знакомиться с театрами. Надо было выбрать не только красивую, знаменитую, но и влиятельную. Или саму по себе задорную и занозистую, чтобы входила к начальству, хлопая дверью, или такую, у которой со связями муж.

Выбрал троих: звезду оперетты, знаменитую, хотя и не из самых, балерину и стареющую (еще работала со Станиславским) драматическую актрису. Никаких сеансов мне от них не надо было. По фотографиям на обложках журналов я их уже давно написал, все детали будущей композиции тщательно отштудировал в альбоме. Мне необходим был только факт знакомства. Я уже знал, что балерина будет изображена в виде сальфиды с крылышками за спиной; опереточная дива — в скромной кофточке, за роялем: эдакая труженица в очках склонилась над нотами, и тут кто-то ее окликает, и она поворачивает свою милую головку (опереточная из всех была самая умная и должна была понять эту «нелестную композицию»); драматическая актриса была изображена стоя, в простом концертном платье, чуть подсве-

ченном снизу рампой. Скромно, величественно, но с крошечным намеком на серовский портрет Ермоловой. Так сказать, с подтекстом.

У меня в записной книжке был составлен график спектаклей, концертов, репетиций всех трех. Встретив у подъезда театра одну и сверкнув на нее глазами художника и обожателя, я бежал к подъезду другого театра. Я обсыпал шапку и плечи снегом: дескать, на холодной метели стою часами. Вынимал из-за пазухи — скромно, по-студенчески! — один нарцисс или тюльпанчик. Преданность и терпение — через это женщины перешагнуть не могут. Постепенно я познакомился с ними. Вернее, познакомил с собой одну за другой недели через три настойчивых хождений. И сразу начались отказы: нет времени. Но я все же ходил к театру, к подъезду, канючил, получал отказы, потом согласие. И удивлял во время первого же сеанса. На загрюнтованном полотне я почти одним росчерком угля наносил рисунок. Я-то знал: я переносу готовый и отработанный. Они ахали, понимали, что встретили гения, и тут же сидели и мурлыкали, как кошечки. Сидели столько, сколько я хотел. У всех трех портретов неизменным было одно — женщины изображены на них на десять лет моложе. И другое: все они получились значительнее, чем были в жизни. Такие портреты не могут долго лежать в запаснике.

Правда, всем трем я — крестьянский сын — показал свою коллекцию деревенских этюдов. Показал, так сказать, сокровенное. И дамы начали действовать. Начали приводить ко мне знакомых журналистов. Я разработал ритуал и тут. В общежитии во что бы то ни стало поил своих высокопоставленных гостей чаем из закопченного чайника, ставил домашнее варенье и резал деревенское сало. Говорил с ними, чуть округлив звуки, будто во рту у меня некая непрожеванная каша. В общем, речь моя звучала с явным признаком исконной деревенской. Я, кстати, и потом пользовался этим приемом для разговора с начальством, которому всегда ласкал слух мой то ли акающий, то ли окающий говорок.

После никому не нужного аттракциона чаепития, во время которого я «смущенно» не отрывал глаз от стола, я достаточно неуклюже, ловя искоса бросаемые гостями взгляды: «Дурак! Медведь! Гений!» — доставал из-под кровати портреты и расставлял их по комнате. Заносчивые гости удивленно распахивали глаза, а я сонно, незаинтересованно, как и положено гению, который не ведает, что творит, шмыгал носом и моргал. После этих визитов в журналах начали появляться подборки: три дяди Вани и одна этуаль, два дяди Вани и другая этуаль, дядя Ваня, тетя Дуся и третья этуаль.

Успех был довольно внушительный, но этуали этим не удовлетворились. Им нужно было устроить торжественный парад второй молодости. И мне ничего не оставалось делать как подвести их к мысли, что портреты надо показать в натуре. Все портреты. Дяди Вани и тети Дуся им не помешают, ведь публика в основном будет смотреть этуалей. Народ должен знать своих героев. Должен знать, что его знаменитые актрисы еще так молоды и обольстительны. В конечном итоге самая шустрая этуаль пробралась в высокие культурные сферы, и в один прекрасный день мне приказали показать работы в деканате. А уж Иван Матвеевич с общественным мнением был наготове.

Это то, чего я не сказал Маше и Славе. В тот вечер я ведь принял решение терпеть. Но сколько можно? Они словно две моськи набрасываются на меня. Ведь знают, что я поступаю по-своему. У меня такая дорога, и я с нее уже не смогу сойти. Надо было кончать разговор.

— Маша, — снова заговорил я, — а о чем мы спорим? Ты сможешь сформулировать?

— Смогу.

— Ну валяй.

— Это хорошо, папа, что ты заставил меня сформулировать причину, по которой я бываю с тобой дерзка, вызывающа. Я уже тебе говорила, что не считаю, что ты великий художник, но, однако, сознаю, что моя точка зрения может быть излишне тенденциозной. К ней примешивается и недостаток дистанции между тобой как художником и мною как дочерью и художником. Примешиваются и другие мотивы, о которых ты знаешь. Но сейчас тебе дают... Вернее, я слишком хорошо знаю тебя, поэтому поправлюсь, сказать надо так: теперь ты оттяпал заказ, который бывает раз в двадцать лет. По которому будут судить о качествах и достоинствах нашей художественной школы. И, честно говоря, я не думаю, что ты для этого заказа фигура самая оптимальная. Ты же очень влиятельный человек в наших кругах. Почему ты не хочешь работать спокойно, чтобы у тебя за спиной не шушукались? Судя по твоему очень интересному этюду, который ты сейчас нам показал, ты вполне можешь победить на открытом конкурсе. Мы со Славой будем тебе помогать. Почему бы тебе не попытаться уговорить свое начальство, чтобы заказ на этюд в натуру для «Реалистов» заказали еще двум-трем художникам?

Я старался быть спокойным:

— А ты, Маша, всерьез думаешь, что в инстанциях сидят дураки, которые не понимают, что по размаху, умению, внутреннему темпераменту для этой работы лучше всего подхожу я?

— Я так не считаю.

— А почему бы тебе, Юрий Алексеевич,— впервые вмешалась в разговор Сусанна,— не поступить так, как предлагает Маша? Не попробовать свою силу? Не узнать ее?

Я посмотрел на жену. Она сидела вся пунцовая. Глаза горели. Она или сошла с ума, подумал я, или заболела.

— Сусанна, да ты больна! О чем ты говоришь? Это же не мистическое представление, шарлатанство, как у тебя. Это ремесло. Давайте,— сказал я уже всем,— кончать разговор, а то мы договоримся черт знает до чего.— Я уже не выдержал, весь день на нервах, весь день в маске. Удары сыплются от своих и чужих. Я уже не мог сдерживаться, я уже орал.— Мы договоримся до того, что отдадим заказ в чужие руки. Только где этот художник, который осилит картину в двадцать метров на четыре? Где он? Восемьдесят квадратных метров живописи! Где этот бескорыстный художник? Ты думаешь, деньги мне нужны! Их хватит на мою жизнь и на твою, Маша! Почему я должен отдавать заработанное? Почему? А если я по какой-то случайности не стану победителем этого открытого конкурса, а?

— Значит, судьба,— тихо сказала Маша.

Глава V

Я везунок. Что задумано, все сбывается, стоит лишь сильно захотеть. Меня это даже смущает. Исполняются самые далекие грезы юности. Разве предполагал я видеть свои картины в музеях, а себя в кресле за столом, за которым было подписано что-то историческое? Я просто всего этого очень хотел.

И я начинаю пугаться этого рокового дара судьбы, как человек из какой-то сказки, погубивший себя желанием, чтобы любой предмет, к которому он прикоснется, превращался в золото. Ведь от несварения желудка можно умереть. Большому куску рот, конечно, радуется, но его надо суметь прожевать! Иногда я уже трепещу от своих мимолетных желаний...

Сусанна ни в какую Канаду не поедет. Не понадобилось лишних усилий: анонимного телефонного террора, развеселой, но выма-

тывающей ночной жизни. Я проклял свою подлую мысль, возникшую раньше. Со всем, в конце концов, я бы справился, поездка Сусанны могла бы не стать препятствием для моей.

Я привык, что Сусанна встает утром раньше всех. Я еще только поднимаюсь, а по квартире уже носится запах свежесмолотого кофе, и Сусанна, как птичка, распевает что-то на кухне. Конечно, престарелая, но привычная и полезная птичка.

На следующий день после похорон Славиной мамы Сусанна не встала с постели. Я зашел к ней в комнату, она лежала с открытыми глазами, устремленными в потолок. Мне еще накануне показалось, что она простужена. Но утром голова ее была холодной, губы не обметаны, а только огромные глаза лихорадочно и безумно блестели. Устала, отлежится.

Но все оказалось значительно хуже.

Я понял, как я ее люблю, когда ее забрали в больницу. Да, конечно, я любил ее как помощницу, как человека, понимающего мои запросы, но оказалось, любовь — или привычка? — укоренилась во мне глубже, в самом моем естестве.

Уже на третий день, когда она, так и не выходя из комнаты, пролежала в постели без температуры, без видимого нездоровья, ничего не читая, я спохватился. Вечером пришел к ней, сел на стул, взял за руку.

— Что с тобой, Сусанна?

Внезапно она заплакала. Не было рыданий, всхлипов. Просто слезы потекли у нее из глаз, а она не стала ни вытирать их, ни пытаться скрыть.

— Я устала жить, Юра. Что-то со мной случилось,— медленно, будто не мне, а кому-то, смотрящему на нас с потолка, говорила Сусанна.— Я потеряла к жизни вкус. Я устала бороться. У меня, Юра, очень маленький дар. Но что-то в моих руках есть. Ведь действительно это руки массажистки. Что-то я соображаю. Но я хотела из маленького дара сделать большой. Не получается. Я устала от гонки представлений. Милый Юра! — Сусанна внезапно схватила мою руку и стала целовать ее. Слезы были горячими.— Я хочу умереть. Неужели все кончилось? У меня совсем не осталось сил. Ни на что. Мне все трудно, мне не хочется есть, ходить, дышать. Я не могу, как раньше, показывать спектакли своего «дара», принимать подарки. Я потеряла интерес к работе.

Пока она медленно, сквозь слезы говорила, у меня в груди вдруг возникло удивительное, непривычное чувство. Оно возникало, наверное, у солдат, хоронивших в бою своих друзей. Щемящее чувство жалости и ощущение открытого тыла.

Ведь Сусанна — это единственный человек, который не только понимал меня, но и понимал, каким трудом, какой кровью дается мне каждая моя работа, каждый шаг. Мне не нужно было с ней хитрить, скрываться, а поэтому она одна знала то, что было во мне л у ч ш е г о. Она знала меня всего. Что же будет дальше со мною?

Конечно, в тот момент я и мысли не допускал, что Сусанна так плоха. Я человек активный: найдем врачей, специалистов, вылечим, годы наши еще молодые. Но тут же я подумал, что надо хорошенько запомнить это горестное чувство утраты, потому что оно должно повести меня во время работы над «Реалистами». Все в копилку главной цели жизни.

И еще мелькнула у меня в голове одна коварная мысль. Она порхнула, словно весенняя бабочка, помахала крыльшками — и нет ее, но я хорошенько ее запомнил, может быть, здесь и есть выход из ситуации, в которую загноили меня Маша и Слава.

Через несколько дней я пригласил к Сусанне знаменитого психиатра. Бородатое светило, подъехавшее к дому на отсвечивающей

вороним лаком машине, около часа провозилось с больной и, когда мы остались с глазу на глаз, сказало:

— Дела довольно скверные. Тяжелейшая депрессия, осложненная истощением нервной системы. Очень плохая, близкая к шизофренией наследственность есть. Можно было бы попробовать лечить ее дома...

Я перебил:

— Сусанна женщина волевая, она возьмет себя в руки.

— Болезнь в руки не возьмешь.

— А если лечить ее дома? Вы ведь сейчас лечите таблетками.

Можно было бы взять сиделку...

— Это все опасно. Ваша жена в таком состоянии, что дело может дойти до катастрофы. Она не хочет жить. И здесь никакая сиделка не углядит.

— Если надо класть в больницу,— сказал я,— надо класть.

— Веселее, Юрий Алексеевич,— сказало бородатое светило,— полегит у нас пару-тройку месяцев в санаторном отделении, естественно, мы ее подлечим, получите как новенькую. В наше время постоянных стрессов это дело обычное.

Как в современном человеке, в художнике совмещается жалость и расчетливость. Я почти плакал, когда отправлял Сусанну в больницу, собирая ее поклажу (не забыл теплое белье, тапочки, косметические салфетки — ничего не забыл), а уже за два дня до этого, в первые же часы после отъезда профессора из моего дома я начал крутить машинку под кодовым названием «конкурс». Я хорошо запомнил мысль, которая, как бабочка, порхнула у меня в сознании. А разработать операцию было делом техники и знания психологии людей.

Сразу же после визита профессора я позвонил моей доблестной и интеллигентнейшей главной хранительнице Юлии Борисовне и сказал, что с утра в музее не буду, потому что у меня тяжело больна жена, и попросил хранительницу взять мою служебную машину и приехать для решения неотложных дел по музею ко мне на квартиру.

Ну, теперь ли, думал я, посмотрим, дражайшая Юлия Борисовна, не напрасно ли мы держим специалиста, владеющего шестью иностранными языками и переписывающегося со всей художественной общественностью планеты. Позондируем ваше сердечко, Юлия Борисовна. Как у вас обстоит дело с простой русской бабьей жалостью? Наверное, как и у современной женщины, ум и образование подминают жалость. Но так ли сильна ваша европейская образованность, чтобы пересилить крестьянско-деревенское происхождение, моя дорогая? Посмотрим. Я ведь редко ставлю на необъявленных козырей!

Второй мой звонок был Ивану. Ему ни слова о Сусанне. Собранный, четкий — старающийся быть четким — голос. Ивану необходимо было услышать некоторое смущение: в старом прагматике проснулась совесть. Я повел разговор издали. Я еще раз сказал, как меня радует и трогает доверие начальства, доверие его, Ивана, честь, которая мне оказана. Но эту честь, продолжал я, мне принять невозможно именно вследствие той высокой ответственности, которую на меня накладывает тема новой работы.

— Чего ты хочешь? — перебил меня Иван.

Но по плану разговора к сути переходить было рановато. Мы недаром в молодости столько выпили вместе коньяку у меня в мастерской. Достаточно я нагяделся на молодого Ивана, нынче примерного семьянина, а раньше большого ходока по женской части. Я знал его даже слишком хорошо. Грубовато-свойский вопрос меня не смутил. Я пел прежнюю песню в совестливо-бичующей манере. Мне, дескать, неловко, я не уверен в своих силах, есть знаменитые старые мастера, подросла талантливая молодежь.

Но и Иван меня знал.

— Чего ты хочешь? — снова перебил меня Иван.

О брат мой, о тоскующий важный брат, подумал я, недогадлив ты. Но свой стыдливый курс не сменил. Я только прибавил запинаящейся жалости в голосе. Я ждал раздражения у своего друга. Друг другом, а начальнику положено раздражаться. Раздраженный начальник податливее. Ему тоже надо проимитировать свою заинтересованность. Когда тебя, милый друг, понесет, когда начнешь кричать? Ну слава богу, дождался. И уже в третий раз Иван заорал:

— Не мямли! Тебе не семнадцать лет! Чего ты хочешь?

Совесть у меня заговорила открытым текстом. Другу можно было говорить все прямо, по-солдатски. Чего нам там сообщила дочка, выдающаяся специалистка по этике?

— Я хочу,— в той же тональности заорал в трубку и я,— чтобы мне не смотрели презрительно в спину! Я не выхватываю ни у кого изо рта кусок. Я не хочу подводить и тебя, Иван, чтобы не кивали на нашу дружбу еще с института. Я хочу заработать право писать «Реалистов» на конкурсе. Ты понял это наконец, административный дуб?

Не пересолил? Нет, вроде с гневом не пересолил. Но на другом конце провода молчание. Думает. Я представил себе каменное лицо Ивана, морщины, облизывающие его лоб, тяжелую волосатую руку, которой он держит трубку. Думай! Я ведь заранее знаю, что ты скажешь, что отвечу я и как ты поступишь. Наконец Ивана прорезало.

— Ты серьезно этого хочешь? — В голосе Ивана участие. Дескать, не захворал ли ты, старина?

В последний раз можно поддать крику, но потом надо переходить на мягкие, искательные интонации. Нельзя зарываться в разговоре с администрацией. Дебют не следует затягивать, может не хватить времени в эндшпиле. И я ору во всю силу самоспровоцированного гнева:

— Хо-чу!

Пауза.

— Открытый конкурс?

И тут я мягчаю. В конце концов, мы же оба начальники, все понимаем.

— Ну Ваня,— почти мурлыкаю я,— зачем же твоему управлению создавать сложности и конфликтные ситуации? Мы взрослые люди. Молодежь, конечно, попетушится, подержает, но разве им это под силу?

Объективность! В голосе объективность и уверенность в каждом слове. Все должно быть, как сказал классик, высшей свежести. Я продолжаю:

— У нас, если говорить по существу, десяток сильных монументалистов.

— Десятка нет,— говорит Иван, и я знаю, что он говорит правду,— нет десятка, работающих на европейском уровне. На таком уровне работают, включая тебя, пять человек.

В голосе Ивана слышится улыбка. Я ведь понимаю, что мое предложение облегчает его положение: эдакий демократ, даже для друга не сделал поблажки, включил в общий список.

— Хорошо. Пять так пять,— говорю я.— Вот и давай вызови всех пятерых, и в открытую в твоем кабинете потолкуем. Если все согласны, сделаем между этой пятеркой заказной конкурс. Хорошо?

Иван бубнит что-то ласково-довольное. Мы отбираем фамилии и договариваемся, что Иван через неделю соберет всех участников конкурса. Неделя у меня есть. Неделя на этически-психологические маневры Юлии Борисовны. Крепостей мы без боя не сдаем.

Юлию Борисовну я встретил по заранее подготовленной программе. Сухо, как всегда, сдержанно. Разговор только о музее, о новой

экспозиции, о выставках. Все как обычно. Беседа строилась в такой манере, что какие-то личные мотивы исключались, не вписывались в ее общий канцелярско-бюрократический строй. Я ведь и раньше никогда не делился с нею сокровенным. Душевное самораскрытие получалось как бы ненароком.

Правда, помогло то, что предыдущую ночь я почти не спал. Вид к утру, как и намечалось, стал подходящий. Удрученный, сломленный человек. Но ведь просто делать вид — это удел молокососов и гордецов. С вечера я долго говорил с Сусанной, а когда она заснула, я поднялся к себе в мастерскую и работал над эскизом. Работа никакая не пропадет, а заодно получился и подходящий внешний вид. В критические моменты можно немножко и поступиться здоровьем, хотя в принципе я решил, что сразу же после «сцены с Юлией Борисовной» для поддержания жизненного тонуса часок надобно поспать, компенсировать ночные усилия.

Итак, мы крутились вокруг наших производственных дел. Речь моя была корректной, грамотной, но несколько комковатой. Я сознательно пробуксовал на одних и тех же проблемах, отчетливо демонстрируя, что поглощен чем-то более для себя важным, с налетом трагизма, но долг заставляет меня даже в эти минуты говорить о музее. И тут Юлия Борисовна с сорочьим сочувствием спросила:

— Юрий Алексеевич, вы, может быть, нездоровы?

Я уже пятнадцать минут ждал этой реплики, как оперный певец ждет нужного такта и взмаха дирижерской палочки, чтобы вступить со своей каватиной.

— Ах, Юлия Борисовна! — Я даже не сдержался и махнул рукой отчаянно и досадливо: не может человек, страдает, ему надо выговориться. — Все сразу покатило. Как же я буду жить без Сусанны?..

По-моему, Юлия Борисовна в тот момент испугалась. Она никогда не видела своего директора в таком состоянии. Может быть, директор даже плакал перед этим. Директор рассказывал о бесконечной своей любви к жене, о той панике, которая его охватила, когда он узнал о ее болезни. Тяжелой болезни. Директор дал понять, что жену в своем сознании почти похоронил, а если не фактически почти похоронил, то она как генератор его духовной жизни — признание особой духовности всегда льстит женскому полу и вызывает расположение — надолго выбывает из строя, оставляя его, директора, без моральной поддержки в самую торжественную и трудную минуту его творческого существования. Поскольку тут же — искренность должна быть полной или никакой! — Юлия Борисовна узнала о заказе «Реалистов», о страстном желании директора их написать, о том, что это могло бы стать делом всей его жизни, тут же и было рассказано, как директор во имя высших этических целей самоотверженно добивается заказного конкурса. Конкурса хотя бы между пятью монументалистами.

Влага неподдельного сочувствия блестела в девичьем взоре пятидесятилетней хранительницы. Но женщина — всегда женщина, и в минуту самого большого душевного подъема она способна вспомнить, что надо отдать платье в химчистку или сдать молочные бутылки. Не оказалась исключением и Юлия Борисовна. Услышав от меня число и фамилии живописцев и по-прежнему глядя невинно-сочувственным взором, Юлия Борисовна, не прерывая мои излияния, роняет:

— Между четырьмя. Семенов не возьмется, он только что после инфаркта.

Мысли Юлии Борисовны идут в правильном направлении. В направлении уменьшения списка. Надо только, чтобы она дозрела до самостоятельных действий, и я еще раз прокручиваю «дело всей жизни».

Я показываю ей эскизы, подготовленные ранее, и наброски, которые сделал этой ночью, киваю на архивную груду альбомов на столе, намекая, что это тоже штудии к «Реалистам», и перехожу к своему трагическому положению: я знаю, что «Реалистов» напишу лучше, чем все, но сейчас, в эти минуты тяжелой болезни дражайшей супруги, я не могу найти в себе силы, чтобы участвовать в конкурсе. Если бы еще конкурс объявили сроком на полгода, на четыре месяца, но время не ждет, время представления картона с эскизом ограничено двумя месяцами. А в этот период жутких семейных катаклизмов я должен работать, хотя бы не подгоняя себя нереальными сроками.

Мозг женщины — это мозг электронной машины. Продолжая неподдельно блестять сочувствующими глазами, Юлия Борисовна все время считает и выдает второй вариант:

— Сапожников тоже, наверное, откажется! У него должен быть закончен конференц-зал на родине космонавта к юбилею. Это так же престижно, как Париж. От конференц-зала Сапожников не отступится, потому что иначе отдадут Мельникову. А у Сапожникова Мельников увел жену, так что Сапожникову лучше повеситься, чем знать, что работа и гонорар уходят к врагу.

Женщину, чувствующую себя пифией, восседающей на тренажерке, уже не остановить. Я знаю и третий вариант Юлии Борисовны. Но ведь сыр-бор горит из-за четвертого, из-за Стрелкова. Стрелкову уже семьдесят, но мужик он крепкий и хотя работает чуть старомодно, как казалось еще несколько лет назад, но сейчас, с модой на ретро, его стиль, в котором сочетается некоторая архаичность и безукоризненная целостность восприятия здорового реалиста, смотрится как новейший.

Стрелков крепкий, настоящий мастер. Он и сделает что-нибудь простое, без особой выдумки, кондовое, но такое по-земному сильное, что все откроют рот. Мне с ним, пожалуй, не справиться, но у меня есть в запасе двадцать лет. Только зачем эта работа Стрелкову? Ему она не принесет большой известности. Половина довоенных станций метро украшена его росписями. Он почти живой классик. Ему международный заказ — еще одна медаль на грудь. Неужто мне ему в ноги бросаться? Одна надежда на Юлию Борисовну. Но она пока выдает лишь третий, известный мне вариант:

— Косиченко, кажется, собирается в Рим.

Еще бы мне не знать об этом Риме! Не каждый день возникают поездки в Рим на полгода для своей работы на даче Римской академии. И как бы эта поездка досталась Косиченко, если б не «Реалисты»! Она ему уже и не доставалась. Но я от Рима отказался сам «в связи с болезнью жены». И сам же аккуратно предложил вместо своей кандидатуры кандидатуру Косиченко. Здесь уже было не прожевать. Только он твердо должен знать, Косиченко, что если ввяжется в конкурс, то в Рим наверняка не поедет, а в Париж не поедет скорее всего, потому что есть еще Семираев, Сапожников, Семенов и Стрелков. А вот если от конкурса он заблаговременно откажется, то Рим для него становится реальным. Он молодой, нечего ему топиться, за пирогом надо отстоять в очереди.

— Ему, пожалуй, стоит распаковать чемоданы, — говорю я в ответ на фразу Юлии Борисовны.

Потихонечку я довожу до ее сведения свои логические построения о дальнейшей судьбе Косиченко.

Остается Стрелков. Но о нем Юлия Борисовна молчит. Стрелкову, как асфальтовому катку, все равно, по какой дороге ехать, — везде примет. Но о Стрелкове Юлия Борисовна молчит, и это хороший признак. Может быть, ее проняло мое отчаяние? В войну Юлия Борисовна вместе с женой Стрелкова была на земляных работах и дру-

жит до сих пор. Но к Стрелкову не подъедешь на козе. Сумеет ли пронять Стрелкова Юлия Борисовна?

Я увожу разговор в сторону, снова толкую о музее, о новых поступлениях, но неизбежно возвращаюсь к двум пунктам: к своему трагическому ощущению болезни Сусанны и к «Реалистам». В моих словах горечь, и мне кажется, что вместе с моим «лирическим героем» страдает и Юлия Борисовна. Ну давай, родная, не подкачай! В моих глазах, я чувствую, такое отчаяние, такая печаль, в голосе столько скорби, я говорю, говорю, говорю. И вдруг вижу — в конце мастерской неслышно появляется она.

Я отчетливо сознаю, что это фантом, созданный моим воображением, и не пугаюсь. Это и знак судьбы. Открывается дверь мастерской и входит моя давнишняя знакомая — муза с картины в служебном кабинете. Она в белом платье и сегодня величественна как никогда. Чуть перебирая над полом ногами, как молодая Плисецкая в «Лебедином озере», она проплывает через всю огромную комнату и останавливается возле кресла Юлии Борисовны. В левой руке у нее лавровый венок, а правой она прижимает к боку глиняный плоский сосуд. Меня совершенно не удивляет ни то, что Юлия Борисовна не видит женщину в белом возле своего локтя, ни то, что не слышит и не обращает внимания на короткий диалог, который я с этой женщиной веду. «Это мироз?» — киваю на плоский сосуд. «Дурак, это мед». «А-а!» — восклицаю я, понимая тонкий намек моей покровительницы. А ее уже нет, растаяла, исчезла.

Но мне достаточно и намека. Я ведь помню искусствоведа-любителя и папу-рабовладельца, принесшего освежеванного бычка, дабы его счастливцев сын был повит лаврами. Раз надо, так надо. Мы, как заявлено ранее, за ценой не постоим. Я достаточно вбил в подсознание Юлии Борисовны свои невысказанные желания, теперь это все надо закрепить, вколотить, так сказать, материальный гвоздь. Пришпилить все накрепко.

Беда с этой интеллигентницей. Я люблю простые и ясные отношения. Если я плачу своей парикмахерше вместо рубля пять, то она, как только видит меня сидящим в общей очереди, немедленно выпроваживает своего ординарного клиента и, несмотря на всеобщий ропот, сразу же в кресло сажает меня. Здесь хоть разверзайтесь хляби небесные, но первым под машинку для стрижки попадет профессор Семираев. И то же самое с портным, автомехаником, продавцом в книжном магазине. Здесь все ясно: есть такса и есть услуги. Автомеханик, так тот даже сам называет цену. Я открываю бумажник, и никакой тебе рефлексии, длительных раздумий. Со сферой обслуживания проще и, в общем-то, дешевле. Что стоят деньги? С интеллигентией кусок мяса надо обернуть в столько бумажек, намотать столько розовых ленточек, столько нацепить поперх бантиков, чтобы мясо не пахло мясом, а розами. Вот и раздумываешь, тратишь извилины. Тем более здесь случай особый, здесь святая наивная душа. Банку меда надо так упаковать, чтобы она превратилась в нечто эфемерное, похожее на порхающую бабочку. Но я уже созрел, я знаю путь к сердцу моей пятидесятилетней девушки-хранительницы.

Я подхожу к стене, где у меня висит прекрасный этюд Серова, уже протягиваю руку, чтобы снять его, и тут, как молния, в сознании мелькает другая, более интересная, хотя и значительно более дорогостоящая мысль. Я снова пересекаю мастерскую, останавливаюсь напротив пейзажа Александра Иванова, пейзажа, который украсит экспозицию любого музея, и бестрепетно его снимаю.

— Это вам, Юлия Борисовна, вы так много для меня и для музея делаете. Как сложится моя жизнь, — опять проблеск трагизма и почти слезы у меня в голосе, что вроде даже намека на самоубий-

ство,—я не знаю, но мне хотелось бы, чтобы у вас обо мне была память.

Я вижу ужас в глазах и любящем лице Юлии Борисовны. Отказать начальнику? Но она как хранительница знает баснословную цену этой вещи. Я это тоже предвидел, как нечто и другое. Дав ей секунду на размышление, я продолжаю:

— Я знаю вашу щепетильность. Давайте договоримся так. Пускай картина украшает вашу жизнь. Столько, сколько вы хотите. А потом вы подарите ее музею. Тем более что сам собирался это сделать. Кстати, у этой картины интересная история. Ко мне года два назад заходил в мастерскую Сергей Кириллович Стрелков и опознал этот пейзаж. Он из его коллекции. Был продан через комиссионный магазин в сорок пятом году, когда Стрелков пришел с фронта. А я приобрел у коллекционера в семьдесят шестом. Честно говоря, поступил не очень хорошо, потому что такую картину надо было бы купить для нашего музея. Вот так...

Редкий выстрел. Не одного, не двух зайцев, а трех одной пулей. Одной-единственной, правда золотой...

Умный человек похож на опытного садовника. Не торопится с плодами. Поминутно не расковыривает землю, пытаясь на посаженном зернышке обнаружить наклевывшек ростка. Он ждет. Он знает, что хорошо взрыхлил и удобрил почву, насадил добрые семена, вовремя полил. Урожай? Урожай будет. В один прекрасный день покажет стебелек и...

После разговора с Юлией Борисовной я никаких действий не предпринимал. В конце концов надо дать шанс и судьбе. Каждый, конечно, кузнец своего счастья. Но при ковке можно и перекалить железо. Я почти отключился от внешнего мира. Пусть уж без меня противоборствует стихия. Я занят женой. Для меня это сейчас самое дорогое. Гори, дескать, все остальное синим пламенем. Но я знаю, что в данной ситуации именно такое поведение наиболее верное. Совесть, этот ядовитый червячок, крепко живет в душах моих конкурентов.

Я действительно каждый день ездил в больницу. Я специально вызывал казенную машину, потому что самые достоверные для внешнего мира — шоферские легенды. На Открытом шоссе возле больницы шофер меня ждал три-четыре часа. Но, клянусь богом, это была не только линия поведения. То, что случилось в моей душе в день, когда Сусанна заболела, стало разрастаться, и чувство жалости, сострадания к жене стало перерождаться в иное, более глубокое.

Какое-то удивительное счастье я, проживший в одной квартире с этой женщиной, испытывал именно теперь, когда мы гуляли по маленькому садику больницы. Почему-то почти все ее слова находили отклик в моей душе. Я даже стал бояться за себя, потому что понимал: у меня нет другой дороги, мне надо идти вперед, иначе я сломаюсь.

Обычно Сусанна рассказывала мне о своем детстве. И я понимаю теперь, как среди узеньких клетушек приморских хибар, военного недостатка зародилось желание во что бы то ни стало взять у жизни реванш. Мы похожи в этом, только откуда берется это мстительное детское честолюбие?

— Мои сверстники, мои подруги по «классикам» и игре с мячом живут в красивых домах, у них есть отцы, красивые платья, а у меня — наш с бабушкой саманный домик в овраге и у меня только одна кофточка и одна юбка, но я все равно другая, я тоже буду жить, как вы, лучше вас...

А разве так же и я не стал искать еще в детстве, чем я, слабый, тщедушный мальчик, мог противостоять своим сверстникам, которые умели ездить верхом, лазить по деревьям, воровать яблоки, переплы-

вать реку? Мне попал в руки карандаш. Я гадливо обрадовался, что карандаш может на бумаге преувеличенно и смешно найти в человеке уязвляющее сходство. А у Сусанны была только бабушка-крестьянка, которая умела лечить травами простуды и припарками оттягивать боль в пояснице. И еще бабушка гадала на картах, по руке, на кофейной гуще и рассказывала, что совсем маленькой Сусанна упала в десятиметровый колодец и не разбилась и не утонула. И из всего этого Сусанна сумела сплести целый мир своего превосходства над окружающими. Гадальщик не только предсказатель, но и заклинатель судьбы. Правда, в ней, как и во мне, было удивительное упорство, потому что со средними способностями, без репетиторов, без помощи домашних и нормального семейного воспитания Сусанна окончила десятилетку, работала медсестрой, поступила в медицинский институт, пробилась в Москву. Из знания жизни, знания человеческой психологии — нагляделась, столько лет проведя в саманном домике возле палаццо санатория, откуда, шурша шелковыми и панбархатными платьями, тайком забегали к бабушке статные дамы, чтобы узнать свою судьбу, — из знания человеческих недостатков и неукротимых надежд выковала оружие для защиты и борьбы.

Слушая Сусанну, я испытывал чувство, будто нахожусь в мастерской алхимика, который рассказывает мне секрет извлечения золота из ртути: «Берем металлическую трубочку, в которую вставлен золотой стержень. Потом, помешивая этой палочкой ртуть в чаше над огнем, незаметно это золото плавим, и на дне реторты, после того как ртуть испарится, оказывается кусочек золота». Бедная, истрадавшаяся душа Сусанны. Она не выдержала. Не выдержала этой шарлатанщины.

— Ты знаешь, Юра, мне все надоело, — говорила она, медленно гуляя по саду. День был предвесенний, солнечный. На деревьях висистывали яркие снегири. — Хочется простой, как кусок хлеба, обычной жизни. Я ведь знаю — у меня есть талант физиотерапевта. Я чувствую больного, руки у меня хорошие. Я когда больного массирую, перед моими глазами стоит очаг поражения. Будто мне самой больно и будто я сама себя лечу. А все, остальное от лукавого. Буду жить тихо, спокойно. Зачем я ищу то, чего, наверное, не существует? Уйду из института куда-нибудь в ведомственную, при заводе, поликлинику, где у мужиков сплошные радикулиты, и начну их лечить. Займусь аутогенной тренировкой, совмещу это с терапевтическими методами. Я давно уже об этом думала, может быть, здесь мне и удастся открыть что-нибудь новое. Ведь хочется что-то в жизни сделать. Буду каждый день работать, начнет копиться материал, смотришь — и защищу.

Как много общего в нашей судьбе! Только мне уже нет обратного хода. Может быть даже, я успел скрутить талант из своего маленького дара? И теперь не он мне, а я подчиняюсь ему? Иду за ним, а он, как голодный пес, все время требует от меня жертвы, и мне приходится отдавать ему свою жизнь. Мне уже не сойти с круга. И Сусанна понимает это. Но, наверное, два бесконечно честолюбивых человека в одной семье — это слишком много. Сусанна освобождает мне площадку. Конечно, она перестанет помогать мне, как раньше, в бесконечном паблисити, оно мне теперь и не нужно, но не будет мне и мешать, отвлекая внимание и силы на себя. Теперь это еще более верный и надежный друг. Как важно иметь человека, которому можно все рассказать о себе. Это же тоже способ самолечения. И я рассказывал. Впервые в жизни не боясь, что сказанным кто-нибудь воспользуется мне во вред.

Я рассказал Сусанне о себе и все о «Реалистах». До дна. Она выслушала и сказала:

— Ты поступил правильно, Юра, и тебе все это необходимо. На «Реалистах» ты очень сильно можешь вырасти как художник. Но

знаешь, я чувствую, эта картина может уйти от тебя. Ты должен за нее бороться, но не должен расстраиваться, если этого не случится. Помнишь, Маша сказала: «Судьба»? Ты мне много рассказал о себе того, что не надо рассказывать, но ты уже не тот прежний, начинающий художник. Ты очень сильно вырос, и вырос — это говорят все — твой талант. Ты вырос. А теперь у тебя наступило другое время. Ты отработал руку и глаз. Теперь тебе надо растить главный компонент таланта — свою душу. Попробуй стать терпимее, заинтересованнее и одновременно безразличнее ко всему. И ты увидишь, что все, за что ты борешься, само пойдет к тебе в руки. Я, Юра,— твердила мне все время Сусанна,— в тебя верю.

Разве я переродился после таких или почти таких разговоров с Сусанной? И нет и да. Что-то для меня предельно прояснилось. А может быть, это возраст? Но почему-то жить стало легче. Пропал страх за Сусанну? Не суется, художник. Рембрандт двадцать лет делал офорты, о которых мало кто знал. Может быть, он тоже растил что-то в себе? Ведь последующие работы кладут свой отблеск на предыдущее. А за спиной уже немало сделанного. Нужно новое качество. Подошел ли я к нему? А если и не подошел, надо много и упорно работать, и оно возникнет. У меня в принципе все есть. Просто так меня уже не задвинуть в запасник. Так ли страшны мне сейчас конкуренты? Пора освобождать рабочее время от суеты.

Нет более скучного для художника периода, когда произведение написано и готово получать аплодисменты. Только сам автор по-настоящему знает достоинства и недостатки своего детища. Слишком долго он над ним думал, проверял возможные варианты, повороты сюжета. Он один ведает, что получилось, где не смог прорваться к замыслу или подчинить материал себе. Но еще более скучно ожидать свершения своей интриги. Потому что на то она и интрига, чтобы всегда получаться, чтобы все цепи ее срабатывали вовремя и надежно, как отлаженный часовой механизм, как рассвет и закат. А если при этом еще волноваться, загадывать и переживать, что направленный взрыв, как говорят в технике, может пойти не по тем векторам, то это, извините, означает, что ты плохой взрывник, неопытный специалист — преступно неопытный! — плохой психолог.

Я ничуть не волновался, когда через несколько дней пришел в управление на совещание к Ивану. Запалы должны были сработать. Я в соответствии с технологией пробурил породу, подготовил и заложил взрывчатку, протянул бикфордов шнур, поджег шипящий его конец и проследил, чтобы огонек не потух. У мастера не должно быть сбоев. О праве на неудачу разглагольствуют дилетанты, почерк мастера, манера таланта — это всегда удача. И при сбоях судьба выкинет его на гребень волны. «И поражение от победы,— сказал провидец поэт,— ты сам не должен отличать...» Взрыв будет! Пласты породы, поднятые на одно мгновенье силой расширяющегося газа, упадут в точно намеченное и рассчитанное место.

Естественно, на совещание я умышленно чуть опоздал, пришел последним, когда все мои несостоятельные конкуренты уже осадил дверь кабинета, размягченные и счастливые вниманием к ним большого начальства. Иван, видимо, решил принимать нас по высокому разряду. На столике в углу приемной кипел, контролируемый одной из секретарш, электросамовар, а на подоконнике в боевой готовности стоял накрытый салфеткой поднос с чашками, печеньем, конфетами и разной другой кондитерской снедью, свидетельствующей об уважении к приглашенным. Одного взгляда мне хватило, чтобы понять: поле боя было за мной! Мои друзья-художники сидели веселые, подтянутые, жизнерадостные, как люди, уже принявшие честное и благородное решение. Груды породы уже переместились в нужном направлении, осталось только подписать акт и сообщить прессе.

Ну что, я разве такой уж жестокосердный? Разве не умею платить за добро добром? Принявшим благородное решение людям я должен был сделать приятное, напустить на себя печаль, которую они хотели видеть, надеть такую маску приличной отрешенности, какую каждый из них уже смоделировал для меня в воображении.

Скорбно, убитый горем, я обошел по очереди их всех, сидящих, к моему удивлению, не по разным углам приемной, а кучно — еще один довод за полезную силу интриги, она, оказывается, может объединить вечно враждующих между собой людей в единое целое, — каждому пожал руку, вкладывая в пожатие особую печальную сердечность. И каждый взглядом послал мне не только свое скупое мужское сочувствие по случаю трагической болезни моей жены и свою моральную поддержку, но и намек на особую причастность хозяина этого взгляда к тому счастливому повороту сюжета, о котором я и не догадывался. Какое-то особое подмаргивание, значительная улыбка, преувеличенная энергия рукопожатия должны были подсказать мне потом, через несколько минут, когда я узнаю об их отказах от «Реалистов», кто из них был истинным генератором общей благородной идеи.

Я в свою очередь, горестно сосредоточенный, принимал их невысказанные соболезнования, пожелания крепиться, держать хвост пистолетом, быть мужественным и прочую белиберду, которой принято обволакивать печальника в подобных случаях. Пожеланиями, благими советами и благонамеренными речами вымощена, как известно, дорога в ад.

В кабинете Ивана, когда мы гуськом, уступая друг другу в дверях дорогу, прошли из приемной и расселись вдоль бесконечного, как колхозная нива, стола, мне было откровенно скучно. Чего тянуть, подписывай акт, объявляй прессе. Но я вдумчиво призакрыл глаза, как бы сосредоточившись на мыслях своего доблестного руководителя и своих собственных нелегких мыслях, и погрузился в извивы Ивановой демагогии.

Иван старался. Он рассказал о предложениях зарубежных организаций написать «Реалистов» силами наших художников, о том, как долго они, руководство, думали о кандидатуре художника-монументалиста, о том, как после советов и консультаций решили передать заказ одному из присутствующих здесь, в этом кабинете, мастеру (здесь все стрельнули глазами в меня — нет, определенно тайн в нашем кругу нет но определенно и другое: Иван умеет отрабатывать закадычную дружбу виват тебе, Иван!), но мастер, которому эта работа была предложена, понимая всю ответственность возложенного на него поручения, вошел в руководство с ходатайством о проведении конкурса между лучшими нашими монументалистами. И вот, заканчивал Иван свою десятиминутную речь, с этой целью он и собрал сегодняшнее заседание: настоящим он объявляет, что все приглашенные являются участниками конкурса. Все созданные в результате этого конкурса работы будут переведены в материал и украсят крупнейшие общественные здания в столице и на периферии. Письменные условия конкурса, программа его и уже оформленные авансовые договора сейчас будут розданы.

Речь Ивана была мною предпологаема. А вот дальше наступила минута некоторой неизвестности. Уже в приемной я догадался, как закончится это совещание, но как оно пройдет, об этом могла знать только гадалка очень высокой квалификации. Уж Ванечка-то такой квалификацией не обладал. И я с наслаждением наблюдал, как у него отвалилась челюсть, когда сказал свое слово Сергей Кириллович Стрелков.

— Уважаемый Иван Матвеевич, — начал Стрелков, — я говорю здесь как старейший и, возможно, самый опытный, говорю от своего

имени и от имени Семенова, Сапожникова и Косиченко. Наверное, это истина, что в нашей среде тайн нет, не удержишь. Мы все четверо знали об этом заказе и о том, зачем вы нас сюда вызвали. Мы все признательны вам за внимание и веру в наши силы, и тем не менее я хотел бы от лица всей нашей группы сказать: мы решили отказаться от этого очень лестного для нас заказа.

Стрелков со своей пепельно-седой бородой выглядел, как Зевс. Старая интеллигенция умеет преподносить свои добрые дела. Он был благороден, как член императорской фамилии. Да, друзьям-живописцам тоже палец в рот не клади. Легенды об этом бескорыстном отказе четверки разойдутся по всем мастерским и домам творчества. Как приятно иметь дело не с зеленым романтическим юнцом, а с прожженным прагматиком, так сказать, с диалектиком, который стремится получить через кассу даже свой проигрыш. Сколько теперь они наскребут с того же Ивана за свой благородный отказ, насобирают, ничего не прося. Иван в пароксизме благородства будет сам искать им работы повыгоднее и поинтереснее, отправлять в зарубежные поездки, пробивать монографии и внеочередные выставки. Bravo, друзья! Такого поворота событий я от вас не ожидал. Так до конца откатать нефтеносный горизонт! Думал, что каждый из вас будет ссылаться на свои объективные причины, а вы... А как все же вы?..

— Я не скрою,— продолжал Сергей Кириллович,— что у каждого из нас есть свои творческие планы и работа, которая нас ждет, но все-таки не поэтому мы сочли возможным просить руководство заказ передать Юрию Алексеевичу Семираеву. Мы просто уверены, что он выполнит его лучше нас всех. Нам кажется, нет смысла тратить государственные деньги и наши уже немолодые силы на конкурс. Мы полагаем, что к этой работе больше всего подготовлен Юрий Алексеевич.

Ванечкино лицо в этот момент было букетом разнообразных настроений. Ему не пришлось выбивать эту работу для своего друга. Силой обстоятельств заказ сам скатывается тому в руки. Но Ванечка привык заранее знать, как закончатся развивающиеся события, и направлять их, как гребец тяжело нагруженную лодку.

Сначала у Ванечки просто отвалилась челюсть. Заговор? Групповщина? Бунт во вверенной ему области? Потом он увидел, что не сговор, а товарищеская договоренность. И эта договоренность еще одно свидетельство его удивительной пронизательности. Его редкого дара руководства художественной интеллигенцией. Ванечка подобрал челюсть и внушительно надулся. Ура! Наша берет! Он остается счастливым капитаном! Поднять все паруса!

Ванечка произнес ответную прочувствованную речь. Ему никто не подсказывал, референт не готовил ему тезисы. Ванечка воспользовался случаем блеснуть перед интеллигенцией. Он выразил искреннюю радость по поводу ее сплоченности, понимания общих задач, ее бескорыстия, он помянул добрым словом всех, кроме, естественно, отзывчивого и эмоционального человека — главной хранительницы Юлии Борисовны, разговаривающей на шести языках, знающей, у кого из художников старшего поколения случился инфаркт и кто у кого увел молодую жену. Ну что ж, Ванечка тоже заработал конфетку и маленькую легенду своим экспромтным спичем. Каждому свое. Придется привезти ему из Парижа какой-нибудь легкомысленный сувенир.

Все эти мысли, как весенние ласточки, промелькнули у меня в голове, но я старался не поднимать глаз. Я боялся, что в них блеснет нечаянная радость. Человек еще может скрыть горе, но радость — это свыше его сил. Она прет изо всех сил, сочится из глаз. Надо долго тренировать себя на поприще жизни, чтобы научиться ее скрывать. Ведь выгрыз! Взял свое! Обломилось! Я сидел, стараясь сохранить хмурое выражение лица, но во мне все ликовало.

О блаженный миг расслабления, где ты? Как бы я хотел сейчас оказаться в своем пустом рабочем кабинете. Хотел бы посмотреть на выражение глаз бывшего хозяина дворца. Ну что же, ваше сиятельство, как видите, жизнь улыбается и вашим бывшим крепостным. Мне ведь тоже этим заказом подписывают грамоту на графское достоинство. В следующем издании энциклопедии будет страничная репродукция моей парижской работы, потом как-нибудь устрою, чтобы мой портрет написал Стрелков, — и дело сделано. Стрелков-то в книгу бессмертия попадет. Когда-нибудь будем висеть в одних музейных залах: вы, господин граф, мой портрет работы Стрелкова и — что там писали Крамской, Кипренский, Серов? — Толстой, Пушкин, Ермолова... Компания мне подойдет. А мой скромный дар и грандиозная кисть Стрелкова вывезут. Вот так-то!

И вы, госпожа муза, недаром осенили меня своим крылом и преподали тонкие уроки политета. И на нашей улице раздают пряники! Я даже готов утверждать, что существует закон, по которому вовемя подаренное ведро меда оборачивается стоведерной бочкой. Свежего, пахучего, с горних вершин.

Я никого не забуду из моих посторонних вожатых. Даже императорский стол. Договор в министерстве подписывать не буду. Пусть пришлют в музей. Что там было подписано на синем сукне за бронзовым бордюрчиком? Пора порадовать стол новой легендой. Будут говорить: за этим столом что-то подписал русский император, а также знаменитый художник Семираев договор на фреску «Реалисты». Пора обростать легендами и самому.

«Искусство совершенно бесполезно»? Какой бездарный афоризм придумал Оскар Уайльд. А художнику оно тоже бесполезно? А муза?

Вперед, художник! Мы еще осадим на полном скаку наше быстротекущее время. Еще поспрадуем.

Главное, не выдать сейчас радостный, сумасшедший блеск глаз.

Глава VI

Я знал, что тону.

Это было, как во сне, как в детстве. Нырнув так глубоко, насколько хватает воздуха в легких, ты пугаешься у самого дна и, развернувшись в воде, изо всех сил гребешь вверх. Наверху чуть-чуть, пятнышком, светлеет летний день. Грудь заложила непереносимая боль, и тебе кажется, что не догребешь, навсегда останешься среди струящихся водорослей и черных коряг. Страх сковывает мозг, но ты все гребешь, гребешь...

Когда Маша распахнула дверь и я увидел огромную, во всю стену картину, я понял, что тону.

Пятнышко дня светилось где-то в недосягаемой вышине, сердце по-сумасшедшему колотилось, мозг, как загнанная в угол крыса, метался в поисках выхода, я что-то говорил, отвечал, улыбался, но до тех пор, пока Маша, уже выходя из комнаты, тихо, неслышно для окружающих сказала мне: «Это тебе, папа, безвозмездный подарок», я думал, что уже никогда не выплыву.

Все летело к черту, в тартарары. Я получил свое Ватерлоо. Пейзаж после битвы был уныл и жалок.

...Золотая пуля, оказывается, продолжила свой полет. В нашем охотничьем деле одним выстрелом можно убить и не трех зайцев. После заседания в кабинете у Ивана внезапно, да так, что я бы не подумал и мечтать об этом, решил вопрос и о месте, где я мог готовить мой огромный, в размер, эскиз. Конечно, могло бы хватить и моей мастерской. И все же работать там над такого размера произведением было бы затруднительно и не очень удобно. Отвлекали бы и домашние дела и необходимость ездить на работу, да и

занять мастерскую одной работой значило надолго лишиться себя возможности доводить до ума кое-какую оставшуюся незавершенку.

Юлия Борисовна, видимо, подумала, что исход совещания у Ивана дело ее рук. А победа, как известно, удесятерит силы. Удесятерит шустрость ума. Юлия Борисовна в своем человеколюбии решила, как Александр Македонский, дойти до последних пределов известного мира, поэтому-то ее предложение было для меня неожиданным.

— Юрий Алексеевич,— сказала она,— мы сейчас меняем экспозицию, и три зала, непосредственно примыкающих к вашему кабинету, будут три-четыре месяца свободны. Мы бы могли закрыть паркет фанерой, стены затянуть холстом—и чем вам не мастерская? Это позволило бы сохранить вам много времени для руководства музеем. В случае острой необходимости вы всегда под рукой. А Ивану Матвеевичу я об этом уже звонила. Он согласен и считает это разумным.

Это было сверхугодно.

Никогда в жизни не было у меня такого счастливого времени, как два месяца, которые я отдал работе над эскизом для показа комиссии. Все, о чем я мечтал, почти сбылось. Мне помогли смирившиеся Маша и Слава, лучше чувствовала себя Сусанна, крепко подвигался мой главный в жизни увраж. Я сумел ничего не выпустить из рук, все было со мною.

Но почему-то больше всего меня радовало то продолжающееся духовное единение с Сусанной, которое началось с ее болезни. Я вторгался в ту область, которая казалась мне недоступной. В область обычного семейного, человеческого счастья.

Уже другими глазами я смотрел, как работают и ведут себя друг с другом Маша и Слава. От меня ушла зависть к их отношениям, я мог прочесть каждый их жест и понимал каждое слово, которым они ненароком перебрасывались между собой.

Куда делась строптивость моей дочери? Правда, после смерти Славиной мамы она не вернулась домой, а осталась жить в их однокомнатной квартире на задворках города, но удивительно легко согласилась помогать мне и уже не ерепенилась, брала довольно большие деньги, которые я им со Славой платил. Не даром же, говорил я, за работу. «Мы тебе, папа, нарабатываем»,— отвечала Маша, и всегда в эти минуты в ее улыбке проскальзывало что-то от улыбки Марии-старшей.

Работали Слава и Маша прекрасно. Им хватало моего намека, совсем крошечного эскиза, нескольких линий, чтобы развить, дополнить идею, художественно ее завершить. Если мне что-то не нравилось, они тут же без особых споров переделывали, находили острогу в новом решении. Мне доставляло наслаждение видеть, как они лазали по стремянкам и, как птицы, перекликались из разных уголков мастерской. Но их движения, повадки, маршруты в огромном музейном зале, который рабочие под руководством Юлии Борисовны превратили в мастерскую, всегда имели какую-то центростремительную силу. Слава не мог пройти в другой угол мастерской и не подойти к Маше, а та, в свою очередь, работая, все время приближалась ближе и ближе к мужу.

И все же главное, что меня в них восхищало, это свобода художественного мышления. Там, где я десять раз примеривался, чтобы провести одну линию, они проводили ее мгновенно. Где я высчитывал, проверяя себя по репродукциям с картин классиков, где я высчитывал блик или рефлекс света, они, казалось бы, не задумываясь, почти не глядя на палитру, тыкали кистью, чего-то там мешали и одним ударом ставили на полотне нужную точку. Их дар был о р г а н и ч е н и весел, он был неиссякаем, как молодой ключ. Они выплескивали мир из себя, в то время как я, прежде чем что-либо сделать, долго вбирал все внутрь, копил наблюдения, складывал одно с другим. Боже мой, и как рано к ним это пришло! Да, были и неточности, и ошибки, и при-

близительность, и небрежность — им не хватало моего фотографического глаза и рук чертежника, — но ведь это всего лишь опыт, тренировка, упражнения. Это придет! А вот то, что есть у них, уже никогда моим не будет.

А может быть, то, что мы называем художественным совершенством — работы старых итальянцев, средневековых немцев, картины Рембрандта, Иванова, Репина, — может быть, все это скорее отточенный, аптекарский дар, чем выплеск вдохновения? Может быть, побеждает не только душа, но и количество, предельность завершенности? Да, да, да, говорю я себе тысячу раз и не верю. Отбрасываю в сторону эти мысли, потому что нечего зря размышлять, поздно, мой паровоз летит по рельсам все вперед и вперед. Сейчас главное — справиться со скоростью. Главное — работать. Поверим окружающим. В конце концов публика выносит суд художнику. А разве не на мои вернисажи у дверей выставочных залов выстраиваются толпы народа? К славе выводит не одна картина художника и не десять, а его судьба, планета.

Во время работы над «Реалистами» я холодным рассудком оградил себя от зависти к ребятам, ее нельзя было даже затаить. Я уже достаточно опытный человек, чтобы знать: это почувствуется в совместной работе, обязательно проявится. И тогда — крах. У них другой путь. Их не сжигает неистребимое честолюбие. Им не нужно самоутверждаться во что бы то ни стало, потому что они родились без комплексов. Сызначала мир им дал то, чем владел.

И все же я ошибся. У них были свои проблемы, которые они решали, оказывается, достаточно четко. Это молодое, хорошо ориентированное поколение решило не вступать в обесценивающие, бесполезные этические споры. Они знали, что такое честь, совесть, долг, но они не трясли эти понятия в своих душах, как половики после ухода гостей. Они просто действовали, когда чувствовали, что по их кодексу нравственности они были правы. Действовали, невзирая ни на что. Здесь у них не было толерантности. Важен был принцип. И сколько они здесь сэкономили сил! Намечали цель — и действовали. Они, Маша и Слава, и понимали друг друга так хорошо не только потому, что их физически друг к другу влекло, но и потому, что у них был общий инстинкт цели.

Как-то во время работы я перемолвился с Машей. Вернее, она спросила:

— Папа, для чего тебе при твоих званиях так нужны были «Реалисты»?

Вопрос застал меня врасплох, и я ответил так, как думал на самом деле:

— Чтобы потом получить следующих «Реалистов».

— А потом?

— А потом еще следующих. Чтобы не быть связанным с музеем, не дружить с людьми, которые мне совсем не нужны.

— А... — хмыкнула Маша. — Я думала, что ты на этом остановишься.

— Ну а чего хотела бы в жизни ты? — разозлившись, спросил я у Маши.

Она ответила мгновенно:

— Самореализоваться.

— Что ты под этим понимаешь?

— Получить все то, что я смогла бы получить, если бы все внешние обстоятельства по отношению ко мне сложились бы благоприятно.

— Для искусства, для живописи?

— Почему только для искусства — для всей жизни.

— Ты хочешь стать материально обеспеченной, иметь машину, дачу?

— Я человек разумных потребностей. Я хочу стать очень хорошим художником и человеком, свободно планирующим свою жизнь.

Я хочу многое увидеть, родить детей. Я хочу все, что мне отпущено природой. Все.

— Может быть, ты переоцениваешь природные дары?

— Нет. Каждый человек знает, что ему отпущено. И если он с этим соглашается, живет по своим внутренним возможностям, хочет лишь того, на что имеет право хотеть, то он счастлив. Я хочу быть счастливой.

Вот такой у нас состоялся разговорчик.

Как же точно формулирует это поколение! Я думал: после того как Юлия Борисовна рассказала Маше, что я добился заказного конкурса на «Реалистов», мы с Машей в мире. А оказывается, шла война. Но в тот момент я и не догадывался о враждебных действиях. Так, обычные философские умствования. Счастливо подвигающаяся работа, ежедневные разговоры с Сусанной — все это усыпило меня.

Юлия Борисовна действительно освободила три зала, составляющих вместе с моим кабинетом анфиладу, окнами выходящих на север. Она закрыла и опечатала последнюю дверь, ведущую уже непосредственно в экспозицию, и пройти в эту новую мастерскую можно было только через мой кабинет. Утром открывал его я сам, а вечером Маша и Слава сдавали ключ охраннику.

Мы втроем толклись в первом зале, где был натянута огромный подрамник, а во втором зале стоял всякий подсобный материал, хранились краски, развешены были карандашные этюды, которые я постепенно перевозил из дома.

В девять утра мы втроем — я, Маша и Слава, несущий большую сумку с термосами и бутербродами, — встречались у подъезда музея. В течение полутора-двух часов я занимался с ребятами, смотрел, что они сделали накануне, поправлял рисунок, прописывал важнейшие детали. С одиннадцати до трех занимался музейными делами, проводил совещания, ездил в министерство, на закупочную комиссию или выставку, а к четырем отправлялся к Сусанне.

За последнее время Сусанна стала значительно лучше. Я торопился взять ее домой, но бородатое светило, усадив нас с Сусанной у себя в кабинете, долго внушало, что необходимо остаться еще месяца на два в больнице. Лечение надо закрепить. Стабилизировать психику. Иначе Сусанна не застрахована от рецидива.

Сусанна рвалась домой. У нее были разнообразные планы и идеи по упрощению быта и по новой жизни — нашей жизни ради друг друга. Но мы согласились с точкой зрения врача, и Сусанна осталась в больнице.

Она похудела, движения стали медлительными, и в выражении лица проступила прежняя женская мягкость.

В больничном садике тоже были перемены. Возле стволов деревьев появились протаявшие лунки, тропинки стаяли уже от нераскиданных сугробов, перезимовавшие птицы жалась к кормушкам. По этим тропинкам бродили разные больничные люди, часто нелепо укутанные, что, очевидно, придавало нелепость их жестам, и, глядя на них, я думал: какое счастье, что у Сусанны все так хорошо обошлось.

Я рассказывал Сусанне о том, как у меня двигалось дело, о новостях в музее, обо всем, что случилось. И при этом отметил про себя, с каким вниманием прислушивался к ее советам. Она была здорова — и я поступал так, как считал нужным сам. Она заболела — и, как ни странно, я стал находить больше полезного в ее словах. Это, видимо, произошло потому, что раньше она приходила к каким-то идеям в принципе теми же логическими ходами, что и я, а теперь в ней ярче заговорило женское начало, сохраняющее семью и покой близких, заговорило женская осторожность и опытность. И насколько такой — спокойной и одновременно беспомощной — была она для меня родней и ближе!

У нее была куча планов на дальнейшую жизнь. И главный из них, стратегический — это я и моя работа. Мы кончили наш бой за выяснение, кто из нас более известен и добычлив. Все свое будущее Сусанна представляла как создание условий для моей работы. Я этому только радовался. Пусть будет хороший и по-настоящему уютный и интеллигентный дом. Моим картинам уже не нужен толкач и рекламный агент, у меня есть имя и будут «Реалисты».

— А зачем тебе, Юра, музей? — говорила Сусанна. — Тебе надо с ним расстаться. В жизни, наверное, надо выбирать что-то одно. Я понимаю: лишние поездки за рубеж и как директор ты вхож в разные сферы. Но так ли теперь это нужно?

Я сам понимал, что эта артезианская скважина уже иссякла, водоносные слои для промышленного освоения истощались, а любительством, мелкой рыночной торговлей и добычей я никогда в жизни не занимался. Но бросить это могучее в самоутверждении подспорье было боязно. У меня нет, знал я, бесспорного дара. В лучшем случае мои шансы колеблются: пятьдесят на пятьдесят. А в этом случае на чашу весов на всех выставках, закупочных комиссиях, при распределении больших заказов давил мой официальный статус, боязнь моего имени, моей вхожести в разные высокие круги.

Почему так коротка жизнь? Только ты вытренируешь себя к ней — надо уходить. Почему от многого надо отказываться? Может быть, музей мне и действительно не нужен, но как добивался я его пять лет назад!

...Иван только сочувственно обмолвился, что старик, бывший директор музея, ложится на операцию.

— Рак?

Иван, голубиная душа, печально наклонил голову.

А я уже мгновенно составил план. Больше пяти лет после этой операции никто не живет. И уже на следующий день я отправился в большой вояж по пограничным заставам. В прессе появилась об этом заметка. Потом я в порядке шефства оформил как монументалист профессионально-техническое училище в крупном городе на востоке страны. Об этом поместила информация центральная молодежная газета. Я вносил деньги в какие-то фонды. Подарил картину Кустодиева одной волжской галерее. Ездил на льдину рисовать полярников. Я сколачивал свою общественную физиономию. А одновременно в обществе, не без моей, конечно, подсказки, назревала идея, что, кроме Семираева, занять место директора музея некому.

Уже пошли зондажи через третьих лиц, намеки большого начальства, но Семираев гордо отвечал: «Живописец должен заниматься живописью». Как мне, еще только набравшему скорость, был нужен в это время этот музей! Он должен был кинуть глянец на возникающую легенду моей судьбы. Надо все прибирать к рукам. Ни от чего не отказываться. В конце концов Пушкин, Некрасов, Твардовский были главными редакторами, Гёте — министром, Томас Мор — канцлером, Бородин — профессором. Конечно, они все были прежде всего Пушкинными и Гёте. Но! Чем больше идентичных точек на копии и оригинале, тем выше общее сходство. Еще через сто лет в деталях не разберутся и вовсе. Надо брать, брать, брать!

И наконец Иван, вызвав к себе, говорит:

— Мы посоветовались, мы на тебя, Юрий Алексеевич, надеемся. Тебе надо наводить порядок в музее.

Я клоню взгляд долу и в тон своему другу отвечаю:

— Если надо, — я тяжело, горько, искренне вздыхаю, — значит, надо...

Мы гуляем с Сусанной по садику до шести, а в шесть я уезжаю, потому что надо начинать работать дома.

В жизни у меня еще не было работы более приятной. Я попал в свою стихию. Разыскиваю по энциклопедиям и старым книгам порт-

реты, выискиваю данные об артистах, писателях, художниках — героях моих «Реалистов», стараясь найти, какого они роста, во что одевались, их привычки, а потом, сначала на небольшом листочке, собираю все это в одной фигуре. Это напоминает блочное строительство. Уже готовые, взятые из книг, со старых гравюр и дагеротипов детали я сочетаю, подгоняю друг к другу, замазываю и шпаклюю швы. Строительные материалы не надо скрывать, бояться, что обнаружится первоисточник. Все наяву, и красота моего труда в том, чтобы ловко на глазах у зрителя перелицевать ему уже известное, до боли знакомые лица повернуть в ином ракурсе, добавить новые или забытые подробности и вывести зрителя на иную художественную данность.

Иногда проходят часы и ночи, пока отыщешь рук и Чернышевского или рост Радищева. Но постепенно когда-то живший человек под моим карандашом приобретает зримые черты целой человеческой фигуры. Одет, обут соответственно эпохе, поставлен в привычную для него позу. Я собираю то, что может навсегда, как дождь, уйти в землю, и силой своего воображения, словно реставратор, дописываю недостающие, выпавшие куски. Я наслаждаюсь тем, что из-под моей руки как бы заново на уровне суперреальности вновь рождается человек. Я прикасаюсь к его миру, и мне кажется, что меня он и его товарищи, так же заново возрожденные, принимают в свою компанию.

Потом я беру большие листы и фигуру своей фрески делаю в размер, переношу на эти листы. Уже почти безо всяких изменений эти фигуры встанут в картину. Здесь возникает масса новых проблем и вопросов, которые требуют своего разрешения. Цвет глаз, оттенок кожи, характер застежек на обуви, количество пуговиц на сюртуке и фактура материала на камзоле. И каждый раз, выясняя эти подробности, я чувствую, что вдуваю жизнь в ушедшее время, так воссоздаю человека, что он начинает смотреть на меня и двигаться иначе, чем хотелось бы мне, по своим внутренним законам, по собственной логике. Мне иногда кажется, что он может ожить, потребовать от меня еду, питье, перо и бумагу. Мне становится страшно, и под утро, уходя спать, я оставляю в мастерской включенным свет, чтобы не разгневать вызванного к новому существованию человека.

Наутро готовые большие листы я вывожу в мастерскую, в музей. Как я горжусь этими портретами, которые потом Маша и Слава переносят на общую композицию. Наша работа быстро и успешно подвигается. Один за другим выстраиваются кумиры нашей духовной жизни, заполняя все пространство картины.

Но если бы только я знал, что дорогие мои помощники делают с этих портретов не одну «пересадку», а две! Лишь когда во время просмотра «Реалистов» комиссией Маша открыла дверь третьего, как всегда, как мне казалось, пустого зала, где стоял лишь запасной подрамник для «Реалистов», я понял, что снабдил своих юных друзей слишком подробным материалом, слишком легко усвояемым и обнаженным. Перерисовывая мои портреты в композицию, они так хорошо усваивали систему моих живописных доказательств, что уже, даже в измененном виде, перенести эти портреты на плоскость еще раз для них не составляло труда. Привой был настолько живуч и силен, что начал давать плоды почти на любом подвое. И самое главное: при повторном перенесении все казалось молодым людям их собственным открытием.

В мои подробные художественные описи интеллектуальных героев прошлого Маша и Слава во время работы вносили и свои коррективы. Они, как художники, точнее, естественнее и современнее компоновали группы, чем я, располагали фигуры в неожиданных ракурсах, стягивали композицию общей цветовой гаммой.

Т а й н а я работа получилась прекрасной. Она была лучше и ярче нашего совместного варианта. Сильнее и современнее. И Иван Матвее-

вич и члены комиссии поняли это сразу. Они все профессионалы. И я это тоже понял, но понял, что тону.

Слишком много было готового, и это готовое слишком легко приживалось, поэтому Слава и Маша имели время, чтобы создать еще один, как им, наверное, казалось, с о й вариант. Доказать что-то мне? Посрамить? Отомстить? Разделаться? Свой вариант! Свой дом из бревен, которые нашли, срубили и обтесали не они, из кирпича, который обожжен и завезен не ими. Но! С первого же взгляда мелькнуло у меня в голове: разве теперь что-нибудь докажешь! Я только не понял, почему меня сразу не хватил удар, не лопнуло сердце, когда, после того как комиссия приняла, приняла на ура, проаплодировали, поздравили меня с победой, после того как я уже раскрыл рот, чтобы пригласить всех выпить по рюмке заранее приготовленного коньяка, Маша вдруг сказала громко:

— Папа стесняется показать комиссии еще один вариант.

И как только Маша открыла дверь в третий зал, как только я взглянул на ее со Славой картину, я понял: они сделали е д и н с т в е н н ы й, неповторимый и непогрешимый вариант.

Через открывшуюся дверь я увидел картину впервые. Тот же амфитеатр, который намечал Слава в первоначальном эскизе, мои знакомые и любимые реалисты, лица толпы, тонущей на горизонте, но на первом плане стояла женщина. Полуобнаженная, она была повернута спиной к зрителю и медленно, раздвигая стоящих перед нею, уходила вдаль. Уходило прошлое. Но на руке у женщины сидел, обнимая мать, младенец. Лицо его, упиравшееся подбородком в материнское плечо, было повернуто к зрителю. Уходило, прощаясь, Прошлое, и встречало день сегодняшний Будущее. Дивная, прекрасная метафора, такая необходимая для этой ретроспективной картины!

И тут же выкристаллизовалось общее мнение:

— Какая скромность! Какая неуверенность в себе! И какая творческая активность! Два таких варианта!

— Конечно, второй!

— Оба варианта бесспорны.

— Но лучше второй.

Я не знал, что мне и подумать. Вокруг уже горела дискуссия. Члены комиссии бегали из одного зала в другой — сравнивали варианты. Наконец Иван Матвеевич подвел итог:

— Если автор не возражает, — кивок в мою сторону, — то комиссия все же считает, что надо принимать второй вариант.

Первый вариант, по мнению Ивана, все же более в н у т р е н н и й, для использования в стране, и он предлагает сразу же поставить вопрос о покупке композиции для музея современного искусства.

Все кинулись меня поздравлять.

Я только приготовился до последнего защищать первый, мой вариант, нашел аргументы, доводы. Но первой поздравлять бросается ко мне Маша. Тут она мне и шепнула:

— Это тебе, папочка, безвозмездный подарок. Не сердись. Ты же сам понимаешь, что главное здесь твое, кровное, н а р а б о т а н н о е.

У меня отлегло от сердца. Сразу же ценким взглядом я увидел, что в их картине надо уточнить, переписать, доделать. Доделаю. Вывезло!

Но рано радоваться. Верить ли дочери? Может быть, она затягивает меня в новую ловушку? Опять, как и раньше, я балансирую на узкой жердочке. Так ли откровенна и доброжелательна к отцу Маша? Боюсь! Я ведь сразу же, как вошел в зал, увидел и то, что лицо женщины, на одну треть отвернувшейся от зрителя, это лицо Марии-старшей! А ребенок, его мордочка — это копия с детского портрета Маши, который я писал много лет назад.

Один я пью первую большую рюмку коньяка.

Добро или коварство? Выплыл или продолжаю тонуть? Я делаю последний гребок. Вроде светит солнце? День серенький. А может

быть, я вижу это через слой зеленоватой воды? Поговорить бы с дочерью, узнать бы по ее глазам свой приговор. Не у кого спросить. Никого.

Пока все пили у меня в кабинете, вели умные разговоры, я все время — бочком, бочком — пытался протиснуться к дочери. Но почему-то она все время уходила от меня все дальше и дальше, ближе к двери, к выходу.

Но я не могу жить в неизвестности. Не могу! У кого же спросить мне сейчас? Надрались, наелись, разошлись, благодетельствовали. Никого.

Сейчас понесу ключи охраннику. Будь мужественным, мастер! Собирайся и ты в свой одинокий дом, в холодную лисью нору, увешанную бесценными картинами.

Что лыбишься, господин граф? Ты думаешь, твоя взяла? Заблуждаешься, благородное отродье. Пока еще жив. Сижу в твоей спальне, сижу за столом твоего повелителя и попиваю коньяк «Самтреста». Спускайся на рюмочку. Поднесу. Поднесу, так сказать, как представителю реликтовой эпохи. Ну, так за твое навеки истлевшее здоровье. Прозит! Чин-чин! Бом-бом! Виват, ваше превосходительство.

Не нравится мне сегодня господин граф. Что-то слишком злоеющую корчит рожу. И ты тоже задумал каверзу? Перенесу в запасник, зашлю в провинциальный музей!

Смир-но! Чтобы все стояли смирно, когда пьет Семираев! За собственное здоровье. За собственную удачу. За свое место в искусстве!

Почему не слышу музыки? Почему не гремят виваты? Смиррр-но! Сошлю! Уничтожу!

Все кончается, все плывет перед глазами. Кажется, как Командор, граф собирается сойти с картины.

А вы чего лыбитесь, великий князь? Грозить кулаком! Да вас наголо остригут! Знаете, что за хулиганство бывает? А на пятнадцать суток в КПЗ не желаете?

И у госпожи музы в руках ведро помоев. Бунт?!

Теперь стены пошли в наступление. Сдвигаются? Получили! Раздавить меня?

Не выйдет, господа хорошие. Я пока на коне. Я пока за столом. За императорским столом.

Я выпрямляю спину. Делаю значительное лицо. Это уже не просто Семираев, а нечто великое, могучее, грозное. Я чувствую, как и стол подобрался весь подо мной, трепещет, налился силой.

Да, я не желаю жить в одной комнате с этой швалью на стенах. Предавать в трудную минуту! Но! Поехали! Пошел, стол!

Стол подчинился моему приказу: медленно, как конь командующего на параде, он разворачивается на одном месте и медленно фронтом двигается к огромному трехстворчатому окну. Мимо проплывают злобные лица ненавистных портретов.

Сейчас раздастся звон стекла. Но нет. Окна внезапно распахиваются, трепеща занавесками.

По-прежнему сидя в кресле за столом, эдакой колесницей я выкачиваюсь в сад. Я сижу с прямой спиной, положив кисти рук на синюю столешницу. Стол, как летающее блюдо, покачался над кустарником, над посеревшим снегом и медленно, будто вдоль по горке, пошел вверх. Это предназначено мне судьбой — все выше и выше.

Внизу просматривается графский совсем маленький, как макет, дворец, замерший пруд, ниточка электрички. Спиралью огненной галактики мелькнул город, потом расплылись очертания страны. Вот завертелся грязный арбуз Земли. Темно.

Туман клубится, как в бане. Не видно даже бронзового бордюрика. Ветер холодит щеки. Непривычно тихо, как в колодце. А может быть, я уже на том свете? Я уже тень, которая ищет своего перевозчика? Мне страшно. Бо-юсь!

Возьмите мою бессмертную душу, но отдайте мне мое тело. Живое, теплое. Я не хочу жить в пустоте. Не могу!

Хоть бы что-нибудь на горизонте. Хоть звездочка. Хоть бы раздался свисток милиционера. Ничего.

И вдруг я слышу родное, знакомое и любимое. Я узнаю по голосу. Так поет только моя знакомая замечательная птица. Вот она. Где ты? «Я здесь», — раздается внизу, подо мною. Судьба зовет. Я срываюсь со своего кресла. И вдруг чувствую, что лечу.

Мои руки уже не так судорожно молотят воздух. Они обросли тяжелыми перьями, превратились в крылья, и я взмахиваю ими медленно, на вздохе. Я лечу все ниже и ниже.

Вот уже земля мерцает, проплыла галактика города, усадьба с распахнутым, несмотря на зиму, окном.

Теперь я лечу низко, почти над сугробами, лесами, холодными парками и, только почувствовав запах гари, резко иду вниз.

Глеет среди мусора костер. Здесь; все такие же, как и я, черные тупоносые птицы. Мы, вороны, самая мужественная и самостоятельная тварь на земле.

Я складываю крылья, озираюсь, делаю шаг, другой. Что-то клюю. Хорошо. Спокойно. Я наконец-то счастлив. Я пришел к себе. Я занят делом. Мне не нужно казаться. Ворона — самая мужественная и полезная птица.

Я успокаиваю себя: ворона — это санитар природы.



ФЕДОР СУХОВ



СТИХИ

..*

Небо радует землю. Земля,
Вся в небесной она благодати,
Катит гром на мои зелена,
Реки млека полденного катит.

И готовы пролиться они,
Эти реки полденного млека.
Незабудки свои подними,
Человек, приголубь человека!

Брата брат приласкай, возвеличь,
Прибодри зацветающий колос.
Пригорюненной ивушки лист
Пусть возвысит серебряный голос.

Луговая воспрянет трава,
Встанут на ноги резвые кони!
А моя потайная тропа
От любой упасется погони.

Убежит от напасти любой,
От любого укроется лиха.
Растревожит белой трубой
На опушке лесной повилика.

Слово дивное скажет труба,
Протрубит на рассветной побудке.
Ну а чья-то тропинка-тропа
Приподнимет свои незабудки.

СОЛОВЬИ

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Февраль не лютует, не вьюжит, | Она припадает к капели, |
| Смиренно каплюет февраль. | Купает в ней думы свои |
| В его подоконные лужи | И слышит, как дружно запели |
| Синичья глядится печаль. | Российской зимы соловьи! |



ЮРИЙ БОНДАРЕВ

★

ИГРА*

Роман

Глава двенадцатая

На 4 июля Крымова приглашали к следователю, и он не поехал на дачу, остался ночевать в городе.

Под утро отчетливо услышал во сне, как кто-то пытался взломать дверь с лестничной площадки — остро и жестко скрежетало железо выворачиваемых замков, трещали доски. Под ударами дверь подалась, прогнулась, и что-то бесформенное, опасное краем вдвинулось в кабинет, безглазо следило за ним, оцепенело лежащим на диване, с угрозой ощупывало его, а он в бессилии даже не мог повернуть головы, крикнуть ссохшимся горлом: «Кто здесь?»

Он видел это так явно, так реально, что, проснувшись в обильном поту, долго смотрел с недоверием на спокойно отблескивающую в свете зари дверь своего ничем не нарушенного кабинета. Он лежал и думал о предстоящем разговоре со следователем, назначенном в повестке на 12 часов дня, ныряющие удары сердца оглушали его, и было тяжело от недавнего отвратительного бессилия во сне.

Это был вторичный вызов к следователю, первая их встреча состоялась накануне отъезда в Париж, и еще тогда, по убеждению Крымова, все должно было предельно проясниться. Но то, что его снова приглашали на Петровку, и то, что расследование надо полагать, не было закончено, являло тень смутной тревоги и подозрительной неясности. Сердцебиение не проходило, не забывалось белое и безглазое, вдвинувшееся в кабинет, и, чтобы взбодриться, стряхнуть сонный дурман, он принял холодный душ, растерся мохнатым полотенцем до звенящего тока в мускулах. Уже бреясь, заметил, как в зеркале засеребрился тоненький луч, пробиваясь через листву за окном и, намыливая подбородок душистой пеной, нежно согревающей кожу. Крымов вдруг ощутил прилив душевной легкости, какая бывала иногда по утрам, а когда надел чистую сорочку, облегающую прохладой, и увидел свои заискрившиеся улыбкой глаза, то подмигнул дружески, якобы продолжая неоконченный разговор с Гричмаром: «Ну, поживем еще... до апокалипсиса!»

Он выпил стакан крепкого чая и прошел в кабинет к телефону с намерением позвонить на дачу. Аппарат чернел на столе затаившимся отчужденным зверьком, и Крымов в раздумье постоял у телефона, но звонить не стал, не желая лгать и объяснять Ольге то, о чем говорить сейчас не стоило. По тому, как она встретила его на даче, он до-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 1 с. 2.

гадывался, что слухи ее не обошли, однако всякое объяснение походило бы на оправдание, на жалобную его исповедь.

«Только бы не была вмешана Ольга,— думал Крымов, шагая по квартире, по ее сиротливым комнатам, обдающим пыльной и солнечной пустотой. — Я должен быть с этим один».

Когда он доехал на такси до Цветного бульвара и отсюда пошел пешком в сторону Петровки, был будничным час перед полднем с хаотичным и бессмысленным многолюдством на улицах, с непрерывным шелестом, ревом, мельканием легковых машин, зачем-то и куда-то едущих, с треском, гудением, грохотом, казалось, тоже бессмысленного потока грузовиков на Садовом кольце, с переполненными до отказа троллейбусами, вспыхивающими толстыми стеклами, со спертой теснотой в трамваях, с загородившими тротуары очередями за газированной водой и мороженым, с разморенными лицами в толпах,— весь этот вращающийся в неистовом пекле городской калейдоскоп пронеслся мимо под давящим адским огнем солнца и был уже насквозь пропитан чадным духом асфальта. Только на бульваре, в затененности лип, под ветвями, еще сохранялась тепловатая сырость утра, влага от поливальных машин, окативших деревья еще в раннюю пору прохлады.

«Ну, поживем пока... до апокалипсиса,— опять подумал Крымов, стараясь удержать иронией душевное равновесие. — Но зачем и во имя чего все это? Недоверчивость и подозрение — уже виновность... Что ж, я не хотел, а теперь хочу поторопить разговор со следователем. Для чего поторопить? Снять немыслимые подозрения? Установить истину? В этом такая же бессмысленность, как и в замедленности».

После проверки документов в вестибюле (мальчик-лейтенант, узнавая, бегло глянул в удостоверение, затем ему в лицо и украдкой улыбнулся) он поднялся на второй этаж и направился по длинному коридору в конец его, где была комната № 200, как он помнил, налево от окна близ лестничной площадки. Он дошел до конца коридора, высокого, совершенно безлюдного, с массивными дверями (где-то в глубине отдаленно постукивала пишущая машинка), без труда нашел номер комнаты и здесь увидел еще одного посетителя, стоявшего у окна со сцепленными за спиной руками.

— Вы тоже сюда?

Человек у окна не пошевелился, и Крымов постучал в дверь. Из комнаты никто не отозвался. Он нажал дверь с решительностью, которая не полагалась в этом учреждении, дверь была заперта, он пробормотал в озадаченности: «М-да, никого...» — и, доставая сигареты, подошел к выходу на лестничную площадку.

— Вы Крымов? — услышал он робкий, ищущий голос. — Вы режиссер Крымов?

Он обернулся, человек у окна смотрел на него светлыми в красных веках глазами, какими-то неуловимо знакомыми, что-то мучительно напоминавшими, и у Крымова горячо рванулось сердце. Он мигом вспоминал эту нежную и благородную седину длинных волос, какая бывает у старых актеров, и красивые, сплешь седые брови, и матовость кожи, и опрятность одежды, траурную черноту галстука, вспомнил, как он, этот человек, стоял на кладбище, одеревенело уставясь под ноги себе, как задушенно зарыдал, когда заканчивалось прощание, склоняясь к гробу с искривленным лицом.

— Вы отец Ирины,— сказал, преодолевая неудобство, Крымов. — Простите, я знаю ваше имя по отчеству Ирины, но запомнил ваше отчество. Нас с вами познакомили на кладбище, в тот день...

— К несчастью,— неживым голосом выговорил отец Ирины и печально прикрыл глаза. — Мое имя Вениамин Владимирович. Я работаю в Плановом управлении Латвии, живу в Риге. А вас я хорошо

помню. И знаю по вашим работам, Вячеслав Андреевич... Вас я правильно величаю?

— Значит, вы тоже сюда,— полувопросительно сказал Крымов, проклиная никчемность своих слов и неловкую ненужность встречи в том месте, где она не должна быть. — Вас пригласили из Риги? Странно, в одно и то же время... Как непонятно и нелепо все... — Он недоговорил и швырнул недокуренную сигарету в урну.

— Да, я сюда, сюда приехал,— проговорил Вениамин Владимирович, кивнув на дверь, и, театрально закрыв искажившееся лицо бледными, интеллигентными, с синими жилками руками, заговорил сдавленно: — Поверьте, я теряю разум... За что же меня так наказала судьба? Кто мне сможет теперь ответить? Кто, Вячеслав Андреевич? Кто вернет мне Ирину, мою дочь? Единственная моя... Женственная, умная... Я знаю, как она была талантлива,— продолжал он, отняв руки от лица, и, повернувшись к Крымову боком, приложил зачем-то ладони к стеклу, слезы скатывались по его дрожащей щеке. — Я знаю, как она страдала, когда случилась эта травма в Большом театре. А были такие надежды, ожидания... Она стала бы великой балериной... Я чувствовал это с ее детства, с отрочества... Пластика, танцы, какие-то милые движения, потом балетная школа, восторги преподавателей... За что, за что так наказала меня судьба? За что отняла у меня мою единственную дочь? Это жестокость!..

Он вобрал воздух ртом, влажно всхлипнул, плечи его затряслись, как тогда на кладбище в минуту прощания, и Крымов, хмурясь, сказал:

— Ради бога, успокойтесь.

— Разумеется, разумеется,— выговорил Вениамин Владимирович, смахивая слезы морганием век.— Когда заживет эта рана? Никогда, никогда! Моя Ирина, моя дочь была необыкновенное существо... Какое-то трагическое дитя, беспомощный прелестный цветок, обреченный быть растоптанным! Грубо растоптанным жизнью!..

«Я понимаю его, но не могу помочь,— подумал Крымов, с тоскливой подавленностью отводя взгляд от мокрого красиво-породистого лица Скворцова. — Он искренен, он страдает... Но зачем эти ужасные жесты и слова об Ирине?»

— Она знала, она предчувствовала, что над ней витает роковая тень,— говорил Вениамин Владимирович, глядя куда-то в парную дымку московского неба за окном.— Помню, она приехала в Ригу после блестящего окончания балетной школы. Ей уже предложили роль... И она приехала на два дня увидеться со мной. Она не хотела дома, остановилась в гостинице. Был уже вечер, закат, она как-то мерзла, куталась в шаль, стояла у окна и была очень задумчива, грустна, хотя радоваться надо было. Я спросил: «Что-нибудь случилось у тебя, Ирина?» Она повернулась от окна и так грустно-грустно мне улыбнулась: «Папа, милый, со мной плохо кончится...» Бедная моя девочка, о чем она думала в тот вечер?..

— Она часто приезжала к вам? — спросил Крымов вполголоса, вспомнив повторявшиеся минуты задумчивости у Ирины.

— Не часто, не часто, и я простить не могу,— возразил Вениамин Владимирович, вздыхая через ноздри. — После смерти моей первой жены мы переехали в Ригу. Но Ирина не стала жить с нами... То есть — я встретил женщину, я женился, а она не смогла вместе. Она до болезненности любила свою покойную мать. И жила в Москве, сначала в общежитии балетного училища, потом снимала комнатку, потом у родной тети. А я скучал невыносимо. Я готов был сделать для нее все, что она хотела. Но Ирина не всегда принимала помощь. Вы представить себе не можете, как в детстве она любила меня. А в последние годы жалела, как мне казалось...

— Жалела вас?

— Видите ли, в чем дело, Вячеслав Андреевич...

«Ну что он говорит «видите ли, в чем дело»? Откуда манерность у пожилого интеллигентного человека? Он почему-то раздражает меня, а это унижает нас обоих».

— Вы сказали, Ирина жалела вас? Простите, я не хотел бы задавать вопросы, которые приносят боль.

— Боль? Боль... Это хуже, чем боль, Вячеслав Андреевич. Я не знаю, когда стала окончательно разлагаться жизнь. Она видела, что я несчастлив с новой женой. У нас действительно не сложилась жизнь... Но Ирина ни словом меня не упрекнула. А я видел по глазам — она страдала, жалела... Милый мой ангел! Какая гордость, чистота, какая святая хрупкость и несовременная ранимость, понимаете? Как будто она с другой планеты сошла на землю... чтобы украсить жизнь. И ее убили здесь, за непорочность убили! И какая необычная смерть — умерла от перелома шейных позвонков! А вы, вы понимаете как режиссер, который хотел работать с моей дочерью, как знаток человеческих душ, понимаете, что случилось? Ответьте мне, умоляю вас! Я прошу, я требую! Да, я требую, чтобы вы объяснили мне причины гибели моей дочери! Я не верю, что она разбилась и утонула! Не могу поверить!..

«Наверно, это сумасшествие? Встретились в коридоре, у двери следователя, и он, отец Ирины, этот человек с такой благородной внешностью, произносит немыслимые слова и требует от меня невероятного! Вынести невозможно... Но мне до предела жаль его. Он раздавлен, потерян...»

— Я не могу ответить на ваш вопрос, Вениамин Владимирович, — сказал Крымов с горечью. — Если бы я знал... Ясно мне одно: произошло непоправимое и мы оба с вами бессильны.

— Оба? Бессильны? — повторил булькающим голосом Вениамин Владимирович и слабо покачал головой, будто в обморочном тумане. — Я — нет, я не бессилён! Милый, милый мой ангел, Ирина, ребенок непорочный! Я лучше вас знаю Ирину! Она была экстравагантная девушка. Я сам когда-то мечтал о сцене, я увлекаюсь театром всю жизнь и кое-что понимаю в искусстве! В ней был ренессанс, божественная грация чудесной балерины, в ней был прекрасный русский поп-арт и самый современный модерн!.. Это было чудо!

— При чем поп-арт? Модерн? Чепуха это все! — не выдержал Крымов, ужасаясь несдержанности, которую не смог перебороть, неожиданной опалюющей вспышке («Нервы, нервы!»), и, помолчав со стиснутыми зубами, договорил не без запоздалого раскаяния: — Наверное, вы не слишком хорошо знали свою дочь.

И Вениамин Владимирович с оголенным страхом переспросил:

— Не знал? А вы? Вы знали ее хорошо?

Его ссутуленные плечи поднялись и вздрогнули, будто от внутреннего рыдания, он шатнулся у окна, весь подался к Крымову, неумеренно расширяя светлые неприступные глаза, едва выдавил шепотом:

— С каким расчетом вы дали Ирине роль? Вы ее соблазнили надеждой! И не только надеждой... Вы, Вячеслав Андреевич, вы виновник, и вас должны наказать. Вы должны понести наказание! Я приехал, чтобы требовать... Требовать суда над вами! Вы были дьяволом-соблазнителем, вы известный... и поэтому безнравственный по отношению к моей дочери человек! — Он жадно заглотнул воздух, как в сердечном приступе. — Ей нужно было уходить из искусства навсегда, навсегда! При ее травме нельзя было вновь в балет... после таких блестящих надежд она не могла быть на выходах, на побегушках! А вы ей в кино роль... О, вас избаловала, извратила известность, избаловали женщины! Я спрашивал, узнавал, Вячеслав Андреевич, о вашем моральном облике у вас на студии, я был там, был сегодня утром, не

обессудьте, был!.. И даже ваш директор студии, член парткома, уважаемый человек, не исключает... да уж, да уж, он так мне и сказал: не исключая... Да, да, он не исключает вашу преступную связь с Ириной!..

И Скворцов обеими руками вцепился в рукав Крымова, заплакал навзрыд, уронив голову, обдав запахом волос и туалетной воды.

Крымов, бледнея, с острым ознобом на лице прервал его:

— Вы с ума сошли? О чем вы говорите? Что за чепуху о моей известности и избалованности наговорил наш болван Балабанов? И что за странный разговор происходит между нами! Я не хотел бы таким образом, это унижает нас обоих! Это стыдно, черт возьми! — Он уже не в силах был остановить себя, охладить трезвой благоразумностью, такой верной, такой успокаивающей позднее при воспоминании о вовремя сдержанной резкости. — Я одно должен вам сказать, Вениамин Владимирович: не дай вам бог быть на моем месте в тот страшный день!.. Я желаю вам всего хорошего! Поступайте как хотите, я готов ко всему!..

И поражаясь нелепости этой встречи («Ради чего, почему нас вызвали на один и тот же час, или это стечение обстоятельств?»), он еще сумел с вежливым хладнокровием поклониться, поймав жалко-оторопелое, раздавленное и одновременно ничему не верящее выражение в глазах Вениамина Владимировича, и быстро пошел по коридору, упиваясь отчаянной мыслью — не бывать здесь до тех пор, пока его со всей строгостью не пригласят снова.

Он сбежал по широкой лестнице в вестибюль, поспешно нащупывая в кармане удостоверение, вложенную в него повестку.

«Что за несурзаца, что за нелепица, ложь, ложь!»

А в вестибюль со сдержанным говором входили группами милицейские офицеры, поочередно предъявляли пропуска мальчику-лейтенанту, на ходу кивали друг другу, одни направляясь к лифту, другие к лестнице, и кое-кто бегло взглядывал на Крымова, ждавшего в стороне. И здесь, перед выходом на улицу, его кольнуло нехорошее предчувствие, что вот сейчас случится еще что-то совсем ненужное, бессмысленное, идущее по нереальным, необязательным путям; и как только он подумал об этом, тут же из толпы милицейских офицеров отделился молодо улыбающийся, румяный, средних лет капитан с усиками («Токарев, следователь Токарев, с ним я встречался перед отъездом в Париж»), и приятный бархатистый голос обволокло его теплотой:

— Здравствуйте, Вячеслав Андреевич, тысячу раз извините, виноват перед вами, непредвиденное совещание в самом высоком доме, я опоздал на сорок минут. Грешен. Понимаю вашу занятость, поэтому с ног до головы виноват...

— Что значит для юстиции моя драгоценная занятость и при чем здесь ваша мифическая вина? — сказал Крымов, опасаясь больше всего, что сорвется после искусственных фраз Токарева, этих извинений дежурного свойства, которые, впрочем, не имели теперь никакого значения. — Простите, Олег Григорьевич, я сегодня не смогу иметь удовольствия вразумительно отвечать на ваши вопросы. Если вы это сочтете, конечно, возможным, я попрощаюсь с вами. Тем более вас ждет посетитель, который знает очень многое, в том числе и обо мне...

Токарев стер с румяного лица улыбку, посмотрел твердыми испытующими глазами.

— Давайте мне вашу повестку, я отмечу. Иначе вас не выпустят, Вячеслав Андреевич, хоть вы и известный кинорежиссер. Я приглашу вас на днях.

— Благодарю вас. Буду очень рад.

На Театральной площади он поймал такси и поехал на студию.

Когда он расплатился с такси и через проходную вошел во двор студии, дышащий асфальтовыми испарениями, неопратно усыпанный тополиным пухом, летящим и на лету прилипающим к лицу (от чего зной казался еще более нестерпимым), когда прошел холодноватый и погребно-темный гулкой вестибюль, поднялся на шестой этаж в приемную директора, здесь в каком-то ватном, стерильном покое, среди дубовых панелей возникло несколько знакомых режиссерских или актерских фигур, и курносое личико секретарши, суженное висящими вдоль щек волосами, испуганно взметнулось навстречу. Он полностью отдавал себе отчет, что не способен изменить человеческую природу, вкусившую сладость любой власти, что не сможет безнаказанно поколебать что-либо, однако с решимостью распахнул толсто обитую кожей дверь и вошел, останавливаемый всполошенным криком секретарши:

— Нельзя, Вячеслав Андреевич! Он занят!

— Можно, — сказал Крымов. — От этого не умирают, насколько я осведомлен.

Против обыкновения Балабанов сидел не за письменным столом, сверх всяких размеров массивным, заваленным по краям бумагами, переплетенными сценариями и папками, а за журнальным столиком у открытого окна и, багровый, без пиджака, помешивал в стакане, давая в час лимон, сосредоточенно слушал худого, в безупречном костюме человека с расширяющимся к высокому лбу костистым лицом. Человек этот держал бледной истонченной рукой стакан, зажав ложку между указательным и средним пальцами, будто между хрупкими веточками, и отпивал мелкими глотками. Это был заместитель председателя Комитета по делам кинематографии Пескарев, еще довольно молодой, из-за неизлечимой болезни ног с детства ходивший на костылях, но независимо от этого на редкость подвижный, деятельный, ездивший по студиям страны и за границу, гроза сценаристов, нелицеприятно ядовитый в суждениях, к которым прислушивались многие на худсоветах и коллегии.

— Что такое? Что? Почему вы, собственно, врываетесь, Вячеслав Андреевич?

Оба прервали разговор, повернув головы к Крымову, и на грузном лице Балабанова стало молниеносно расти выражение гневного возмущения. Он встал, астматически задыхаясь, по привычке воинственно засучивая на локтях сползавшие рукава, словно изготовленный защищать и собственное достоинство, и авторитет Пескарева, и неприкосновенность территории кабинета.

— Позвольте, почему, собственно? Я занят, занят!..

И при виде его свекольной багровости, низенькой короткошейей фигуры с эф-образно растопыренными локтями и поползшим со лба ежином волос Крымов сказал почти весело:

— Садитесь и не пугайте меня, ради всего святого, Иван Ксенофонович! И очень хорошо, что нас трое. Мне повезло. Ибо у вас находится товарищ Пескарев, так сказать, представитель высшего кинематографического начальства. Как мне повезло! Мне, знаете ли, нужен солидный свидетель. В ту или другую сторону.

— Во-первых, здравствуйте, Вячеслав Андреевич, — сухо сказал Пескарев. — Во-вторых, вы сами садитесь, — и показал на кресло подле столика. — В-третьих, у вас, вероятно, конфиденциальный разговор с директором, и, следовательно, я могу уйти, чтобы не мешать, — добавил он и холодно посмотрел на прислоненные к дивану костыли.

— О, вы ошиблись, никакой конфиденциальности, никакого протокола! — воскликнул Крымов, садясь к столику. — Я повторяю: мне нужен свидетель, и не откажитесь им быть, ради бога.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду три вопроса, которые хочу задать Ивану Ксе-

нофонтовичу при вас. Во-первых, во-вторых и в-третьих... Во-первых... — Крымов взял печенье из вазы, надкусил краешек, пожевал и сморщился. — Срам, какую патоку вы едите, Иван Ксенофонтович, — сказал он, наслаждаясь игрой в развязность и налитыми кровью глазами Балабанова, с подозрительным страхом глядевшего на него исподлобья. — Скажите, Иван Ксенофонтович, — спросил он смиренно, — мой фильм официально приостановлен вами или высшей инстанцией?

— Это сложный вопрос, — загудел Балабанов, нерешительно сшиваясь на Пескарева, плоско поджавшего пепельные губы. — Сложный вопрос, потому что вы сами знаете, как сложились обстоятельства. Есть законы юриспруденции, расследование, как вы понимаете...

— Понимаю, — сказал Крымов и опять брезгливо надкусил краешек печенья, оборачиваясь к молчавшему Пескареву. — Не могу понять, как вы едите такую приторную гадость. Кратчайший путь к диабету. И вы так считаете, товарищ Пескарев? Расследование, законы юстиции, возможность преступления?

Пескарев надменно вскинул прозрачный взор, и почудилось: губы его, подобно пиявкам, жестко сжались и разжались, скривив то ли тень улыбки, то ли желчную гримасу.

— Вам известно, что я не кривлю душой?

— Ну конечно.

— Мне лично ваш сценарий никогда не был по душе, — сказал Пескарев выпуклым голосом. — В вашем сценарии о современной молодежи столько рефлексии, столько заданных самому себе вопросов, столько исканий, что, во-первых, это не соответствует реальной действительности, а во-вторых, никто после этого никуда не поедет...

— Куда? Кто?

— Молодежь. На строительство в Сибирь, например. В вашем сценарии нет ни энтузиазма молодежи, ни трудового подъема, ни претворения в жизнь исторических планов нашего непростого сегодня. У вас все мучаются вечными вопросами: как жить? что такое совесть? что такое правда? В то время как...

— Ах да, да, да, вечные вопросы мешают несомненно, я совершенно не учел. Слабый умишко не дошел до истины.

— В то время как бесклассовый подход с позиций абстрактного гуманизма к таким понятиям, как человечность, совесть, стыд, добро, чреват всякого рода ошибками и искажениями.

— Да, да, да, чреват всякого рода ошибками и искажениями. Бедный кинематограф...

Пескарев с кислой гримасой потрогал костлявыми пальцами ложечку в стакане (ногти у него были синеватые, круглые, аккуратно подстриженные), спросил, педантично уточняя:

— Ернически вы сказали. Бедный кинематограф? Почему?

И Крымов продолжал, в отчаянной игре мчась над пропастью и безоглядно наслаждаясь риском:

— Я помолился за вас и добавил: бедный кинематограф, пройдет ли он через свои звездные мгновения? Мы отстали от самих себя на пятьдесят лет. Благодаря некоторым эстетам собственной безопасности, которые озабочены мировой славой нашего киноискусства.

— Как то есть? Вы известный остроумец, Вячеслав Андреевич, но все же поясните!

— Поясню. Вот вы, наш отец, учитель и кормилец, Леонид Викторович, с отличием кончивший исторический факультет почтенного Московского государственного университета, вот вы за эти несколько минут не сказали ни правды, ни полуправды, ни четверти правды. Впрочем, вы страж, — прибавил он голосом галантной признательности. — Страж некой фантастической жизни в искусстве, полной иллюзорных чувств, которые вы сами и многие другие удобно придумали во имя своего душевного спокойствия. Простите темноту мою

тулупную, никак не намеревался обидеть, сорвалось случайно,— продолжал Крымов и привстал, словно бы подобострастно прося милосердного извинения у Пескарева, а глаза Пескарева (глаза всезнающего, взрослого с детства, начитанного ребенка) мертво застыли, вонзаясь в переносицу Крымова, наполняясь синеватым отблеском льда.— Все это пришлось к слову. Но я не вам хотел задавать вопросы, еще раз прошу прощения, а уважаемому Ивану Ксенофонтовичу, нашему факелу и светочу на небосклоне отечественного кинематографа.— Крымов почтительно и льстиво поклонился в сторону Балабанова и, подтянув брюки на коленях, закинул ногу на ногу, похоже было, беспечно располагаясь к уютной домашней беседе о близком и милом предмете.— Если я остроумец, как не очень точно определил Леонид Викторович, то вы, Иван Ксенофонтович, известны всему честному миру как гордое знамя мысли, неподкупный рыцарь и труженик разума, наконец. Поэтому, надо надеяться, вы должны поднимать не заржавленный меч всех обывателей мира, но меч духа. Против этой формулы у вас нет никаких возражений?

— Да что такое? Что вы здесь говорите?— солидно вскричал приглушенным басом Балабанов, подтягивая рукава на коротких, поросших волосом руках, и задвигал ежиком волос над потным лбом.— Демократия демократией, но я не позволю вам, хоть вы и заслуженный режиссер! Ваш талант, так сказать, не дает вам еще права... Вы не сдерживаете себя даже в присутствии Леонида Викторовича, вы ведете себя недостойно!..

Крымов перегнулся через столик и нежно погладил сжатый на подлокотнике кресла кулак Балабанова.

— Вы не дали мне договорить, Иван Ксенофонтович,— сказал он с тем пугающим его самого спокойствием бешенства, как перед прыжком в бездну, в полузабытые, загороженные целой жизнью времена военной молодости.— Вы сегодня сотворили ложь, что является синонимом клеветы. Во имя чего вы ввели в заблуждение отца Ирины Скворцовой? Ради чего вы сказали ему о возможности связи между нею и мною? Я отношу это к тому, что вы не успели подумать, как это с вами бывает... Интеллектуал, подвижник высочайшего духа, вы целили в меня, а попали в уже израненную душу отца. Я ценю ваше свободное сознание, но разве можно творить в темноте даже дьяволаду? Как низок человек, лишенный доброты, не правда ли, Иван Ксенофонтович?

— Как вы... да как вы смеете?— выкрикнул с задышкой Балабанов и ударил кулаком по подлокотнику кресла, багровея до лилового щек.— Вы пришли насмешничать и учить меня уму-разуму? Что касается ваших связей, то за доказательствами далеко ходить не надо— в первую очередь обратитесь к вашему директору картины Молочкову! Тот вам расскажет, с какой целью вы ездили со студии на Ордынку, если забыли сами! Надо полагать, не картинки в букваре вы ездили смотреть! Как вы со мной разговариваете? Ни ваши звания, ни ваши заслуги не дают вам права вести себя, как вам хочется... как какой-нибудь избалованный американский режиссер вроде вашего друга Гричмара!

— Вот видите, Леонид Викторович, дело, как это ни печально, опять идет о совести, которая смущает вас — совершенно разделяю ваши опасения — своей абстрактностью...— с тем же спокойствием сжатого бешенства проговорил Крымов.— Речь идет не о потрясении земных основ. Речь идет... просто о жизни. Кстати замечу, Леонид Викторович, что американский режиссер Джон Гричмар гораздо ближе мне по искренности, чем мой дорогой директор студии. Парадокс, черт побери, но ничего не поделаешь.

Это обращение к Пескареву возникло, вероятно, потому, что Крымов ощущал на своем лице почти физическое прикосновение колюще-

го ледка младенческих глаз недобро настроенного человека, молчаливо всасывающего его слова, чтобы затем отвергнуть их, как на худсоветах не раз непримиримо отвергал суждения режиссеров, упорствующих в занятой позиции. Но по тому полузабытому, загроможденному всей жизнью чувству Крымов знал, что сейчас уже ничто не удержит его начатый полет над бездной, такой самоубийственный и такой упоительно-сладостный, точно в гибели на дне бездны была сама справедливая радость. И наслаждаясь головокружительной силой вызова и зло и счастливо сознавая, что прошлое отчаянное чувство молодости еще не растаяло в благоразумии, в нажитом опыте, он, улыбаясь обаятельной улыбкой любимца удачи, заговорил невозмутимо и ровно:

— Ужасно то, что мы живем в век расчетливой цивилизации. Ложь взаимоотношений успокаивает глупость и уравнивает конфликты. Не правда ли, Иван Ксенофонтович и Леонид Викторович? Но, боже мой, готов отдать все свои звания и так называемые заслуги, о которых так чувствительно напомнил Иван Ксенофонтович, готов стать нищим и сирым, прослыть кем угодно, хоть идиотом и чудачком, Иван Ксенофонтович, лишь бы только... да, да, простите, лишь бы только отметить вас, Иван Ксенофонтович, отпечатками пальцев, как в добром девятнадцатом веке отмечали подлецов и ничтожеств. В данном случае я имею в виду вторую категорию... Вы достойны быть отмеченным, чтобы другим неповадно было подражать вам...

Он поднялся, и в тот же миг Балабанов с сиплым вскриком отшатнулся коротким телом в кресле, вроде бы ударенный снизу в лицо, и, задирая подбородок, начал поспешно, суматошно елозить ногами по полу, силясь отодвинуть кресло вместе с собой подальше от не защищающего столика. А Крымов молча стоял, гадливо глядя на по-жабьи взбухающее горло, и его охватывала злая брезгливость к жалкой, ничем не прикрытой трусости Балабанова, к этому пухлому раздуваемому горлу, и нарастала неприязнь к надменно застывшему костлявому лицу Пескарева, к младенчески неморгающему взгляду льдистых глаз.

Все было ничтожно, стыдно, недобро: его, Крымова, стискивали в недружелюбном кольце, но пока боялись коснуться, а он, не сдерживаясь, с ненавистью к своей несдержанности ничего сейчас не мог простить себе и другим, поправить и изменить в шутовском тоне, взятом им, в противной до тошноты игре (у него не хватило бы сил начать и закончить этот разговор серьезно), и с изысканным почтением он проговорил, обращаясь к Пескареву:

— Я душевно попросил бы вас, Леонид Викторович, запомнить некоторые подробности этой лирической сцены, очевидцем которой вы были. Я опасался, что без свидетелей Иван Ксенофонтович мог собственной обувью, снятой с ножки, расквасить себе мо... простите великодушно, личико и заявить в партком, что был избит до полусмерти наглым развратником Крымовым. Так, значит, мне повезло. И прошу вас, Леонид Викторович, передать председателю, что, несмотря на плохие погоды, фильм все-таки буду снимать я. Честь имею! Разрешите откланяться?

Он щелкнул каблуками, еще ниже и почтительнее склонил голову и с видом чиновника, исполненного служебного рвения, пошел к двери. Но здесь мимолетно он увидел пиджак Балабанова, повешенный на спинке стула возле длинного стола для заседаний, и, сдернув пиджак, подобно многоопытному портному, бросил его плавным жестом на вешалку сбоку двери, сказал несколько раздосадованно:

— Дьявол знает что за неаккуратность.— И на самом пороге вновь повернулся к ним, сидевшим в молчании, повторил речитативом: — Честь имею, честь имею!..

«Сумасшествие! Пошлость! Я отвратителен сам себе! Неужели я так унизился в той игре клоунством и ерничеством? Впрочем, можно ли было говорить серьезно? Смеяться, только зло смеяться!»

— Честь имею, честь имею,— насмешливо сказал он шепотом и открыл глаза, с непониманием оглядывая знакомую комнату.

— Что вы, Вячеслав Андреевич? На правое ухо глухарь я малость, не разобрал. Задумались вы немного.

— Вероятно...

Он туманно взглянул на Молочкова, оборотившего к нему выжидательно улыбочное, как всегда, угадывающее его настроение лицо, и, мгновенно приходя в себя, со стоном отбросился в кресле, вспомнив всю сцену в кабинете директора студии так подробно и ярко, что мнилось: эта сцена не привиделась ему в гневной неударжимости и вспылчивости — и теперь еще оставалось чувство презрительного удовлетворения, гадливой жалости к пухлому, раздувающимся в задышке горлу Балабанова, суматошно елозившего ногами по полу.

Но в то же время, когда Крымов приехал на студию, встреча и разговор с Балабановым — после уже пережитой в воображении сцены по дороге с Петровки — представились настолько унижительной, никчемной мстительностью, не способной ничего исправить, что, охлажденный, сразу ощутив усталость, он поднялся на лифте в съемочную группу; а там в своей комнате сел в кресло и попросил Молочкова, чтобы принесли альбом с фотографиями утвержденных и неутвержденных кинопроб.

«Так было или не было? А был ли мальчик-то?»

— Вы чего-то сказали, Вячеслав Андреевич? — повторил встревоженно Молочков, раскладывая альбомы на столе. — Сам я вам фото принес. А Женья Нечуралов в павильоне.

— Пригласи его ко мне, если он в зоне досягаемости. Пошли кого-нибудь в павильон.

— С актрисой Евгений Павлович. На свой страх повторную пробу делает. Главную героиню он все ищет. А ведь картина фактически приостановлена, Вячеслав Андреевич. Ох, накостыляют мне как директору. Главное — финансы. Ведь рискую из уважения к вам...

— Ничего, выдержишь,— суховато сказал Крымов.— Тем более у тебя прекрасные отношения с Балабановым. Доверительные, я бы сказал.

— Не соображу я, Вячеслав Андреевич, к чему вы?

— Ну ладно. Иди, Терентий. Дай мне посидеть, подумать.

Ожидая Нечуралова, он курил, листал альбомы, просматривая фотографии утвержденных на роли актеров, придирчиво, с хмурой недоверчивостью вглядывался в глаза, губы, брови актрис, которых пробовали на главную роль, в череду молодых лиц, ставших плоскими, красивенько-скучными, как вдруг в зрачки ему глянули насквозь пронизанные солнцем, по-детски не защищенные глаза Ирины, чуть-чуть тронутые тенью грустной улыбки. И в ту же секунду он увидел другое лицо — белое, гипсовое, полуприкрытые ресницы, пропускавшие влажный зеленый свет глаз, беспомощно потекшую тушь по щеке, в этой последней, запредельной неопрятности, равнодушной к смерти,— и опять удары струй в стекло, рев мотора, шум дождя и миндальный холодок ее мокрых волос, преследовавший его с тех страшных минут в машине. Потом возникло окно в конце длинного коридора и какой-то плотский запах туалетной воды или одеколona, уловленный от трясущейся седой головы Вениамина Владимировича — неужели не существует где-то в мире спасительного заговора, молитвы о забвении, о снисхождении памяти?

«Если бы я смог благодетельным чудом не вспоминать, многое стало бы легче в моей жизни. Он, отец Ирины, был прав, и

не прав был я, раздраженный. Он в одиночестве с новой женой жил лишь дочерью, и хотел знать виновного, и поверил всему, что было против меня. Что ж, изощренность боли, вины и обвинений — как это знакомо! Не рождено ли это нашим милым цивилизованным веком?»

Крымов захлопнул альбом, в усталой задумчивости разглаживая лоб и переносицу, затем снова раскрыл его, и снова наполненные солнечным светом глаза, чуть затененные отдаленной настороженностью, заулыбались ему навстречу с глянца фотографии. «Дело жизни, назначение ее — радость». Он вспомнил, как она, освещенная сзади белым водопадом солнца, льющегося с монастырского двора, медленно покачиваясь, спускалась по каменным ступеням в сыроватый полумрак церкви в тот июньский день; и уже как-то осознанно и твердо решил, что вторую Ирину на главную роль вряд ли найти, поэтому картина не получится такой, какой была задумана, впереди его ждет горький вкус поражения, ни разу еще с полной обнаженностью не испытанного им.

— Разрешите, Вячеслав Андреевич?

Запахавшись, вошел Женя Нечуралов — второй режиссер, в донельзя потертых вельветовых брюках, в ковбойке, весело-кареглазый, молодой, стыдливо скрывающий бородкой молодость и некоторую степенность из-за своей способности смугло краснеть. Второй режиссер в съемочной группе Крымова был преданно и неистово влюблен в кинематограф, в великие картины мира, великих актеров, в организационную суету подготовительного периода, телефонные разговоры, поездки для выбора природы, строительный дух досок, клея и лака, свежих декораций павильонов, был влюблен в таинственно гаснущий свет просмотрового зала перед ожидаемым колдовством отснятого материала, во все то, что было признаками серьезного кино; эту влюбленность с первого взгляда почувствовал в нем Крымов два года назад, взяв его для работы над фильмом «Необъявленная война», а позже — на новую картину.

— Как дела, Женя? — Крымов оторвался от альбома, махнул сигаретой в направлении кресла против стола.

— Живы, несмотря на все принятые меры. Вы не представляете, как мне сегодня постастливилось, Вячеслав Андреевич. Я не думал, что вы приедете! — заговорил Женя расторопно, опускаясь на краешек кресла и не без зоркого интереса заглядывая в альбом на раскрытую фотографию. — А я, знаете, буквально десять минут назад сделал пробу Шатровой... Та, из Малого театра, и клянусь вам — это феномен! Молодая, фигурка, глаза такой глубины — можно утонуть и не выплыть, великолепно двигается, какая-то загадочная улыбка. Неделю назад кончила сниматься у Полищука. Как было бы здорово, если бы вы ее посмотрели! Она еще здесь, взгляните мельком и скажите — да или нет. Вы убедитесь: в ней что-то есть! Позвать?

— Что-то есть, — повторил Крымов невнимательно, закрывая альбом. — Что-то — это еще только что-то.

— Если можно, Вячеслав Андреевич, если уж вы приехали, посмотрите на Шатрову. На Машу! — взмолился Женя, и лоб его начал смугло розоветь. — Она еще не ушла. Я сейчас приведу ее. Вы сами убедитесь, насколько она близка Скворцовой.

«Да этого быть не может, — подумал с сопротивлением Крымов, все еще ощущая живой блеск глаз, грустно глядевших ему в зрачки. — Что тянуло меня к этой слабой и сильной девочке с несчастной судьбой? Соучастие? Жалость? Разгадка тайны? Или тяга к таланту ее необычной женственности, которая уже редкость?»

— Ну давайте посмотрим, давайте, Женя, пригласите Шатрову, — сказал ворчливо Крымов и заходил по комнате на сквозняке близ окон, раскрытых в шум студийного двора. И неизвестно почему захотелось уехать куда-нибудь: сесть одному в купе, с

бездумным облегчением растянуться внизу на хрустящей от свежести постели в неуклонно несущемся перед сумерками, скрипящем, качающемся спальном вагоне, словно бы заполненном золотистой пылью, с пыльными двойными стеклами, по которым долго скользит поздний летний закат, постепенно перемещаясь лучами по гляncу пластика, янтарно озаряя край верхней полки, пуговицы пиджака на вешалке, что мотается равномерно из стороны в сторону, напоминая о сладком одиночестве в запертом купе, твоём маленьком прибежище, где нет ни обязанностей, ни телефонных звонков, где можно наслаждаться мыслями простыми и поднебесными, какие приходят в поезде, когда знаешь, что ты вправе, не сказав никому ни слова, сойти в пять часов утра на случайной станции с неизвестным названием наподобие Райки, вдохнуть сырость смоченной обильной росой захолустной платформы, увидеть, как в тумане низко плывет малиновый шар солнца и в белом шевелении парят над землей дальние силуэты ветел, крыши деревни...

— Разрешите, Вячеслав Андреевич?

— Входите, Женя! — отозвался Крымов намеренно громко, чтобы стряхнуть дорожное наваждение: мечта о дороге была признаком крайней усталости.

Женя Нечуралов ввел Шатрову в комнату и, не скрывая ласкового восхищения, представил ее. Она же робко остановилась подле Крымова, кося от волнения ангельски синими глазами, робко подала влажные пальчики.

— Прошу вас, садитесь, — сказал Крымов.

Она села на диван и вся замерла с выпрямленной спиной, вытянутой гибкой шеей, бледное, овальное, только что умытое после грима личико заметно напряглось в страхе близкого приговора. А Крымов с болью подумал, как трудно будет отказывать ей, как этот отказ обескуражит старательного и влюбчивого Женю, однако еще не мог точно определить, что в облике Шатровой настораживало, не совпадало, раздражающе мешало ему — не слишком ли строгая, образцовая эта красота без какой-либо загадки?

— О чем сценарий, вы знаете? — спросил он насколько можно мягче.

— Мне рассказывал Евгений Павлович, когда готовили пробу.

— И как вы понимаете — о чем идет речь?

— О молодежи. Об отцах и детях. — Она легонько улыбнулась и испуганно согнала улыбку с пухлых губ. — О смысле жизни...

— И вы хотели бы сниматься в этой картине?

— Очень.

— Почему вы улыбнулись, когда сказали о смысле жизни?

Она чуточку повела плечом.

— Я думаю, что большинство людей живет сейчас одним днем, Вячеслав Андреевич.

— Может быть, поэтому и стоит звонить в колокольчик?

— Не знаю, Вячеслав Андреевич. Я живу надеждой сыграть современную Лизу Калитину. И не везет.

— Вы думаете, они есть в жизни, тургеневские девушки? Не вывелись ли они вместе с усадьбами?

— Немножечко есть.

— Хорошо, не буду вас больше мучить. Спасибо. Посмотрим пробу, увидим, как вы будете выглядеть на экране.

— Я вам не понравилась. «Не нра», как говорят у нас в театре.

И она, моргая удлинненными ресницами, щелкнула замочком сумочки, потянула оттуда пачку сигарет, но тут же раздумала, опустила сигареты обратно в сумочку, сказала с многоопытной печалью, удивившей его несоответствием с ее победительной внешностью:

— Самое невыносимое и стыдное в нашей профессии — момент, когда тебя выбирают. Не те губы, не та фигура, не тот голос. До сви-

данья, Вячеслав Андреевич. Какой вы счастливый человек — выбираете вы...

— Вы ошибаетесь, наверно. Никто не знает, мы выбираем судьбу или судьба нас,— ответил нехотя Крымов.— Счастлив своим заблуждением тот, кто считает других людей счастливыми. Нет, вы понравились мне, хотя я не понимаю в искусстве этих «нра» и «не нра». Решает необходимость, как вы знаете. Вселять особенную надежду в вас я не хочу.

— Я понимаю. Успеха вашему фильму. Я вас люблю как режиссера...

— Благодарю вас.— И он несильно пожал ее трогательно шевельнувшиеся в его ладони пальчики.

Женя предупредительно открыл дверь и вышел проводить Шатрову до лифта. Он вернулся минут через пять подавленный, облокачился сзади на спинку кресла, уткнув кулаки в бороду, забормотал растерянно:

— Почему она вам не понравилась? Какие глаза, какая фактура! Стоишь рядом — и пробегает электричество!

— Лучшее в искусстве, Женя, было создано при свечах. Нам с вами в героине нужно «чуть-чуть», а не «все». Иначе некуда будет двигаться. Давайте искать внутренний свет. Впрочем, вы это понимаете. Шатрова при всех данных не подойдет. Прекрасные данные, но что-то жесткое в лице, прямизне носа... Однако, Женя, мне показалось...

— Что вы, что вы, Вячеслав Андреевич, у меня ничего...

И Женя, тиская кулаками бороду, страдальчески заговорил, подбоя морщин сбегались на его молодом лбу:

— Действительно, актеры на пробах должны чувствовать себя отвратительно. Мы выбираем их, как лошадей на ярмарке. А женщины... Смотрим зубы, ноги, походку. Это все-таки унизительно и цинично, Вячеслав Андреевич! Вот скажите, вы не ошибались, не жалели, что отказывали?

— Жалел и ошибался. Но уже готовый фильм кривыми ножницами не исправишь. Будь вы хоть дважды гениальным, фильма нет, если нет героя или героини. Плохой фильм — вот это бесстыдство и цинизм перед глазами миллионов. Поэтому, Женя, мы обязаны быть беспощадными в выборе актеров. Впрочем, вы парень способный и всю эту премудрость отлично понимаете.

— Н-не все.

— А именно?

— Разве вы долго искали и выбирали Ирину Скворцову, Вячеслав Андреевич?

— Я увидел ее в театре два года назад, когда замысел фильма еще был смутен. Кинопробы можно было не делать. Все было ясно: взгляд, жест, движения, внутреннее изящество... Одна ее улыбка, то ли виноватая, то ли грустная, была целый сценарий, если хотите. Можно было представить ее любовь, незащитность, неудачное замужество, разочарование, смирение, надежду... Такие, как Скворцова,— редкость, особенно среди актрис.

И Женя сказал стесненно:

— Вячеслав Андреевич, я вас очень уважаю. Но ведь это не так...

— Что не так? Говорите уж до конца, коли начали. Не об уважении ко мне, а о том, что подумали.

Обеими руками охватив каштановую бородку, Женя глядел в пол, не решаясь ответить, сокрушаясь оттого, что не вправе поправлять своего маститого учителя, уличать его в неискренности, и Крымов видел эти мучительные колебания, несмелую заторможенность на его лице и поторопильно грубовато:

— Ну, прите напролом, режьте правду-матку, не стесняйтесь!

— Вячеслав Андреевич, мне неприятно вам говорить плохое...—

смущенно забормотал Женя.— Но скажите, вы не отказали Скворцовой, когда последний раз ездили на освоение природы?

— В чем отказал?

— Отказали ей в роли и...

— И? Прите, прите дальше, ломайте все заборы.

— Мне неудобно, Вячеслав Андреевич...

— А что там неудобного? Прите напрямую, яснее обоим будет.

— Говорят, что она была влюблена в вас, а вы в нее. Она требовала, чтобы вы развелись и женились на ней. А вы не могли... и в тот день, когда ездили на природу, порвали с ней. А она хотела отомстить вам... страшным самоубийством...

Женя запинаящейся скороговоркой проговорил это и замолк, глянув на Крымова охолонутыми страхом глазами, затем как-то прибито сник, выражая виноватость наклоненной головой, мальчишеской шеей и даже оттопыренным, не вполне опрятным воротником своей поношенной ковбойки.

— И вы верите, Женя, жестокому мещанскому сюжету и пошлейшей чепухе? Неужели верите? Вы спросили меня, как будто упрекнули, и испугались,— сказал Крымов, подавляя в себе вспыхивающий огонек раздражения.— Так неужели вы верите слухам? Или хотите поверить, потому что слабы, как все люди-человеки?

— Я не хочу, нет...— ответил Женя сжатым голосом, как бы приглатываясь понести расплату.— Но почему многие говорят о вас глупости, Вячеслав Андреевич, строят разные пакостные догадки? Почему?..

— Да потому что многие до многого не доросли и, если хотите — как бы помягче сказать? — недобры друг к другу. Мы лукавим и обманываем себя, когда говорим о каком-то абсолютно новом человеке нашего времени. Однако, Женя, на кой черт нужно наше искусство, если все поголовно ангелы? Так вот я о чем. Представьте, что вы, приличный по всем статьям молодой человек, пришли к не менее приличной, но одинокой девице. Вы пробыли у нее час, случайно или не случайно отмеченный зоркими соседями. Каково же завтра так называемое общественное мнение? Оно однозначно осуждающее — совершилось грехопадение. Вряд ли кто возразит, что вы перебирали у нее книги и спорили о Феллини. Огорчительно то, что мы попадаем в плен лживых, завистливых и развращенных представлений друг о друге. Понимаете, Женя? Кто-то из прагматистов умело, а может быть, по большой глупости подменяет душу человека пошлостью, и совесть сладко задремала у телевизора. Впрочем, вздыбленная совесть — опасная штука для себя и других. Жизнь становится невыносимой, когда не сиюминутными удовольствиями, а по нравственным законам жить надо. Так, Женя, или нет?

— Вячеслав Андреевич,— проговорил Женя, поеживаясь,— вы с какой-то грустью на людей смотрите...

— Не с грустью, а с великой досадой,— ответил Крымов.— Потому что это время больше мое, чем ваше. Ваше еще будет. Кстати, наверное, вы на повороте...

— Я? На повороте? Куда?

— Имею в виду вашу карьеру,— сказал Крымов преувеличенно равнодушно.— Если уж будет окончательно подмочена моя репутация и... прочая, прочая, прочая, то мое место займете вы, Женя, и будете снимать мою картину.

И Женя так резко дернулся головой вверх и так отчаянно искажилось гримасой его зардевшееся яркими пятнами лицо, что показалось: неожиданная боль пронзила его.

— Никогда! Ни за что!

— Поясните.

— Я никогда не займу ваше место!— заговорил, яростно захле-

бываясь, Женя.— Тот, кто занять ваше место хочет, круглый болван! Болван и еще раз болван! Кому пришло такое в голову?

— Одному болвану — мне. Я был бы доволен.

— Вячеслав Андреевич, я преклоняюсь перед вашим талантом и поэтому не смогу сделать такую картину. Она мне не по зубам. Может быть, когда-нибудь я сделаю и свое... но это ваша картина. Я у вас учился и помню: каждый должен шлепать в собственных галошах. В своих, в своих!

— В собственных галошах — это верно, — сказал Крымов и задумчиво посмеялся. — И все же в земной жизни возможно все.

— Вячеслав Андреевич! Я не предатель! — выговорил Женя ожесточенно. — Я никогда не соглашусь!..

Он, волнуясь и торопясь, стал неловко выдирать пачку дешевых сигарет из нагрудного кармана ковбойки и, закурив, надсадно выкашлинул дым.

— Никогда, никогда, — поспешно повторил Женя с негодованием. — Я знаю, почему вас недолюбливают некоторые из Комитета кино да и некоторые деятели на студии! Не любят и опасаются! Потому что вы в собственных галошах ходите! А этого они не ценят, умишко у них конформистский, трусливый! Да и хлеб с маслом терять никак не хочется. Я слышал, как один осел, у которого всегда полные штаны, в своем кабинете кому-то сказал: «Поразительная способность у Крымова наживать себе, мягко выражаясь, оппонентов! Чего ему не хватает? Известности? Денег? Неуправляемый левак и эгоист!» Развелось таких оппонентов в кабинетах — уйма, и каждый двумя руками держится за кресло, а зубами — за стол! И почти все — неумейки!

Крымов опять засмеялся.

— Закончим на этом разговор о чиновниках кино. Давайте подумаем, Женя, как жить дальше. Отстреливаться до последнего патрона или будем сдаваться в плен на милость оппонентам?

Он дружески взял Женю за локоть, встречая его засветившиеся слабой улыбкой карие глаза, договорил со своей обычной шутиливой уверенностью:

— Отстреливаться, Женя, до последнего! Продолжайте искать героиню. Когда невесту будет, я подам сигнал, и вы выйдете из окружения. Я отстреляюсь тогда один.

— Вячеслав Андреевич! Зачем вы?..

— Милый Женя, вы еще молоды и не знаете, что обстоятельства бывают сильнее нас. Спасибо за участие.

— Вячеслав Андреевич!

— Вы не хотите от меня принять солдатское спасибо?

Глава тринадцатая

Через полчаса Молочков повез Крымова на дачу, и он, устало откинувшись затылком на спинку сиденья, закрыл глаза, опять с горечью возвращаясь в пустынный коридор на Петровке, где встретился, никак не предполагая, с Вениамином Владимировичем, с его непереносимой театральностью, казалось, неподвластной ему, вызванной искренним горем, и после этого безумия то ли наяву, то ли в воображении видел пьющего чай за столиком багрового Балабанова, по-бойцовски засучивающего рукава на коротких руках, костистолицего Пескарева с подвернутыми под кресло ногами, слышал свою изысканно шутовскую речь, предназначенную им обоим, и одновременно жалел и не жалел о вылитой иронии в пошлейшей клоунской игре с ними. Но было это или не было? И что-то мешало ему, раздражало неуловимым новым беспокойством, причины которого он еще не определил, подобно тому как иногда в сложный момент

необходимо вспомнить нужную фамилию, а ее, проскальзывающую тенью, невозможно поймать в памяти.

Как только выехали со студии в накаленный центр московских улиц и, подолгу задерживаясь, стали изнывать в вони выхлопных газов на забитых перекрестках, общительный Молочков попробовал заговорить («Ай, умереть можно: чистая Сахара!») и деликатно кряхтел, поминутно вытирая тряпкой потеющие на руле руки, но Крымов неохотно сказал: «Отдышимся и помолчим, Терентий, не возражаешь?» — и замолчал, невнимательный к асфальтовому пеклу, пылающему аду улиц, к старанию Молочкова быть упреждающим, неунывающим, как и полагалось, наверное, быть финансовому королю картины во всех жизненных обстоятельствах.

«Значит, я еду на дачу? — думал Крымов, настраиваясь на домашний лад.— Да, душ под яблонями, милая моя Таня, постоянный мой праздник, и Ольга с тихими бархатными глазами, которая так умеет молчать, когда недовольна мной... Два моих особенно любимых существа на земле, без которых не было бы жизни. Да, да, умиление и нежность... И чересчур серьезный Валентин, загадочный в чем-то, что-то тайно желающий свое, и его невеста Люся, Людмила, неразгаданная, остроносенькая, но тоже желающая что-то свое... Так что же со мной? Раньше я ехал на дачу с радостью, а сейчас? Там есть мой кабинет в мансарде, книги, тахта под раскрытым окном, покой, тишина, в которой можно думать... Странно, я приехал из-за границы, и так и не поговорили с Ольгой. Я остерегался?»

И снова, едва он начинал думать об Ольге, соскучась по ней, он томительно чувствовал раннюю весну, горную свежесть в воздухе (где-то поблизости были Альпы), праздную толпу, текущую мимо уже жарких витрин магазинчиков, и видел далеко внизу, за каменным парапетом, от которого пахло теплом, апрелем, маленькую, заставленную машинами площадь, всю в нежной зелени платанов, в раскинутой по газонам весенней сети из теней и солнца,— в ту пору первых поездок за границу было ощущение близкой радости, любви, беспечной молодости. Эту уютную площадь он терпеливо искал в последующие приезды в Австрию и не нашел ни в Вене, ни в Зальцбурге. А иногда представлялось ему, что он не мог найти не площадь, согретую апрельским днем, а ту весну, молодость, ту счастливую надежду пятидесятих годов, которая не сбылась... «И все-таки неужели ничтожкой прошлого эта площадь связана с Ольгой? Я был за границей один, а она оставалась далеко в Москве... Я скучал, мечтал встретиться с ней на такой вот площади и вместе испытать молодой ветерок беззаботности...»

— Вячеслав Андреевич, дремлете, а? — Сквозь гул мотора, гася весну, зелень платанов на площади, обыденно и поэтому раздражающе вполз вкрадчивый голос и повторил: — Не задремали под шумок мотора, а?

— Бодрствую.

— А Евгений Павлович сурьезный человек. Интерес у него к работе есть.

«Опять Терентий с неизлечимой общительностью и хозяйственной заботой, потерпел бы, родной».

— Ты о Нечуралове? — спросил Крымов, не открывая глаз.

— О нем я, Вячеслав Андреевич.

Крымов разомкнул веки, еще отяжеленные забытием. Машина миновала серые башни на окраине Москвы, неслась по выжженному добела асфальту кольцевой дороги, слева зубчатым забором мелькали ели, меж ними сквозили желтеющие поля, и в загородном водопаде света подрагивал выжидательной улыбкой узкий рот Молочкова.

«Любопытно — лицо у него гладко выбрито, как будто не растет ничего, а шея в крупных морщинах,— заметил Крымов.— Вероятно, крепок здоровьем, несмотря на худобу».

— Положительный он, Евгений Павлович. Не согласны вы?

— Согласен. Ты на дорогу смотри, на меня смотреть не обязательно.

— Не волнуйтесь. Знаю я, кого везу-то,— пропел по-бабьи утешительно Молочков.— Считайте, я вас на фронте везу. Ну, вроде где-нибудь на Днепре. Ежели б я тогда на права сдал, то с вами бы в разведке не был.

— А ты что вспомнил разведку, Терентий?

— Все я забыл начисто. И помнить не хочу. Вас вот помню только, потому и люблю.

И волнистая ласковость в голосе, и черескрайняя обходительность, и суетливая проворность его малорослой фигурки, и постоянная неумеренная уважительность, неистребимо проявляемая к Крымову, солдатское обращение к нему на «вы» — все эти особенности Молочкова, не успевшие до дна раскрыться на войне, были с любопытством обнаружены Крымовым при первой же встрече шесть лет назад. Он относил это новое, ставшее неотделимым от Молочкова, к форме самозащиты, очевидно выработанной раз и навсегда бывшим неудачливым разведчиком Терентием, сильно побитым жизнью и в послевоенные годы.

А встретились они неожиданно-негаданно на Калужской площади возле автоматов с газированной водой в воскресный июньский день, весь заметеленный тополиным пухом, и, если бы не пушинка, прилепившаяся к краю стакана Крымова, они не обратили бы внимания друг на друга. «Ой, глянь, как села, прямо в рот летит, стерва»,— сказал кто-то, подошедший сбоку, и, перхнув безразличным хохотком, протянул по-обезьяньи цепкую загорелую руку к стакану в соседнем автомате. Крымов взглянул и сначала не поверил: «Не может быть!»

Из взвода полковой разведки дошедших до Германии солдат в живых не осталось никого, он уже неясно помнил их лица, а эту жилистую, цепкую руку он запомнил на всю жизнь, она даже снилась ему, судорожно царапающая пороховой снег на скате воронки... Да, это был Молочков, солдат из взвода разведки, когда-то очень худой, похожий на злого подростка, с наглыми желтыми глазами, ядовитый на язык, носивший трофейный ремень с парабеллумом, по мнению многоопытных разведчиков, бьющим точно, жестко и гулко, и немецкие офицерские сапоги, заливчатски собранные в гармошку на его тонких ногах. Но Молочков, узанный в тот тополиный день по руке, стремительно схватившей стакан, был не тот ловкий любитель прибауток и деревенских частушек и не тот обезумевший парень, раздавленный страхом под огнем пулеметов на нейтралке, растерявший волю за несколько часов, а был помятый человек мелкого роста, в потертом костюмчике, донельзя застиранной рубашке, при галстукке, повязанном неумело; глаза его напрягались по-прежнему бойко играть, но были как обсосанные леденцы, и нездоровая бледность выявляла серую щетинку на щеках. И Крымова удивил его взгляд, собачий, заискивающий, когда в машине спросил, куда поехать выпить ради встречи — домой или в ресторан. Молочков, не решаясь удобно отвалиться на спинку сиденья, ответил, что домой бы лучше, ежели можно, с женой познакомиться, не без робости оглядывал салон машины, чехлы и привешенную Таней к зеркальцу в виде талисмана лохматую нелепицу.

Дома у Крымова он скоро захмелел, оживился, держал ножик и вилку, оставив мизинец, и, все-таки запинаясь в присутствии сдержанно гостеприимной Ольги, рассказал невеселую послевоенную свою историю. В сорок пятом году вернулся в колхоз под Воронежем, мужиков — полтора человека, одни бабы, поэтому без раздумывания устроился по причине ранений работать кладовщиком, да жизнь пошла на каверзную неудачу, вроде барометр на бурю: жениться не успел, красивые бабы не давали выбрать единственную, поили само-

гоном, как быка, а потом — перекувырк случился. Кладовую городские воры обокрали и подожгли, а отвечать пришлось ему по суровым послевоенным законам, в сорок девятом году судьи дали на хорошую катушку статью, отчего в холоде и голоде валил лес на северных реках. А срок отбыл, в деревню не вернулся, решил вольным манером заколачивать в Сибири длинный рубль леспромхозной электропилой и топориком. В тайге большую денгу не ухватил, потому что женился, сил меньше стало, и обратно душу поманила хозяйственная работа — подвернулось хорошее место по снабжению геологической партии на реке Нижняя Тунгуска (там медведи в обнимку под окнами гуляют). Но в три года поисковая организация закончила дело, и судьба бросила его сначала в таежный городок Киренск, затем в Иркутск, где заведовал и овощной базой, и гаражом, и рабочей столовой до случайной болезни почек («Болотной воды на охоте с устатку напилась и заразу какую-то подхватил»). Он заболел, жена ушла от него, от хворого, не мужа и не работника, а он после болезни, долгого лечения заимел стариковскую мечту перебраться поближе к Москве, в Химки, к родной сестре, которая жила одна, вдовой, и тут хотел устроиться по профессии, по снабжению на вагоностроительный завод, да ничего хорошего, никакого приличного места пока нету. «Все обещают: заходите, заходите, а денег ни гроша, на сестрину пенсию хлеб жевать совесть не позволять, хоть плачь, на сухарях живу, у сестры не обедаю. Куплю в целлофане сухарей, где-нибудь на бульваре погрызу и вроде по-солдатски сыт!»

И рассказывая, сильно опьяневший, он действительно захлюпал носом, и было Крымову больно, жалко видеть его измятый, затерханный пиджачишко, его растянутые плачем губы и то, как он при этом вилкой тыкал в хлебницу, подцепляя лопот, как косился на картины, на стенах столовой, на вазы, на люстру, видимо считая это за большое богатство, за роскошь, что заслужил бывший командир взвода, теперь известный человек. И Крымов запомнил хмельную пунцовость его щек, сразу ставших от возбуждения меловыми — темнее, колюче выделилась на них будто вмиг отросшая щетинка, когда он, вытерев жилистым кулачком слезы, сказал срывающимся голосом: «Я раб ваш, Вячеслав Андреевич. Служить я буду вам верно. С вами ведь связаны мы одной веревочкой — воевали вместе. Жизнью вам обязан. Возьмите меня на студию к себе. Много вы можете, знаю я».

Нет, на фронте они не считались друзьями, не спасли жизнь друг другу, все было проще, поэтому яснее, и, может быть, связывающей веревочкой была одна неудачная разведка зимой сорок четвертого года. Крымов не забыл ту невезучую разведку и то ли из жалости к Молочкову, то ли из чувства собственной вины помог ему устроиться администратором при какой-то съемочной группе на студии, позже помощником директора и наконец директором в своей группе, довольный его расторопностью. И неустанная сверхбодрость, сверхэнергичность Молочкова, его приятнейшие отношения со студийными администраторами, его ласковое умение завязывать добрейшие связи с различными учреждениями, от которых могла зависеть организация съемки на природе, и предупредительная готовность выполнить любое распоряжение Крымова, покорная виноватость при редком промахе, бесконечная умиленная улыбка благодарности за прошлое и настоящее, культ режиссера в группе, как говорили на студии, — все это, не предполагаемое много лет назад в Молочкове, подтверждало Крымову одно: в разную пору черт или ангел сидит в человеке. «Черт был там, ангел здесь. Или наоборот?» Но к почтительной услужливости, преданной исполнительности Молочкова, почасту неприятной, как лесть, он относился со своей обычной иронией, главное же было в том, что денежные, административные и организационные дела под неусыпной властью директора не имели серьезных изъянов. И Молочков за шесть лет работы занял солидное место среди дирек-

торов съемочных групп, получил при содействии Крымова квартиру, стал носить аккуратные костюмчики, неизменно чистенький, вымытый, тщательно брился, галстук завязывал умело, купил «Москвич» после премиальных с трех картин и наконец в прошлом году женился. Удивительно было то, что в день регистрации брака он попросился к Крымову домой на полчаса по важному делу — «показать невесту, ежели разрешите», — и приехал с крупной полной женщиной, круглолицей, миловидной, утонувшей в пышном светлом платье, в волнообразных сборках, в веерных складках напоподобие белых перьев, и разом квартира наполнилась крепким запахом духов, теплого тела, густым контральто, который она снижала до мелодичного вибрирования, довольно нестеснительно говоря о том, что обожает исторические фильмы, где очаровательные наряды, костюмы, роскошные кареты, балы, где отдыхаешь душой, а Крымов вежливо улыбался, благодаря бога за то, что Ольга не было дома (она не переносила несоразмерные восторги и крепкий парфюмерный запах), и впал в тоскливое отчаяние, не переставая замороженно улыбаться, когда она с радостным изумлением («Ах, какое чудо!») села к пианино, жестом изящной плавности расправила вокруг бедер волнообразные складки и пухлыми пальчиками попробовала клавиши. А Молочков, влюбленно ходивший за ней, весь напрягся стрункой в своем новом костюме, украшенном гвоздикой в петлице, покорно заблестел навстречу ее взору блаженными глазами жениха, закивал просительным: «Спой, пожалуйста, Сонечка, пусть послушает Вячеслав Андреевич» — и зашептал Крымову с секретной значительностью: «Сонечка преподает пение в школе».

Она пела низким контральто о свече, которая горела близ ложа, арию Сольвейг, и Крымов, не любивший домашнего пения, всегда создававшего скованность, видел, как Молочков смотрел на невесту, на ее растягивающиеся, круглые, малиновые от помады губы, умиленный, потрясенный дрожащей мощью ее голоса, видел, как он хлопал восторженно, а она поднялась, небрежно опершись кончиками пальцев на крышку пианино, как бы готовая раскланяться. «Он будет ей служить, это ясно». Через час они ушли, благословленные Крымовым, без торжества вынужденного наедине сказать Молочкову не то, что тот хотел услышать от него («Как вы скажете, Вячеслав Андреевич, так и будет: брать или не брать. Люблю я ее, а совета прошу как у отца»). Он ответил, что в таких вещах никто совета давать не вправе, здесь от Адама и Евы подчиняются чувству, которое может сделать каждого и счастливым и несчастным, но, как видно, выбор сделан. Они поженились, и с тех пор Крымов встречал Сонечку бегло на премьерах картин, всякий раз поражаясь ее дородной полноте кустодиевских купчих, маленькому роту сердечком, ее бурным певучим восклицаниям, крепкому запаху духов, чему-то пышному, белому, шевелящемуся складками и воланами на бюсте и на бедрах, и было странно видеть рядом с Сонечкой Молочкова, ниже ее на голову, пряменького, благодного, с обожанием прогуливающего под руку жену по фойе.

— Не хочу я пот, кровь и **вы** помнить. Жизнь другая кипит. Мирная жизнь, Вячеслав Андреевич.

— Значит, не вспоминаешь? — проговорил вскользь Крымов, глядя на розовое, блестящее выбритой кожей, счастливое, повернутое к нему лицо Молочкова, очевидно не ведающего сейчас никаких сомнений и довольного жизнью своей. — Ну, а кого-нибудь из ребят нашего взвода помнишь? — спросил он, ловя в душе какое-то несправедливое раздражение против Молочкова. — Сержанта Ахметдинова, например?

— Смелости он **большой был**, погиб ужасно, — заговорил Молочков и смахнул **обратной стороной ладони капельки** пота с подбородка.

ка.— А я глупым щенком, недотепой во взвод пришел. Я Сонечке про войну ничего не рассказываю. Стыдно об себе, дураке неотесанном, вспоминать.

— Преувеличиваешь, Терентий,— усмехнулся Крымов.— Временами ты бывал парнишка... как бы сказать... настырный.

— Деревенщина, дегтем смазанная,— вот кто я был, Вячеслав Андреевич,— мелко засмеялся Молочков.— Вспоминать о себе спокойно не могу. Не люблю я себя молодого. Дурак глупый. Умирать никому не хотелось. А я в разведке иногда как безумный становился. Боялся, в плен возьмут, пытать до смерти будут. Спасибо вам... Войну никак не хочу помнить, а вас век не забуду. Гнили бы мои косточки на Украине, ежели б не вы... Гнили бы они в той воронке...

Он снова дробно засмеялся, но готчас с коротким горловым кашлем повторил, крутя головой:

— Ох, дурак я был! Не люблю я себя молодого! Вы меня тогда, дурака зеленого, пожалели, в сорок четвертом году... А другой пристрелил бы, как собаку. Законы у нас в разведке были — не дай бог. Ежели нюни распустил на нейтралке — пускай девять грамм себе в лоб!

Молочков с сомкнутым ртом напряг лицо в беззвучном смехе, но почувствовалась в этом некая внутренняя злая взъерошенность, навсегда, казалось, утраченная им в настоящей его жизни, что-то вмиг изменившая в нем, как внезапный всплеск в памяти прошлой унижительной беды.

И Крымов вспомнил то, что не хотел подробно вспоминать, то свое полузабытое состояние, которое испытывал в иной жизни, украинской зимой сорок четвертого года, на нейтральной полосе, где вдвоем с Молочковым лежали они в бомбовой воронке, поджидая ушедших вперед разведчиков, когда обоим ясно стало, что разведка напоролась на немцев и не вернется.

Глава четырнадцатая

В тот момент, когда Крымов услышал крики и выстрелы на том берегу, он понял, что с его разведгруппой случилось непредвиденное.

А он был убежден, что на том берегу надо было по нейтралке двигаться в направлении разваленной и сгоревшей в поле скирды, не сомневался, что оттуда по ложине следовало взять левее, потом выйти в тыл села, где и предстояло группе действовать. Эта уверенность появилась у него после двухдневного и ночного ползания по нашим окопам боевого охранения, после придирчиво-скрупулезного изучения местности накануне разведки, в которую сам по приказу майора Азарова пойти не мог вследствие причины словно бы непротестительно легковесной.

Тогда его не столько мучила невыносимая боль от фурункулов на спине, сколько внезапность мерзостной болезни и неудача недавней предновогодней разведки его взвода. После взятия Киева и приостановленного в середине ноября наступления на Житомир дивизия встала на оборону и началась, как обычно на исходе наступления, неутолимая жажда данных о противнике, о его перегруппировке на правобережье. Начальник разведки майор Азаров, отвечающий за данные, был крайне раздражен тем, что за три дня до Нового года немецкая разведка в метельную ночь выкрала из траншей нашего боевого охранения задремавшего под бруствером часового, что вызвало немедленное наше действие, оказавшееся неуспешным. Выйдя в тыл к немцам, группа Крымова пролежала в снегу вблизи шоссе пять часов безрезультатно. Ни одной офицерской машины, ни одной фуры не проехало той студеной ночью в село, и назад вернулись

разведчики голыми, как презрительно определил майор Азаров, не признающий никаких объективных причин. Но целая ночь, проведенная на морозном ветру, в снегу, неожиданно свалила Крымова ломящей болью, высокой температурой, его уложили в санчасть, обнаружив на его спине фурункулы, а он, самолюбиво обозленный на промах взвода, на бессмысленную простуду, еще не случавшуюся с ним на войне, решил лишь ходить на перевязки, но быть во взводе, отлично сознавая, что подумал бы майор Азаров, если бы он, Крымов, командир взвода, лег на санротную койку, отстранясь от дела и облегчая себе ответственность.

Поэтому, томясь посещениями санроты для ежедневных процедур, он и эту разведку дотошно готовил сам. Он не передавал подготовку сержанту Ахметдинову, чернобровому отчаянному парню, бывшему боксеру, которому доверял во всем, и двое суток лазил по передовой, наблюдая за дежурными пулеметами, за каждым сугробом на нейтральной полосе — на правом и левом берегу реки.

Однако в последние минуты зимней ночи, когда он отдал приказ разведгруппе и вместе с Молочковым остался в огромной бомбовой воронке на нейтральной полосе, а Ахметдинов, сказав весело «салют!», растаял с четырьмя разведчиками в синем от звездного света сумраке берега, Крымов испытывал нехорошее предчувствие, по разным приметам насторожившее его. Всюду цепенела звонкая тишина январской стужи, вверху, в черной пустыне, звезды горели острым алмазным огнем, а внизу, на земле, над окраиной полусожженного села не взлетали немецкие ракеты. Там необычно молчали дежурные пулеметы. Молчание было подозрительно какой-то затаенной мертвенностью, и, отпустив группу Ахметдинова, он долго вслушивался в безмолвие на нейтральной полосе. Она уходила метров на триста вниз, к заледенелой реке, а за рекой метров двести подымалась вверх, к первым траншеям немцев перед селом, где раскинулись над редкими крышами пылающие в небе созвездия. Боль нарвавших фурункулов грызла ему спину, ломила между лопатками, его сжимала шершавая дрожь озноба. Он чувствовал, что подскочила температура, и, может быть, этим усугублялась тревога, толкавшая Крымова к невозможному решению — отменить задание, вернуть разведгруппу, доложить майору Азарову о странном затишье у немцев. Но в то же время ни одного веского довода у него не было (молчание пулеметов — не довод). К тому же Азаров способен был понять отмену поиска не так, как надо, и он переборол сомнение, рассчитывая, что вся операция при счастливых обстоятельствах займет полтора-два часа: пройти аккуратно нейтралку по разминированной вчера ночью саперами узкой полосе в минном поле и без шума взять языка в первой траншее.

Но хаотичные вспышки автоматных очередей, ослепивших ночь, дальние крики, заглушаемые выстрелами, смутное передвижение какого-то клубка теней в фиолетовой мгле левее окраины села, визгливый взрыв мины — все, вдруг возникшее на правом берегу, представилось в тот миг настолько невероятным, что, стиснув зубы, Крымов изо всей силы ударил кулаком по краю воронки: «Вот оно! Неужели?..» Нет, ни в одной разведке (как бы тщательно она ни готовилась) не были исключены десятки возможных вариантов случайностей, но каждый раз, когда Крымов сам уходил в поиск, он самонадеянно отметал возможность роковой неудачи.

«Вот оно, предчувствие! — мелькнуло у Крымова. — Я не пошел с ними — и вот оно!..»

— Ракетницу! Молочков, ракетницу! — крикнул он шепотом и, увидев испуганно отпрянувшее лицо Молочкова в шерстяном подшлемнике, выругался, стиснув зубы: — Быстро!..

— Напоролись, напоролись... А, товарищ лейтенант? Да неужто в ловушку попали? — всхлипывающе бормотал Молочков и совал

сбоку твердый ствол ракетницы, он тыкался в рукавицу Крымова судорожными толчками.— Неужто, а?..

— Перестань ныть и наблюдай! — приказал Крымов, выхватывая у Молочкова ракетницу.— Ясно видишь, где наши и немцы?

— Напоролись... возле траншеи они... Да неужто в плен их?

— Замолчи, говорят!

По строгой и неукоснительной договоренности с полковыми артиллеристами он мог красной ракетой немедленно вызвать огонь по первой траншее немцев, по пулеметным точкам, прочесывающим нейтральную зону, и тем самым прикрыть отход разведчиков к нашим траншеям, что делалось в других случаях не однажды. Но вызывать сейчас огонь артиллерии было бессмысленно — огонь накрыл бы и наших разведчиков,— и вне себя Крымов отбросил ракетницу Молочкову.

— Спрячь игрушку! На кой она! Спрячь к черту!..

Лежа грудью на краю воронки, он всматривался в расколотое громом очередей пространство ночи за тем берегом, где возле первых траншей мелькали непрерывные скачки выстрелов, угадывая по трассам учащенный бой «шмайссеров», гулкий треск наших автоматов, тугие разрывы немецких гранат, брызжущий звон лимонок,— и уже по вспыхивающим очередям, по прыгающим всплескам ламени, по огненному рисунку за рекой он будто вблизи увидел то, что произошло и происходило там с его разведгруппой. Вероятно, перед самой траншеей сержант Ахметдинов наткнулся то ли на встречную немецкую разведку, то ли на немецких минеров, работавших на нейтралке.

— Отходить, Ахметдинов, назад, назад! — повторял Крымов бессознательно, слыша, как один за другим обрывался грубый треск наших автоматов и зло, торжествующе звенело шитье «шмайссеров».

И тотчас неправдоподобная тишина упала с неба и такой непроницаемой немотой заполнила морозное пространство ночи, как если бы минуту назад не было впереди ни выстрелов, ни разрывов гранат, ни криков. Только очень далеко справа бесшумно сыпались под низкими звездами на горизонте красные цепочки пуль, и оттуда запоздало доносился ослабленный стук пулемета. А здесь затаенно молчала немецкая и наша передовая, нигде ни звука, ни движения, лишь в ушах еще билась металлическая дрожь автоматов.

— Да неужто в плен взяли их, а? — доходил сбоку захлебывающийся голос Молочкова, и смутно ощущалось, что он шевелится где-то рядом, трудно дыша, елозя по снегу.— Да как же случилось-то? Смертники мы, товарищ лейтенант, смертники мы...

— Замолчать, Молочков! — приказал жестко Крымов, ненавидя и себя и Молочкова за эту бездейственность, за эту беспомощность вот здесь, на нейтральной земле, в бомбовой воронке, откуда они не могли Ахметдинову помочь ни автоматным огнем, ни огнем артиллерии.— Не верю, что всех,— заговорил он хрипло.— Трое шли впереди, двое сзади — группа обеспечения... Не верю, что всех. Кто-нибудь да отошел...

Он снял меховую рукавицу, подхватил пригоршню снега и с желанием остудить себя жгучим холодом потер лицо, до боли корябая кожу. Холод этот смешался с неотпускающим ознобом, с жаркой тяжестью в голове, и у него застучали зубы, как в жестоком приступе малярии.

— Что вы, товарищ лейтенант? А? — задрожал над ухом голос Молочкова.— Совсем больны вы...

— Сейчас,— выдавил Крымов и задвигался на краю воронки.— Сейчас подождем... и туда... Узнаем сами. Подождем немного и туда...

Он прикусил рукавицу, чтобы не стучали зубы, почувствовал

кисло-металлический вкус снега и промерзшей кожи, его потянуло на рвоту, судорога прошла по горлу, он застонал, задохнулся от напрасных потуг, выговорил хриплым шепотом:

— Подождем немного... И к ним туда, ползком... Подождем...

— Товарищ лейтенант, вконец захворали вы... Куда ж мы пойдём? К немцам в лапы? Куда?

Крымов оторвал голову от рукавиц, взглянул на Молочкова, лежащего справа на снежном навале бомбовой воронки, и при ледяном свете звезд, в сумраке, его треугольное лицо, сжатое подшлемником, белым капюшоном маскостюма, казалось безумным женским ликом, бледным призраком со стеклянными глазами, дышащим паром из густой бахромы инея вокруг рта. Это был, чудилось, не бойкий деревенский паренек Молочков, бедово напевающий воронежские частушки во взводе, а кто-то другой, зыбкий, всем нутром почувывший наступающее, необратимое.

— Слышите, а? — прерывисто зашептал Молочков, и, чудилось, влажный взгляд его заблуждал по лицу Крымова. — Ведь кричат... А?

Внезапно немецкие пулеметы забили по нейтральной полосе, засверкали огненные радиусы, очереди диким смерчем пронеслись над воронкой, ослепляя рубиновыми огнями, и Молочков, вжав голову в плечи, свалился с края воронки вниз, и оттуда, снизу, тонко вскрикнул его голос:

— Чую я, судьба сегодня!.. Напоролась наша группа, и наша теперь очередь!..

— Ты мне надоел! — зло оборвал его Крымов и спустился по скату воронки, пошатываясь, в голове туманно мутилось, а спину обливало, стягивало ознобом, и хотелось лечь, сжаться в комок, чтобы так согреться. — Где кричат? Померещилось? — спросил он, сдерживая стук зубов, стараясь не глядеть на хаос трассирующих пуль над воронкой, от чего появилась резь в глазах. Он сел на скате, с напряжением прислушался, но услышал только дробный гул встревоженных немецких пулеметов, простреливающих нейтральную полосу.

— Кричит кто-то на том берегу... слышу я, — горячо зашептал Молочков, придвигаясь вплотную. — Не Ахметдинов это, а? Может, мучают они его? Ранили и штыками мучают... Помните, как Сидорюка наши мы? Глаза ему немцы выкололи, руки отрубили...

— Ну что занял? Что, спрашивается?..

И Крымов опять выругался, унижая ругательством Молочкова за этот обдающий бедой шепот, за жалкую оголенность страха перед непостижимым, роковым, случившимся с его разведчиками, с чем он, Крымов, не хотел согласиться, зная опытность Ахметдинова и тех, кто пошел в группе захвата, и не хотел легко поверить в то, что могло произойти там, перед немецкими окопами.

— Подождем, — резко сказал Крымов, глядя снизу на пулеметные трассы, рассекающие темноту неба над воронкой. — Переждем огонь и проверим. Поползем туда... Сам хочу проверить.

Молочков вскинулся, стеклянные глаза его в обводах инея на веках выкатились, переливаясь влагой.

— В лапы они к фрицам попали... Куда мы поползем? Куда ж?.. И хворый очень вы...

Крымов стиснул зубы.

— Туда же, черт тебя дери! — выговорил он со злобным отвращением к бессилию неопределенности, и вдруг слова Молочкова «хворый очень вы», произнесенные с растерянным упреком, взвинтили его до ярости. — Ты чего скулишь? Какого хрена паникуешь? Разведчик ты или мочалка с ручкой? А ну давай наверх, наблюдай за нейтралкой! А то немцы подойдут и возьмут тебя, дурака, в мешке утащат!

— Ежели меня... А вы как? Вы разве железный?

— Ну, на меня немца еще такого не родилось, ясно? Я сам собой распоряжусь.

— Ох, Иисусе... себя убить я не смогу,— забормотал всхлипывающей Молочков и, задрав голову, пополз на животе по скату воронки наверх, а там вытянулся, замер, уткнувшись лицом в рукавицы, еле видимым синеватым бугром под перемещающимися над ним трасами.

— Ну? Что ты там? Заснул, что ли? — крикнул Крымов, пересиливая слабость во всем теле, сотрясаемом дрожью внутреннего жара, тянущей болью в спине, к которой прилипла пропитанная гноем нижняя рубашка, стучало в висках, хотелось нестерпимо пить, насытить какую-то жгущую его знойную пустыню.

Он схватил зубами снег, стал грызть его колючую пресную плоть, имеющую вкус ржавого морозного железа, и, не дожидаясь, что вытошнит, выплюнул мерзко размятый комок. Зло кривясь, он выполз на край воронки, лег грудью на заостренный от мороза навал земли и впереди увидел нереальную химическую синеву снега, проступившие немецкие траншеи за рекой, танцующие огни пулеметов в опадающем зонте ракеты. Ракета угасла, с ядовитым шипением стала извиваться в воздухе и рассыпалась вторая, за ней третья — ракеты взлетали одна за другой. Немцы раздвигали поднебесным светом зимнюю темноту над передовой, перекрещенными очередями пулеметов прошивали пространство нейтральной зоны. С мутным звоном в ушах Крымов долго всматривался в выплывающие из ночи окраинные хаты полусожженного села, где синели полосой первые немецкие окопы, вблизи которых произошло с его разведгруппой худшее из многих вариантов случайностей на войне. Но сейчас, увидев в низине левее села покатую пустоту облитого ракетным мерцанием снега, он снова отверг мысль, что все пятеро, все до одного погибли или были схвачены, взяты в плен. Он был полностью уверен в опыте и осторожности сержанта Ахметдинова, ходившего за языком десятки раз, и еще жила, теплилась ничему не подчиняющаяся надежда на то, что кто-нибудь ушел из-под огня, напорвшись на немцев, затаился в низине и вернется оттуда, едва только смолкнут пулеметы, перестанут взлетать ракеты.

— Подождем, подождем,— выговорил Крымов, жадно подхватывая ртом снег, чтобы остудить жар в горле.

— Во! Слышите? А?... — вскрикнул с тоской Молочков и вытянул по-черепашьи голову из капюшона.— Вон оттуда, оттуда, от тех хат... Слышите?

— Бредишь, чертов сосунок!

Крымов приподнялся на локтях, от чего огненно пронзило спину, будто клещами вырывали, перегрызали позвонки, и с перехваченным дыханием откинул капюшон масккостюма, снял шапку с пылающей головы, мгновенно обдутой студеной поземкой, и прислушался.

Пулеметы делали короткие передышки между очередями, и в эти пробитые пустотой промежутки явственно донесли странные воющие звуки откуда-то из нейтральной полосы. Звуки эти, нечленораздельные, хрипящие, протяжные, возникали и обрывались в ночи; так не мог кричать человек, то кричал в живых мучениях зверь, предсмертно никого не моля о пощаде, никого не призывая на помощь,— это был крик гибели и тоски, беспamięтно обращенный к звездам, к холоду, к снегу, в никуда, где не было и не могло быть спасения.

И Крымова передернуло от этого животного вопля безнадежности, который, наверное прощаясь с жизнью, издавал раненый, обре-

ченный на мучительную смерть, и в первую минуту легче было внушить себе, что так кричал не наш тяжело раненный разведчик, а на нейтральной полосе в страданиях умирал раненный в перестрелке немец. Но ясно было: своего раненого немцы не оставили бы на нейтральной полосе рядом с траншеями. И Крымов понял, что там, впереди, за рекой, перед враждебными, чужими окопами истекал кровью и умирал его разведчик. А немцы, слыша его страшные крики, не подходили к нему, не добивали раненого, а, наоборот, вероятно, желали, чтобы вопли умирающего достигли русских траншей, переводячая душу как бы мстительным наказанием за разведку.

— Он... он это кричит... — змеисто пополз за плечом голос Молочкова. — Ахметдинова схватили... Пытают они его...

Крымов, не отвечая, зажмурился от режущих по глазам разрывов ракет над рекой, прижался грудью к краю воронки и опять начал хватать зубами пороховой снег, с усилием глотая его, а в ушах рос, приближался нечеловеческий вой из беспрерывно освещаемого ракетами нейтрального пространства, и этот вопль стальными когтями впивался, раздирал ему спину, сведенную болью.

«Все бы обошлось, если бы я пошел с ними», — думал он, суеверно презирая это первое с Курской дуги невезение, и, уже не пытаясь справиться с клацаньем зубов, с дрожью, колотившей его, он проклинал себя и эту безопасную воронку на берегу, где он все еще поджидал возвращения кого-либо из разведчиков, хотя куда-то в бездну провалилось само время.

— Товарищ лейтенант... чего вы говорите? Не слышу я... Бормочете вы чего-то...

Цепкая рука затрясла его за плечо, и он, приподняв горячую голову, увидел над собой узко сжатое подшлемником под капюшоном серое лицо Молочкова, оголенное белым светом ракеты, наросты инея на бровях, увидел дышащий паром рот и проговорил сиплым шепотом, доглатывая застрявшую в горле жесткую снежную, не остужающую жар влагу:

— Сейчас... стихнет... Раненых на нейтралке не оставим. Ни одного. Проверь автомат, Молочков. Пока отогрейся...

Он выговорил это, замерзая и одновременно сгорая в жару, словно без шинели лежал на льду, насквозь пронизываемый острым, знобящим ветром, и Молочков, глядя на него с искривленным испугом ртом, отшатнулся белой тенью в темноту, зашуршал, захрустел снегом, скатываясь в воронку, придушенным голосом вскрикнул: «Хосподи Иисусе, хосподи...» — и замолк там, скорчился, свернулся в пружину с ожиданием последнего.

«Только бы не свалило меня. Что-то плохо мне стало... — повторял бредово Крымов. — Только бы продержаться, сознание не потерять, пока стихнет... Хоть бы полчаса».

А огонь не стихал, пулеметы били без передышки, нейтральная полоса пустынно, мертво обнажалась, крутым изгибом взлескивал лед реки, иллюминированный качающимися люстрами в небе, потом стало казаться: от назойливого взлета и сгорания ракет все впереди задымилось, запрыгало из тьмы в свет, из света во тьму, брызгами вспыхивал лед до слез в глазах и гас, — и от затихающего, ослабевшего крика в нейтральном пространстве, от нескончаемого мелькания, скачков пульсирующих огней, ракетных россыпей и обваливающейся на свет темноты дурно закружилась голова. Крымов закашлялся и, переводя дыхание, с черными кругами в глазах почувствовал, как вонзается неодолимый страх оттого, что вот так, замутненный головокружением, он перестанет владеть собой и потеряет сознание.

«Сейчас, надо сейчас, — соображал он, прикладывая снег к жар-

кому лбу.— Левый пулемет не меняет сектор обстрела. Надо ползти по правой стороне низины. Так он не заденет... Пора!»

И он позвал с хрипотцой:

— Молочков!

Ответа не было. Он, преодолевая боль в шее, повернул голову и пригляделся — там, внизу, на дне воронки неясно белела скорченная фигура Молочкова, он не шевелился на снегу, подтянув колени к подбородку, и какие-то невнятные, мычащие звуки доносились до Крымова. Он окликнул громче:

— Молочков! Давай ко мне!

И снизу дошло неразборчивое всхлипыванье:

— Товарищ лейтенант...

— Какого хрена, Молочков! Оглох?

Он в нетерпении сполз по скату воронки, наклонился над Молочковым, сильно тряхнул его за плечо, отчего тот встрепенулся взъерошенной птицей, растопырив локти, как наголо обдерганные крылья, горящие пустотой глаза наткнулись на взгляд Крымова и обезумело разъялись.

— Куда? Зачем? А?

— Слушай, Молочков, внимательно,— заговорил Крымов отрывисто.— Пойдем так. Перебежками к реке. Ползком до того берега. И ползком к немецким траншеям. Прижимаемся к правому скату низины. Все делаем под шумок пулеметов. Следи за моими сигналами в оба. Поднял руку — вперед, махнул — замри...

Ему трудно было говорить, он туго выжимал слова сквозь выбивающие дробь зубы и, уже не справляясь ни с ознобом, ни с дыханием, срывающимся от душной тесноты в груди, скомандовал шепотом:

— Всё! За мной.

И повернулся, пошатываясь, пошел вверх по скату воронки в ту самую секунду, когда смолкли пулеметы и в насыщенной звоном тишине, задавив ракетный свет, темнота расползлась по передовой.

— Не надо, не надо, товарищ лейтенант!..

Он остановился на середине ската, не понимая смысла тонкого молящего вскрика за спиной («Что не надо? О чем он?»), и, зло возбужденный сопротивлением своей команде, чего никогда не допускал во взводе, увидел сверху стеклянный блеск на зыбко проступающем пятном лице Молочкова, и горбатыми паучками доползли прыгающие звуки его голоса:

— Не надо меня, товарищ лейтенант, не надо...— Голос Молочкова рыдающе зазвенел и заторопился в беспомощности несвязной скороговоркой: — Ахметдинов это кричал... А тогда под Сумами Сидорюку глаза штыком выкололи. Куда ж мы пойдем?..

— Да ты что, Молочков? Очумел? А ну встань! Возьми себя в руки!

Над нейтралкой с отчетливым щелчком взвилась ракета, набегая спереди омывающим светом, в небе посыпался красноватый дождь, сверху вся воронка озарилась багряной мертвенностью — и сразу фиолетовыми горячечными точками придвинулись и скользнули глаза Молочкова, какие бывают у больных, просящих о помощи собак.

— Не могу я, товарищ лейтенант, зазяб я, боюсь...— заговорил умоляюще Молочков, и запрыгали неудержимо и жалко короткие червячки белых бровей.— Пожалейте вы меня, дурака деревенского, за-ради бога. Не берите вы меня. В плен я боюсь, пытать будут. Не разведчик я, товарищ лейтенант, мне б в обозе где... Зачем вы меня во взвод свой взяли? Вон и руки я вконец отморозил, не владаю. Как култышки деревянные... Автомат я держать не могу...

И он, стоя на коленях, вытянул в негнущихся заостренных рукавицах затрясшиеся руки, потом зубами с усилием стянул одну рукавицу, с усилием попробовал подвигать пальцами, но не сумел и, оскалась, без голоса заплакал, запрокидываясь назад, так что стали видны его мокрые сжимающиеся и разжимающиеся ноздри.

— Да что за дьявольщина! — крикнул гневно Крымов.

— Мочи моей нет, товарищ лейтенант, — тоненько взвизгнул Молочков, раскачиваясь на коленях, и мелкие слезы побежали по его сизым губам. — Каждый раз, как с вами в разведку уходил, со страху умирал, душа в пятках дрожала. Да пронесило смертушку. А теперича... в голове у меня сдвинулось. Весь обморозился я. Мозги вывихнулись. Мне б в госпиталь надо... Пусть хоть руку, хоть ногу оторвет, а в госпиталь бы мочи моей нет. Жить я хочу, товарищ лейтенант, не хочу я молодую жизнь губить! — И, поперхнувшись слезами, он зарыдал в голос: — Хо-осподи Иисусе, спаси меня!..

Крымову не раз приходилось видеть последнюю степень отчаяния на войне: но подавленность и страх этого зеленого паренька, лично взятого им в разведку из пополнения за бойкий взгляд, за ловкую подвижность худенького тела, этот выплеснувшийся страх Молочкова не то чтобы был неожидан, он ошеломил его омерзительной искренностью, криком безумия о спасении, будто ничего не существовало, кроме голого ужаса перед тем крайним, что ожидало их на нейтральной полосе.

— Не могу я в разведке, товарищ лейтенант, — повторял, склоняясь к земле в рыданиях, Молочков. — Ждал я вашего приказа и бога молил: пронеси и спаси, хосподи... Схватят они нас, замучают...

— Замолчи, щенок! — выговорил Крымов и с толчками крови в висках, с тошнотным головокружением шагнул к Молочкову, сдавил пальцами его плечо. — Ты что же думаешь, мы раненых оставим на нейтралке? Уж лучше и мы, понял? Встать! — скомандовал Крымов. — Ну! Быстро! Встать!

— Убейте, товарищ лейтенант, сразу убейте, чтоб не мучился я... Убейте меня...

— Прекрати нюни! Встать, я сказал!

Он изо всей силы стиснул жидко заходившее плечо Молочкова, близко видя его мокрое, исковерканное плачем лицо, показавшееся совсем мальшеским при свете ракеты, а эта меленькая дрожь плеча, вроде потерявшего опору твердой плоти, почудилась каким-то предгибельным сигналом, сообщенным самой судьбой.

И Крымов подумал, что сегодня — через полчаса, через час — Молочкова убьют, и с неприязненной жалостью оттолкнул его, отяжеленно сел в снег, закрыл глаза, шепотом выговорил как в забытьи:

— Так что же?.. Так что же мне с тобой делать, сволочонок ты, а не разведчик? Расстрелять тебя как труса за невыполнение приказа?

— Товарищ лейтенант, роденький, поймите жалость, ноги буду мыть и воду пить!.. — заголосил Молочков и качнулся вперед, повалился на землю, а голая левая рука его с непослушными пальцами, на которую он так и не натянул задеревеневшую рукавицу, рыскающе искала валенок Крымова, и, раздавленно извиваясь, он тянулся к валенку головой, мыча, издавая торопливые чмокающие звуки.

— Ты, глупец, с ума сошел! — выругался Крымов и, не вынося этого обезумелого унижения, приказал бешено: — А ну встань, горят!

— Лейтенант, миленький, ножки целовать буду, слугой вам буду, пожалейте за-ради молодой жизни! — вскрикивал Молочков, все ползая по снегу вокруг Крымова, и было что-то бесстыдное, бабье в его испуганном причитании. — В госпиталь бы мне... Неспособный я к разведке, боюсь я к немцам попасть. Звери они, по куску грызть

будут. Нету у меня сейчас понимания, товарищ лейтенант, как дурачок я, поймите жалость к моей неопытной жизни... На три года мо- ложе я вас, а все смерть вижу...

— Значит, в госпиталь хочешь? И смерть все видишь? Ух, как ты мне противен,— гадливо выговорил Крымов, глядя на червяко- образно вихляющуюся под ногами белую спину, и вдруг приказал с опалаяющей голову непрекословной решимостью: — А ну сядь!

И, сдернув рукавицы, рванул левой рукой за маскхалат Молоч- кова, поспешно севшего на снег в онемелом оцепенении (только гла- за, залитые слезами, мерцали, защищались, выкатывались в ужасе), а правой рукой на ощупь откинул скользкую, сплошь в инее крышку кобуры на его ремне, нащупывая ледяную рукоятку трофейного па- рабеллума. Рукоятка не поддавалась, льдом вмерзла в тесные края кобуры, и тогда, морщась, сдирая кожу на пальцах, он с резким скрипом выдернул парабеллум, и тотчас визгливый крик оглушил его:

— Не надо, не надо! Товарищ лейтенант, миленький!..

И с задушливым стоном Молочков упал на четвереньки и сума- тошно пополз куда-то боком по дну воронки, загнанно огля- нулся черными ямами глаз, рыдающе прохрипел: «Не надо!» — и за- рылся лицом в снег, елозя валенками.

— Не тебя, сволочонок, а мать твою жалко. Ошибся я в тебе, мокрица!.. Сядь, я сказал! — повторил брезгливо Крымов и снова сильным рывком поднял Молочкова с земли, а подняв, ощутил сту- денистую дрожь его ослабшего тела, тяжкое дыхание его округ- ленно и немо раскрывавшегося рта, глухо скомандовал: — А ну, гля- ди в небо и дай руку, если жить хочешь! Вверх гляди, щенок чер- тов! — крикнул он и, дернув к себе безвольную руку Молочкова, быстрым движением приложил пригоршню снега к рукаву его маск- костюма и рассчитанно выстрелил в край снежной пригоршни, зная, что делает...

(Позднее, спустя много лет, не забывая те годы отчаянного и жестокого риска, но забывая того молоденького и не в меру реши- тельного лейтенанта Крымова, почти всегда удачливого командира взвода полковой разведки, он часто думал о прежней своей безбо- язненности, с которой распоряжался судьбой людей, о грубости собственных поступков, о своей лейтенантской безоглядности с мгно- венными поисками выхода и резким желанием справедливости, ког- да не было сомнений, сопровождавших его потом целую жизнь.)

Но тогда, в ту январскую ночь, после его выстрела Молочков ох- нул, закатил мертво побелевшие глаза и повалился спиной на скат воронки, суча ногами, как в предсмертной агонии. А Крымов подо- ждал, присел рядом, стволом пистолета разорвал индивидуальный пакет, в молчании перебинтовал его темно набухавший рукав маск- костюма и, чувствуя рвотную спазму в горле, железистый запах крови, липкость на пальцах, проговорил с презрительной яростью:

— А теперь, не оглядываясь, мотай в тыл! Целому тебе там не поверят, поэтому кричи громче: немцы ранили, а лейтенант перевя- зал! Жив будешь, сволочонок. Но чтобы я тебя больше никогда не видел около разведки. Увижу — все вспомню и тогда не пожалею де- вять грамм. Давай бегом отсюда, чтоб ноги в задницу влипали!

Однако через сутки пришлось вновь увидеть Молочкова уже в медсанбате, куда Крымова привезли на рассвете той зловещей ночи, поглотившей пятерых человек из его разведвзвода.

Память навсегда сохранила те безысходные минуты, когда он один, обдуваемый секущей поземкой, полз к правому берегу, а по- том лежал, обессиленный, под звездным, таким бесстрастно холод- ным небом, в безмолвии неизвестно почему затаившейся нейтраль- ной полосы.

Впереди молчали пулеметы, нигде ни единой ракеты, замолк человеческий вопль на нейтралке, лишь внизу с трескучим стеклянным звоном лопался в лютой стуже лед на реке, где дымилась на середине пробитая снарядом черная полынья. А он, отуманенный жаром и болью, мучимый жаждой, полз и воображал дышащую морозом хрустально-чистую влагу, представлял, как он с наслаждением погружает в холод воды подбородок и пьет ненасытно, большими, охлаждающими горло глотками и не может напиться.

И последнее, что еще ясно осталось в памяти, была черно-тяжелая волна полыньи (там качались и вытягивались нитями звезды), вкус огненно-ледяной воды, от которой он задохнулся и замерз, и голубоватая сумеречность правого берега, куда он дополз, волоча на локте автомат, опасно позвякивающий прикладом по бугоркам речного льда.

Потом все было размыто — низина, плохо различимые сверху сугробы первых немецких траншей, нескончаемая зимняя ночь над заочечневшими садами полусторевшего села, удары крови в ушах, неотступная мысль о том, что во что бы то ни стало он должен знать, что здесь произошло, высокая морозная тишина в мире, шелест поземки в пустынной низине, ни выстрела, ни света ракеты, ни одного признака, объясняющего, что случилось с разведгруппой, хотя мнилось: поземка пахла холодным порохом...

Позже ему рассказали, что его нашли в зоне нейтралки, неподалеку от воронки, на левом берегу, но как он сумел вернуться с правого берега, этого не помнил.

И очнувшись в медсанбате, он в тот же день увидел своего разведчика Молочкова, пришедшего к нему в палату с виновато-счастливой улыбкой, рука висела на свежей перевязи, смазанное какой-то мазью лицо в сизых пятнах, но желтые бойкие глаза играли молодо, голос звучал заискивающе и ласково:

— Товарищ лейтенант, слава богу, живы вы... А у меня мизинец чегой-то согнулся и онемел. Во, поглядите-ка. Да пустяки, пустяки это. Пуля мяготь задела...

— Пошел с глаз,— равнодушно сказал Крымов.

— Ты прав, Терентий, девять грамм тоже бывает спасение,— сказал Крымов, мельком ощущая давнее бессилие и одиночество на нейтралке, но без прежней остроты гнева, точно все прошлое кануло в далеком сне.— Что ж, не будем вспоминать войну. В конце концов, многое миновало. Лучше расскажи, как сейчас живешь? Как дома?

«Стоит ли думать, какими мы были тридцать лет назад? Терентий хороший директор, предан делу и мне...»

— Так как Соня? Наследника не ждете?

— Вся моя жизнь от вас зависит, Вячеслав Андреевич, все время о вас думаю. Неверующий я, а то бы молился,— проникновенно сказал Молочков и взволнованно перевел дух.— Как я без вашей помощи? Даже на законный брак, можно сказать, благословили. Может, скоро ребеночек будет у Сони. Я сына хочу, она девочку. Споры семейные по этому вопросу. Да боязно, Вячеслав Андреевич. Очень уж боязно.

— Чего боязно?

— У Сони астма. Петь она вовсе перестала. Иногда прямо задыхается. В этом году три раза неотложку вызывал. Жить ей в городе врачи не рекомендуют. За городом надо, на хорошем воздухе. Вот я кооперативный участок взял от студии. Напрячься бы силенками, домикшко построить, Вячеслав Андреевич,— для Сони спасение. Ох, удалось бы!..

— Понятно. Удастся. Тебе удастся.

— Почему вы так сказали?

— Тебе сейчас все удастся, Терентий. Ты вошел в полосу удачи. Есть в жизни полоса везения и невезения. Ты — в полосе везения. Мчишься в ней на своем «Москвиче».

— Смеетесь надо мной? А вы как же?

— Я вышел из полосы. И смеюсь над собой, конечно.

Молочков покосился на Крымова, и вкрадчивые, замерцавшие глаза его значительно округлились, показывая понимание интеллигентной шутки. Но когда он снова повернулся к рулю, затылок его стал прямым, выжидательным, а поющий голос подчеркнуто недоверчивым:

— Разве глупые слухи, наговоры — факт? Вы человек всему миру известный — никто вас пальцем не тронет! Разве кто вас свалит?

Крымов опустил стекло и, глядя на просверки солнца меж елей за обочиной шоссе, вдохнул теплый ветер, напоенный сухой хвоей, сказал:

— На земле нет неприкасаемых людей. Падает тот, кто бежит. Тот, кто ползет, упасть не может. Я слишком долго бежал. А это не все поголовно любят. Впрочем, я просто работал. Работал, работал. И пытался поймать за хвост жар-птицу. Понимаешь, Терентий?

— Неужто Нечуралов вместо вас картину снимать будет? Ведь слухи о нем, — проговорил оробело Молочков, и пряменький затылок его опять выжидательно замер. — А я как без вас? Неужто с вами серьезно?

— Ты не пропадешь, директор. — Крымов ободряюще похлопал его по плечу. — Мужик ты тертый, обходительный, умеешь ладить. Балабанов тебя любит, да и ты хорошо ему служишь. Скажи, дорогой Терентий, во имя чего ты лжешь ему, наговариваешь на меня всякие небыллицы, придумываешь фантастические сюжеты?

«Вот что целый день раздражало меня, как тоскливая неопределенность?»

— Служу я ему и вам, Вячеслав Андреевич, — тоном тихого и покорного согласия отозвался Молочков. — И советской власти. Я человек маленький. На войне подчинялся и сейчас приказы выполняю. Ничего я плохого о вас не наговариваю, а наоборот — помогаю вам, извините. Сил у меня маловато, видать, для помощи. Да как могу. Разве я против вас?

Тихий голос Молочкова поперхнулся обидой, стал носовым, жидким, и Крымов проговорил досадливо:

— Ну, вот еще одно великолепие, начинается сцена из мелодрамы. Ты что, научился играть в кинематографе? Перестань ныть, смешно это! Без меры хитер ты, Терентий, и очень хорошо знаешь, что лесть пожирает слабых заживо.

— Смеетесь надо мной? Обижаете, — выговорил надтреснутым, больным голосом Молочков и огорченно покачал головой. — А я как раз сегодня о серьезном деле должен поговорить с вами. Вас касается. Не догадывались, зачем я вас не на студийной машине домой отправил, а на своей везу? Ведь шофер Гулин — дурак глубокий, пьяную морду вы ему правильно набили, а он к закону обращается, в суд на вас подавать хочет. Вот стерва подкодная! Сегодня ко мне приходил в свидетели меня приглашать.

— Что ж, это его дело, — сказал непроницаемо Крымов, вспомнив исподлобный, заметавшийся взгляд Гулина, которого он на днях встретил в съемочной группе. — И что ты ответил?

Молочков виновато поморгал леденцовыми глазами, ноздри его маленького хрящеватого носа до побеления напряглись.

— А дурак — разве он не опасный, Вячеслав Андреевич? Кто знает, что ему в голову залезет. Говорил я с ним долго, целый час он, у

меня сидел, убеждал всеми словами, что его самого, неумейку и пьянь, под суд легко отдать. А он мне: «Крымов хотел меня изуродовать за то, что видел я, как он с потаскухой Скворцовой в траве валялся, угрожая мне. Пусть, мол, суд во всем данном темном деле разберется». Кирпич, сволочь, а не человек! Темнотища лимитная...

— И дальше что? Что замолчал? Говори до конца, Терентий.

«Бред, безумие... Для чего мне знать? А дальше что будет со всеми нами? — подумал вдруг Крымов и глотнул из окна струю сквозняка, чтобы унять боль в сердце.— Кто спасет нас от коварных дураков?»

— Пьянь он пьянь, а расчет в голове имел,— продолжал Молочков с едким осуждением.— Изуродовать, говорит, меня хотел, так пусть, говорит, по справедливости заплатит, и тогда прощу я его, квиты будем, и в суд не подам. Ежели шофер человека сбивает, так он за увечье ему каждый месяц платит, вроде по инвалидности. У меня, говорит, машины нет своей, дачи нет, а Крымов человек богатый, так пусть четыре тысячи выложит бедному, ежели виноватый,— и все любовно, чисто, замолчу я и вроде ничего не знаю, ничего не видел.

— Понятно, понятно. Четыре тысячи?

Молочков пренебрежительно закричал, перебирая цепкие пальцы на руле, и заговорил непривычно черствым голосом:

— Я ему и сказал, дураку: «Ты что же, ограбить намерился хорошего человека? Четыре тысячи! Для чего тебе четыре тысячи? Пропьешь ведь без толку, курья голова! Ты и пятьсот рублей никогда в кармане не держал. И не боишься мне такое болтать про тысячи, а?» А он все рассчитал, дурак оказался умный. «Мы,— говорит,— вдвоем с вами, свидетелей нет, никто не слышал, что хочу, то и говорю, шитокрыто, а я четыре тысячи прошу законно, пусть даже три, и знать ничего не знаю». Вот выставилась какая стерва, а?

— Значит, четыре или три тысячи? И все будет в порядке?

— Три просит после моего разговора, гадюка бессовестная.

— А не много, Терентий? Как думаешь?

— Как язык только у алкаша поворачивается! — заговорил с ядовитой улыбкой Молочков, возбуждаясь, нервно взглядывая из-за вздернутого плеча на Крымова.— И еще меня в посредники взял и не боится! Пустой он, никудышный человек, а опасный. Да с него и спрос-то какой — как с чурбана, а сдуру навредить крепко может! В народе умно говорят: не тронь дерьма — аромата не будет. Эх, Вячеслав Андреевич, некрасивое это дело, глупое, а аромат-то нюхать не хочется. Отдали бы вы ему, что ли, эти деньги, пусть подавится, только бы запах не распространял! Шут с ними, с деньгами, они, деньги-то,— наживное, а спокойствие дороже, ей-богу. Одних нервов с вонючим глупарем потратишь на десять тысяч!

— Да, одних нервов потратишь на десять тысяч,— повторил Крымов в тон Молочкову, как будто безучастный к тому, что он говорил, но вместе с тем злое отвращение душило его, и сразу все предстало непереносимо противным: этот убедительно размышляющий голос Молочкова его пряменький возмущенный затылок, его презирающая глупаря Гулина улыбка; и вновь кто-то, умудренный скорбью опыта, терпким неверием, навечно обреченный в его душе на одиночество, на понимание тщетности всего, что желало, хотело, жаждало, неустанно интриговало вокруг, сказал ему тоскливо: «Ну, для чего это? В чем смысл этой жалкой лжи? Получит три тысячи — а дальше что? Наступит в его жизни райская благодать? Купит бессмертие?» И кто-то другой в его душе, не желающий ничего взвешивать на весах горькой мудрости, возражал непростительно и недобро: «Каким же образом ты влез в грязь? Вيني свою наивную веру в то, что все перемелется!»

— Терентий Семенович...

— Аиньки? Слушаю вас, Вячеслав Андреевич.

— Ах, спасибо тебе за милое бабушкино «аиньки». Как ты хорошо это сказал!

— С любовью к вам...

— Спасибо, спасибо. А скажи, пожалуйста, Терентий Семенович,— проговорил шепотом Крымов, вплотную наклоняясь к уху Молочкова, и поощрительно тронул его за плечо,— а как вы решили разделить сумму? Тебе две с половиной, а Гулину пятьсот? Или иначе — Гулину тысячу, а тебе две? Это, знаешь ли, мне очень важно.

Молочков медленно оборотил к нему продолговатую голову, его короткие бровки выгнулись весело — вопрошающими дугами, его подвижные губы раздвинулись и сдвинулись, изображая комический смех.

— Шутите? — ласково и укоризненно сказал он, однако без всякой защиты задетого достоинства и без неудобства за грубую чужую прямоту.— Ох, Вячеслав Андреевич...

— Я совершенно серьезно,— продолжал Крымов, участливо поглаживая жилистое плечо Молочкова.— Идея прекрасная и, конечно, она не сразу пришла тебе в голову, Терентий Семенович. А почему бы и нет? Крымов, кажись, уже не тот, не упускай добычу, вырывай зубами крупные и мелкие куски, лови момент, авось интеллигент струсит, а нам, бедным, в суматохе повезет. Так, Терентий, мой любезный друг?

— Оставьте меня! Вы во всем виноваты! — взвизгнул фальцетом Молочков, дергая плечами, и гибко отклонился в сторону, зачем-то одной рукой оправляя на груди пиджак, и в следующую минуту что-то неподкупное и неминуемое появилось в его скошенном взгляде.

— Так что ты мне скажешь, разведчик? — спросил Крымов.— Ты какую-то фразу хочешь произнести?

— Вы меня сильнее были! — тем же высоким голосом выкрикнул Молочков и опять заученно растянул рот в беззвучном комическом смехе.— Были, Вячеслав Андреевич! А теперь и я не слабый. Я слуга и раб ваш был, это нравилось вам, теперь и я вроде свободный! Независимый я от вас! Меня и другой режиссер возьмет. Вон оно как в жизни бывает! Как в песне поется: то вознесет его высоко, то бросит в бездну без следа. Кончилось, видать, ваше счастье! А руку эту вы мне на фронте покалечили. Нерв-то задели, вон палец как плохо работает! — Молочков оторвал левую по-обезьяньи быструю руку от руля, с угрозой помотал пальцами, зашевелил оттопыренным кривым мизинцем, уже не смеясь беззвучно, а остро оскаливаясь улыбкой готового броситься из засады хищного зверька.— Вы передо мной, Вячеслав Андреевич, тоже крепко виноваты! Я на вас тоже в суд могу подать — как вы меня в войну самострелом сделали!

Молочков, точно спеша, назойливо сыпал в лицо слепящей пылью, и сквозь остренькую улыбку его неузнаваемо злобные глаза вспыхнули желтым огоньком. И Крымов, выдерживая необходимую степень насмешливого спокойствия, проговорил:

— И ты, Брут?

— Откуда такой еще Брут? Какой еще?.. Вы меня не очень!..

— Дур-рак! — сказал Крымов с презрительным удовольствием и договорил, по-прежнему насмешливо расставляя слова: — Наверно, так нужно было судьбе, чтобы я пожалел тебя, дурака, в сорок четвертом... Как ты думаешь?

Молочков вскричал незнакомым голосом, исполненным страстью обиды:

— Ох, я тоже на земле нужен! А чего я заслужил? А несправедливость была и будет! У вас квартира большая, дача, деньги не копеечные, все есть! А у меня чего? Квартирка крохотная, машинка — от смеха помереть можно, «москвичок», жена больная, а что до денег, то всегда в обрез, Вячеслав Андреевич!.. Я ваш разговор с американцем очень хорошо понимал, вы же всех себя ставите! Барин вы по

сравнению со мной, с моей бедной жизнью! Презираете вы меня, брезгуете, терпите, я шкурой такое чувствую. На войне вы меня презирали и сейчас!

Молочков торопился выговорить это неоспоримо и возбужденно, на его губах играла мстительная затяжная улыбка, и Крымов почувствовал, как звенящая пронзительная струнка до предела натянулась между ними, и, испытывая жгучее прикосновение к неудержимо раскрывшейся ненависти своего бывшего разведчика, оставшегося в живых из его взвода, сказал вполголоса:

— Это верно. По натуре ты всегда был раб. И кроме презрения другого чувства вызвать не можешь. Останови-ка машину, современный Брут,— негромко приказал он и властно, как в давние лейтенантские времена, сдавил жилистое плечо Молочкова, горячее, мигом напрягшееся, а увидев его мертвеющее от ожидания и страха лицо, вторично скомаандовал: — Стоп!

«Москвич» завизжал тормозами, вильнул к обочине, остановился на насыпи пустынного в этом месте шоссе, над желтеющими полями, и когда Крымов решительно раскрыл дверцу и вылез из машины в тишину, его окатило зноем нажженной солнцем дороги вместе с сухим полевым воздухом. Тут он несколько помедлил и обернулся к Молочкову, с незавершенным любопытством разглядывая его ставшее меловым лицо, утратившее обычную угодливую приветливость, выражение деловой энергии, ежеминутно приготовленной к действию, как бы необходимому для рабочей бодрости съёмочной группы, и в первую очередь для него, режиссера Крымова.

— Ну что ж, Терентий, спасибо за искренность, это тоже дорого стоит, гораздо больше трех тысяч,— сказал Крымов, внутренне поражаясь так страшно вато излитой враждебности Молочкова и мере своего хладнокровия.— Но, как вы хорошо понимаете, Терентий Семенович,— продолжал он, вежливо переходя на «вы»,— в создавшихся обстоятельствах делать нам вдвоем в одной съёмочной группе нечего. Я завтра же приму решение, если вы не примете его раньше. Кстати, передайте шоферу Степану Гулину, что во имя справедливости я готов разориться на три тысячи. Но, конечно, при условии, что не буду лишен счастья взглянуть на его личико... вот так же, как на ваше, чтобы вблизи увидеть, кто же мой благодетель. Всё, кажется. Не беспокойтесь, директор, я поймаю попутную машину. Счастливого пути, Терентий Семенович! Вам опять повезло, как тогда в воронке... Вы возвращаетесь один...

Он захлопнул дверцу машины с тою же мерой давнего лейтенантского хладнокровия, которое необходимо было тогда и в особенности нужно было теперь.

«Может ли такое быть — в сорок четвертом на Украине он хотел перехитрить судьбу... и второй раз сейчас? Изменилась внешность, костюм? — думал Крымов, шагая по шоссе, и его душно охватывала тоска.— Нет, другое, прибавилось другое... Он доказывал мне свою преданность и защищался фальшивой приятностью в общении со всеми, а моя добренькая благотворительность помогла ему достичь кое-чего. Но что толкнуло его к злополучным четырём тысячам? Не Гулин, ясно, не Гулин. Идея Молочкова. Как она возникла? Болезнь его Сонечки? Дача? Или он решил, что настал момент безнаказанно урвать кусок побольше? Ах, какая расчётливость, какая сообразительность!..»

— Вячеслав Андреевич! Погодите, родненький! Куда ж вы? — прослышался за спиной Крымова упреждающе взвизгнувший голос, позади застучали по асфальту шаги, и Молочков, запыхавшийся, взмокший, забежал вперед, как-то искательно пританцовывая, умоляя растерянно моргающими глазами, готовый заплакать и удерживаясь от слез.— Вячеслав Андреевич, родненький, обидел я вас! — заголосил он, захлебываясь.— Извините меня, скотину необразованную, чего я

вам такое глупое, несуразное наговорил, соскочило у меня с языка, сам не знаю, дурак я, балбешка стоеросовая! Дипломат какой, стал антимионию разводите, а я обязанный вам по гроб жизни и детям своим скажу: есть добрый человек. Ведь вы по душе... а я за пьяницу Гулина просить стал!..

«Вот он, второй Молочков, в защитном костюме».

— Доброта в наше время наказуемый порок. Верно, Терентий Семенович? — сказал Крымов и усмехнулся. — Так зачем вам потребовались три с половиной тысячи? Отлично понимаю, что из всей суммы Гулину, наверно, досталось бы только пятьсот. Почему вы просто не попросили у меня займы?

— Вячеслав Андреевич, не мне деньги, не мне! — вскричал протестующим голосом Молочков и внезапно с неуклюжей порывистостью ткнулся вытянутыми губами, всем лицом в плечо Крымову, что должно было означать не удержанный поцелуй благодарности. — Разве я могу? Гулину, Гулину деньги! Я вас хотел оберечь от его злобы, а потом помутилось у меня в голове и начал говорить вам темные слова! Побили бы меня лучше, и то легче б стало! Для чего говорил гадости вам, не знаю, объяснить себе, дураку, не могу. Ведь люблю я вас. Вячеслав Андреевич, а наболтал, наболтал, вроде враг я вам! Жизнь вы мне спасли...

— Перестаньте унижаться! — остановил его Крымов, сиюсь по-давить гнев. — Противно, ей-богу. В разведку вам сейчас не идти, и со мной на тот берег не надо. Парень вы всегда были себе на уме. Вы думаете, тогда в воронке я поверил вам, что вы руки обморозили и разума лишились? Все было ясно. Просто я пожалел вас — и вы ушли в тыл, счастливцев, и остались в живых. А вас расстрелять надо было. Неужели вы думаете, что эта грязь с деньгами мне непонятна? Одно-го не пойму — почему я все время вам руку помощи протягивал? Почему помогаю? Впрочем, природа создала для чего-то и таких хорьков! Теперь вам ясно мое отношение к вам, Терентий Семенович? Подите к чертовой матери, я не хочу вас больше видеть!

— Господи Иисусе...

Молочков слушал раздавливающие слова, дрожа подбородком, потом прижал кулаки к глазам и застонал, заплакал тоненько, с собачьим подвизгиваньем, и Крымов скривился, сказал:

— Да хватит ныть, хватит, наконец.

— Господи Иисусе, не мне деньги, не мне! Слуга я ваш был и есть, Вячеслав Андреевич!..

— Я сказал вам — подите к чертовой матери!

— За что? За что ненавидите меня? Ведь ненавидите?

— Хуже.

— Ах, вон как!

И не отнимая кулачков ото лба, он затанцевал, засеменял вокруг Крымова и, тут опомнясь, пошел к машине, покачивая головой, как бы убитый несправедливостью человека, которого боготворил, ценил душой, но был отвергнут, не понят. А когда он опустил кулачки и обернулся, порозовевшее лицо его было перекошено злобой.

— А денежки Гулину отдадите, иначе он вас под монастырь! Он может! Под монастырь вас!..

«Действительно, за что он ненавидит меня? Может быть, все из прошлого, из той воронки? Жди возмездия?»

Крымов стоял на обочине, ломая спички, прикуривая, и мельком взглянул на машину, развернувшуюся на шоссе, успел заметить пряменькие плечи, непреклонно, даже сурово сжатый рот Молочкова — таким он видел Терентия Семеновича впервые — и тотчас подумал, что, в общем-то, он, Молочков, хозяин положения, ибо не остановится ни перед чем, используя удобные возможности. Его враждебно неумолимое личико промелькнуло и исчезло, словно не было между ними

разговора и Молочков унижительно не извинялся, не силился плакать с жалобным собачьим подвизгиваньем. «Что происходит со мной и вокруг меня — безумие? — думал Крымов с тоскск. — Не может быть, чтобы моя жалость погубила Ирину и был прав ее отец: я не должен был вселять в нее надежду, — дрогнула в нем мысль, и ноюще заболело в висках. — Если так, то, значит, жалость возвращается несчастным? Да есть ли она, прочная логика? Только голод, рождение и смерть — непоколебимые истины. А остальное двояко, подчинено обстоятельствам: правда, зло, доброта. Да, да, все мы пленники обстоятельств. И никто не свободен. Это страшно, безвыходно и ничтожно... Так должен же быть и в этом какой-то разумный смысл! Имеет ли здравый разум какое-либо отношение к трусливому и коварному Балабанову, к Молочкову с его ненавистью и игрой в раба, к убитому горем и одиночеством отцу Ирины? В конце концов, есть ли цель у знаменитого Гричмара, оглушенного неприятием большой цивилизации? И какая цель у меня с этой раздражающей, неизлечимой доверчивостью к правде?.. А что такое правда — знаю ли я точно? И как спасение — моя наигранная ирония, моя игра с жизнью. Во имя чего? Да, интеллигентское бессилие перед обстоятельствами — вот что такое моя ирония. Бессилие перед пошлостью, ложью, желание смягчать, не обострять!.. Нет, вряд ли я чего-то боюсь в мои годы. Но моя ирония — тоже компромисс, тоже согласие с обстоятельствами и в конце концов предательство самого себя!.. Смешно! Подвижники и правдолюбцы устали. Справедливцы притомились и надоели. От них отмахиваются, им лишь сочувственно улыбаются. Но все-таки в минуты отчаяния я вспоминаю одного бескомпромиссного человека в истории, мученика и страдальца, которому равных нет. Кто давал ему веру, одержимость — господь бог? Кто даст веру мне, неверующему, — искусство? Протопоп Аввакум? И по каким законам проявление ничтожества, жалкой низости может воздействовать на душу с такой же силой, как и великая трагедия? Аввакум, неистовый в чувствах протопоп Аввакум, святой, и хилый духом современный мир, судорожно желающий развлечений, будто накануне апокалипсиса. И опять Джон Гричмар, «город городов» Париж и душное чувство боли, какое было у меня там в предпоследнюю ночь...»

Пляс Пигаль, день и ночь веселящийся район «города городов», куда повел его неутомимый Гричмар, блистал, кипел, переливался, казалось, теми же огнями, теми же названиями баров, ночных кабаре, секс-шопов, секс-фильмов, что видел Крымов и в Гамбурге, и в Брюсселе, и в Сан-Франциско; те же швейцары в непристойно красных ливреях, в аристократически черных цилиндрах, те же испытые потрепанные физиономии сутенеров, повсюду на углах настойчивой скороговоркой предлагающих зайти на сенсацию и испытать то, чего еще не испытывали, то же многолюдное, тесное движение разноликой и разнокожей толпы, нечистоплотно пряный ветерок духов, перемешанный с горячим запахом жареных каштанов возле кинотеатров, с настоящей сладостью кофе из открытых дверей закусокных, и всюду мимо тротуаров сверкающие отлакированными спинами машины, под сумасшедшим неоном мчащиеся куда-то в световое небытие, непрекращающийся однотонный шум вперемешку со скрежетом игральных автоматов и те же опытные голоса у подъездов в переулках, троганье за рукав: «Аллё-о!» — и скромное заглядыванье в глаза с полуприглашающим, фальшиво целомудренным киванием молоденьких девиц, иногда почти девочек, похожих на сорбонских студенток в простеньких невинных очках, и рядом расширенные зрачки мальчиков-наркоманов, остекленевшие на бескровных лицах, группы гибких и стройных, как лани, негров в белейших майках, шумно поджидающих поблизости от ресторанов предложения богатых туристов-американок, наделенных за границей повышенным воображе-

нием, респектабельные мужчины, скользящие равнодушными взглядами по витринам ночных клубов, по фотографиям обнаженных тел в разных позах.

Те же повороты в переулки, где неяркие огни, полумрак, откуда порочно тянет теплой волной туалетной пудры, порой банной сыростью с парфюмерной струйкой чего-то солененького, где у стен наполовину темных домов, у каких-то полуоткрытых дверей прохаживались, напрягая икры, пожилые проститутки в телесного цвета колготах, в трико с цветными треугольниками внизу живота, от этого казавшиеся нагими, независимо переговаривались между собой прокуренными голосами, в то же время с притворным безразличием ловили боковым зрением страшноватых, по-клоунски подведенных глаз малейшее внимание проходивших мужчин, и одна, худая, плоскогрудая, мотая длинными волосами, свисающими бронзовыми вензелями на крупные ключицы, окликнула Гричмара с грубоватым смехом:

— Эй, толстяк, я знаю, что ты богатый немец, подымайся ко мне, я сделаю то, что ты хочешь! У меня есть подруга...

— А сколько будет стоить, милочка? — отозвался нарочито ободренно Гричмар и молодецки подмигнул Крымову. — Где твоя подруга, милочка?

— Подымешься в мансарду и ты ее увидишь. Она белокура, как Сафо. И родом с Лесбоса. Ты что-нибудь в этом соображаешь?

— И сколько вы берете франков, милочки?

— Заплатишь за нашу квартиру.

— А сколько?

— Ты не пожалеешь о деньгах, толстяк, после того, что увидишь.

Они говорили по-французски, Крымов не все понимал, его угнетало это жадное вечернее шевеление людей, ищущих торопливых наслаждений на площади и в этих мрачных переулках, где открыто продавалась живая плоть — бедра, ноги, губы, механические движения по выбору покупателя, и было такое же давящее чувство, какое он испытал два года назад в гамбургском магазине, наивно называемом гигиеническим, при виде омерзительно огромной резиновой куклы, имеющей имя Линда, обладающей теплом «нормального женского тела» (что выяснилось из торговой рекламы), которую можно купить за тридцать марок в постоянные любовницы, ибо никакого различия нет. И поразил его в том магазине странный покупатель, некий сухонький тонконогий мужчина лет сорока, топтавшийся около двери. Он зачем-то завязывал на лице до глаз носовой платок и то делал шаг к прилавку, то отступал назад с полоумным взглядом одержимого большим стыдом, необоримой манией и страхом...

А тут, на парижской площади Пигаль, близ темных переулков, все буйствовало бессонным фейерверком неона и электричества, везде текли праздные толпы желающих познать или увидеть предметы удовольствий, стояли ожидающей цепочкой у ярко светившихся окон бара юные проститутки в курточках, и от одной девицы к другой разъезжал в коляске инвалид, полноватый в шее и плечах, в каскетке военного покроя, и подолгу убеждал их в чем-то, с мольбой вскидывая глаза, но они отрицательно перекрещивали указательные пальцы, поворачивались к нему спинами, видимо не договорившись в цене, а он отъезжал, возбужденный, с рыскающим потным лицом, затем наконец утомленно подкатил к металлическому барьеру, огораживающему тротуар, рывком положил на перила дрожащие кулаки, и Крымову, вероятно, привиделось: по его круглым молодым щекам быстро скатывались злые слезы. Инвалид смотрел через дорогу на багрово подсвеченные витрины нового американского шоу; а там, на другой стороне улицы, пронзительно завывала сирена, увеличивалась, расширялась толпа, загораживая витрины и вход в кабаре, полицейская машина, вращая голубыми молниями сигналов, круто остановилась

возле тротуара, двое полицейских провели кого-то окровавленного сквозь расступавшуюся у подъезда толпу, втокнули в распахнутую дверцу, вновь взвыла сирена, машина, стремительно выворачиваясь из скопища автомобилей у обочины, задела боком железный столб с названием улицы, столб скрипнул, закачался, толпа дружно, злорадно захохотала, полицейская машина, освобождая дорогу грозным ревом sireны, помчалась под вспыхивающими витками реклам, исчезла в хаосе огней, газовых светов, в потоке автомобилей.

В тот вечер Крымова не отпускало состояние какой-то непоправимо совершающейся вокруг тупой бессмысленности, он пил больше обычного, молча слушал Гричмара и просидел в баре до трех часов ночи в тщетной надежде освободиться от того большого, тягостного, что не прекращалось за стенами бара, на ночных улицах Парижа.

«О чем я думаю? Протопоп Аввакум, пляс Пигаль, девицы в студенческих курточках, плачущий инвалид в коляске... И четыре тысячи, и неумолимо сжатый рот Молочкова? Какая связь? Где? Варианты и вариации. Так или приблизительно так было уже в Древнем Риме. И может быть, было всегда, всю историю? Нет, даже после войны такого крайнего ощущения безумия не было. Что делать? Куда движется все?»

Глава пятнадцатая

Он поймал левую машину и всю дорогу до дачи не мог избавиться от навязчиво повторяющейся липкой мысли: «Почему в зрачках у него было плоское торжество?»

Таня читала в гамаке, мотала ногой, раскачивая себя; поодаль, должно быть опасаясь помешать ей, ходил по тропинке Анатолий Петрович Стишов, на солнце меж яблонь были хорошо заметны его светлый костюм, серебристая седина, нерушимая тщательность косога пробора, и едва Крымов открыл калитку, Стишов повернул навстречу торопливыми шагами.

— Приехал час назад, жду тебя,— заговорил он против обыкновения обеспокоенно.— Мне надо тебе кое-что сказать. Займу у тебя двадцать минут. Я сегодня был у следователя, который ведет дело...

— Минуту, Толя. Не будем спешить.

Крымов прервал его и, принимая обычный шутливо-иронический вид, подошел к Тане, а она, сияя темно-серыми глазами, соскочила с гамака, звучно чмокнула его в щеку.

— Привет, папá.

— Здравствуй, коза-дереза, не скучала?

Она засмеялась.

— Дорогой родитель, мне приказано накормить тебя. Мама, как говорится, на пленэре. Будет ждать закат. А я ждала тебя. И не пошла на пляж, хотя жених и невеста меня усиленно приглашали. Докладываю, что сегодня чудесная окрошка. Где будешь обедать, на террасе или в саду?

«Вот оно, единственное, родственное, верное, что не предаст никогда...» — подумал он и ощутил, как толкнулись слезы в горле, испугавшие его неожиданностью.

— Что-то не хочется, милая Танюша,— сказал Крымов и поцеловал ее в макушку с новой нежностью к голосу дочери, к ее светлым, подстриженным под мальчика волосам, пахнущим солнцем.— Знаешь, я пообедала на студии. Потерплю до ужина. Если можно, принеси нам боржом или что там найдется в холодильнике ко мне в кабинет. Есть, капитан?

— Есть, командир,— отозвалась Таня с озорным согласием, вступая в принятую между ними игру, но сейчас же встревоженно спро-

сила: — Сегодня не было холодной войны? Ты сегодня не очень устал, папа?

— Нет, — ответил он охотно, — не так чтоб уж очень и не очень чтоб уж так. А что, дочь?

— Дай мне руку, я быстро все узнаю по линиям на ладони. Хочешь познать себя? Я пробовала рассмотреть картину жизни у Анатолия Петровича, но там все как у черепахи на панцире. Путаница.

— Такова моя жизнь, Татьяна Вячеславовна, — сказал Стишов элегантно поклонившись.

— Руку? Узнаешь картину жизни по линиям? Это интересно, — проговорил Крымов превесело. — Но может быть, потом? Ну хорошо, ясновидец, узнавай.

Она взяла его руку, строго сосредоточилась, свела на переносице ровные брови, с минуту помолчала, посмотрела на свою розовую ладошку, на его ладонь и, тряхнув волосами, заговорила таинственно:

— Ты добрый и я. Передалось в генах. Ты будешь жить семьдесят восемь лет. А я семьдесят пять.

— Танюша, не пугай.

— Ты слушай, пожалуйста, у тебя интересные линии. Жена тебя любит, а ты ее меньше, вот даже как. И дети совсем разные.

— Чепуха, а?

— А ты слушай и молчи. Женская половина в семье тебя любит. Но дети, я сказала, совсем разные, один в лес, другой по грибы. По грибы — это я. А вообще судьба у тебя счастливая. Вот и все. И вообще — все будет хорошо. Только всех дураков надо посадить на космический корабль и отправить на необитаемую планету.

— Это рационализаторское предложение, Танюша, надо учесть. Очень любопытно. А где ты ясновидению научилась? — спросил Крымов легкомысленным тоном продолжающейся игры, в то же время предчувствуя что-то серьезное, намеренное в действиях дочери.

— Сегодня утром на пляже, — ответила Таня небрежно. — Одна женщина умная научила. Кстати, твоя зрительница и почитательница. Она, между прочим, просила тебе передать: «Пусть Вячеслав Андреевич не обращает внимания на всех длинноухих лицемеров, которыми сейчас хоть пруд пруди». Передаю тебе. Это все-таки голос масс, учти. А я с ними, папа. Ох, как я ненавижу всех дурацких клетветников!

И Крымов, внезапно охваченный сладкой мукой отцовского чувства, терпкой догадкой, что она, его дочь, ведя прежнюю веселую роль, одновременно неумело, по-детски отрицала неладное, хотела ему помочь, глядел, не говоря ни слова, на ее поднятое, независимое, готовое к защите лицо и с судорогой в горле легонько и благодарно потрепал ее мягкие волосы на затылке.

— Спасибо, милая.

Она сказала дрожащими губами:

— Ты не веришь мне? Я колдунья и ясновидящая. Вот посмотришь.

— Спасибо, Танюша. Я верю, верю в твоё ясновидение. Так ты принесешь нам чего-нибудь холодного? Ну что ж, пошли ко мне наверх. — Он кивнул терпеливо ждавшему Стишову, на ходу снял пиджак, освобождаясь от его тесноты, перекинул через руку. — Ты образованный человек, Толя, поэтому скажи мне, когда спадет жара?

— Я хотел бы тебя обрадовать, Вячеслав, но я не метеоролог и бессилён в данном вопросе.

— Как жаль, что мы бываем бессильны, бессильны.

Он был разбит, опустошен всем этим днем, и, как только поднялись в мансарду, непереборимое желание овладело им — вот сейчас упасть в кресло, наслаждаясь дуновением сквознячков (окна и

дверь на балкон были настежь открыты), или лечь на обманчиво затененный листвой пол возле тахты, молчать, курить, смотреть в потолок на водянистое колебание солнечной сети и не думать ни о чем. Это было чувство какого-то тихого, притупленного беспокойства, и, чтобы заглушить подспудное глухое посасывание тоски, он швырнул пиджак на тахту (не хватало сил повесить его в шкаф), сказал: «А, ладно!» — отбросил крышку маленького бара, встроенного между книжными полками, налил в два фужера коньяку и вроде бы безмятежно взглянул на Стишова, со скрещенными на груди руками в задумчивости стоявшего у дверей мансарды.

— Что, спрашивается, стоишь, как Наполеон на Поклонной горе? Делегации не будет, ключей не вручат, никто побежденным себя не признает. В победе — половина поражения.

— В чьей победе?

— В ничьей. Победы нет ни у кого. Пока есть бог и дьявол, — сказал Крымов и протянул фужер с коньяком. — По-моему, Толя, каждый современный зашифрованный Наполеон даже спит, еженощно скрестив руки на груди. Тебя к узурпаторам не причисляю. Ты не способен держать власть. Но как ты думаешь, мой директор картины Молочков спит со скрещенными на груди руками?

— Я за рулем, и ты знаешь, что терпеть не могу алкоголя, — отказался Стишов и поставил фужер на полочку бара. — В жару и тебе не советую. Нагрузка на сердце.

— Невероятная дисциплинированность. Приветствую умеренность и сдержанность. Сократ был велик. Твое здоровье, Толя.

Он выпил, с облегчением крикнул и повалился в кресло, весь вытянулся, мечтая о долгожданном покое — вот так удобно и расслабленно полежать в кресле, погрузиться в тишину и плыть в успокаивающем забытьи бездумности. Но Стишов в ожидании стоял перед креслом, освещенный полным летним днем из сада, и этот раздробленный листвой свет, отражаясь в его голубых навывкате глазах, казался неярким, зимним.

— Толя, — сказал Крымов, — у тебя декабрь в глазах. Какова причина, дружище?

Стишов сердито вздернул плечи.

— Я поражен, Вячеслав, непонятной низостью людей, если уж говорить прямо.

— Чем-чем? Низостью?

— Именно, именно! Поражен их низостью, их жалкой робостью и, если хочешь, злой недобротой! Что случилось? Они недавно улыбались от счастья общения с тобой, объяснялись в любви, лезли лобызаться, плакали на твоих картинах!..

— Что и кого ты имеешь в виду?

— Не удивляйся, Вячеслав, и изволь послушать меня, — продолжал так же сердито Стишов. — Сегодня я наконец не выдержал студийных слухов, до изумления idiotских, и поехал в четыре часа на эту знаменитую Петровку, к твоему следователю Олегу Григорьевичу Токареву... Позвонил и поехал. И прости, знаю, что ты утром был там, но разговор у тебя не состоялся по каким-то причинам. Знаю все, как видишь. А дело вот в чем. Дело в том, что следователь, в общем-то человек без предвзятости, твой доброжелатель, добавлю к тому же, поставлен не в облегчающее положение, как он сам сказал...

— Объясни, что сие значит?

— Я зол и вообще целый день сегодня не в своей тарелке, — сказал Стишов и резковато махнул рукой, от чего золотисто взблеснула запонка на чистойшей накрахмаленной манжете. — Я приехал к нему раздраженный, с единственным вопросом: когда наконец почтенная Фемида кончит подозревать уважаемого человека в том, в чем он не виноват? Я был вне себя. И ты знаешь, что он мне ответил? Он сказал: «К сожалению, удивлен невнятной позицией студии и некоторых

коллег, лишенных всякой личной позиции, готовых согласиться с любым предположением в случившейся ужасной трагедии. И «да», и «нет», и «возможно», и «невозможно». И „все может быть“». Да что это за ничтожества! Что за патентованные негодяи! — воскликнул Стишов и, расстегнув верхнюю пуговицу пиджака, заходил по кабинету. — Он не имел права называть фамилии и говорить подробности, но я, в общем, догадываюсь, кто эти лишенные позиции коллеги! Тебе не могут простить...

— Чего именно?

— Одни тебе не могут простить таланта, другие независимости!

— К дьяволу независимость! — не согласился Крымов. — Кто на земле из нас независим? Пожалуйста, не преувеличивай. Нет человека независимого. Даже те, кто управляет миром, зависимы.

— Я не преувеличиваю, Вячеслав, а преуменьшаю! — возразил Стишов страстно. — Хочешь пример? Изволь. Этот кретин Балабанов боится тебя, хотя тайно расположен к гадостям. Он знал, что ты его пошлешь к святым, а ему во что бы то ни стало надо было ублагоутворить знаменитого американца, с которым возможна совместная постановка и приятная поездка в Америку. И он направил меня к тебе, чтобы я уговорил своего строптивного друга. Ты им нужен как витрина. Но тем не менее они от тебя с огорчением и рыданиями отделились бы. Легче жить с посредственностями. И предстань — у следователя уже лежит анонимка, не имеющая никакого отношения к делу, а все же — крашеное яичко к христову дню. Тебя обвиняют в аполитичности при разговоре с Гричмаром, как сказал мне следователь. А так как на встрече присутствовали двое — твой директор Молочков и я, — то анонимку написал один из двоих...

— Не совсем так, — усмехнулся Крымов. — Нас было четверо. Поэтому донос мог написать и я, опомнившись, отрезвев и раскаявшись, или Гричмар, чуточку хватив в баре аэропорта перед отлетом, позаботившись о моей нравственности и заблудшей душе.

— У тебя еще хватает сил иронизировать, Вячеслав, — выговорил Стишов, и его тонкое стоическое лицо римского патриция побледнело, стало печальным. — Да, Вячеслав, на старости лет я не в первый раз прихожу к прискорбному выводу. Можно ли за дверью своего дома оставаться самим собою? Вряд ли, Вячеслав, вряд ли. Нельзя сохранить невинность. Угождай расхожим вкусом, улыбайся бездарным критикам — и ты мил всем, талантище, молодец, чуть-чуть не дотянул до великого! А я брезгую, боюсь взбешенных лисиц и глупцов... Ах, разве не мерзость! — воскликнул Стишов, подходя к бару, и было смешно и грустно видеть, как он, высокий, благородно седой, моложаво изящный холостяк, взял не без брезгливости двумя пальцами фужер с коньяком, понюхал его, вода из стороны в сторону носом (так нюхают нечто грубое, малоароматичное), сказал с язвительным сожалением: — Если бы я умел, то напился бы, как в субботу наш слесарь-водопроводчик из домоуправления, и тогда было бы восхитительно материться и смотреть на белый свет!

— Ты не умеешь, Толя, ни того, ни другого, — сказал Крымов. — Не твоё ампула. Пить в меру и ругаться не в меру могу я. Как бывший полковой разведчик. Тебе не к лицу. Никто не поймет. Ты в другой традиции. В дворянской. Голубых кровей.

— Поймут! — возразил разгоряченно Стишов и так стукнул фужером о подставку бара, что выплеснулся коньяк. — Поймут! — повторил он и слегка сконфуженно вытер ладони аккуратно свернутым носовым платком. — Надо тебе пойти куда надо, Вячеслав, и разорвать паутину нечестивых пауков! Иначе она задушить может!..

— Куда пойти? Жаловаться на кого? Сетовать на коллег по работе? Я не знаю, с кем разговаривал следователь. На Балабанова? В десятки раз у него больше так называемых аргументов, чем у меня: молодая актриса погибла при неизвестных обстоятельствах, поэтому

ведется следствие, а сам режиссер Крымов — человек довольно избалованный, испорченный славой, возомнил, что ему дозволено все. К тому же жаловаться — признак слабости, Толя.

— Ах, что ты там натворил с Балабановым? — застонал Стишов и схватился за голову. — Вся студия о небывалом скандале говорит! И действительно в его кабинете сидел ортодокс Пескарев, чиновник с фрейдовскими комплексами? Представляю, как он доложит начальству, какими сочными разрисует красками! И ты что — в самом деле хотел отвесить пощечину Балабанову? Какие у тебя ветхозаветные кавалергардские манеры! На худой конец, лучше уж было бы бросить перчатку.

«Значит, было. Неужели было?»

— Нету их нонеча, белых перчаток-то кавалергардских. А случись такое лет тридцать назад, с превеликим удовольствием прикоснулся бы к его нежному личику без размышлений. Жаль, давно потерял солдатскую прыткость. Значит, скандал? Прекрасно! А мне казалось — все произошло в моем трусливом воображении.

— Ты самоубийца, Вячеслав, чудовище и драчливый мальчишка! Ты с завязанными глазами ищешь край пропасти!

— Опять не вполне так, Толя. Ну вообрази: я пришел к высочайшему кинематографическому начальству. Толстощекий наш отец бежит по кабинету навстречу, весь нетерпение, весь излучение восторга: «А-а, вы ко мне, какой гость, какой гость, не часто вы меня балуете!» Радостное трясение руки, чуть ли не сладостное лобызание, чай с сушками, счастливое блистание глаз, чуткие расспросы, обещания: «Конечно, конечно, все утрясем! Если не помогать талантам, зачем нам здесь, чиновникам, сидеть?» И — ни чер-та! Пальцем не пошевелит. Такова современная форма выживания. Все проверено, Толя.

— Повторяю: ты задира и самоубийца! Ты как будто нарочно хочешь своей гибели!.. Я умоляю тебя! Смирись! Я прошу тебя! Я умоляю! — вскричал вдруг Стишов и просительно сложил руки на груди. — Ты хочешь безвинно пострадать?

— С чем смириться?

— Не вступай ни с кем в конфликты, Вячеслав, я прошу тебя.

— Представь, что многое от меня не зависит, Толя.

На лестнице в мансарду послышались взбегающие шаги, и, спросив на пороге: «Папа, можно?» — вошла в кабинет Таня, с лукавым подозрением тряхнула волосами в сторону Крымова, затем Стишова, поставила на откинутую подставку бара графин, заискрившийся розовой жидкостью, сказала:

— Я вижу, у вас секреты. Папа, это сок моего производства. Размятая малина в колодезной воде. Потрясающе! Нужно пить и мечтать о чем-нибудь. Я сейчас налью.

Она щедро, до краев наполнила чистые фужеры, подала сок обоим и, босая, на цыпочках сделала шуточный реверанс.

— Если я не нужна, то я пошла на пляж поиграть в волейбол и покупаться. Возражений существенных, папа, нет? Обед на кухне.

Она поцеловала отца в висок и вышла, легко ступая загорелыми ногами, а он еще чувствовал прикосновение ее детских губ, как прохладу ветерка, родной плоти, и не сразу расслышал голос Стишова, поперхнувшегося глотком ледяного сока:

— Ты абсолютно невиновен, а кому-то надо замутить чистую воду: а может быть, Крымов и виновен!

— Наверное, виновен, Толя, наверное.

— О чем ты говоришь, безумец!

— Слезинка ребенка... помнишь? Поэтому мы все виноваты. За слезинку ребенка, без вины пролитую. Мы все, кто еще способен чувствовать. Иначе никто ничего не стоит.

— При чем здесь Федор Михайлович, скажи на милость? Я замечаю, в тебе сентиментальность появилась!

— Поверь, Толя, нам не хватает парковых скамеек, чтобы подумать об изруганной практицистами сентиментальности.

Они оба, знавшие друг друга не первый год и понимавшие друг друга с полуслова, сейчас видели — или хотели видеть — одно и то же в разных плоскостях, может быть потому, что в избытке встревоженный Стишов как бы изменил своей привычной манере на редкость воспитанного человека распространять вокруг себя уют приятного общения, что порой так нужно было Крымову, как покойная гавань после бурного плаванья на съемках. Стишов не мстил судьбе за много лет, прожитых без семьи (он развелся с женой в молодости), без детей, с единственной прочной привязанностью к матери, женщине мудрой, всю жизнь посвятившей сыну и, к сожалению, умершей лет десять назад. Всегда безупречно выбритый, подчеркнута опрятный, причесанный (седые волосы отливали серебристым глянец), он даже дома, в кабинете, среди сплошных стеллажей, забытых книгами, был безукоризненно элегантным, нося модные, молодящие его сорочки. И, по мнению Крымова, эти его сорочки, галстуки, светлого тона приталенные пиджаки, стройно подтягивающие его высокую, спортивного вида фигуру, и узкие отглаженные брюки были явным выражением его упорного желания держаться в нужной форме, неустанно и последовательно бороться с серьезно наступающим возрастом. Любя полуостроту более, чем остроту, он сторонился резкостей, не мог, как ни чудаконато это выглядело, убить и комара на своей руке (он предупредительно смахивал его носовым платком, убежденный во всеобщей мировой связи всех живых существ), но Крымова подчас крайне изумляло другое: непоколебимая преданность Стишова кинематографу, стоическая верность искусству, которое он ставил выше жизни.

— При чем здесь Федор Михайлович? — повторил Стишов с недоумением, отвергая в несогласии и любимого Достоевского. — Слезинка — архаизм. Реально — слезы. А уж если так, то я хочу тебе сказать другое. Где современные боги? Где кумиры и гении, которым хотелось бы подражать? Нет серьезных школ, никто не хочет авторитетов в искусстве, ибо всякий считает себя первым. Писать, как Толстой? Старо. Как Релин? Скучновато, консервативно. Снимать, как Эйзенштейн? Надоел старик. Вот поэтому раздерганность, куча мала, пиршество многих, не достойных входить в сад искусства, которые усиленно сочиняют сценарии, шустро снимают и без конца возятся, завидуют, толкаются в теплом безветрии. И все же есть у нас некоторое количество людей, в том числе и один мой друг, которые могут украсить любой кинематограф мира, но...

Стишов пригубил фужер и, словно обжигаясь, допил холодный сок, белая холеная рука его дрожала (этого не замечал раньше Крымов), и дрожала золотистая запонка на белоснежной манжете.

— Почему люди поклоняются талантам и хотят унижить их временно? И этот трагический несчастный случай, в котором что-то ищут... и в чем-то подозревают тебя. В чем? Слезинка, слезы... Уму непостижимо! Жуткое дело. Умоляю тебя, не вздумай говорить о какой-то мифической своей вине следователю, запутаешь все и не будешь ни на секунду понят. Ты как-то упрекал меня в том, что я считаю искусство параллельной жизнью, выше реальности. Но ты-то, ты, бывший командир взвода разведки, вся грудь в орденах, ты-то суровый реалист, не окажись современным донкихотом... рыцарем печального образа от вселенского чувства!

Крымов помолчал, вдавился затылком в теплую обшивку кресла.

— На страшном суде, — сказал он в раздумье и лукаво подмигнул, — человечество в свое оправдание представит эту великую книгу. Нам всем не хватает и донкихотства. Понимаешь? Снова Федор Михайлович...

Он закрыл глаза, и опять внезапная судорога сладким удушьем прошла по его горлу, как давеча при встрече с Таней, и, с трудом пересиливая себя, страшась этих приступов недомогания, он повторил шепотом:

— Понимаешь ли ты меня, Толя?

— Снова Достоевский, милый дружище? Но ты сильный человек, сильнее меня в тысячу раз...

— Это не Достоевский. Это наша жизнь.

Стишов в замешательстве притронулся ледяными пальцами к руке Крымова, спросил неуверенно:

— Что с тобой, Вячеслав? Ты стал какой-то... неземной... недостижимый для меня. Я действительно перестаю, что ли, понимать. Разве мы можем взять на себя все несовершенство мира?

— Несовершенство мира... Я не о том,— глухо проговорил Крымов с закрытыми глазами и стиснул зубы.— У меня сердце разрывается,— сказал он хрипло,— как вспомню холодок ее мокрых волос на щеке, когда вез ее в больницу. И что ужасно — машину трясло, и ее голова сползала мне на грудь, как будто просила о спасении... И ты знаешь, какая мелькала у меня тогда страшная мысль? Что я везу свою Таню и что это конец моей жизни. Можно было сойти с ума. Поверь, у нас ничего не было. И не могло быть. Да нет, это какое-то другое чувство, выше, чем жалость.

— Поясни, пожалуйста,— попросил Стишов.

— Прости за некоторую цветистость и пошловатость, других слов сейчас не найду. Такие, как Ирина, талантливы, как талантлив цветок, но они слабы, беспомощны, их ломает ветер...

— И тебе хотелось помочь?

— Я не смог. Боюсь, Толя, что произошел не несчастный случай.

— Что ты хочешь сказать?

— Ничего не хочу. Что-то сил нет, Толя. Был какой-то сумасшедший день сегодня... Впрочем, как все последние дни.— Он попытался улыбнуться глазами.— Пей сок, приготовленный Таней, а я выпью коньяку. Это посущественней. Лень вставать. Налей мне.

— Не много ли ты в последнее время? Как я заметил, ты не отставал и от известного в этом смысле Гричмара,— упрекнул Стишов и, наливая коньяк, задержал руку, беспокойно взглянул на Крымова, кивнувшего с понимающе-ироническим согласием.

— А бог его знает, Толя, пью и не пьянею. Удивляюсь сам. Это от «пере». От перенапряжения, от переутомления. И от прочей перечепухи. У меня почти не было перерыва между картинами, не отдыхал, сплю скверно. Выспаться бы, как медведю, суток трое, и все пришло бы в порядок.

И будто забыв про коньяк, он в изнеможении усталости вытянулся, полулежа в кресле, скрестил руки на груди, сказал шепотом:

— Ты уж не сетуй на меня, смертельно хочу спать. Представляешь, как спал Наполеон после каждой выигранной битвы? А если он их проигрывал? Что ж, тем более...

— Для чего ты играешь передо мной расчудесное самосозерцание стороннего летописца? Пусть ты не любишь ныть, но я тебе не чужой...— проговорил с сердитой обидой Стишов и нервно заходил по кабинету, по рассохшимся, попискивающим половицам.— О русская интеллигенция со своей вечной виной перед всем миром!

— Ну, это слишком глобально, Толя.

— Именно глобально, чересчур! Я старше тебя на десять лет, прожил жизнь и в буче боевой, кипучей повидал все,— заговорил Стишов.— Поэтому позволю себе действовать самостоятельно до тех пор, пока тебя не оставят в покое. Я не только твой друг, но и твой зритель. Считай— поклонник.

Крымов сказал полусерьезно:

— Спасибо, Толя. Здесь ты вряд ли сможешь чем помочь. Все

будет зависеть от меня. Кроме того, я оптимист и надеюсь, что со временем встречу со всеми оппонентами в царстве теней и поговорю по душам, если здесь не удастся.

— Разумеется. Особенно если ты будешь искать по образцу русской интеллигенции вину в себе и заявишь о ней следователю и всей студии под бурные аплодисменты умилившихся признанию.

— Вот видишь, как ты сердито начал шутить, а упрекал меня. Каково?

— Я не шучу, Вячеслав. Я просто зол. Понимаешь ли ты, что тебя могут замотать и выжать, как лимон? Все эти шутки с юриспруденцией дорого стоят. Прими седуксен и выпипись, мой друг. Я позволю вечером или завтра утром. Выпипись, выпипись, ради всего святого! Надеюсь, тридцать лет назад ты в своей разведке не чувствовал вселенской вины? Я не прощаюсь!

«Таким я его не знал,— подумал Крымов, слушая быстрые шаги вниз по лестнице, затем скрип песка на садовой дорожке.— Рафинированный интеллигент, аккуратист, никогда не влезающий ни в какие конфликты, брезгующий неосторожным словом,— и вдруг заговорил с каким-то непривычным ядом и гневом — неужели он так предан нашей дружбе? Почему же я был с ним не до конца искренен и ерничал, как самый последний идиот? Есть ли у меня более преданный друг среди моих коллег?»

Он услышал в раскрытые окна оживленные голоса из сада, стук калитки и нехотя встал, вышел на балкон, окруженный светоносным воздухом погожего дня, разогретой зеленью, медовым жаром текущего снизу запаха цветов, особенно разомлевших в томительные послеобеденные часы, и, на миг ощутив всю прелесть лета, подумал растроганно: «Да, да, прекрасна жизнь! Кто заставляет нас делать ее суетной, ничтожной?» И тотчас увидел внизу, за калиткой, Стишова возле стоявшей у обочины машины и рядом нелепо рослого Валентина, голого до пояса, в клетчатой каскетке, и его невесту Людмилу, тоненькую тростинку, в огромных противосолнечных очках, с распущенными по плечам кофейными волосами. Они, видно, возвращались с пляжа и встретили Стишова. Он с вежливым полупоклоном что-то сказал Людмиле, выказывая светскую учтивость, поцеловал ей руку, и она вошла в калитку, покачивая узенькими бедрами, кокетливо помахивая панамой, как веером. Мужчины остались одни за калиткой. Стишов взял под локоть Валентина, повел его по дороге, и хотя Крымов не мог слышать, о чем они говорили, он тайно подосадовал: «Как неприятно предполагать, что разговор идет о тебе».

И он вернулся в кабинет, принуждая себя думать о невесте сына, которая не очень стеснительно вживалась в их семью, вызывая страх у Ольги, считавшей, что девочка из ателье не пара Валентину по многим причинам.

«А может быть, иногда ошибка является спасением и благом, а благо ошибкой? Все мы одиноки и слепы в своих ошибках. Благо, благо... Белые лебеди в голубых озерах, нежные лотосы и ангельски белые одежды, как в буддийском раю? Я не верю в райское блаженство... Тогда во что я верю? В то, что вне искусства нет для меня места в мире. Это единственное. Знаю, что истинное приподнято над жизнью вместе с ощущением присутствия смерти... но я еще никогда не достигал этого в той мере, как хотел. Я знаю: изменились человеческие чувства. Не предал ли человек самого себя? Это я хочу понять».

Он усмехнулся, взглядывая на книжные полки, отыскивая глазами тома Льва Толстого, где стояли и его любимые дневники (его евангелие в ночи бессонницы), где каждая фраза как горькой солью была пропитана самобичеванием, презрением к собственной слабости, где душевные муки великого человека подчас были связаны с мелочами быта, которые приносили ему не меньше страдания, чем события глобальные. Но это был он, Толстой, с его одержимостью, раскаяни-

ем, идеями прощения, любви, братства, тем, что после войны хотелось понять Крымову, но что было выше сил понять, когда неудержимо и безжалостно во всем мире начало таять, утрачиваться нечто существенное, важное, оставляя лишь слова как памятники былой искренности и доброты.

«Если я хочу верить в искусство, то, значит, и в доброту, иначе есть ли смысл жить? — внушал он себе с душным чувством бессилия. — Кто же они, мои так называемые оппоненты, мои соотечественники, мои братья, значит, мои единомышленники? Боязнь страуса пристально посмотреть вокруг и на себя в зеркало. Боязнь правды... А дальше, дальше что?»

И, повторяя вслух «а дальше что?», Крымов подошел к письменному столу, за которым уже давно не работал, заваленному папками, письмами, еще не раскрытыми журналами, от этого беспорядка сиротливо запущенному, выдвинул нижний ящик и достал оттуда конверт с деньгами (они держались дома для непредвиденных расходов). Это была часть гонорара за последнюю картину, и он пересчитал деньги: полторы тысячи. «О, как жаль, как жаль, просто не повезло...» Он бросил купюры обратно в стол, не сомневаясь, что если бы по стечению обстоятельств в конверте оказалось четыре тысячи, то отдал бы их завтра Молочкову с условием, что у Гулина тем не менее развязаны руки для любых писем. И Крымов удивился тому, что хотелось сделать немедленно — отдать эту мистическую дань Молочкову за его униженность, рабскую лстивость, за его цепкость в жизни — цепкость, ниточкой протянутую от воронки на нейтральной полосе в срок четвертом году до той случайной встречи у автоматов с газированной водой, счастливой встречи, вытащившей его к естественной жизни, к деятельной, но большой Соне, любимой им до преклонения.

«Тогда я выстрелил ему в руку, чтобы спасти его, теперь я дал бы ему четыре тысячи, чтобы помочь его Соне... Так кто же я в таком случае? Сама добродетель? Нет, тогда в воронке он был противен мне, но это было единственное, что я мог сделать, чтобы он ушел в госпиталь, чтобы больше его никогда не видеть в разведке. А сейчас? Дать ему деньги, чтобы он ушел из съемочной группы и чтобы его никогда не видеть?... Что-то вроде взятки и компенсации. Но почему трижды в своей жизни я так серьезно думаю об этом жалком человеке? Как унижительно рыдал он в воронке и как непреклонно был сжат его рот, когда на шоссе он развернул машину! Неужели в нем — главная опасность всему? Смешно, конечно...»

Глава шестнадцатая

— Отец, разреши к тебе?

Он нарочито бодро повернулся у письменного стола к вошедшему в кабинет Валентину — босой, в незастегнутой безрукавке, тот переступил порог, наклонив в дверях голову, и Крымов с тревожной радостью обнял его против обыкновения, похлопал по горячей от долгого лежания на солнце спине.

— Проходи, сын, проходи, я рад, мы с тобой не так часто видимся. Садись, Валя, кури, а я посмотрю на тебя вблизи, — сказал Крымов легким тоном, каким разговаривал с детьми, и показал на сигареты на тумбочке в изголовье тахты. — Кури, пожалуйста.

— Я не курю, отец, — ответил Валентин и присел на край тахты в неудобной настороженности, нахмуренный, большеукий. — Я начал и бросил: прочитал все, что пишут о раке, особенно англичане... К сожалению, курит Людмила.

— Стало модным среди женщин, — сказал Крымов и тоже сел на тахту, разглядывая сына с внимательным недоверием. Неужели это

плоть его и Ольги, неужели это он, Крымов, мужской сущностью своей проявился в сыне, в неуклюжем, худом, баскетбольного роста юноше, через меру серьезном, рассудительном, строгом, ничем не похожем на отца в юные годы, исполненные военной отчаянности, но унаследовавшем тот же серый цвет глаз, тот же запах кожи (что крайне удивило однажды Крымова)? — Однако дурная и чужая мода наверняка пройдет, как пройдет все.

Он договорил последнюю фразу полуиронично, точно бы предлагая вольную необязательность разговора, но лицо Валентина оставалось сосредоточенно серьезным, и Крымов спросил:

— Как у тебя дела?

— Отец, я никак не могу сориентироваться в жизни.

— Вот как? Сориентироваться?..

Валентин не подхватывал его полуироничного, ни к чему не обязывающего тона, которым часто пользовался Крымов, чтобы тактично не обострять их взаимоотношения, ибо убедился с некоторых пор в ненужности переламывать упрямство, несговорчивость сына, не расположенного ни шутить, ни смеяться над чем-либо и над кем-либо, самоуверенно желающего обходиться собственным умом.

На третьем курсе он начал получать повышенную стипендию и, освобождаясь от зависимости и Ольгиных забот, наотрез отказался пользоваться домашней денежной помощью, сменил костюмы на дешевые курточки, покупая их самостоятельно, а раз после объяснения с обиженной матерью сказал отцу угрюмо и бесповоротно: «Я не хочу пользоваться ни твоим именем, ни твоими средствами. Я буду сам». И это стремление к ранней по нынешним временам материальной независимости (разумеется, частичной), точнее — к самоутверждению на зыбкой почве студенческой, хоть и повышенной, стипендии сначала озадачило Крымова. Он, оказывается, и не подозревал такого упорства в сыне, зная в то же время, что скороспелая тяга к самостоятельности и неуправляемое мальчишеское самолюбие принесут ему не свободу поступков, ожидаемую им, а болезненные удары жизни, не терпящей излишней пренебрежительности к принятым нормам зависимости в современных родственных взаимоотношениях.

— Отец, я не могу сориентироваться в жизни,— повторил Валентин.— Никак не могу.

— Мне казалось...— Крымов вытянул из пачки сигарету, неторопливо размял ее,— мне казалось, что тебе всегда все ясно, сын.

— Не надо иронии. Я уже не мальчик, который хочет быть взрослым.

— Слушаю тебя, слушаю, Валя...

Весь кабинет был полон солнца и воздуха, налитанного запахом листвы; птицы, истомленные зноем, пели в саду вяло, нескончаемо длинный июльский день переходил в длинный вечер, и было слышно, как оса, залетевшая в окно, тоненько звенела, ползала по зеркалу, где в отсвечивающей глубине купались зеленые ветви берез. «Сейчас он скажет то, чего я не ожидаю,— подумал Крымов.— Он ищет слова, чтобы не обидеть меня».

А Валентин сидел на краю тахты, сжимая коленями большие руки, поперечная морщинка разделяла переносицу, серые глаза хмуро сосредоточились на зеркале и не моргали, но явно было — он не видел ни зеркала с его зеленой глубиной, ни назойливо звеневшей осы, и Крымов повторил:

— Я слушаю, Валя.

Он спросил тихо:

— Скажи, отец, как определить вину преступника и жертвы?

— Вину жертвы? — удивился Крымов.— Что ты имеешь в виду? Или кого ты имеешь в виду?

— Я имею в виду тебя, отец.

— Интересно. Продолжай, пожалуйста. Я слушаю.

— Ты сможешь мне ответить откровенно? Иначе я не буду ничего спрашивать. Сможешь?

— Постараюсь.

Валентин плотнее стиснул сцепленные пальцы между коленями, с мрачноватым напором сбивчиво заговорил:

— Отец, происходит какая-то несправедливость, какая-то мерзость вокруг твоего имени... Какие-то слухи, сплетни... У нас в институте, как ты знаешь, народ разношерстный, некоторые злорадно поглядывают на меня и шепчутся: вот он, наследник известного Крымова, который дошел до преступления и тэ-э и тэ-э. Что они, с ума посходили?

— Мне уже отвечать?

— Нет, подожди, я не все еще... Не понимаю одного, отец, не понимаю, откуда развелись шептуны и почему хотят верить клевете и всяким злобным слухам поклонники маркиза де Сада! Как они могут представить тебя в роли преступника? Или хотят, что ли? Нет, отец, человек не венец творения и никакое там не гордое звучание. И какое там еще непотворение и самоусовершенствование по Толстому! Скажи, почему зло остается безнаказанным?

Валентин хрустнул пальцами, сумрачно глядя куда-то в направлении книжных полок, а он, Крымов, предполагая нелегкий разговор с неподатливым сыном, молчал, ясно понимая, что не сможет ответить Валентину мудрой, отцовской, проверенной опытом формулой. Ибо не было у него одномерного ответа, того ответа, взятого у святой или порочной истины, что поставила бы раз и навсегда все на предназначенные места, свою и чужую жизнь, и определила бы твердые границы между да и нет, после чего собственная позиция четко и навсегда объяснила бы весь мир вокруг, который, однако, с великим непостоянством кривлялся, кокетничал, смеялся, убивал, извращал натуру по кем-то навязанным противоестественным законам.

— Я отвечу, Валентин, как смогу,— проговорил наконец Крымов и, не закурив, бросил размятую сигарету в пепельницу на тумбочке.— В войну погиб цвет народа. В живых из лучших сохранились немногие. А дети не стали лучше отцов, хотя нельзя осуждать какое-либо поколение целиком. Вот, может быть, поэтому теперь и мало кто рискует броситься грудью на амбразуру, защищая свою и чужую честь...

— Грудью на амбразуру? — повторил Валентин и опустил голову.— Это что, отец, заслонить своим телом пулемет?

— Я имел в виду метафору,— проговорил Крымов, ужасаясь тому, что мелькнуло в лице сына, когда он опустил голову.— Я не о том героизме, который закрывает пулеметы грудью, хотя в жизни бывают и безумные мгновения. Я хочу сказать о другом. Понимаешь, Валя, современная цивилизация повела мир по ложному пути. Умные люди изобрели машины, но техника не нашла умных командиров, не подчинилась и стала управлять людьми. И изнежила их, отобрала у них силу духа. А вместо него вложила в душу счетную линейку, которую техника производит... В конце пятидесятых годов появился новый вид приспособленцев к благам цивилизации — родные благоденствующие братья во всем мире. На Западе их называют конформистами. Это касается и нас. Мы не отгорожены бетонной стеной.

— А ты, отец, к кому себя относишь? — недоверчиво спросил Валентин, и по жесткому тону его почувствовал Крымов, что сын непримирим ни к врагам его, ни к каким-либо смягчающим оправданиям сложившихся обстоятельств.— Надеюсь, ты не конформист?

— Я испорченный человек, Валя. Я режиссер и строю мизансцены жизни, в этом мое несчастье,— сказал с грустной усмешкой Крымов.— Даже собственные похороны я могу увидеть со стороны и поставить сцену. Впрочем, говорю не точно. Вернее, так — желание познать, что подобная неприятная сцена дала бы людям и что отняла

бы у них. Не осуди, сын, за громкие слова, но в последние годы я думаю о том, где лежит тайна жизни и тайна смерти, которая объясняет наши поступки. И, наверное, здесь полезнее быть адвокатом, чем судьей. А это не всегда удается. В двадцатом веке совестливые люди, в общем-то, не очень счастливы, сын. Несчастливых счастливых меньшинство. Весь мир стал или становится несчастным. А я, если хочешь, пытаюсь понять, когда и где человек свернул или сворачивает с пути истинного. И я вместе со всеми...

— Отец, ты идеалист! А я хочу знать, что такое подлость и что такое честность! И — все! — воскликнул Валентин и встал с отчужденно насупленными бровями. — Тогда кто назвал добро добром, а зло злом? Почему добро мы принимаем как добро, а зло как зло? И где он, истинный путь цивилизации, отец? Техника и наука вовсе не зло, а благо, как горячая вода! А ты знаешь, что нужно человечеству для спасения? Укажи! Может, пришло время второго пришествия и второго библейского чудака?

— Ты слишком возбужден... и сердито говоришь со мной. Сядь, — сказал Крымов и мягко взял сына за попытавшуюся вырваться руку, потянул книзу, заставил снова сесть на тахту. — Страшного суда, а не просто пришествия, ты хотел сказать, — поправил Крымов. — Что ж, может быть, и пора судить человечество за все зло и глупости. Но будет ужасно — суд нравственный подменят судом атомным. И суд превратят во всеобщую казнь, а землю в пепелище. — Он помолчал, досадуя, что ему сейчас мешало что-то быть убедительным с неподатливым и бескомпромиссным Валентином. — И все-таки, сын, есть нравственный путь, хоть и не единственный...

— Какой путь? Истинный? Какой он из себя?

— Невозможный. Это сострадание. Чувствовать и понимать страдание другого. Но для этого должны родиться в мире тысячи терпеливых проповедников.

— Отец, это слова, слова! Сострадание хорошо только между порядочными людьми, — выговорил Валентин рвущимся баском. — А как сострадание к сволочам всяким? Тоже?

— Точного ответа у меня нет. Я хочу сказать, Валя, что сволочи и несволочи связаны одной веревочкой, — проговорил медлительно Крымов. — То есть один человек связан с другим и со всем живущим на земле, и это вроде единой сети. Из нее часто невозможно вырваться.

— Значит, преступник и жертва — оба виноваты, раз они в одной сети. — Валентин нехорошо рассмеялся, и в смехе его был и протест, и нервозность растерянности, не свойственной сыну. — Значит, оба они преступники.

Крымов ответил сухо:

— В том случае, если жертва соглашается стать жертвой.

— И ты никогда не считал себя жертвой? Ни разу в жизни? Ты всегда побеждал?

— Не на все я тебе могу ответить. Чаще побеждали меня.

— Я не о том.

— И я не о том. Но понял тебя так, как надо. В войну я поражался, как много людей обреченно, без борьбы, без последнего сопротивления давали в немецких концлагерях расстреливать себя. Поверь, Валя, в разведке я знал свой последний шаг, даже если израсходован последний патрон в пистолете.

— Ты хочешь сказать о ненависти и презрении?

— Нет. Это не выход. Есть кое-что выше.

— Что же?

— Отсутствие боязни. Перестать бояться за себя — это выше ненависти. На войне иногда удавалось. Редко, но бывало.

— И ты ничего не боишься разве?

— Боюсь.— Крымов тронул худое колено сына.— Боюсь потеть вас: мать, Таню, тебя. Значит, слаб.

— Отец...— сорвавшимся баском произнес Валентин и поспешно отвернулся, договорил: — Если ты так о себе, то что же ты обо мне думаешь?

— Ничего плохого.

— А в войну ты меня в друзья не взял бы,— сказал вызывающе Валентин.— Ты, пожалуй, всех нас, двадцатилетних неумеек, презираешь.

— Нет. В друзья я бы тебя взял. Но мы и так с тобой...

— Неправда. Между отцом и сыном не может быть дружбы.

— Вероятно, ты ошибаешься.

Вот он сидел рядом с ним на тахте, его сын — упрямец, спорщик, наивный умница, его мужское продолжение на земле, ни обличком, ни жестами, ни единой черточкой характера не похожий на отца в двадцать один год, на того бравого лейтенанта, командира взвода полковой разведки с насмешливой независимостью во взгляде, готового к действию и риску, сразу поверившего в собственное бессмертие на войне. Так что же толкало его к тому раннему повзрослению, к тому риску, к той вере в себя — смертельно занесенное над головой острие? бездна между бытием и небытием? И что делало инфантильными, беззащитными его сына и этих много знающих, интеллигентных, начитанных парней, рано знакомых с формальной логикой и алогичностью,— тихое благополучие, изнеженность в семейном быту, сверхбильная до противоестественности забота родителей о чадах своих? Или отсутствие самостоятельности? Можно было бы, конечно, всему дать объяснение, как почасту и делается в жизни, чтобы оправдать успокоительное и выгодное сию минуту людям мнение. Но любое объяснение ничего не изменяло в самом поколении, подчиненном какой-то заразной неизбежности времени, никем из современников полностью не осознанного. Оно, время, складывалось из тупых и острых углов, из ненужных вещей, лишних денег и безденежья, несовпадающих восточно-западных мод и конструкций, где нередко проступал заимствованный расчет даже в любви, в приглашении гостей, когда искусственно растопленный холод еще больше увеличивал отчуждение, чего не было и в помине в счастливую пору военной и послевоенной молодости Крымова, в пору опасности, бедности и надежд. И он ощутил некое сложное положение сына в институте, созданное, по-видимому, и его непомерной серьезностью по отношению к другим, и неприятными событиями, связанными с ним, Крымовым.

— По-моему, ты ошибаешься, сын,— сказал Крымов насколько можно спокойней.— И я рад, что твоя дружба со мной...

— Неправда,— прервал Валентин и нахмурился.— Невозможно. Отец есть отец. Я ведь не могу тебе сказать то, что сказал бы другу.

— И у тебя его нет?

— Настоящего — никогда не было. Сейчас у меня нет настоящих друзей. Есть соучастники компаний и танцевальных радений. Завидую, что у тебя есть Стишов, вот он, наверное, не предаст.

— Только наверное?

И Валентин ответил холодно и убежденно:

— Отец, я знаю, что друзья предают первыми. Как и жены.

«Раньше я ни разу не задумывался, что сын одинок».

— Жены? Почему жены?

Валентин выпрямился, поперечная морщинка резче обозначилась между его темными прямыми бровями, божеская отметинка способного человека, как определял про себя эту морщинку Крымов. Но тут же лицо сына выразило снисходительное удивление, и голос его

прозвучал немного оживленнее, будто речь зашла о мимолетной шалости:

— Такова уж природа женщин, отец.

Крымов вздохнул в озадаченности.

— Прости, у тебя невеста, Валя. Как-то не вяжется с этим твоя романсовая фраза. Вы что, поссорились?

— Не думали.

— Я могу предполагать, что ты любишь Людмилу?

— Если бы знать, что это такое, отец,— Валентин закинул голову, проговорил с чуждым ему насмешливым уверением: — Я не могу с тобой откровенно. Как-то не очень ловко... Я женюсь на ней. Людмила беременна, и я женюсь... Ты не очень шокирован моим легкомыслием?

Валентин опять нехорошо рассмеялся, и Крымов подумал, что его смех и вопрос о легкомыслии — все чужое, это не его сущность, а нечто оборонительное, слабое в явной защите, к которой он прибег в попытке самоутверждения перед отцом.

— Не очень,— солгал Крымов и прибавил вынужденно участливо: — Все, надо полагать, естественно. Только маме раньше времени не нужно об этом.

— Мама многое воспринимает слишком трагически. Но ничего. Мы будем пока жить у Людмилы. Я буду подрабатывать. Через два года кончу институт. Буду снимать какую-нибудь картину... Проживем в любви и согласии. Вот так!

Его лицо некрасиво дернулось, снова приготовленное к защитному смеху, но Крымов попросил негромко:

— Не надо так смеяться, сын. Я на твоих баррикадах. Ответь мне, пожалуйста, Валя: ты любишь Людмилу?

— Не знаю, отец. Я хотел бы, хотел бы, но что поделаешь... Я знаю: полюблю ее, когда будет ребенок. А как ты поступил бы на моем месте? Как ты... именно ты?..

Валентин ослабленно ткнулся всем телом вперед, сцепившая большие руки между коленями, похрустывая пальцами, окончательно растеряв неприступную самоуверенность, и Крымов с горькой жалостью отметил, что его серьезный сын, его продолжение на земле, его в конце концов надежда, не рисковал и не обладал смелостью разобраться в самом себе в свои двадцать лет, когда без долгих раздумий верят первым чувствам. «А имею ли я право спрашивать, как у них случилось?»

— В таких вещах, Валя, совета не дают,— сказал уклончиво Крымов и обнял сына за плечи.

— Так кто, кто же может мне посоветовать кроме тебя? — проговорил Валентин, и в голосе его заколебалась натянутая струна.— Советовал же ты мне, когда я поступал в Институт кинематографии. Ты хотел, чтобы я пошел на операторский, и я пошел...

Он неловко пошевелил плечом, освобождаясь от руки отца, и тот почувствовал здоровый сладковатый запах молодого тела, прогретого на пляже солнцем, и это телесное, родное, физически сильное, и эта обнаженная растерянность Валентина кольнули Крымова терпким сожалением: нет, он мог бы знать, но почти не знал своего сына.

— Какой бы совет я тебе ни дал, ты должен по-мужски принять решение сам,— повторил Крымов твердо.— Представь: в войну сапер ошибался на заминированном поле один раз. Немного неточности с механизмом мины — и не поминай лихом. Женитьба и развод — не смертельное дело. Но рану могут нанести смертельную.

— А как было у тебя с матерью? Как у тебя все произошло? — спросил требовательно Валентин.— Ты ни в чем не сомневался?

— Никогда и ни в чем,— ответил Қрымов.— Когда я увидел ее в первый раз, на меня нашло какое-то безумие. Что-то вроде дурмана... И не улыбайся, сын. Это так.

— Отец, ваше поколение было счастливым. Вы знали, чего хотели.— И Валентин возбужденно поерзал.— Отец, я не за тем к тебе пришел, извини, я не за советом. Я как-нибудь сам...

— Так будет лучше, Валя. И знаешь, тот дурман не прошел у меня до сих пор.

Глава семнадцатая

В то новогоднее утро они последними вышли на крыльцо в раннюю стужу сугробного замоскворецкого дворика.

Вокруг заиндевелых лип розовел морозный январский воздух.

Он стоял внизу, у крыльца, и в игривой безнадежности протянул ей руку, помогая сойти, сказал не без ободряющей наглости:

— Держитесь крепче, дама моего сердца. И все будет в порядке, если я не умру на дуэли.

Она изо всей силы сжала его руку, но не сошла по ступеням до тех пор, пока не замолкли во дворе удаляющиеся голоса, смех, скрип снега за воротами. Подняв голову, она смотрела на него, и тонкие угольные брови ее изумленно округлились.

— Что значит «все будет в порядке»? И что за рыцарские пошлости — «дама моего сердца»? По-моему, вы начитались романов Вальтера Скотта!

— Но вы действительно дама моего сердца, черт возьми!

Весь вечер при свечах он не мог понять, что именно неотразимо притягивало в ее лице, и только сейчас, в свете морозного стекленеющего утра ошеломленно увидел: у нее были мягкие, бархатные, с нежной косинкой глаза и чуть полноватые губы, готовые к радости.

За столом она сидела напротив него, мелкими глотками отпивала вино, держала бокал застенчиво и раз спросила его плавным голосом: «Вы такой невесе-ельный — вам здесь скучно?» Перебарывая неловкость, он пробормотал студенческую остроту: «У меня бабушка корью заболела» — и хотел придать начатому разговору непринужденную легковесность. Но, случайно повернувшись, увидел в зеркале чье-то напряженное, красное лицо и не сразу узнал себя, поражаясь своей безграмотной неспособностью поддерживать застольный разговор в компании гражданских. И тут он разозлился на собственную неуклюжесть, выпил с отчаяния сверх меры и, поднятый головокружительной волной, принялся острить без стеснения, произносить тосты, опрокидывая на столе рюмки полой недавно купленного, заменившего гимнастерку пиджака. Она же, удивленная, посыпала солью скатерть и весело говорила, что Новый год напоминает древний праздник Диониса и проливать вино — ритуальное священнодействие.

Ровно в двенадцать часов, дурачась, под хлопанье пробок от шампанского он по-солдатски закричал «ура», после чего в порыве новогодних чувств начал обходить стол, чокаясь, говоря каждому поздравительную чепуху, потом остановился возле нее, сказал с бедовой решительностью: «Горько!» — и в обморочном шутовстве поцеловал ее дважды, а она не успела опомниться, запротестовать, лишь сказала шепотом:

— Что за «горько»? Вы с ума сошли! — И, краснея, добавила со смехом: — Просто чужак какой-то!

А когда отодвинули стол и зашумела танцевальная толчея, он сел на диван, в багровую тень абажура, закурил и, вспотев от волнения, увидел, как неаккуратно растрепанный, с хмельным лицом парень подошел к ней и пригласил танцевать, однако она взглянула на парня мельком и отрицательно покачала головой. «Молодец! — подумал он. — Ну хоть на секунду взгляни на меня, я не такой уж плохой, честное слово». В это время ее позвали, и она, обдав ветерком, запахом платья,

прошла мимо дивана, где он курил. Она, должно быть, ощущала, что он, глупо расплываясь, смотрит ей вслед, потому что обернулась, повела в его сторону спрашивающим взором и пожала плечом.

Он был молодым человеком заурядного облика, поэтому нередко испытывал боязливую ревность, глядя на красивых женщин, встречавшихся на улице или в компании, а когда находил в их внешности какой-то недостаток (несколько длинноватый нос, слишком широкие бедра, не вполне прямые ноги), он с успокаивающей иронией думал: «Значит, образцов прекрасного нет и среди них». Но тогда целую ночь он не узнавал себя, подхваченный дерзостью балагура, смелостью отчаяния, секундно страшась, что туман вот-вот рассеется и мигом провяжутся ее несовершенства и все станет явным обманом.

Сойдя с крыльца, как только затихли смех, визг снега, голоса за воротами и дворик опустел, розовея в январской заре, они оба стояли, не понимая, что произошло; вокруг зимнее утро, пустота неба с бледным нетающим месяцем, ледяной пар, сугробы спящего Замоскворечья — неужели кончился ночной дурман, веселая кутерьма в этом уютном деревянном домике и надо было возвращаться ему в студенческое общежитие, ей куда-то домой на Остоженку?

— Вы произнесли какую-то глупость, — сказала она. — Не заметили?

— Совершенно верно. У меня это бывает. Хоть отбавляй.

Ее пальцы ждуще шевельнулись в его руке, и глаза с косинкой коснулись улыбкой его зрачков.

— С Новым годом! А где ваш приятель с патефоном? Помните, как все было смешно и неправдоподобно?

— Я вас увидел вот тут, во дворе, — ответил он и, едва слыша ее голос, поплыл в темной глубине ее бархатных глаз, вспомнив, как они с другом ввалились в маленькую переднюю, отфыркиваясь, отряхиваясь, внося в тепло студеность снежного московского вечера, а она, случайно встретившаяся им во дворе, тоже оживленная, снимая ботинки подле вешалки, рассказывала кому-то: «Смотрю, две фигуры топчутся около сараев, за ручки дергают. Спрашиваю: вам куда? Мы, отвечают, в каком номере дома? Заблудились, бедненькие. Вот привела вам гостей!» И его друг, аспирант Горного института, душа-парень, ухажер, со словами «спасительница наша» находчиво и храбро бросился перед ней на одно колено, по-гусарски ловко помог стянуть ботики, и это рассмешило ее.

— Все было смешно, — повторила она, не отводя глаз от его зрачков, и тихонько высвободила руку. — Вы немножко пьяненький, но вы хотя бы помните, что сказали тогда в передней?

— Наверняка... — ответил он, по-прежнему не в силах до конца сообразить, о чем она спрашивает. — Наверняка напорол...

— Вы тогда сказали: «Тут черт те что, сам черт ногу сломит в этих дворишках с сугробами! Вот встретили два дурака красну девицу, жар-птицу, и даже не познакомились!»

— Я так сказал?

— Вы еще добавили: «Вот музыку принесли. Один патефон для двух компаний».

— О, жуткий глупец! Непроходимый болван! Пень стоеросовый с глазами!

— Что вы, наоборот, было хорошо! Вы просто сказали от смущения, — возразила она и оглядела дворик, где они стояли одни посреди огромных сугробов, на которых лежали краснеющие пятна. — Кажется, нам надо идти...

— Ну не идиот ли! — проговорил он, зажмурившись, и вообразил весь вечер и себя, развязного, острящего, самоуверенного, и стыд заглестнул его: ведь она слышала его невыносимое ерничество. («Вы хотите или не хотите?») Он ходил вокруг стола с бутылкой и говорил: «Хотите или не хотите?» На него смотрели в ожидании каламбура, но

каламбура не получилось. «Что вы хотите этим сказать?» «А что вы хотите?») «Так что со мной случилось? Я как в дурмане, как будто выпил сладкой отравы, хотел понравиться ей, и во мне сломался какой-то винтик».

— Я был пьян,— выговорил он виновато.— И вы должны меня ненавидеть...

— О чем вы? — изумилась она.— Вам нравится снег? Падающий снег перед Новым годом?

— Н-не понимаю...— пробормотал он.

— Что ж здесь понимать? Идет снег, горят фонари, а вы около сараев топчетесь с патефоном и вдруг встречаете жар-птицу — пожалуй, это уже интересно! И вы тогда не были пьяны. И был канун Нового года. А сейчас мы другие. Мы постарели на один год. Вот и все. Проводите меня до автобуса. А жар-птицу вы не поймали...

Она спокойно, дружески погладила рукав его шинели и пошла к воротам по заледенелой тропинке, чуть волновалась над ботиками меховая оторочка ее узкого пальто с пелериной. Он тупо двинулся за ней. «Вороне как-то бог послал...» — завертелось, застучало темными молоточками в его голове при виде плавного, ритмичного колебания ее пальто, и он даже не поверил недавнему бесстыдству собственных плоских шуток, пошлому крику «горько!» и тому двоекратному поцелую в щеки, вызвавшему у нее испуг (она прикусила губы, точно от боли). «И это я, солдафон, наглец, полез с дубовой рожей в райский сад! Ха-ха, кавалеро!..»

— Спасибо. Здесь я сяду сама. А вам, по-моему, на трамвай. Вон там, видите, остановка? Как мне повезло — автобус идет!.. А утро какое чудесное! Наверное, такие холода бывали в семнадцатом веке. Представляете, резные хоромы, дымок из труб, окошки угольками горят на заре и галки над куполами церквей, как сейчас. Чудесно!

— Сейчас?.. Вы сейчас уедете на автобусе?

А на улице без единого прохожего, еще ранней, еще опустошенной новогодним праздником, утро стыло в морозном пару, в крупном мохнatom инее на проводах, в лиловой мгле заваленных снегом подворотен, над малиновой рдеющим куполом полуразрушенной церкви висел, истаивал прозрачной пластинкой месяц, там хаотично, черно, тревожно вились галки, звонко щелкали в прокаленном воздухе, и этот древний звук тоской разрывал ему душу.

— Подари мне на прощанье блеск твоих чудесных глаз, предстоит нам расставанье, мы на запад уходим сейчас...— пропел он дурашливо, сдвинул армейскую шапку на затылок, будто желал сделать веселую выходку деревенского парня, и, сдернув перчатку, протянул руку.— Ну, давайте пять! Ваш автобус! Покеда! («Что я говорю? Бред! Безумие! Я просто свихнулся!») Подари мне на прощанье...— опять фальшиво пропел он в безнадежности стыда оттого, что она не подавала руки, покусывая нижнюю губу аккуратными, ослепляющими зубками.— Подари мне на...

— Пожалуйста, подарю, только перестаньте,— прервала она и поднятыми глазами с презрительным сожалением обвела его глупо оживленное лицо.— И уходите, уходите быстрее, несчастный!..— договорила она и повернулась спиной, быстро сошла с тротуара на мостовую навстречу автобусу с бело заросшими инеем стеклами, хрустевшему колесами по льду.

— Пойдите! — крикнул он, и в горле сорвалось, он задохнулся, но сейчас же вскочил следом в распахнувшиеся с треском двери холодного, почти пустого автобуса (трое пассажиров дремотно ежились на разных сиденьях), вырвал из кармана шинели мелочь, бросился к кондуктору, толсто закутанному в тулуп.— Два билета! Один мне на память! — выговорил он в исступлении и наклонился к ней, уже севшей на скрипучую обивку бокового места, заговорил четко, дерзко, самонадеянно: — Если вы не дадите мне свой теле-

фон, то я опять поцелую вас... при всех! Вот здесь. Знайте, что вы против меня совершили преступление! Если бы я вас не увидел...

— Уходите же, уходите, клоун несчастный...— проговорила она с гадливостью и, прислонясь виском к заиндевевшему стеклу, неестественно засмеялась.— Да что вы делаете? Что же это за несчастье!..

— Я прошу ваш телефон! — умоляюще крикнул он, не обращая внимания на недоуменно уставившихся пассажиров, и, вроде бы из тумана поймав ее голос, выскочил из автобуса, ударенный по плечам сдвигающимися створками двери.— Кажется, она сказала номер, или мне послышалось... Записать, записать,— бормотал он полоумно, прикладывая автобусный билет к фонарному столбу, и огрызком карандаша записал номер.— Или показалось мне?

Он стоял один на мостовой, отупело глядя на завывающийся по снегу дымок автобуса, и студеным воздухом сдавливало дыхание.

Три дня длилась непрерывная мука, он пытался понять и не понимал, что происходило с ним, неясно осознавая будничную жизнь вокруг: появлялись и пропадали вблизи знакомые и незнакомые лица, проходили тенью фигуры профессоров в аудиториях, доносились откуда-то издали голоса студентов, звонки трамваев, звук его имени, порой окружала холодноватая тишина аудитории, где наискось лилось зимнее солнце, отражалось на столах, шуршали страницы, затем вместо обеда обжигало водкой в забегаловке, наконец зажигались огни и возникали окна, задернутые занавеси, подворотни, согнутые тела атлантов, подпирающих балконы с витыми чугунными решетками над старыми подъездами Остоженки. Здесь он ходил часами, подолгу всматривался в номера квартир, взбегал на этажи, неутомимо ждал на лестничных площадках, на углах и напротив арок во внутренние дворы, надеясь встретить ее, ждал терпеливо и упорно и, лишь продрогнув окончательно в метельные ночи, возвращался в общежитие по обезлюдевшим переулкам, подняв не согревающий воротник шинели, носом вдыхая мокрый молодой вьюжный воздух. «Я найду ее, найду ее!» Дурман того вечера и того морозного новогоднего утра не отпускал его; жег позором, стыдом, но одновременно и овладевал им подобно сладостной неизлечимой болезни, которая в желанном бреду приближала ее плавный голос, мягкий, слегка с косинкой взгляд, ее волнующееся над ботиками пальто с пелериной. И преследовала бесконечно повторявшаяся в ту ночь навязчивая мелодия песни «Подари мне на прощанье...», и заезженное шипение патефонной пластинки, и свой фальшивый голос, пропевший этот мотив на автобусной остановке. Но чаще всего он видел ее, прямо сидевшую на боковом сиденье, с изогнутыми бровями, розово освещенную утренним солнцем через мерзлое стекло, и ее неприязненный шепот проходил через него током: «Уходите же, уходите, клоун несчастный...»

Позднее он не мог бы логично и точно объяснить, каким усилием воли, какой одержимостью, какими изобретенными комбинациями телефонных чисел (номер, записанный на автобусном билете, не отвечал), каким ежевечерним изучением ворот и подъездов Остоженки он в конце концов нашел ее. И невозможно было бы объяснить, почему она согласилась пойти с ним в гости к другу, аспиранту-горняку, уезжавшему в командировку.

А скромная обитель его друга близ Таганки (комната и кухня) была в тот вечер сказочным царством тишины, невиданного блага, ошеломившего тем, что рядом была она, касалась натопленной голландки, оглядывала книжные шкафы, старинное трюмо,— и он опять почувствовал подступающую горячую волну ядовитого дурмана, хотя не пил ни капли, почувствовал, что сходит с ума, что сейчас начнет острить, шутить без разбору — неужели опять?

И он свистнул с насмешкой над собою, лег на диван, просунул под голову руки и, покорный, стал глядеть на нее с ребяческой завороженностью.

Она сидела в кресле, смотрела задумчиво чистыми темными глазами, а он в обезоруживающем безмолвии не мог представить, как набрался смелости поцеловать ее тогда, в Новый год, и после говорить всякую ерунду.

— Оля,— позвал он шепотом.— Ты хочешь, чтобы я умер?

— Послушай... кажется, ты сейчас не пьян?

— Не уверен. Оля, я умру или от своей глупости... или оттого... что я не знаю, что со мной творится... Сядь ко мне на диван. Не бойся, ради бога.

Она пересела на диван, и снова, как в новогодний вечер, его лицо опажнуло мягким ветерком от ее движения.

— Погладь меня,— попросил он и зажмурился.

— Что?

— Погладь меня по голове.

И он взял ее руку, помня ждущее прикосновение вот этих легких пальцев три дня назад в замоскворецком двореке, провел по виску, по волосам, положил голову ей на колени, потерся щекой, чувствуя шерстяной запах плотной юбки, тепло сдвинутых коленей, таких округло женственных, таких страшных в своей близости, что сказал замирающим шепотом:

— Оля, у меня голова кружится, как на краю пропасти.

— Наказание какое! Ты офицер, у тебя пять орденов, а ты как мальчишка...

— Оля... Хочешь, я умру на твоих глазах?

— Что ты делаешь? Зачем? — проговорила она и выпрямила спину, напряженно глядя в окно.— Зачем? Это какое-то несчастье...

А он молчал, все потираясь щекой о шерстяное тепло ее юбки, о ее колени.

За окном тихого царства этой комнатки на Таганке зимние сумерки все гуще наливались синевой, засветились первые огни, падал и падал неторопливый густой снег, заваливая переулок. Изредка под туманными фонарями проходил бесшумный троллейбус, сбрасывая с проводов фиолетовые искры, на далеком мосту медленно ползли уже по-вечернему светившиеся трамваи, звон их едва пробивался сквозь лениво текущую завесу снегопада.

Потом предупредительно постучали в дверь. Вошел его друг, в бурках, в пальто, с чемоданчиком, уложенным, по-видимому, на кухне (чтобы не мешать им), не зажигая света, кашлянул и, обычно настроенный на игривый разговорчивый лад, спросил чрезмерно прямо:

— Ты его любишь?

— Какой-то дурацкий вопрос! — Она встала, свела брови.— А если да? А если нет? Что из того? Где у вас выключатель? Включите свет!

— Спокойной ночи. У меня поезд через час,— сказал друг, смущенно сощурясь на зажженный свет, и надел шапку.— Ключ остается. Желаю молодым счастья!

Он попятился к двери, доброжелательно и соучастливо кланяясь.

— Пока! До встречи, остряк! — крикнул Крымов и, вскочив с дивана, закрыл за ним дверь, постоял у порога, засунув руки в карманы.— Да, если да, и да, если нет,— проговорил он резко и через плечо взглянул полувопросительно.— Все равно ты будешь моей женой.

«Опять началось безумие! Опять дьявол вселился в меня!»

— Я? Твоей женой? Разве я могу быть женой странного и совсем непонятного человека?

Он сказал неподчиняющимся голосом:

— Ты еще увидишь, какой я странный, какой непонятный, но какой смелый парень! Знай, что я служил в разведке. Ты представ-

ляешь, что такое полковая разведка и что такое ходить в тыл к немцам?

— Пожалей, пожалуйста. Неужели ты хочешь победить меня, как в войну? Ты самолюбивый хвастунишка...

— Оля, милая, уезжай сейчас же, я знаю, тебя ждут дома! Уезжай. Так будет лучше. Иначе... («Опять, опять!..»)

— Спасибо. Я поеду. А что иначе?

— Иначе я ничего не смогу с собой поделать. Уезжай, я прошу тебя. Я люблю тебя. Я черт знает как люблю тебя!..

Он проводил ее до автобуса, потом долго топтался под фонарем, морщась, чиркал спичками, а поднявшийся меж домов ветер срывал, тушил огонек, мокрый снег налипал на сигарету. В ладонях, по-фронтально сложенных ковшиком, он все-таки сумел прикурить, сделал затяжку, но снежный смерч с неистовой силой мстительно выбил жарок из сигареты, и тогда он впервые за много лет в бессилии заплакал. Он плакал со сладострастной злобой к себе, к этому неподвластному безумию, ко всему, что было связано с тем предновогодним роковым вечером и тем инистым утром в замоскворецком дворике.

Что это было — дурман или естественное состояние? Ему было ясно одно: он любил Ольгу без памяти, прежние случайные встречи с другими женщинами не вызывали того безумия, той ненасытной нежности, той постоянной неутоленности, какую он испытывал к ней.

Да, то было другое время, и они были другими, тогда началась незабвенная пора молодости.

Глава восемнадцатая

В тот день, расставшись с Валентином, он не дождался Ольгу, вышел из дома, не нашел ее на поляне и один ходил по лесу, по высокому берегу реки, вдоль песчаных отмелей, где весной садились дикие утки. Сначала по воде плыли, текли ленивые по-летнему облака («Откуда это непередаваемое наслаждение в их медлительности?»), на закате нежно заалели на плесах перистые, женственно-тонкие, обещающие занебесное блаженство («Это же прелестный обман!»), затем начало постепенно надвигаться то невесомое молодое ощущение июльского вечера, в котором всегда парит долгий свет зари, что-то чуткое, зыбкое, не имеющее четких границ во времени. И уже в мягко синеющей темноте, охватываемый папоротниковой сыростью, Крымов сидел на поваленной березе, курил, отгоняя веточкой комаров, глядел на другой берег, проступавший за поблескивающей внизу рекой. Там километрах в трех оставался дачный поселок. Там, в потемках леса, не пробивалось ни единого огонька, хотя в поселке, по-видимому, зажглись над заборами фонари всех улочек, между сосен сквозили окна дач, пленительно зеленел абажур настольной лампы в комнате Ольги, и рядом горел свет в его кабинете — ожидая его по вечерам, Ольга включала в мансарде свет, объясняя с загадочной полуулыбкой свою странность: «Я боюсь одна, а это маячок, чтобы тебе легче было найти дорогу домой».

«Я боюсь одна, а это маячок...» — вспомнил он растроганно, а когда встал и, еле угадывая тропинку, спустился по крутому откосу к берегу, внизу ярко вспыхнул огненно переливающийся зигзаг: струились, двигались золотые извивы нитей. И Крымов не сразу понял, что же так ярко полыхало, сверкало, извивалось в черной воде.

Он миновал кусты, ступил на узкий, шаткий мостик, со всех сторон окруженный блаженным хором лягушек, стонущих в камышах на отмелях, и тут увидел, что вспыхивало, купалось на самой быстрине. На том берегу, на западе, где небо было светлей от зари,

над темной вершиной березы царственно играла алмазными огнями большая неизвестная звезда.

«Что это — Венера, Марс? — подумал Крымов, замороженный праздничным блеском над макушкой березы.— Жизнь прожил и не знаю...»

Он остановился на середине мостика, задрал голову, увидел в прорехах застывших верхушек далекое пульсирование звездных фейерверков, величественное ликование неба, всю эту сверкающую россыпь, голубое дрожание космических лучей в глубинах жутких провалов галактик; в лицо дохнуло из небесных пропастей вечным холодом, ритуальной тайной непостижимости, и Крымова стало томить тихое желание попросить прощения за что-то, в чем были виноваты все перед этим величием недосягаемой красоты, перед этой праздничной запредельностью, которой нет названия.

«Что мы знаем, самонадеянные и самовлюбленные? Уверены, что знаем все,— и не знаем ничего. А что там? А дальше что? А зачем? Во имя чего? В чем смысл всего земного и небесного? Или смысл в том, что нет никакого смысла? Или во всем тот смысл, который постигнет человек в момент смерти? Может быть, смерть и есть постижение всего? Да, небо такая же тайна, как смерть... Да, да, нужно постоянно об этом помнить! Но почти никто не хочет этого помнить. И мы забываем, не хотим знать, что общение с тайной красоты — радость, а радость — высшая мудрость. И как ничтожна вся человеческая возня с сиюминутной выгодой, завистью, тщеславием... Какая никчемная чепуха! О, скольким людям на земле приходило такое понимание! И что же?»

Он усмехнулся этому своему пониманию земной тщеты, глядя на играющую подвижными лучами звезду, и все же на душе у него было светло и освобожденно.

И правда, в мансарде в его кабинете горел сквозь листву свет, и мирной зеленью настольной лампы было залито окно Ольги рядом с кабинетом. Не зажигая электричества на первом этаже, он быстро взбежал в мансарду, дверь в ее комнату была приоткрыта. Световая просека разрезала, раздвигала потемки на лестничной площадке, и казалось, из ее комнаты пахнуло ночным покоем, чистой постелью.

— Ты не спишь, Оля?

Он вошел. Ольга в рабочих брюках, в черной рабочей рубашке сидела в соломенном кресле, подперев кулаком подбородок, и смотрела на небольшой, сегодня написанный, еще не просохший пейзаж, прислоненный на полу к стене, освещенный лампой с края стола,— потухающий закат за лесами, последний отблеск в воде и струистое, тревожное дрожание первой звезды в малиновом отблеске. Может быть, той, незнакомой, царственной, которая передвигала лучистыми алмазными радиусами над темной вершиной березы? Она тоже видела ее?

— Это я, Оля,— сказал он негромко.— Здравствуй.

Она не отняла руку от подбородка, посмотрела на него скошенными внимательными глазами и недоверчиво чуть-чуть кивнула.

— Здравствуй. Ты так поздно, Слава?

Он услышал в ее голосе не то шутовскую полувопросительность, не то невнятный упрек и сокрушенно вздохнул, подходя со спинки кресла, увидел ее собранные в старомодный пучок волосы, ее маленькое ухо, ее открытую рабочей рубашкой шею и сказал осторожно:

— Я, как всегда, виноват. Пошел искать тебя. И не нашел. Забрел в лес, за мостик. И там хорошо думалось. Кстати, видел, как рождалась ночь. Было прекрасно...

— Ясно. А Анатолия Петровича с тобой не было?

— Он уехал рано. Странно... Вот такую звезду, как на твоём пейзаже, я тоже видел. Только под мостиком, у свай. Марс или Венера?

— Значит, ты был один и было прекрасно,— проговорила Ольга тоном мягкой насмешки, снизу взглядывая ему в лицо с ожидающим выражением.

Он, стоя около кресла, виновато поцеловал ее в слабо улыбнувшиеся губы.

— Пожалуй, впервые за много лет заметил летом Венеру или что-то в этом роде,— сказал он, ощущая прохладное безразличие в ее не ответивших губах, и придал своему голосу оттенок шутки: — А с кем была ты?

— Сама с собой.

— И как?

— Представь, как хорошо нам было! Как хорошо мы пообщались, поговорили, поплакали.

— Поплакали? О ком? О чем?

— О тебе. Обо мне.

В ее тихих бархатных глазах была по-прежнему незавершенная вопросительность, не часто свойственная ей, за которой Крымов почувствовал нечто встревоженное, упрекающее, тщательно скрытое ею, и он сказал уже без ненужной сейчас между ними словесной зашифрованности:

— Если можно, Оля, объясни, что случилось. Я сегодня малость устал, поэтому никак не возьму в толк. Ты почему-то на меня сердишься?

— Нисколько. Просто поплакала о нашей ушедшей молодости. Но это, конечно, пустяки, бабья лирика...

Ольга поднялась, обхватила руками плечи, точно обняла себя, чтобы согреться, постояла перед пейзажем, губы ее слегка округлились подобием улыбки (а он помнил их холодок безжизненности, что ожег его минуту назад), и так, обнимая себя, поглаживая ладонями плечи, она отошла в сторону, за свет лампы, и оттуда, из зеленой тени, сказала нарочито оживленным голосом:

— Не думала, что так случится, Вячеслав. И как это все некстати и грустно!

— Случится? Что?

— По-моему, ты не считаешь свои силы.

— Так было всегда,— пошутил он, со страхом догадываясь, о чем хотела сказать она.— Я давно знаю свои недостатки, Оля.

— Я их узнала недавно, прожив с тобой целую жизнь. Так что же нам делать, Слава?

«Вот чего я боялся, вот этого ее унижения. Я боялся, что кем-то замешенная грязь испачкает Ольгу. Неужели студийные сплетни во всей красе дошли и до нее? Нет, люди беспощадны...»

— Оля, я катастрофически поглупел и, значит, задаю наивные вопросы: что случилось? Тебе кто-то звонил? Ты получила письма? Конечно, анонимные...

Из полусвета темнели ее неулыбающиеся глаза, а губы (сколько раз он целовал их, холодноватые, не утоляющие его) вздрагивали отражением сдержанного удивления.

— Я тебя не осуждаю. Ты перестал меня любить, поэтому можешь поступать как хочешь. Дело не в звонках и не в письмах.

— Оля...

— И тут ничего не поделаешь. В жизни бывает все.

— Оля, зачем ты?..

«Неужели она верит и мне нужно объясняться, оправдываться? А у меня нет сил».

И он с видом невероятной усталости присел на корточки подле пейзажа, и это зеленоватое после заката небо, неистовый огонь

первой звезды в пустой чистоте воды, и пепельная туча грачей, вьющихся над вечерним дальним лесом, и недавние беззвучные фейерверки в ночи, тайный праздник в бездонных глубинах галактик, какое-то движение, смещение, шевеление лучей — все ритуальное великолепие, что открылось ему на середине мостика, как со дна ущелья, меж неподвижных вершин на высоких берегах, мгновенно потеряло освобождающую надежду, и он подумал с отчаянием: «Все переставлено местами и все летит в бездну!»

— Оля,— сказал он покорно, не решаясь повернуться от пейзажа, но теперь ничего не видя в нем подробно.— Оля, прошу тебя только о единственном: верь себе, а не кому-либо.. Знаешь, о чем я думаю в последнее время? Есть птицы певчие и птицы ловчие. Так вот, ловчие, даже когда они сыты, могут ударить острым клювом в затылок. Смысл? Его нет. Но желание ударить есть. Причин тысячи. И одна мельче другой. И со мной происходит то, чего я не хочу, Оля. Жизнь почему-то не может нас научить правде. Мы слишком доверчивы. И ты тоже доверчива, Оля. Я сегодня опять подумал, как ничтожна возня людей, когда вдруг на мостике увидел в воде вот эту красавицу звезду... Впрочем, банальны все истины, которые давно открыты, давно забыты и заново открыты.

Он поднялся с корточек и нахмурился после невольной своей искренности, что могла быть воспринята Ольгой через край нарочитой, а она стояла у стены в сумеречной полосе за светом настольной лампы и слушала его с опущенными глазами.

— Ужасно.— сказала она и приблизилась к нему, ласково оглядывая его лицо и притрагиваясь кончиком пальца к его подбородку.— Ужасно, как ты изменился в последнее время, ты похудел, осунулся, стал не тот. Что-то случилось, Вячеслав... Я тебя очень любила тогда, в Новый год, когда мы остались с тобой здесь... Ты уже не совсем тот или полностью другой?

— Другой. Наверно, не полностью.

— Хуже?

— Да.

— Значит, ты меня предал, Вячеслав?

— Ни разу.

— Я тебе, Слава, сейчас не верю почему-то,— сказала она с рассеянным лицом и нарисовала пальцем замысловатый вензель на лацкане его пиджака.— Ведь я замечала часто, как в твою сторону смотрят женщины. Потом ваши студийные нравы, артистическая богема, могу представить... И ты не святой, Слава. Так ведь?

— Ты ошибаешься, Оля, я почти святой. И ты не права насчет студийных нравов. Они как везде. И богемы нет,— сказал Крымов, испытывая желание обнять ее и не говорить ничего в покое ее близости, ее спокойного не утоляющего холодка, как в ту вьюжную, пустынную ночь, когда они остались на недостроенной даче вдвоем. Но что-то мешало ему повторить через силу минуту того новогоднего настроения, о котором вспомнила Ольга, и он только провел рукой по ее плечу, такому родному под черной рабочей рубашкой, договорил почти робко: — Как я могу поклясться, что люблю тебя?

— Не надо,— проговорила она без выражения.— Иди, пожалуйста. Иди, Слава. Уже очень поздно. Иди, мой милый святой.— Она опять нарисовала пальцем невидимый вензель на лацкане его пиджака, и лицо ее было безучастно.— Иначе мы не заснем оба.

— Спокойной ночи.

Он поцеловал ее в щеку и вышел с мучительным чувством, как будто она, не веря ему, не хотела договаривать и разрушать все до конца.

Глава девятнадцатая

— Извините, Вячеслав Андреевич, за нескромный вопрос, который я не решился бы задать вам, если бы, так сказать, не формальная сторона нашей профессии. Дабы установить истину, нам подчас следует знать и нечто интимное... нескромное. У вас были, извините, пожалуйста, еще раз, близкие отношения с Ириной Вениаминовной Скворцовой?

— Неужели мой ответ прояснит истину случившегося несчастья? Если да, то все ясно? Если нет, тогда что?

— О, вопросы уже задаете вы мне, Вячеслав Андреевич. Я отлично понимаю, что каждый момент столкновения с жизнью — это для вас, художника, неким образом сбор материала, опыт, который, так сказать, воплотится... Вы, художники, как губки, все впитываете и реализуете. Но так или иначе вы не хотите ответить на мой формальный вопрос?

— Могу я не отвечать?

— Прошу вас ответить, пожалуйста. Были ли интимные отношения между вами?

— Почти невозможно объяснить. Как вам объяснить? Это не для протокола, который вам нужен.

— А именно? Может быть, вы не хотите говорить о какой-то, извините, аномалии у актрисы Скворцовой? Она перенесла тяжелую травму, и неудача в балете наложила отпечаток на ее психику. Может быть, особая экстравагантность?..

— Ну для чего вы так? Ирина Скворцова была чистым ребенком, доверчивым до наивности. Таких среди современной молодежи не часто встретишь. Она верила, что назначение жизни — это радость. Не удовольствие, не безделье, не обеспеченность, а именно — радость. Она обладала чувством нравственной свободы. О какой аномалии можно говорить?

— Конечно, конечно, конечно... Не хотел вам причинить неприятное, не хотел. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Андреевич, а не было ли у вас перед несчастным случаем, так пока будем его определять, какого-либо серьезного разговора с Ириной Скворцовой? Она ничего вам не сообщила, не рассказала? Ни о чем не просила? Не припоминаете ли вы какие-либо ее слова?

— Припоминаю. Она была расстроена случайно услышанным ею чужим разговором на студии.

— Не припомните каким?

— Как часто бывает, претендентки на роль перемывали ей косточки и, разумеется, говорили о том, что она бездарна и что главную роль, разумеется, получила за то, что стала любовницей режиссера.

— И это не так? Не отвечает действительности?

— Что «не так»?

— Ирина Скворцова была вашей... любовницей, извините, или... подругой, приятельницей, как сейчас говорят в вашей среде?

— Не знаю, как говорят в нашей среде по данному поводу, но Ирина Скворцова не была ни моей любовницей, ни подругой, ни приятельницей. Было другое.

— Так что же было между вами, Вячеслав Андреевич? По долгу службы я нахожусь в неудобном положении... задавать вам, так сказать, пикантные вопросы, и вы уж потерпите мою настойчивость.

— Я потерплю. Но на пикантные вопросы позволю себе не отвечать.

— Однако в ваших ответах я слышу одновременно и да и нет. Как следует мне понимать вашу диалектику?

— В смысле нет.

— А именно как?

— Олег Григорьевич, я не могу вам объяснить всю суть моего отношения к Ирине Скворцовой. В ней была и сила, и хрупкость, и незащищенность. Перед жизнью она была незащищена. Как почти все одаренные люди.

— О вас сказать нельзя, что вы незащищены, хотя вы зверски талантливы, как устно обозначил вас один крупный режиссер, ваш коллега.

— Все не так, как кажется. Я был просто удачлив. Вокруг меня много преувеличений. Завистливых и глупых. В искусстве удачливых не очень любят. Завидуют, льстят, но не очень любят. Вас не шокирует мой ответ?

— Вы кокетничаете сейчас, Вячеслав Андреевич. Маститая критика пишет о вас...

— Не надо читать маститую критику. Она часто лжет или расписывается под узаконенными режиссерскими рангами. Критика должна быть молодой, а значит — дерзкой.

— Вы опять кокетничаете.

— Как вам угодно. Если возможно кокетничать с правдой, то вы правы.

— Вы как-то недобры ко мне, Вячеслав Андреевич. Вы заведомо видите в моем лице некоего, так сказать, недоброжелателя, а моя профессия предполагает беспристрастность даже к очень подозреваемым лицам, каковым вы не являетесь. Но вернемся к делу. Вы сейчас так говорили о Скворцовой, как будто... как бы точнее выразиться? Как будто были без ума влюблены в эту экстравагантную девушку. Такое чувство имело место?

— Я не был влюблен без ума в эту экстравагантную девушку. Более того, она терпеть не могла экстравагантности, и я тоже.

— Так или иначе — что же было между вами? Она хотела стать вашей женой? Хотела, чтобы вы развелись, а вы чувствовали себя связанным семьей, детьми, и у нее, у Ирины Скворцовой, появилась обида, горечь, неудовлетворенность своим положением?

— Ничего похожего.

— Так что же было между вами, в конце концов, Вячеслав Андреевич? Она была удовлетворена своим положением?

— Она не была удовлетворена собою. Мне так думалось. Вы знаете, что после блестящего начала в балете она получила травму и ушла со сцены на целый год. Несколько раз я видел, как она дома работала у станка — она старалась вернуть себе форму во что бы то ни стало. И не смогла, к большому сожалению. Когда я предложил ей роль, представьте, Скворцова сначала не согласилась. Она не хотела предавать и себя и балет.

— И вы считаете, что именно это привело ее к трагическому исходу?

— Я разве сказал так?

— Но можно было понять таким образом из ваших рассуждений.

— Я отвечал на ваш вопрос, который был не совсем точным.

— По всей вероятности, я вынужден задать вам много неточных вопросов, так что вы меня извините, Вячеслав Андреевич. Иногда, знаете, самый прямой путь к истине — окольный.

— Не надо, прошу вас, Олег Григорьевич, неточных вопросов и окольных путей. Честное слово, я очень устал. Я облегчу вашу задачу. Я понимаю: вам нужно установить причину гибели Ирины Скворцовой или виновника ее гибели, установить убийцу прямого или косвенного.

— Вы хотите пить? В графине, по-видимому, вода уже теплая. Пожалуйста, боржом, Вячеслав Андреевич. Сегодня с утра жарко, печет...

— Благодарю. И душно, я бы сказал, у вас в кабинете. Почему вы не открываете окна?

— О, вы наблюдательны, зрение у вас профессиональное, Вячеслав Андреевич.

— Я хочу облегчить вашу задачу, не решаемую из-за неточности моих свидетельских показаний. Я скорее всего обвиняемый, потому что виноват... виновен в том, что произошло. Вениамин Владимирович Скворцов, которого я встретил здесь у вас, был прав. Он справедливо обвинил меня в том, что я был злой искуситель... в том, что попытался вселить в его дочь надежду... Но я, как и вы, хотел бы знать, как случилось, как все произошло. Была ли трагическая случайность, или она решилась осознанно на самоубийство, несчастная девочка? Или что же? Я хочу верить, что это случайность...

— Однако есть основания думать, Вячеслав Андреевич, о нескольких иных поводах трагического исхода, о нескольких иных обстоятельствах...

— Значит, вы кого-то подозреваете? Понимаю вас. Разумеется, юстиция, закон, следствие, показания, свидетели. Но я один свидетель. И если я не знаю точно, но хочу знать, как и почему все произошло, то кто может знать, кроме господ бога, а мы с вами не верим в бога, кажется.

— Был еще один свидетель, Вячеслав Андреевич.

— Кто?

— Вы с ним хорошо знакомы. Шофер вашей студии Гулин Степан Евдокимович. Вы почему-то о нем молчите, хотя поступили с ним, мягко говоря, не по-джентльменски.

— Сердечно сожалею, что не по-джентльменски проявил свою невоспитанность. Также сожалею, что был слишком мягок с почтенным шофером Степаном Евдокимовичем. Впрочем, мягкость и раскаяние — порочная черта русской интеллигенции.

— Но вы же избили его, Вячеслав Андреевич! Вы, представитель художественной интеллигенции, известнейший человек, признанный режиссер, избили рабочего человека, который вызвал ваш гнев только тем, что был свидетелем вашей ссоры со Скворцовой в тот день, когда произошел трагический акт. Вы об этом как раз умолчали.

— Любопытно, как он мог быть свидетелем чего-то, когда находился в это время за тридцать километров, уехав обедать в чайную в районный поселок? Признаюсь, он вызывал и вызывает гадливое чувство...

— И поэтому вы нанесли ему побои, причинив телесное повреждение?

— Какое повреждение?

— В справке из сорок второй поликлиники, представленной свидетелем, сказано, что у него была разбита губа вследствие соприкосновения с зубами от удара и кровоподтек под носом.

— Великолепно! Я действительно очень сожалею, что ударил его только два раза. Для подобных граждан два раза маловато.

— Прошу вас, Вячеслав Андреевич, прочитать вот это заявление свидетеля.

— Про себя или вслух?

— Сомневаюсь, что чтение будет художественного свойства. Почему вы так насторожены со мной, Вячеслав Андреевич?

— Так же как и вы, несмотря на любезную форму и уважение ко мне. С вашего разрешения я читаю вслух, чтоб было яснее и искреннее. Так вот... «В главное управление. От Гулина Степана Евдокимовича». Ну ладно, что же он пишет, Степан Евдокимович, заслуженный шофер, награжденный грамотой? Ах вот как он излагает суть дела... «Хочу уважаемым товарищам из милиции описать суть дела преступления, потому как я работал по картине «Поколение»

и вез товарища Крымова Вячеслава Андреевича, режиссера картины, и артистку Скворцову Ирину, по отчеству не знаю, на натуру, где потом снимать будут эпизод. Когда ехали на освоение натуры, режиссер Крымов В. А. попрекал Скворцову в глупости, в том, что она делать ничего не умеет ни в балете, ни в кино, а Скворцова сидела молчком, тихо плакала, а потом сказала, что с такими оскорблениями ей жить на свете не хочется, а режиссер Крымов на эти слова смеялся с исключительным эгоизмом. Когда на натуру приехали, они ушли к церковке на правом берегу реки, я остался на левом по причине негрузоподъемного мостика. Режиссер Крымов приказал ждать час-полтора, но их не было два часа, и есть мне захотелось, потому что был обед. На том берегу я их видел, ходили друг против друга, руками размахивали, вроде все ругались. Как раз подумал я, что долго они еще будут, и уехал в поселок хоть глоток водички глотнуть, весь потом изошел на жару. А когда приехал я за ними, тут увидел, что Скворцова вроде мертвая, утопленная на траве лежит, в купальнике, волосы мокрые, лицо белое, как мрамор, а режиссер Крымов зверем кинулся на меня, стал избивать в кровь и с нецензурными словами, как бешеный, предупредил, чтоб я нигде пикнуть не смел, что видел и слышал. Повезли мы Скворцову в больницу и сдали там. Вот что я знаю об этом преступном деле. Справку о телесном нанесенном мне повреждении прилагаю. К сему Гулин». Все? Да, подпись разборчива. Что ж, великолепно объяснил уважаемый шофер. Все изложил с беспощадностью реалиста. Здесь чувствуется стиль жертвы. И вы принимаете во внимание намекающие мемуары угнетенного режиссером водителя?

— Я принимаю во внимание все, что имеет отношение к делу. Водитель Гулин излагает личное отношение к тому, что случилось. Выводы делаю я. На основе всех показаний тех людей, которые знают вас и знали Ирину Скворцову.

— И если вы выслушаете Гулина, мудрого руководителя студии Балабанова, достопочтенного хозяйственника Молочкова, то у вас сложится справедливое мнение — вывод о возможном преступнике, о гипотетическом убийце режиссере Крымове. Я уж не говорю о Вениамине Владимировиче Скворцове, об отце погибшей девушки, который без колебаний обвиняет во всем меня. Пожалуй, он прав как отец, и я понимаю его тоже как отец. Я виноват или... как такое заявление выглядит с точки зрения правосудия... не виноват, а виновен, виновен в том, что вселил в Ирину Скворцову надежду, а завистливые, злобные лица инкогнито, тошнотворные, как пошлость, разрушили надежду. И если это ее убило, какой все-таки хрупкий цветок была она...

— Вячеслав Андреевич, подобные заявления уводят нас в сторону, в психологию творчества, в темный лес, где рискуешь в трех соснах заблудиться и сломать шею. Я, знаете ли, дорожу своей шей, и не только для того, чтобы носить галстуки. Поэтому возвращаюсь к главному — что же, по-вашему, было непосредственной причиной смерти Ирины Скворцовой? Открою вам секрет, который, в общем-то, не является секретом. Отец Скворцовой обратился в инстанции высшего порядка и требует тщательного расследования причин смерти его дочери. и дело, так сказать, поручено мне, а я человек дотошный, извините за откровенность, и хотя мое уважение к вам...

— Какое тут может быть, к богу, уважение, и что такое уважение, и почему уважение. и для чего!.. Бред! Я вам сказал, вернее, по протоколу, ответил. Я виновен...

— Вячеслав Андреевич!

— Я виновен, и делайте со мной то, что нужно дальше.

— Вячеслав Андреевич!

— Я сказал вам — другого виновного вы не найдете.

— Вячеслав Андреевич, я удивлен... Вы должны отвечать за свои слова, а не бросать их на ветер. Подобные заявления опасны, в конце концов!

— Я уже давно ничего не боюсь. Нет, иногда, конечно, смерти боюсь. Здесь побеждает чистое любопытство — а как будет после меня? Меня всю жизнь губило любопытство. Может быть, поэтому я и стал режиссером: познать чужую жизнь. Но так многого и не познал.

— Вы сказали, что во всем виновны вы?

— Во всем. И вам не нужно больше задавать вопросы ни Балабанову, ни Молочкову, ни прочим...

— А Стишову, который был у меня утром? Достоинейший, по моему, человек.

— Тоже. Романтик и идеалист, влюбленный в меня. Он не может быть объективным. Тем более он мой друг. Близкий к тому же.

— У меня больше вопросов к вам нет. Пока нет. Если они возникнут, то придется вновь побеспокоить вас, Вячеслав Андреевич.

— Благодарю. Мне можно идти?

— Всего хорошего. Желаю всяческих творческих успехов на экране.

— Благодарю. Я тронут вашим добрым отношением к киноискусству.

Его потное лицо облепило масляным теплом уже раскаленной, грохочущей в этот час улицы, бьющей соединенным ревом моторов в уши, и он, утомленный, подошел к машине, поставленной им под ветвями притротуарной липы (чтобы не так сильно прокалило солнцем). Обжигая о металл пальцы, открыл ключом дверцу и сел в машину с захлестнувшим отчаянием оттого, что пропадает, не может остановиться, овладеть собой, найти равновесие, что все делает сейчас в каком-то туманном неблагодарии, потеряв контроль над здравомыслием, и что это состояние погубит или уже погубило его. Он еще не представлял полное разрушение прежнего, свое новое, униженное место в жизни, где будут действовать иные законы, иные отношения, как бывало на его памяти с некоторыми известными людьми, ударами справедливых либо несправедливых обстоятельств сбитыми с ног. И не представлял собственное положение зависимым в такой степени, какая раньше не распространялась на него.

То, что происходило с ним, и то, что он делал, плохое и хорошее, говорил, отрицал, утверждал, было немислимым образом остраниено, огорожено некими нелепыми обстоятельствами, дурными поводами, чудилось, чем-то нереальным, нетвердым, временным, что должно немедленно, вот-вот закончиться, повернуться в будничное течение обычной действительности, которая внешне ни в чем не изменилась и была той же, как до отъезда Крымова во Францию. Однако явные перемены произошли и вновь возвращали его в тот жаркий июньский день, последний день Ирины, — и когда он с головной болью вышел от следователя и в аптечке машины нашел амидопирин, помогли лишь две таблетки, он без воды проглотил их химическую горечь и подумал, устало приваливаясь к горячей спинке сиденья: «Сейчас я должен поехать на дачу».

Потом он сидел, раздумывая — так ли уж надо ехать сегодня на дачу, к благостному лету, к соснам, траве и солнцу? Может быть, остаться в Москве, побыть в пустой квартире одному, обдумать в одиночестве сегодняшнее, случившееся, ибо и на даче никто не мог помочь — ни Ольга, ни Валентин, ни его любимица Таня.

«Какое блаженство: вот так сидеть в машине одному, смотреть на дрожание светотени в глубине липы с запыленной листвой и не думать ни о чем, только видеть, слышать улицу и чувствовать. Но

разве чувствовать значит не думать? И все-таки не проходит какая-то неопределенная боль, которая, как тоска, появилась ночью, когда я ушел от Ольги... И почему мне хочется бежать куда-то? И почему так легко хотелось говорить следователю о своей вине, чтобы прекратить унизительные для него и для меня вопросы,— неужели никогда не кончится это?»

И еще надеясь вернуть душевное равновесие, он попытался вспомнить самый счастливый день в прожитой жизни и наконец вспомнил его — далекий, весенний, как если бы повторилась незабвенная пора детства. Ах да вот он: солнечный март, капель, синие тени берез на белом снегу... и мальчик (это он) стоит перед заваленным сугробами крыльцом и смотрит на радостную голубизну неба над крышей, на свисающие с зазеленелых желобов сосульки...

Нет, он еще помнил и другое счастливое утро, нежный свет зари на стенах чужой мансарды, малиновые блики на тяжелой мебели, пахнувшей чем-то старинным, сладковатым... И были тогда длительные майские вечера и цепенящий запах сирени в саду. Где это было? В Германии? В те дни все было удивительно, ни разу позже не повторившееся. Ночью горели по горизонту запоздалые зарева окончившейся войны, а среди глыб сгущенного пепла, разрывов, дыма и, мнилось, обуглившись гигантских лебедей, улетающих вдоль грозного горизонта, округло выделялись вдали купола, крыши, вершины деревьев. А зеркальный месяц остро, дерзко блистал в прорезах, обещая жизнь, любовь, молодость, удачу, возобновление того довоенного утра под Москвой, когда он увидел ее. Она в летнем ситцевом сарафане стояла у калитки, срывала стручки акации, касаясь голыми коленями прислоненного к изгороди велосипеда... Потом он явно увидел рядом с нею и себя. Он накачивал велосипедную шину, а она стояла под той же акацией, молча водила ладонью по забору, и губы были надутые. «Не может быть, чтобы мы ссорились. Из-за чего? То были неповторимые дни моей юности, хотя не осталось в памяти ни имени милой девочки в сарафане, ни причины ссоры...»

Но до сих пор почему-то не забывалось, как в те очень давние дни юности проснулся на сеновале с болевшими от поцелуев губами, разбуженный безмолвием после ночной грозы, и поразился: из-за туч выглянула, заблестела ему в глаза одинокая, чисто омытая звезда и до рассвета стояла над черной покатою крышей, еще влажно дышащей свежестью дождя.

«Вчера я тоже видел звезду, но было другое — чувство утраты, а та ночь в юности не ушла из памяти. Да, да, синие мартовские тени на снегу, луна в Берлине, девочка в ситцевом сарафане, сеновал, пахучий ветерок просыхающей крыши — что это, безоблачные сны моей жизни? Да, истинное — то, давнее. Оно осталось со мной, не ушло и, может быть, именно оно держит меня на земле...»

И страстно захотелось вспомнить и почувствовать свое раннее детство: тихий отблеск росы на лугах, крик грачей в ветреное утро, тишину заката, дух парного молока, звук уключин на реке, а ночью далекий лай собак под разверстой глубиной осеннего неба, потом — мокрый перрон, до краев затопленный февральским туманом, уже предвесенним, угольно пахнущим паровозным дымом, и себя за руку с растерянной матерью, встречающей отца, откуда-то приехавшего, небритого, с неприятно дергающимися губами: «Нет, мать, на земле мне прощения, как нет счастья...»

Ничего похожего он, Крымов, не сумел передать с горькой полнотой в своих фильмах, да и больно было передавать разочарованно-безысходную, давящую силу отца.

«— Никто. Ничто. Никому. Вот так я жил, мать.

— Что это?

— Мое время.

— Я жалею тебя, Андрей.

- Святая ты... Неужто ты святая?
- Посмотри на Славу, ты не забыл его?
- Неужто сын?»

Неопрятно грязные руки отца, заметные, однако, крупностью, ладной мужской красотой, были черствы, когда он погладил по плечу мать и неловко притронулся к щеке своего забытого сына. И сын, испуганный жалким, раздавленным видом отца, видел, как затеплились ласковой покорностью глаза матери, простившей все обиды непутевому мужу и этому несправедливому миру — она была в тот день счастлива, чего он не мог понять.

«Счастье — это то, чего мы сами не испытали. И это тоже так...»

«Где и в какой стране я искал счастливую маленькую площадь, которая должна быть олицетворением земного рая, тишины, нежной прозрачности от закатного солнца? Где — в Костроме, в Париже? В Вене?»

Тогда он вышел из храма и стал спускаться на Резиденцплац, внезапно решив, что перед ним именно та, обетованная площадь, — серело ноябрьское небо над крышами, над кирхой, падал первый, мягкий, ангельски чистый снег, мохнато белил камень площади, сиденья извозчичьих колясок, как в добром девятнадцатом веке, падал на зеленые и красные попоны застоявшихся лошадей, на сплошь забеленные традиционные шляпы извозчиков, озябших, топчущихся меж колясок, точно на площадях старой России, а посреди Резиденцплац снегопад валил на скопление раскрытых зонтиков туристов. столпившихся вокруг гигантской чаши фонтана, из которой в обезумелом ужасе были вытянуты к небу породистые морды бронзовых коней, густо засыпаемые крупными хлопьями. Возле мрачной арки неподалеку от готического храма (с его высотой сводов и гулкой огромностью, где эхом раздавались шаги по каменным плитам) черно стыла наполовину в снегу железная скульптура некоего кардинала. И все на площади было не то и не так.

А он целый день искал по городу и не находил веселую, людную, благословенную площадь, радостно запомнившуюся в первый приезд. Тогда он стоял на тротуаре у каменной балюстрады, ощущая сквозь тонкий пиджак и холодок и тепло апреля, а всюду отливали солнцем витрины магазинчиков, стекла киосков, мимо двигалась пестрая толпа, одетая с праздничной и весенней беспечностью в преддверии лета, а внизу маленькая круглая площадь лежала греческим театром, вся в согретом апрельском покое светоносного дня и еще свежего горного воздуха, в сиреневых тенях платанов — тихая, солнечная, как обещание вечной весны в старом австрийском городе.

«Так, может быть, она приснилась мне? В Вене или Зальцбурге?»

В последний приезд в Вену Крымов сбежал из дворца Пальфи, где проходила встреча московских кинематографистов с австрийскими интеллектуалами, и снова стал упорно искать эту безымянную площадь, а она по-прежнему где-то была за каменной балюстрадой, теплая, окруженная зеленеющими платанами, с пестрыми весенними толпами...

Он так и не нашел ее, а был промозглый февральский день, пасмурный, ветреный. Он в конце концов заблудился и, отыскивая свой отель, попал на «блошинный рынок» (как узнал позднее). Он шел по растаявшему бурому месиву, сыпал мокрый снег, а справа и слева возникали посинелые на холоде лица, машины и прилавки; там было хаотично навалено, расставлено что-то невообразимое: стенные гробобразные часы, громоздкие подсвечники времен Франца Иосифа, бронзовые канделябры, лампы, навесные замки разных веков, книги в затерханных кожаных переплетах, старомодные меховые шубы, всевозможные шляпки, прадедовские жилеты, детские стоптанные туфельки, олеографические картинки прошлого столетия, красоч-

ные открытки, изображающие среди пышных декоративных сосудов новогоднюю елку в оплывших свечах, кайзеровские солдатские шлемы, многорукие индийские боги, вырезанные из дерева, костяные статуэтки-пепельницы, стоявшие некогда в пышных гостиных, люстры былого величия Австро-Венгрии, потертые юбки, грязные пиджаки, тронутые молью дамские горжетки — от всех этих многообразных и бесполезных вещей на прилавках, от повышено возбужденной толпы, от плотной толчеи всюду исходил шерстяной запах мокрой одежды, сырого снегопада. Вокруг нестеснительно толкались неопрятные бородатые парни в донельзя заношенных джинсах, громко смеялись, обнимая длинноволосых девиц, хлюпающих лиловыми носиками, пили прямо из бутылок пиво и шумно закусывали сосисками из целлофановых пакетов.

И Крымову бросилась в глаза молодая женщина в короткой заячьей шубке, с бледным, истонченным лицом — она отвела взгляд, когда он неожиданно задержался около ее необычного товара. На подстилке, разложенной у ног, лежали две хохломские ложки, набор русских матрешек и разноцветные мотки шерсти. Крымов с любопытством рассматривал отлакированных влажным снегом матрешек, чужеродных, случайных здесь, на венской толкучке, и тут же подумал, что эта женщина его соотечественница, уехавшая, по-видимому, в поисках земного рая...

А она не подымала разительно черных на белом лице ресниц, хотя он стоял уже дольше, чем следовало для праздного интереса. Она, должно быть, почувствовала в нем не рыночного ротозея, а человека из дальнего края, которого не хотела бы встретить в такой неприятный, продутый ветром день вот тут, на унижающей толкучке.

— Вы не из России? — наконец решился спросить Крымов, видя вблизи ее усталое красивое лицо, ее заячью, совсем новую шубку, в которой, вероятно, так тепло и кокетливо было ходить в трескучие морозы, а теперь было зябко стоять на ветру, в растоптанной множеством людей снеговой каше. — Простите, — добавил он. — Я заметил хохлому, русских матрешек, поэтому подумал...

Ее изможденное лицо изменилось, порозовело, выгнулись дуги атласных бровей, она вскинула большие, ожигающие печалью глаза и сейчас же опять опустила ресницы, тонкой рукой без перчатки запахнула шубу на горле и ничего не ответила.

— Я ошибся, — проговорил Крымов, извиняясь за созданное им неудобство. — Энтшульдиген зи, битте, мадам.

И выговорив немецкие слова извинения, увидел, как ее рот исказился болью, и она сказала сдержанным грудным голосом:

— Мой муж умер от инфаркта месяц назад. Я без средств.

И Крымов, удивленный звуком ее голоса, изысканно ясным, интеллигентным русским произношением, какое, казалось, невозможно было услышать на этом рынке, в суматохе, в перекриках возбужденных пивом и торговлей бородатых парней, спросил:

— Где вы жили — в России, на Украине?

Она торопливо достала сигареты из кармана шубки, а сигарета подрагивала в ее точеных пальцах с облезшим маникюром на ногтях, женщина спеша чиркала колесиком зажигалки, никак не могла высечь огонь (должно быть, озябли руки), и Крымов помог ей своей зажигалкой. Она прерывисто вдохнула дым и, кутая воротником шеи, сказала:

— Из окон нашей квартиры был виден Тверской бульвар.

И он увидел Тверской бульвар за железной оградой, весь в сугробах, заснеженную крышу МХАТа между деревьями, завьюженные липы под окнами, обжитую, удобную квартиру и ее, эту молодую женщину, выходящую из подъезда в вечерние огни бульвара, и даже увидел, как она на остановке, садясь в троллейбус с за-

морожеными стеклами, расстегивала заиндевелый замочек сумки, чтобы достать проездной билетик. И вообразив это, он остановил взгляд на мотках шерсти, мокрых от растаявшего снега (эти намокшие мотки особенно выказывали непоправимое несчастье), и, понимая безнадежность жалости и сострадания, сказал небрежно:

— Я хочу купить у вас матрешку. Сколько она стоит?

— Я не помню,— ответила она вполголоса, опуская глаза.

— Почему?

— Я знаю: у советских туристов нет лишних денег,— проговорила она, и ее нетерпеливость, с какой она курила, снова напомнила ему Москву, зимний вечер, съезд и тесноту машин у Дома кино на Васильевской улице, чью-то очередную премьеру — в просторном фойе хорошо одетые женщины курили в креслах, смеялись, говорили о последнем фильме Феллини, о бракоразводном процессе Элизабет Тейлор, об ужасно затянутой картине Антониони...

— Я через два часа улетаю в Москву,— сказал он и безмятежно вынул бумажник.— Деньги мне уже не нужны. А матрешка чудесная. У меня сто шиллингов. Этого хватит?

Она взяла деньги, и в ночной глубине ее расширенных глаз скользнуло тихое необратимое отчаяние, отчего у него сжалось сердце.

В отеле, собирая чемодан, он долго вертел в руках эту купленную на «блошином рынке» матрешку и, не изменяя прочному военному и послевоенному суеверию не брать вещей по несчастью, оставил ее в номере (как сувенир) на постельной тумбочке вместе с последними тридцатью шиллингами прислуге...

«Но как и чем неудачные мои поиски счастливой площади и та молодая женщина касались меня и Ольги? Возможностью радости и возможностью несчастья? А Джон Гричмар? А Молочков? А отец Ирины? Нет, не хочу о них думать, я непереносимо устал».

Крымов потер виски, стараясь массажем успокоить не проходившую головную боль, а ему надо было сейчас во что бы то ни стало расслабиться, снять напряжение, как он иногда делал после тяжелейших репетиций и съемок: погонять машину по кольцевой, въезжая на незнакомые проселки, останавливаться, выходить, дыша лесным и полевым воздухом, прогретым ветерком, снимавшим усталость.

Да, да, Гричмар...

«„Когда я просыпался в третьем ряду, то понимал, что твой фильм гениален“. „Когда я просыпался, то понимал...“ Кому я сказал такую фразу? Именно Джону Гричмару по поводу его картины. И что же? Да он и не обиделся, он рассмеялся. Формалистическая скучища, напичканная Фрейдом. Однако в фильме была сцена поразительная — отец и дочь встречаются в тайном ночном клубе в разных компаниях, дочь не видит отца, и отец наблюдает из полутьмы за ее добровольным стриптизом, потрясенно узнавая, стыдясь, страдая, готовый сойти с ума... Что мне лезет в голову? Опять Молочков? Сидел всегда как замерший в ожидании кузнецик на диване, сама преданность, влюбленность — зачем, зачем ему четыре тысячи? На дачу? Воздух для Сони? Какое имеет значение — на дачу или в сундук. Как душно, нечем дышать было на шоссе. Сейчас направо поворот — и лес. Все пройдет, все забудется в лесу по дороге на дачу. Ни Гричмара, ни Молочкова, ни той женщины на «блошином рынке», ни той счастливой площади в Вене... Каким образом они имеют отношение ко мне и Ольге? Вернулся из-за границы, здоров ли, доволен ли, но обласкан Западом... Так ли? Хочу забыть, не хочу помнить многое. «Когда я просыпался, то понимал...» Она замучила меня, эта фраза. Ее надо забыть. И Джон Гричмар тоже забыт с его

ошеломляющей сценой в фильме, и Париж с его пляс Пигаль, и отель с коктейлями в баре. И Балабанов с багровеющим лицом, и неподкупный Пескарев с его костылями, и те работники студии в коридорах со своим жалким злорадством. Да не они жалки, а я сам и то, что было прошлой ночью... Только одно было тогда страшным — холод Ольги и мое одиночество. Но куда я мчусь и зачем? Куда свернуть? Где лес?»

Жгучее пекло на шоссе, скользящий блеск, удары мушек в стекло, накаленный ветер, вонь размякшего асфальта, выхлопных газов — бесконечная кольцевая вроде бы сразу и навсегда кончилась, едва машина свернула в лес, на узкую, испещренную пятнами солнца дорогу, где мягко подуло в окна прохладой и нижние ветви елей освежающими веерами замахали над ветровым стеклом, обдавая то светом, то тенью.

«Все кончено, все позади и кончено. Моя машина — моя крепость, мое убежище и прибежище, прибежище от всех бед, — подумал с иронией Крымов, силясь наслаждаться прохладой, лесным воздухом, и тут вспомнил фразу любимого Толстого из дневников девятисотого года — прекрасную фразу надежды: «Если буду жив. Живу и пишу. Как будто несколько бодрее себя чувствую». — Да, бодрее, бодрее. Все великолепно. Все чудесно. Все отлично. Если буду жив...»

И не понимая, что с ним происходит, Крымов почувствовал, как подступают, горячо душат его слезы, жаркой пеленой застилают глаза; он стиснул зубы и неумело заплакал от смертной усталости, от тоски, глотая рыдания, опуская голову, как будто кто мог услышать, увидеть его в машине, его слабость, которую он ненавидел в других и которую так сладостно, отчаянно и горько познал сейчас.

Глава двадцатая

Это было огромное, напоминающее спортивный зал помещение со стеклянными звуконепроницаемыми стенами — посередине чудовищным сооружением темнела металлическая гильотина, сверкая косым острием поднятого топора, с выемкой ложа внизу, куда обреченный должен был положить голову, перед тем как освобожденный бритва-топор упадет на подставленную шею, разрубая позвонки...

Он уже предчувствовал огненный ожог боли, свой последний немой крик с закрытым ртом и видел собственное обезглавленное тело, кровь, мертвую голову, крутящуюся в корзине. И от этого последнего, неумолимого, что предстояло ему, окатывало ужасом и леденели волосы на затылке, подкатывала тошнота.

Какие-то тени проступали в камере, одна стена которой была подобна широкой двери в сторону стеклянного помещения, на этих тенях жестко скрипели ремни, а безликие лица были учтивы, добры, изъявляли законную расположенность к нему перед уходящими минутами его жизни. Они, тени, что-то ненадоедливо делали по углам, ждали несуетливо. Кто-то спросил спокойным белым голосом, желает ли он выкурить сигарету, и он весь вострепнулся, окончательно сознавая, что вот оно, прощальное удовольствие на земле, что ему (ведь еще в детстве читал и знал про это!) разрешают исполнить желание приговоренного к казни. Он понимал всю бессмысленность того, что ему предлагали, понимал — все, что должен сделать или не сделать, ничто не имело значения — и сказал тупо, еле шевеля коснеющим языком: «Да». Ему подали зажженную сигарету, приторно-терпкий дым одурманил его, и мгновенно закурилась голова. Стекланный зал, стены, темное сооружение с косым топором сверху, приготовленным для него орудием смерти, поплыли в белесом туманце, и слабость облила липкой испариной. Он тяжело одурел, едва не потерял сознание, опершись грудью и руками на ка-

кой-то стол, вокруг которого двигалось и кружилось смутное, белое. И в этом белом не исчезали, присутствовали безмолвные тени, одна из них неощутимо вынула из его рта сигарету, вкус и запах табака исчезли, стало легче, белое рассеивалось в камере, и опять ласковая тень вкрадчиво спросила его, не желает ли он стакан красного вина, и если желает, то пить следует медленно, иначе не будет удовольствия... Испытав тяжелый дурман сигареты, он хотел отказаться от стакана вина («Почему стакан, а не бокал?»), но в одурении сигаретным дымом был ядовито-приторный порочный привкус наркотика, этот наркотический привкус мог быть и у красного вина, которое не было любимо им в другой, свободной жизни. Но глоток теплой красной жидкости из стакана, незаметно поднесенного, вложенного в его руки неотступной тенью, влился в горло вяжущей густотой и имел цвет человеческой крови, он поморщился, почувствовал ее солоноватый вкус и вместе хмельную приятность когда-то испробованного во Франции сухого красного вина.

«Чьей силой я подчиняюсь, чьей силой я соглашаюсь с ними? И почему на теньях ремни?.. Кто меня заставляет? Меня никто не насилует, не упрощивает. Ведь все не имеет смысла, через несколько минут меня не станет».

Странно было и то, что он не ответил отказом, возмущением, криком, когда бесплотный голос нежно спросил его, желает ли он увидеть женщину, и тотчас возникла в камере тонкая, сильная фигура женщины. Она вошла вся в прозрачном, волнисто покачивая бедрами, а когда приблизилась той же покачивающейся спутанной походкой, сквозь бесстыдное одеяние молодо, доступно и грешно обозначились крупные литые груди с коричневыми сосками, изгиб стана, живот, стройные ноги.

«Бессмысленно», — толкалось в его сознании, и хотелось забиться в угол, вдавиться в стену, отрицая и проклиная работу сознания, которое как бы ясно воспринимало происходившее в камере и одновременно веско и безнаказанно повторяло: «Бессмысленно все, что не повторится завтра. Бессмысленно все, что завтра не будет чувствоваться тобой. Надежда — в творении. Нет надежды — смерть. Смерть почти все существующее делает бессмысленным. Смысл остался один: перешагнуть туда через боль, отчаяние...» «А там будет смысл или не будет? О, если бы там был смысл! Смысл — это жизнь, вернее, не исчезновение навечно. Существование в другой форме — телесной или бестелесной, существование духа, только бы не пропасть, не исчезнуть бесследно, не превратиться в ничто. А почему, господи? Почему я боюсь исчезнуть навсегда? Может быть, в этом и есть великая закономерность — исчезнуть, раствориться, то есть не чувствовать после исчезновения ничего? Жизнь — ощущения жизни. И, значит, желания. Пустота, когда их нет. Смерть — темнота, провал, нескончаемый полет куда-то. Если бы было так — ощущение бесконечного плавного полета в темноту. Но это жизнь, жизнь. Быть пылинкой в мироздании. Стать пылинкой... Я верю и не верю. Больше — не верю. Что чувствовала она в последние минуты? Подумала ли она обо мне, как я подумал о ней сейчас? Нет, это не любовь, это было что-то другое. Значит, я жалею и помню ее до сих пор. Разве все случилось со мной из-за нее? И — гильотина? И кто меня осудил на казнь? Я совершил преступление? Только в одном, как я помню: мне нужно было повернуть руль вправо, чуть-чуть вправо, к обочине, а я повернул его влево... Почему руль не был послушен мне? И почему в голове мелькнули фразы, сказанные кем-то во сне: «И ничего — и ни единого шага. И ничего — и ни единого смысла»? Я хотел поиграть с судьбой?.. И какими прекрасными показались эти чужие фразы, обещающие отдых, покой, блаженство вечерней тишины. Фразы, произнесенные кем-то в тот момент, когда навстречу несло грохочущее, дымящее»...

«И это со мной было?»

Прошлой ночью он проснулся от беспричинного страха и, задышавшись, лежал в поту, в оцепенении, а страх заполнял холодом его всего, сбивал дыхание спешащими ударами сердца, сдавливал тоской, отпускал на миг и вновь разрастался беспричинный ужас перед чем-то последним, роковым... И он, мотая головой на подушке, ожидал и уже торопил крайнюю секунду, когда разорвется сердце и прекратится все, но сердце не разрывалось, не останавливалось, и мука пыгающими зубьями, колючками льда вонзалась в него. «Скорее бы кончалась ночь, я не вынесу этого»,— говорил он себе, глядя в темноту комнаты, в ту сторону, где должны быть окна, и вдруг явственно почувствовал, что дом уходит, опускается, скользит под землю, в раздвигающуюся бездну и чернота с хрустом смыкается над ним многометровой толщей, сгущается, стискивает, давит на крышу, на стены, на двери («Вот так, вот так ушли недавно под землю два отеля в Калифорнии!»),— и в этом всасывающем падении, в душной подземельной тьме невозможно было позвать на помощь по телефону с оборванными проводами, в то время как он знал, что неотвратимое наступило, пришло, настал срок, что в закупоренной темноте провалившегося дома сейчас все кончится и он не успеет найти, спасти ни жену, ни дочь, которые были где-то здесь, в соседних комнатах. И, напрягаясь, он крикнул, позвал их, но из груди выполз жалкий сип: «Оля... Таня...»

«Это конец, конец,— думал он, наполовину вынырнув из кошмара.— Я осознаю свою гибель, прощаюсь с самим собой, с женой, с дочерью и представляю, какие муки испытывали заживо погребенные, приходя в сознание среди непробиваемой тьмы с запахом гробовых досок и могильной сырости... Что испытал Гоголь с его воображением там, под землей, труп которого при вскрытии могилы был найден, как говорят, перевернутым? Он сошел с ума? Я тоже схожу с ума, потому что теперь не сомневаюсь: все, все, что делал, что любил, исчезнет вместе со мной. Так, может быть, ложь— спасение? Да, самая правдивая правда становится бессмысленной, если исчезнет ложь, кем-то внушенная человеку о непрерывности его жизни. И мы все подчинены спасительной лжи. Это великий обман, чудодейственный обман о бесконечности дней на земле и бесконечности удовольствия жить, что выше всех правд, ибо держит нас в надежде делать что-то... Может быть, правда живет под защитной крышей лжи? Неужели она только жилец, постоялец, снимающий комнату в доме великой лжи, которая от рождения внушает всем нам: может быть, ты и не умрешь... по крайней мере с тобой это случится гораздо позже, чем с другими, а может, и не случится?..— продолжал думать он, радуясь в полусне этому оправданию человеческих деяний и страданий.— Самая чистая правда не имеет никакого значения перед великим обманом, которого хотят сами люди. Не было бы той лжи— и не увидел бы я ни застывших в небе верхушек берез, ни той царственной звезды, как было вчера. Значит, жизнь— спектакль, сценарий, в котором действуют, двигаются, чего-то желают герои, не думая, не желая думать о том, что неизбежно задернется занавес. И я должен видеть этих героев, чтобы понять свой спектакль в душе. Игра? О чем я? Имею ли я право так думать? Да, значит, и меня делает иногда в меру счастливым, в меру довольным не победимая никем ложь о бесконечности моей жизни?.. Я нарушаю что-то, я переступаю запретную грань, за которой тайна тайн вечности и тайна непостижимого человеческого бытия... Страх перед смертью исчезнет, когда будет найден и осознан смысл жизни. Но думают ли об этом люди всерьез? И знаю ли я этот смысл?.. Но куда мы проваливаемся? В какую пропасть летит наш дом?»

И Крымов очнулся в тумане сна, приподнялся на постели, с мгновенным облегчением слыша скрипящее трезвое тиканье будильника,— в кабинете светлел воздух, и, казалось, во всем мире стояла тишина летней ночи, прохлада вливалась в открытое окно, омывая ему потную грудь. На ощупь зажег в изголовье дивана свет, ударивший в глаза избыточной яркостью, и тотчас выключил его.

Еще во власти сна, он до последнего слова вспомнил вчерашний разговор с Ольгой в ее комнате, этюд, прислоненный к стене, струистый след звезды в вечерней воде, увиденный им с моста и на ее пейзаже. «Какое удивительное совпадение! Мы одновременно увидели одну и ту же звезду. Какая же связь между этой звездой и кошмарным сном? Между звездой и ложью... Да что там доискиваться какой-то мистической связи! Я обманул в чем-то и Ольгу и Таню, любя их без памяти. Но так ли? А можно ли было иначе? Грешен, жалок во всем!»

И Крымов то зажигал свет, тщетно принимаясь читать, то снова гасил, тер грудь, глотал воздух, подставляя лицо ветерку из окна, где в саду перед рассветом было немо, безразлично, пустынно. Шершавый холод знобил, сжимал его тоской, задышалось сердце в предчувствии, что сейчас в мире произойдет нечто глобальное, страшное—столкнется Земля с гигантским астероидом, остановится в черноте Вселенной; и чудилось, что в эту минуту умер кто-то из близких, случилось несчастье с детьми,—и тогда он садился в постели, сидел, глядя на раздернутые занавески, за которыми еще была ночь, равнодушная, медленная, не помогающая ему ничем, и молил ночь, чтобы она скорее кончилась, иначе он сойдет с ума от одиночества, необъяснимого страха, от предчувствия беды.

В соседней комнате спала Ольга, и надо было сделать усилие, перестать думать о том, что мучило его, не давало ответов, заставить себя найти меру спокойствия и войти к ней, лечь рядом, поцеловать ее, сонную, едва отвечающую своей стеснительной ровной нежностью.

«Ты знаешь, в моем возрасте глупо говорить это, но я люблю тебя, как и двадцать лет назад»,— начал он повторять пришедшую в голову фразу, которую должен был сказать ей, но точно бы пошлостью обволакивалась заранее эта произнесенная фраза, и он отбросил ее, понимая, что пришло чужое, не его, что после таких слов он не сможет взглянуть в ее тихо упрекающие бархатные глаза.

И вспомнилось: вчера у нее было такое выражение глаз, будто она ждала какого-то слова, ждала некоего примирения, хотя не было между ними той размолвки, что нуждалась бы в мире. Ольга не была создана для семейных ссор и не выказывала самолюбивого желания победы над ним. Она и вчера не словами упрекнула его, а незавершенной улыбкой, и от этого было еще тяжелее думать о ее безгрешности, о своей вине перед ней.

«Оля, что бы ни было, ты не должна не верить мне»,— нашел он наконец слова и, вновь отбрасывая эту оправдательную фразу, не зная, что делать с собой в бессонном одиночестве, нерешительно вошел в ее комнату, постоял в сероватой темноте возле Ольгиной постели и осторожно лег с краю, пересохшими губами коснулся ее оголенного плеча, показавшегося очень теплым, детским, незащищенным.

— Оля,— сказал он беззвучно,— прости меня...

— Я не понимаю, зачем ты меня разбудил,— сказала вдруг она не поворачиваясь, четким голосом, поразившим его раздражением и холодностью.— Я не спала ночь. Я только заснула. Господи,— прошептала она с мольбой,— зачем я вышла за тебя замуж? Мне нужен был обыкновенный человек... Что же нам делать теперь, Вячеслав? Разойтись?

— Я бы мог тебя освободить, Оля, если б не любил,— проговорил он хрипло.— Поступай как лучше.

— Умоляю, уйди, пожалуйста. Я не вынесу...

В кабинете он упал на диван и, чтобы хоть немного успокоиться, потянул с тумбочки дневники Толстого, но текст не воспринимался им, был черным, каменным в недвижном свете ночной лампы. Он не сумел прочитать ни строчки, смотрел на ослепительную страницу и неизвестно почему ждал телефонного звонка, оповещающего о несчастье,— внезапного запредельного сигнала. Но весь дом молчал, вне времени, одномерно и трезво постукивали часы, ни одного звука не доходило из комнаты Ольги. Мертвый безлунный сон витал над миром, и дальняя неясная мысль говорила тихонько, что он должен обязательно заснуть— в этом спасение. И думая, что вот-вот наступит предел и освобождение из тисков бесконечной ночи, он, лежа на спине, начинал массировать грудь, глубоко дышать, считая до ста, потом гасил свет, закрывал глаза— и тут из тьмы на мохнатых лапах подходил к постели беспричинный страх, все тело напрягалось, и необоримая тоска безысходности гнала его встать, одеться и сию минуту бежать по аллеям поселка куда глаза глядят, бежать на край земли... Но это было бы уже безумием.

В ту ночь он понял, что одинок до конца дней своих и никто помочь ему не сможет.

«Откуда эти голоса? И почему-то я слышу их так явно, так близко, что различаю нерусский акцент. Кто говорил с таким резким знакомым акцентом? Это мой друг... его имя вертится у меня в голове, но не могу вспомнить...»

— Надо думать уже о земле, думать, думать как бешеным...

«О земле? А о человеке? Что земля без человека? Для чего она? Для кого она?»

— Смотреть на огонь, на воду, на землю в миллиард раз интересней, чем на экран и в телевизор. Как это сказать? Жизнь подменяют игрушкой, нет... игрой в жизнь. Весь мир играет в дешевую красоту. Дураки и самоубийцы. Там у меня в мастерской... то есть в кабинете только воробьи и все другие хорошие птицы в окна чирикают. Летом в три часа спать нельзя— концерт. И птиц погубят. В музее будем смотреть на воробья. Как на птеродактиля.

«Какая горечь, какая тоска, какая злость в его словах!»

— Сейчас родится человек с нечеловеческой диспозицией. Без интеллекта. Человек-машина второго сорта. Он играет с деньгами и вещами, а сердце летит та-ак...

«Что значит «та-ак»? Кажется, тут был смысл вот какой— сердце не было в согласии с этой диспозицией. Люди поддались всеобщим соблазнам и перестали жить в согласии с собой».

— Дети, дети... Может быть, они идут по спинам отцов.

«Кто? Нет, не просто дети. Дети человечества? Дети всего мира? Что ж, в этом вечная и страшная правда...»

— Человек не виноват в том, где он родился и как он родился... Пока есть лицо, речь, руки— это симфония. Плохая, но музыка. Американцы хотят видеть человечество в операционном зале. Кричат о моральном превосходстве над остальными, а сами страшные хирурги... мечтают превратить в дураков весь мир. Американцы— это проклятие Европы, а когда они уйдут, европейцы договорятся. Сейчас много людей с международными глазами. («Международными глазами... Что значит это?»)»

— Мы плохому учимся у вас, вы плохому учитесь у нас. У нас и у вас от этого будут сначала зубы болеть. Мы будем кричать от боли. Голова не должна закрутиться, а потом открутиться. Нет времени думать. Мы все убийцы и самоубийцы. С завязанными гла-

зами убиваем друг друга. И себя. Вспарываем вены себе, а думаем, что убиваем соседа. Глупцы с надутой грудью. Достоевский говорил: красивое, как это... красота будет спасать мир. Не так. Женщины спасут, если он не взорвется в восемьдесят восьмом году. Женщины, верные земле, как собаки. Мужчины предали землю, изнасиловали ее цивилизацией. Женщины сделают то, чего не ожидают сами. Им надоели безмозглые мужчины-политики, которые придумали войну и эмансипацию. Женщины не ангелы... Если бы женщины были ангелами, то мы бы их не захотели. Женщины — просто женщины. Они продолжают человечество...

Где происходил этот разговор? Да, да, они сидели перед очередным просмотром в фойе кинозала слегка хмельные от выпитого виски, и умные свиные глазки Гричмара светились устало, грустно.

«Оля не спасла меня, хотя я не политик, а она не просто женщина... Но когда и где все было — в каком веке, в каком мире? Я стал забывать... Кажется, пятьдесят седьмой год, под Москвой? Она рвала стручки на ветке акации, легкая юбка подымалась, обнажая ее полные колени, непорочное утолщение бедер, и это сводило меня с ума... Она была единственной женщиной, которая тянула меня к себе до беспамятства своей прохладной нежностью, напоминающей свежие апрельские вечера с прелестью тихого сиреневого воздуха...»

«Может быть, эта боль — возвращение к самому себе? Спасение в том, чтобы вернуться назад, очиститься? Да ведь позади пустота, ничего не было — ни войны, ни любви, ни фильмов, ничего не было. Неужели я вернулся к тем святым и чистым минутам своего рождения на свет, когда еще ничего постыдного не было?.. Неправда, главное было. Моему рождению предшествовала любовь отца и матери. Неужели я вернулся к тому началу, к той любви, которой обязан всем, к своему благословенному детству? А что было потом в моей молодости?

Война, риск, награды и вместе постоянная мысль о том, чтобы выжить, а иногда в гибельные минуты мерзкое желание, чтобы легко ранило в руку или в ногу, и мечта попасть в госпиталь, отлежаться, отдышаться в тылу хотя бы полмесяца... А я считался чуть ли не самым храбрым лейтенантом в разведке. Мне было двадцать лет. Зачем я прострелил ему руку? Жалость? Хотел избавиться от него? От его страха? Чего я хотел всю жизнь? Удовлетворения честолюбия, хотел любви, хвалы людей, их восторга, их слез? Как ничтожно, как непростительно... Невозможно многое вспомнить без стыда, без отращения к самому себе. И что была моя жизнь — дурман или естественное состояние? Иначе я ее прожить не мог. И редко кто возвращается к детской чистоте. Если бы можно было... Что со мной случилось? Сколько мне лет? Гораздо больше пятидесяти... В то же время и двадцать и сорок... И все-таки это я лежу на том столе в стерильно белом окружении кафеля... Но что они делают со мной? И почему я плыву в воздухе над белизной стола и вижу себя сверху, и непонятно, для чего же она наклонилась надо мной, молоденькая медсестра, я вижу ее молодой лоб, ресницы, и она касается губами моих губ. Для чего она делает мне искусственное дыхание? А я уже не хочу возвращаться... где-то ждет меня, зовет и обещает покойное, радостное, как ясный весенний вечер, как золотистый закат на вершинах берез... и благодатная растворенность во всем. Я плыву по воздуху к этой закатной тишине, к этому покою, и нет боли, и нет той непереносимой тоски. И я хорошо вижу Ольгу; она в каком-то бедном сереньком костюме сидит в коридоре, ожидая последнего, что должно случиться со мной, и неслышно плачет. Значит, она любила меня и еще любит?.. И любимая моя дочь, моя радость Таня уткнулась ей в плечо и вся замерла, а капельки слез катятся из ее

глаз. Почему-то Валентина нет с ними. И добрый мой друг Стишов стоит у окна, заложив руки за спину, и кривится, и кусает губу. Милые мои, не надо этого! Я не могу вам сказать ничего. Не могу прикоснуться к вам, успокоить. Но у меня уже нет желания жить»...

И в эту секунду ему представилось, что они с Ольгой пообедали в маленьком, совсем пустом, почти без официантов ресторане, где на безлюдных столах лежали накрахмаленные толстые салфетки и пугающие, огромные карты-меню, и одни вышли на воздух немыслимо крошечного городка. Солнце было перед закатом, грустно золотило каменные стены узеньких, чисто выметенных из конца в конец, пустынных улиц, и ему почудилось, что северный русский городок этот не на земле, а в царстве светлой печали, вечного молчания, а когда подошли к парапету в конце улочки, где тоже не было ни живой души, внизу открылась долина, и глубоко в долине текла река, уходила в красноватый туман на горизонте, извиваясь, блещущая, вдаля, как на краю света в ущелье, как перед обрывом во врата рая, а там над невидимыми вратами стояло низкое солнце, туманными брызгами серебрилось в воде, и всюду была легкая тишина, желтизна осени, дул мягкий, бесшумный осенний ветер... Потом одиноко прошла баржа по розовой воде без единого звука, без волны, казалось, без людей, без команды и растаяла на краю света призрачной тенью.

И тогда ему подумалось, что все мы не бессмертны, и он сказал Ольге шутливо:

— Я не хочу, чтобы ты пережила меня. Тебе будет плохо. Мы должны вместе.

— Я тоже не хочу после... Я ведь люблю тебя, дурака моего ужасного...

Он вспомнил об этом в тот миг, когда ровный широкий поток высокого воздуха, пахнущего прелой листвой, винной сыростью осенних лесов, плавно вынес его над ущельем, над вратами рая, где прощально, успокоительно светило солнце в предвечерней воде северной реки и где впереди лежал в сиреневой безграничности безымянный океан, манящий теплом, покоем, благостью, обещанием вечного душевного спокойствия.

Потом он увидел песок, сахарно-белый, насвозь прогретый, в котором по щиколотку блаженно утопали босые ноги, увидел себя одного-единственного на берегу океана, упорно шагающего в бесконечность. Скоро он услышал волнообразную, неземную музыку, она воздушным пареньем текла из девственно зеленеющего тропического леса, счастливо рождаясь где-то в глубинных чащах, затем увидел на изумрудной траве солнечные полосы меж гигантских деревьев, и доплыл чей-то ласковый спрашивающий голос, не имеющий звуковой плоти:

«Кто ты? Как ты оказался здесь? Как твое имя?»

И он хотел упасть на колени, ответить, что потерял надежду, разочаровался в людях и, разочаровавшись, переступил, нарушил что-то, подобно своему другу Джону Гричмару, возненавидевшему человечество за его ложную цивилизацию, однако не Гричмар, а он был неискупимо виноват, и попытался вспомнить и назвать собственное имя. Но только вспомнил, что пришел сюда из далекой страны синего неба, тонких голубых теней на мартовских сугробах, испещренных капелью, куда вдруг потянуло вернуться от этой жемчужной беспредельности океана, где вокруг было мертво, неподвижно, вернуться назад, в оставленную страну синевы и весенней капли, со страстным желанием опять увидеть, испытать, ощутить все то земное, что приносило нестерпимую боль, называемую на том языке болью жизни. А тот же ласковый голос без звуковой плоти стал убеждать и внушать ему, что он совершает путь возвращения к самому себе, к первоначаль-

ной чистоте, что он такой, как многие, жившие на земле, что он часть целого и теперь не имеет значения, заблуждался он или не заблуждался, ибо царство добра знает предел, проявление зла не знает предела.

«Да куда же я иду? Какая неземная печаль в этом пустынном блаженстве!.. Опять бы туда, назад, к той боли, к Ольге с ее тихими глазами, к смешливой моей Тане, к Балабанову, к Молочкову, ко всем грешным и, в общем-то, несчастным, туда, туда, к ним! Да как же твое имя? Кто ты? Вспомни! Как ты оказался здесь?»

Но вспомнить свое имя он уже не смог, как не смог почувствовать навсегда ушедшую боль и в последние секунды понять, почему возникли среди летней травы на бугре распахнутые ворота древнего каменного монастыря, залитого полуденным солнцем, виденного им когда-то на Севере, и почему представилась высокая монашка вся в черном, траурном, мучительно знакомая родным взглядом бархатных глаз, с белым платом на черной шапочке, с красивым, мокрым от слез лицом, которая шла ему навстречу в сопровождении худого и изможденного протоппа Аввакума, в смертельной тоске прижимая к груди молитвенно сложенные руки.

1981—1984.



ФЕЛИКС ЧУЕВ



СТИХИ

* * *

Когда понесся в оттепель
весь мусор по реке,
река сказала: — Вот теперь
пожить бы налегке,

без льдов великолепия,
скрывающего грязь,
что вдруг, как тучи летние,
явилась, разъярясь.

Хочу вернуться в детство я,
в кристальный свой родник,
где, с солнышком соседствуя,
весь лес ко мне приник.

Прошла б любые трудности
открыто и тайком,

чтобы остаться в юности,
неспешным ручейком.

Но нет — рекою стала я,
ручьи сосут ключи,
веселье и шалые,
как будто бы ничьи.

Но тот родник у дерева,
глубинная струя,
просторы нераздельного
пути — все это я.

Как будто бесконечная,
несу свои года,
которые, замечено,
проходят, как вода.

* * *

Когда я выйду из больницы —
еще я выйду, буду жив, —
Москва слегка посторонится,
мне чуть пространства положив.

Пойду пешком на Маяковку
от честной радости своей,
что так могу, и в Третьяковку
свожу подросших сыновей.

И буду видеть словно чудо
меж всеми нити-провода,
а дальше снова позабуду,
что так бы надо и всегда.

Стихи о выдумке

Пишите правду — это ведь немало, —
чтобы она, как светлая сирень,
свои ладони в небо окунала,
росинками высвечивая день.

Но если только правда, просто правда
на строчках разлеглась, обнажена,
то и тому она уже не рада,
что правдой прозывается она.

И все невыносимей и досадней
не то, что в ней ни тайн, ни покрывал,
а хочется, чтоб гнался Медный всадник
и кот в трамвае гривенник совал...

Ленинградские строки

Еще война дошла до середины,
еще блокаду надо превозмочь,
уже медаль «За взятие Берлина»
Монетный двор чеканит день и ночь.

И память попадает в промежуток
меж мамой и победой впереди,
и летчики летят без парашютов,
чтоб больше хлеба в город привезти.

..*

В окне вагона Сашка проплывает,
блестят глазенки взрослые его...
И жизнь моя совсем не голубая.
Семнадцать мне. Ему-то шесть всего.

Стекло в закатном стынущем горниле,
ползет по раме пыльная оса.
Три года мы как маму схоронили,
четыре лета нет у нас отца.

Увозят к дядьке. Мне учиться нужно.
Я знаю: заберу его потом.
Тридцатого июня было душно,
и руки пахли Сашкиным теплом.

Я шел по шпалам. В небе ледяные
белели самолеты надо мной.
Я шел домой. И полосы стальные
тянулись долго-долго за спиной.

Как будто я к ним накрепко привязан
и на себе впервые поволок
своей судьбы грядущие рассказы,
в которых долго буду одинок.

Теперь на мне и жизнь моя, и Сашка,
и кем мне быть, и целая страна,
которой тоже с детства было тяжко.
И я не знал, крепка ль моя спина.



УИЛЬЯМ СТАЙРОН

★

И ПОДЖЕГ ЭТОТ ДОМ*

Роман

Теперь, когда я пытаюсь вспомнить тот вечер по порядку, мне кажется, что примерно отсюда начинается целая цепь загадочных происшествий, становившихся все более и более непонятными, все более и более озадачивающими и безобразными, по мере того как вечер переходил в ночь и ночь — в утро. Все это казалось странным, но не особенно существенным, и поэтому мне теперь трудно восстановить подробности. Тем не менее вот что было дальше, насколько я могу вспомнить. Со своего нового места я увидел, что величественный старик дворецкий — Джорджо, как назвала его Розмари, — с подносом в руках прошел сквозь околдованное музыкой собрание и зашептал что-то хозяйке, которой пришлось из-за этого сильно поклониться. Она встревоженно нахмурилась, окинула нерешительным взглядом гостей и наконец, углядев меня, направилась в мою сторону, а Джорджо следом за ней. Мелодия с прощальным трепыханием истаяла за ее спиной, гости, выйдя из столбняка, разразились громкими рукоплесканиями и криками — очевидно, напрасными — «еще, Билли, еще!», после чего, жужжа, рассредоточились по всей огромной комнате.

— Питер, — сказала Розмари, — надеюсь, вас это устроит. Это от нашего обеда и... — Она сделала движение рукой, и Джорджо поставил поднос на столик около меня. — Настоящая американская еда, в смысле... настоящая. — Голос у нее был беспокойный и огорченный. — Питер, я не пойму, что мне говорит Джорджо. По-моему... по-моему, он говорит, что Мейсон порезался илн...?

Слова ее дошли до меня не сразу. Джорджо придвинул поднос. Посередине лежал обещанный бифштекс — толстый кусок филе с кровью. А сбоку кувшин с белым, пенистым, свежим молоком, которого я не видел бог знает сколько лет. Как помешанный я схватился за вилку и салфетку, но умоляющий голос Розмари остановил меня:

— Прошу вас, Питер, попробуйте понять, что он говорит.

— *Che è successo?*¹ — спросил я дворецкого. Это был сутулый, аристократического вида старик с белыми волосами, и глядел он озабоченно и хмуро. Интересно, где его Мейсон откопал, подумал я, он явно не здешний. — Что случилось с мистером Флаггом?

— У него исцарапано лицо, синьор. Ничего серьезного, но он послал меня спросить у синьоры, где у них то, что вы называете меркурохромо, и пластырь. Ничего серьезного, но...

— Как это случилось? — спросил я, на секунду перестав жевать.

— В точности не знаю, синьор, — огорченно и виновато сказал он. — Нам с синьором Флаггом несколько затруднительно... общаться. Но насколько я мог понять синьора Флагга, он упал на розовый куст.

— Розовый куст?

— Да, синьор.

Я перевел Розмари и насчет роз и насчет того, что Мейсон нуждается в медицинской помощи, но не успел я кончить и не успела Розмари с удивленным

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 1 с. г.

¹ Что случилось?

«ох!» и расширенными, испуганными глазами кинуться к нему на выручку, как Джорджо настойчиво зашептал мне, чтобы я ее немедленно остановил. Потому что синьор Флагг, по словам Джорджо, велел (и в этом он совершенно уверен) ни в коем случае не допустить, чтобы синьора сама пришла к нему на помощь. Ничего серьезного нет (при этом он обратил печальный взгляд на Розмари и повторил ей: «Non è grave, signora»), совершенно ничего серьезного. Смущенное и виноватое выражение его костистого длинного лица, отчаянно неискренняя улыбка ясно показывали, что он о чем-то умолчал.

— Он говорит, ничего страшного,— перевел я.— Может быть, Мейсон просто не хочет поднимать переполох. Где пластырь?

— В шкафчике,— ответила она с отсутствующим видом.— В шкафчике в ванной, в крыле, наверху. Скажите ему.

Дворецкий ушел, а я, опять принявшись за мясо, спросил:

— Где вы нашли вашего Джорджо? Как вы с ним общаетесь?

Ответа не было. Я посмотрел на нее. Все с тем же отсутствующим, удрученным видом она глядела на стену, вернее в пустоту; после прихода она успела закрасить синяк тоном, но он, наверное, еще болел — в забывчивости она то и дело трогала его пальцами.

— Что? — наконец очнулась она.— А, Джорджо? Фаусто нашел его нам в Неаполе. Он работал, кажется, у мэра. Одна наша служанка говорит по-английски — она у нас как бы посредница.— И, помолчав, грустно добавила: — Надеюсь, с Булкой ничего плохого не случилось. Надеюсь, ничего страшного. Как он мог упасть на розовый куст, Питер?

— Может быть, выпил лишку,— попробовал развеселить ее я.— Почему он к гостям-то не выйдет?

Но она меня как будто не слышала; ни слова не говоря, все с тем же встревоженным, отсутствующим видом и с явной неохотой, шаркая ногами, она пошла к гостям.

Еда меня волшебю оживила; нагрузившись сочным мясом и молоком, я впервые за день ощутил покой в душе, расслабленность и умиротворенность, граничащие с блаженством. Джорджо вернулся из экспедиции за пластырем и налил мне высокую рюмку мягчайшего коньяка. Взбодрившись от коньяка и уже не испытывая прежнего трепета перед знаменитыми артистами (наоборот — у меня нахально и без всяких на то оснований родилось приятельское чувство к ним), я встал со стула и ловко подобрался к окну, где над всеми возвышавшаяся Розмари беседовала с Алисой Адэр. Рядом с ними стояли коренастый, краснотлицый, очень милостивый молодой человек, стриженный ежию, и вся в побелке Доун О'Доннел.

— А-а, вы знакомы с Питером Левереттом? — сказала Розмари.

Настроение у нее как будто поднялось. Она представила меня Алисе Адэр, чью руку я пожал не дыша, а затем Доун и стриженному мезоморфу — имя его я не расслышал, обязанности его остались для меня тайной, вместо правой руки он подал мне левую, как венгр, и, не глядя на меня, сказал: «Привет». Оказалось, что это его голос велел мне кончать чихать.

— Ну что вы, милая,— говорила Розмари Алисе Адэр,— какая разница, что сказал Жак. По-моему, лиловое платье — восхитительное.

— Сол того же мнения,— отвечала Алиса Адэр. Голос у нее был немислимо нежный, с красивыми переливами, сочный, как у виолончели в среднем регистре. и я почти понял, почему люди часами выстаивают в очередях под проливным дождем, чтобы услышать его.— Сегодня вечером я позвонила Солу, и он тоже считает, что лиловое платье великолепно. А Жак боится, что на экране оно получится белесым. Или линиялым.

— Но на вас оно выглядит дивно,— сказала Розмари.

— На вас оно выглядит потрясающе, Алиса. Потрясающе,— сказал молодой человек.

— Я тоже так считаю,— ответила она,— но Сол сказал, что решающее слово за Жаком. Сол сказал, что цвет он знает как свои пять пальцев.

— Жаль,— сказал молодой человек.— Платье изумительное. Изумительное, Алиса.

— Сол беспредельно доверяет Жаку,— сказала Алиса Адэр.

— Вы из бостонских Левереттов? — огорошила меня Доун О'Доннел.

— Да нет,— сказал я,— вообще-то я родился в Порт-Уорике, в Вир...

— Мои родители — бостонцы, я там училась в школе,— перебила она.— Обожаю Бостон, а вы? Мы жили на Честнат-стрит в доме с сиреневыми окнами. Мои родители были очень богаты. Вы любите кошек?

— Ну... и да и нет,— начал импровизировать я.— Смотря...

— Я обожаю кошек. В Риме у меня персидская кошка — такой же масти, как мои глаза. Серо-голубая, как море. Как по-вашему, я красивая?

— Кончай, я тебя умоляю,— вмешался молодой человек, игриво схватив ее за руку.— Конечно, красивая.— Он снова повернулся к Алисе Адэр и сказал: — Розовое платье тоже выглядит на вас потрясающе, Алиса. То есть изумительно.

— Сол тоже так считает,— сказала Алиса Адэр.— Наверно, все-таки я буду в нем.

— Я заплачу,— сказала Доун О'Доннел.— Я сейчас заплачу. Где Бёрнси?

— Похожее розовое платье у меня было в «Только с тобой»,— сказала Алиса Адэр.— Сол говорил, что оно восхитительно.

— Оно было потрясающим,— сказал молодой человек.— Просто потрясающим, Алиса.

— По-моему, вы в нем выглядели волшебно,— проворковала Розмари.

— Ничего, если я заплачу? — спросила неизвестно кого Доун О'Доннел.

Как идущий вброд, я силенка держать нос над водой, но скоро с головой погрузился в расплывчатые коньячные грезы. Чуть погодя отошла Алиса Адэр, неся себя как бы в золотом ореоле своей красоты, и Розмари, будто почувствовав, что мне не хотелось бы застрять в обществе стриженного молодого человека и Доун О'Доннел, повела меня в другой конец комнаты.

— Слава богу, вам, кажется, лучше,— сказала она.— Днем вы были пепельного цвета.

— Куда же запропастился Мейсон?

Но прежде чем она успела ответить, мы столкнулись с доктором Беллом, который уже надел плетеную пляжную кепку и, улыбаясь до ушей, словно невидимой пасте, с видом щеголеватой святости пробирался к выходу.

— Доктор Белл, куда вы так рано? — воскликнула Розмари.

— Дорогая, я просил вас звать меня Ирвином,— с улыбкой ответил он и потрепал ее по руке.— Да, завтра мне надо рано встать и ехать в Пестум. Пожалуйста, передайте нашему молодому Мейсону, что я очень тронут его радушием. Я должен за многое поблагодарить Сола Киршорна, но ничто не может сравниться с удовольствием от знакомства с такой... — тут мне показалось, что он подмигнул ей из-за своих бифокальных очков,—...с такой красотой. До свидания, моя дорогая, и надеюсь, милостью господней пути наши еще пересекутся.

— Счастливо,— сказала Розмари.

— Спокойной ночи всем, и да пребудет с вами божия любовь.— С этими словами он вышел, увлекая за собой шлейфом запах лавровишневого лосьона и пота.

— Он подарил мне свою книгу с автографом,— сказала Розмари.— Пишет он такую... сладкую чушь. Но он... в общем, он знаменитость,— подумав, добавила она. А потом рассказала, как он здесь очутился.— За обедом было — брр,— закончила она.— Все вели себя паиньками — ради Сола. Я боялась, что Бёрнса хватит удар — так он себя сдерживал. Знаете, такого сквернослова свет не видывал. И всегда напивается.

Пока мы шли, я заметил, что человек, отчужденно стоявший в углу, оттолкнулся плечом от стены и как бы заодно от назойливого Раппапорта (того самого помрежа, который обляял меня днем) и, томно бросив ему: «Разберитесь с этим сами, Ренс», двинулся в ту же сторону, что и мы. В этом человеке были какое-то изящество и привлекательность, но они не поддаются описанию — все слова, которые приходят на ум, мне самому кажутся затасканными и серыми. Лет сорока пяти, почти совсем седой; лицу его недоставало какого-то пустяка, чтобы быть чересчур красивым; спасали его от этой безукоризненности экранного кумира, мне кажется, глаза: льдисто-голубые, они внимательно смотрели на мир, а не мечтательно внутрь себя, как у большинства красавцев,— смотрели с остороженностью, любопытством и пессимизмом. Он был довольно высок, скорее дол-

говяз. В походе его было что-то от чемпиона-теннисиста из любителей — и разболтанность, и вместе с тем грация прирожденного спортсмена. Туфли у него скрипели; пустой мундштук почти свисал из скептически сложенных губ. От него исходил чувственный ток (я заметил, как электрически встрепенулась при его приближении Розмари — наподобие, я бы сказал, кобылицы), но и тут давала себя знать какая-то осторожность, сдержанность, словно, все перевидав и всего отведав, все перепробовав, что можно перепробовать, он готов был уйти на покой, как и следует мудрому человеку в сорок пять лет. Не пресыщенность была в этом, а только опыт, горячий и горький. Меня удивил его голос — голос оказался мягче и тоньше, чем полагалось бы при его сложении, — и, пожимая мне руку с почти незаметной улыбкой, он сказал не «привет», а сдержанное и вполне любезное «очень приятно».

— Алонзо! — воскликнула Розмари. — Не собрались ли вы спать так рано?

— Хочу попробовать, дорогая, — ответил он.

— Алонзо, дорогой, чего ради? Вы же сказали, что съемки завтра во второй половине дня.

— Да и тех не будет, если погода не переменится. — Он втянул носом воздух, словно приюхиваясь к хмари.

— Все собрались купаться в бассейне. Алонзо, прошу вас, не ложитесь. Вы же знаете — вы мой самый любимый человек на свете. Пойдемте выпьем с Питером и со мной.

— Дорогая, — проговорил он мягким, приятным голосом, — двадцать лет я воюю с бессонницей. Я пробовал лечиться алкоголем, но понял, что кончу в ночлежке. Пробовал снотворными, но лекарство оказалось пострашней болезни. Так что теперь я могу только лежать и глядеть в потолок до рассвета, хотя, случается, повезет — засыпаю. Вы ведь не захотите лишить меня шанса на такую удачу, соблазняя меня этими ночными игрищами?

— Я?.. Ну конечно, нет, Алонзо.

Но вид у нее был глубоко разочарованный, и он покорно вздохнул:

— Хорошо, дорогая, я слаб. — Он взял ее под руку. — Дайте мне стакан газированной со льдом. И лимоном. Но учтите, Розмари, — добавил он, улыбнувшись мне, — если от ваших свиных забав я сорвусь в депрессивный цикл, как выражаются врачи, вина целиком на вас.

Пока мы шли к бару, за которым стоял в белом пиджаке официант из «Белла висты», Крипс спросил, не тот ли я приятель Мейсона, который попал по дороге в аварию. Я сказал — тот самый, и он сочувственно покачал головой.

— Розмари мне рассказала. Препаршивая история. В Европе мне до сих пор везло, но во время войны в Алжире наш «виллис» сбил ребенка. Мы его не убили, но изуродовали. Я понимаю, что вы должны чувствовать. На душе кошки скребут. Кстати, вы застрахованы?

— Да.

— Ваше счастье. Их, конечно, нельзя упрекнуть, если они подадут на вас в суд, но, как ни грустно, — да вы, может быть, сами знаете — в итальянских судах американец считается легкой добычей, даже если он не виноват. Надеюсь, ваш несчастный малый поправится. — Он опять вздохнул и принял от Розмари стакан. — Люблю Италию и итальянцев — в большинстве. Между прочим, моя любимая жена была итальянкой. Но беда в том, что итальянцы вопреки всеобщему мнению — это самый больной народ на свете. Может быть, кроме американцев. В каждом сидит мания самоубийства. Их смертельное манит. Вот почему из них выходят такие лихие гонщики, канатоходцы, воздушные гимнасты. И кончают, как ваш парень. Ну, будем здоровы.

— Ваше здоровье, — ответил я, снова мрачно задумавшись о ди Лието. — Почему же тогда они такие паршивые солдаты?

— Это другое дело. — Он провел ладонью по волосам. — Тут примешана некоторая доля гордости. В том смысле, что... Ну, скажем так. Итальянец хочет умирать только на своих условиях.

Тут я заметил, что сбоку в нескольких шагах от нас происходит странная, напряженная и немая сцена. Около низкого шахматного столика выстроились неровным полукругом человек десять. За столиком сидел потный черноволосый молодой итальянец, напротив него — Карлтон Бёрнс; поставив локти на стол и

сцепив ладони, тяжело дыша, мокрые и малиновые от натуги, они занимались «индейской борьбой». Мы с Крипсом повернулись к ним, и я впервые смог разглядеть лицо Карлтона Бёрнса вблизи, без помех. Что за лицо! Красное от усилий (мрачно, остервенело он старался прижать руку итальянца к столу) и от выпитого, оно сравнялось цветом со спелым помидором: Бёрнс всхрапывал, из угла дряблого рта тянулась струйка слюны, и пока я разглядывал это разнообразно искажавшееся лицо, поразительно невзрачное — от вкось разлетевшихся, как у сатира, бровей до подбородка, почти слившегося с шеей, как на полицейских снимках преступников-психопатов, которые мне случалось видеть, — у меня промелькнул целый ряд впечатлений: сперва чего-то дьявольского, потом порочного и наконец просто извращенно-гнусного. И наблюдая за схваткой, за Бёрнсом, который при всех очевидных признаках разгульной жизни обладал какой-то жилистой силой и постепенно, с дрожью в мускулах пригибал руку противника все ниже и ниже, я удивлялся, почему такого отталкивающего человека всегда снимают в роли героя и любовника, пока не вспомнил о недавнем перевороте в кинематографических модах, возвеличившем негодяя и дуболома, косой взгляд злодейства. Наконец с глухим стуком торжествующий Бёрнс прижал руку итальянца к столу и просипел: «Это тебе не макароны лопать».

Публика одобрительно зашумела: побежденный итальянец выложил горсть лир, а Бёрнс, самодовольно усмехаясь, оглядел гостей зеленоватыми, налитыми кровью глазами.

— Ну, кто следующий? — сказал он и рыгнул. — Кто еще сядет с Карлушей?

— Ты чересчур здоров, Бёрнси, — ответил итальянец, с усталым и сконфуженным видом убирая бумажник. — Ты можешь зарабатывать этим профессионально. Ей-богу, Бёрнси.

— Принеси-ка мне еще стаканчик, Фредди, — буркнул Бёрнс стоявшему рядом тощему молодому человеку с длинными баками и тусклым взглядом прищепника. Снова повернувшись к итальянцу, он сказал: — Нет, Ломбарди, ты сваллял дурака. Говорил я тебе, нельзя отдавать кисть. Все — в запястье. На одном плече не выедешь. Ну так как, почтенные? Кто еще с папой — на пятьдесят тысяч лир?

Худая хорошенькая девушка в очках и очень экономных шортах подняла голову от пачки бумаг.

— Действительно, Бёрнси, поведайте нам секрет вашего немислимого успеха, — сказала она, скривившись. Она смотрела на него пристально и даже с грустью.

— Одна треть мышечного тонуса, одна треть мозгов и одна треть наследственности, — хрипло ответил он. Его застывшие губы едва двигались. — Во мне кровь индейцев чиппева. Это не треп. Спросите любого. Старая здоровая кровь чиппева с бешеными красными шариками. Вот чего вам, инкубаторским курытам, не хватает, слышишь, Мегги? Хорошей, горячей... крови... чиппева. — Подбородок его опустился на грудь. — Время от времени кому-то надо подключаться к твоей розетке.

— Да замолчи, — сказала девушка, порозовев. Она привстала было со своей низенькой табуретки, но передумала и отвернулась от него. — Грязная...

— Вот чего тебе не хватает, Мегги. — Он опять рыгнул. — Благотворительной палки.

— Замолчи наконец, — сказала она прерывающимся голосом. Ее отчаяние было прозрачно, как стекло: она любила этого гнусного человека.

Бёрнс выпрямился и залпом выпил стакан, который ему поднес Фредди; потом откинулся на спинку, поглядел на Крипса и ухмыльнулся. Глаза у него были мутные, лицо — краснее прежнего, и я не мог понять, как в таком расквашенном состоянии — пусть хоть трижды чиппева — он умудрился выиграть трудную схватку.

— Привет, Алонзо. Сколько на твоих? Я думал, ты уже бай-бай.

— Специально не лег, чтобы поглядеть на тебя, — ответил Крип ровным голосом, без намека на шутку. — Люблю наблюдать тебя, когда ты особенно любезен.

— Садись со мной — на пятьдесят тысяч лир?

— Нет, спасибо.

— Да что с вами, мукосей? Куда подевался Мейсон? Я желаю поплавать в его бассейне.

— Не пойти ли тебе спать? — сказал Крипс. — Весь день развлекаешься. Я не хочу, чтобы повторилась Венеция. Самое лучшее во всех отношениях, если ты пойдешь спать. Завтра ты будешь трупом.

— Может быть, ты отвяжешься от меня, мамаша? Куда подевался Мейсон? — спросил он у Розмари. — Папа хочет окунуться. — Голос у него постепенно совсем охрип, а сам он, раскинув волосатые ноги, все ниже сползал на стуле и уже почти лежал, немного не доставая лопатками до сиденья. — Куда, к чертям, подевался Мейсон, малышка?

Мы посмотрели на Розмари. Она вспыхнула и напряглась. Вопрос был ей почему-то неприятен; глаза у нее расширились, губы раскрылись кружочком, зашевелились горестно и беззвучно — и я вдруг понял, что она не только знает, где Мейсон, но и по какой-то таинственной причине скрывает это.

— Он... я... не знаю... — пробормотала она. — То-есть, по-моему, он пошел в «Белла висту».

— Скажите ему, чтобы топал сюда, папа хочет с ним окунуться. Он тут, по-моему, единственный нормальный мужик. Мейсон и я. А то — сплошные буйные гомосеки. Мы и еще Фредди. Точно, Фредди? — обратился он к тому, вывернув шею.

— Ну ты скажешь... Не знаю, Бёрнси, — ответил Фредди, опасно оглянувшись на Крипса.

— А что касается старика Лонзо, — продолжал Бёрнс, глядя на него с вислогубой улыбкой, — я начинаю думать, что он-то и есть самый главный козел. Вот что я думаю о Лонзо. Почитай нам, Лонзо, свои стихи, — протянул он тонким жеманным голосом. — Поиграй мне, Лонзо, на своей флейте. Ну-ка, Фредди, сходи в гостиницу, притащи мои барабанчики.

Я наблюдал, какое впечатление производит на Крипса актерская подначка: вид у него был чуть насмешливый, но больше скучающий и терпеливый, словно все это слышано уже тысячу раз, и он холодно и невозмутимо шурился на Бёрнса сквозь голубой дымок сигареты. В общем, он являл собой яркую картину самообладания.

— Давай, Лонзо, — сказал Бёрнс. — Начистоту. Признавайся. Что ты за овощ? Дать тебе...?

Ни слова не говоря, Крипс подошел к сидевшему, а вернее, лежавшему актеру, взял его одной рукой за рубашку и коротким рывком поднял на ноги. Можно сказать, снял со стула — так легко и небрежно было это сделано. Глаза его ни на секунду не утратили спокойного, даже ледяного выражения, а когда он заговорил с Бёрнсом — нос к носу, — могу поклясться, что на лице у него появилась улыбка, слабая, конечно, но улыбка.

— Знаешь, Бёрнси, — мягко начал он, — вот что я тебе скажу. Ты мне не безразличен. Ты мой приятель. Я понятно выражаюсь? Как слышишь? Как понял меня?

Смущенный и ошарашенный таким оборотом дела, Бёрнс хотел что-то пробормотать, но сумел только облизнуть губы.

— Как понял меня, Бёрнси? — повторил Крипс.

— Принято, Лонзо, — сказал наконец Бёрнс, вяло отсалютовав рукой. — Будет исполнено. Конец. — Он покачулся, попробовал что-то еще сказать, но получилось только бульканье. Мне показалось, что сейчас он рухнет ничком. — Слышу тебя хорошо, — просипел он.

— Ну и прекрасно. Слушай, что я тебе скажу, папа. Я хорошо к тебе отношусь. Ты мне близкий человек. Я мог бы отдать за тебя жизнь, причем на ответную любезность рассчитывать не приходится. Ты мне правда не безразличен. Но при всей моей любви к тебе бывают случаи, когда ты непереносим. Бывают случаи, когда ты вызываешь совершенно исключительное отвращение, и я только громадным усилием воли удерживаюсь от того, чтобы не дать тебе в зубы. Сегодня как раз такой случай. Иди спать, слышишь?

— Иду спать, слышу, — сомнамбулически отозвался Бёрнс.

— Вот-вот. Иди спать.— Он легонько стукнул Бёрнса в грудь, и осоловевший актер попятился и чуть не упал на руки Фредди.— Уложи его, Фредди,— отчетливо произнес Крипс.— Разуй и уложи.

Перевоспитанный в мгновение ока, из хвастливого хулигана с ядовитой усмешкой превращенный в расслабленного и безобидного пьянчугу, Бёрнс попробовал выпрямиться, неуверенно расправил на животе рубашку и еще раз угрюмо облизал губы. На глазах у него выступило что-то вроде слез — впрочем, может быть, это его организм так реагировал на спиртное.

— Лонзо, друг,— пробормотал он.— Сука. Мамашка. Люблю тебя. Люблю.

— Иди спать,— сказал Крипс чуть мягче.— Ложись, старик.

— Извини...— пробормотал Бёрнс.— Я не хотел...— И он замолчал в полной растерянности.

Фредди медленно развернул его. Покорный, виноватый, невнятно бормоча и валясь на руку Фредди, он ползл к выходу. Там, вдалеке, от стены отделилась Доун О'Доннел и преградила им дорогу. До меня донеслось ее восклицание: «Бёрнси, дорогой!»— и она взяла актера под руку. Так, втроем, зигзагами по блестящему полу, как конькобежцы, они удалились.

Вся эта напряженная, но пустоватая сценка разочаровала меня. Не знаю, чего я ожидал, но удивительно было, что из Бёрнса — такого хвата на экране — здесь, у меня на глазах, выколачивали пыль. Впрочем, долго раздумывать об этом мне не пришлось: «идем купаться» — прошелестело по залу. Я повернулся к окну: посреди сада, ярко освещенный софитами, сверкал, подобно громадному аметисту, бассейн, который вполне мог бы украшать какое-нибудь имение в Калифорнии. По двое и по трое со стаканами в руках гости потянулись на двор — белокурая Алиса Адэр в сопровождении молодого человека с ежовой стрижкой, Бэйр с Розмари, и остальные, и посмеивающаяся, волшебнo-выпуклая Глория Манджиамеле, обняв за талию побежденного Бёрнсом итальянца. Мне хотелось поглядеть на Глорию в купальном костюме, но усталость моя не прошла и в воду меня решительно не тянуло; кроме того, я не настолько близок был к этим людям, чтобы свободно обменяться с ними двумя-тремя словами и тем более плескаться с ними в интимной тесноте бассейна; поэтому я ограничился еще одним стаканчиком, который налил за пустым баром, чувствуя себя одиноким и посторонним при звуках бурного веселья, доносившихся из раздевалки ниже по склону. Поколебавшись немного, я вышел через стеклянную дверь на балкон, чтобы оттуда поглядеть на купание, и под тусклой оранжевой лампой снова столкнулся с Алонзо Крипсом. Он стоял у перил.

— Замечательная картина, а? — Он показал на море.

Далеко внизу по черной ночной глади залива рассыпалась флотилия рыбацких лодок, сами лодки были невидимы, но в каждой горел яркий огонек, чтобы приманивать рыбу; огни, повисшие между темной водой и безлунным, еще более темным небом, мирно мигали и похожи были на скопление сочных, ярких звезд. От этих парящих огней веяло немислимой тишиной, прекрасным, заволаживающим покоем. Не отрывая взгляда от них, Крипс протянул мне сигареты.

— Не устаю любоваться этими огоньками,— сказал он.— Когда повезет и ночь совсем черная, как сегодня, лодки в самом деле похожи на звезды. Чудесно! Помню, как в первый раз их увидел, когда приехал сюда во время войны. Знаете, тут одно время был армейский лагерь отдыха. И помню, я сказал себе, что обязательно приеду сюда еще раз хотя бы для того, чтобы снова увидеть эти огоньки. Они как будто парят, в этом есть что-то неземное, правда?

— Замечательные,— согласился я.

— А у нас тут вышла довольно тоскливая сценка,— продолжал он прежним тоном, устало, почти меланхолически.— Простите, как, вы сказали, вас зовут? Я повторил.

— Знаете, когда вы сегодня появились, это было страннейшее зрелище. Бледный, как привидение, в костюме, как на похороны,— посреди нашей расхристанной компании. Сперва я решил, что вы ученик старого прохиндея Белла, только потом сообразил, что вы и есть тот самый приятель Мейсона. Вот тут уж я по-настоящему удивился. Давно знаете Мейсона?

— Можно сказать, всю жизнь. То есть не всю, конечно. В Виргинии мы с ним учились в одной школе, неподалеку от моего города. Потом, после войны,

виделись в Нью-Йорке. Но у Мейсона есть одна особенность: кажется, ты дружишь с ним всю жизнь, даже если редко с ним общаешься.

— Я понимаю, о чем вы говорите. Отлично понимаю. Куда же все-таки... — Но он вдруг замолк и помотал головой. Сарказм в его голосе слышался вполне явственно. Меня немного озадачило, почему он вдруг умолк, и я стал в тупик перед этой маленькой загадкой; а может быть, он просто счел, что перемывать кости Мейсону невежливо — как-никак мы у него в гостях. И все-таки он не мог удержаться и не намекнуть на что-то — не знаю что, — беспокоившее его в Мейсоне. — В общем, — медленно продолжал он, — Мейсон... да, непонятный человек. Совсем не тот мальчик, которого я видел в Виргинии.

— В каком смысле?

Он либо не слышал вопроса, либо не захотел отвечать.

— Вы бывали в доме у Флаггов на реке? — спросил он. — Как там красиво. Я часто заглядывал туда до войны, пока был жив Джастин. Крепкий был орешек, что и говорить. Но по сути — добрый человек, и я ему всю жизнь, наверно, буду благодарен. И несмотря на эту мрачную фельдфебельскую масочку — глубоко порядочный. Вы его знали?

— Видел — скажем так.

— Ведь он, знаете, страдал. По-настоящему, не на публику, как принято в нашем кругу. С одной стороны, он был безжалостен, а в чем-то, как ни странно, держался высоких принципов. Если разобраться — почти пуританин. Поэтому, мне кажется, он так и не развелся. Он по-настоящему страдал от этого. Мейсон вам не говорил, что стало с его матерью, с Венди?

— С тех пор как я приехал, у нас и времени не было поговорить, — ответил я. — Последнее, что я слышал, — она спивалась у себя на ферме.

— Несчастливая женщина, — вздохнул он. — Боже мой, сколько бедствий от вина! Мне ли не знать. Хотя оно, знаете, в сущности, лишь симптом, а не болезнь. А болезнь, по-моему, скорее... да она уже повальная, почему так и кинулись на марихуану. Особенно у нас в Америке. В чем она... болезнь? Вы мне скажите. Порча всего на свете, жалкая прострация человеческого духа. Возьмите опять же Бёрнса: под всем этим — впечатлительный и порядочный малый с задатками выдающегося актера. И что же? На середине четвертого десятка, когда артисту пора созреть, пойти маховым шагом, он впадает в этот идиотский инфантилизм. Он делается битником. Шпаной. Мальчишкой-матерщинником. — Крипс помолчал. — О господи, не знаю, как мы кончим эту... чуть не сказал — картину. — И умолк совсем.

А под нами гости уже сходились к бассейну. Одни были в бикини, другие в более обычных нарядах, и среди них — привередливый соглядатай Мортон Бэйр, который был не в костюме для купания, а все в том же фланелевом и шел вдоволь бортика, попыхивая сигарой. Слышался смех, болтовня английская и итальянская, но в воду никто не полез; все разместились за столиками под пестрым выводком пляжных зонтов; им прислуживал один забегавшийся официант. Обалделые от странного голубого света, штук пять ночных бабочек размером с небольшую летучую мышь металась и мелькали над ними, отбрасывая на все фантастические тени. Я не сводил глаз с Манджиамеле, практически голой и красивой ногти на ногах.

Тут в зале у нас за спиной воздух вздрогнул от страшного взрыва. Конечно, это был не взрыв, но что-то очень на него похожее; мы с Крипсом тоже вздрогнули, разом обернулись, рассчитывая, наверно, увидеть груды штукатурки, клубы дыма, а увидели только, что это с грохотом ударились о стену громадные створки главной двери. Обе еще дрожали. В двери стоял Касс Кинсолвинг. Пьяный. Пьяный — слабое слово. Пьяный настолько, насколько может быть пьян человек, стоящий на ногах, — Бёрнс рядом с ним показался бы трезвенником — и когда он двинулся к нам, хватаясь по дороге за стулья, на лице его было выражение настолько лишенное тени, следа всякой мысли, что оно даже не было выражением, и я мог бы поклясться, что Касс почти не сознает, где он, что он делает и куда направляется. Рваная грязная майка — линия-зеленая, военного образца — обтягивала его могучие плечи, но в движениях его была вялость, дряхлость, и шел он, как изнуренный, больной человек, словно еще внизу, во дворе, силы покинули его, до последней капли. Один раз мне показалось, что он споткнется

о диван. И я удивился, когда он, ввалившись к нам на балкон, сказал хрипло, но с отчетливостью, неожиданной для пьяного:

— Здорово, Леверетт. Как поживает малый, которого вы сшибли?

— Привет.— Не буду лгать о моих тогдашних чувствах к Кассу: мне он казался неприятным алкоголиком и вообще гвоздем в сиденье.

Не успел я ответить, как он повернулся к Крипсу.

— Добрый вечер, Signor Regista, come va²? Как делишки в киношке? Гребем лопатой?

— Va bene, Касс. Come state? Un po' troppo vino stassera?³ — Крипс смотрел на него с улыбкой, но улыбка была грустная и обеспокоенная.

Касс привалился к балконной решетке, отчего она задрожала и запела. Он глядел на нас горячими запавшими глазами, с мокрой губастой ухмылкой, тяжело дыша, и кожа у него на лбу беспрестанно двигалась.

— Скажи мне вот что, Signor Regista,— начал он с ухмылкой.— Что сказал хор, когда старик Эдип был в Колоне,— казалось, он вот-вот перекинется спиной через перила,— а старик Тезей уволокся домой?

— Осторожно, Касс.— Крипс протянул к нему руку.

— «Что нам долгие дни! Они больше нам приведут с собой мук и скорби, чем радостей»⁴!— выкрикнул он, а потом взял мой стакан и выпил залпом.— Назад, карапуз, назад, мой кукленок!— Он грозно рассек воздух ладонью, словно невидимым тесаком, заставив Крипса отступить.— Стой тихо, великий седой волшебник кино, и внемли моему плачу! «Что нам долгие дни! Они больше нам приведут...», извиняюсь — «приведут с собой мук и скорби, чем радостей. Если пережил ты свой век, позабудь наслажденья!» Ого-го! — Рука его соскользнула с перил, снова схватилась; он выпрямился, сунул руку в вырез майки и замер в позе напыщенного провинциального трагика.— Стой тихо, я сказал! «Срок придет...» — продолжаю: «Срок придет — и всех сравняет, лишь раздастся зов Аида, песен, плясок, лир чужда, смерть всему скончанье».— Он перевел дух.— А теперь потрясающая антистрофа: «Не родиться совсем — удел лучший. Если ж родился ты, в край, откуда явился, вновь возвратиться скорее. Так, лишь юность уйдет...»

— Хорош, хорош,— сказал Крипс, подходя к нему.— Хорош. А то вы кончите в саду.

— «...юность уйдет...» — Он замолчал. Задрал голову, он сливал в себя из стакана последние капли; кубики льда выкатились ему на очки, и по ушам его текла вода.— Io mi sazio presto di vino⁵,— пропыхтел он наконец.— У Мейсона исключительное виски. Душевно идет.— Он сделал шаг назад, к двери, держа перед собой стакан обеими руками, как потир.— Я, пожалуй, еще...

— Хорош,— сказал Крипс.— Может быть, хватит, Касс? — При этих словах у него вырвался отрывистый смешок, и я расслышал, как он пробормотал себе под нос: «Нянька при алкоголиках».— Может быть...

— Ну как? — вдруг обернувшись, спросил Касс.— Ну как это было, великий седой кудесник киноискусства? Ты уловил безупречность фразировки, акцентов, интонаций — короче, черт возьми, пронзительность исполнения? Каждый слог — как маленький блестящий самородок, извергнутый божественными устами самого Гаррика. Найми меня. Ей-богу, найми. С моим талантом, с этим вот профилем и при твоём котелке у нас все пойдет как по маслу. Барышни забьют кинотеатры от моря и до моря. В зале не будет пары сухих трусов. Ну что, мой Regista? — Толстой рукой он обнял Крипса за плечи.— Послушайся моего совета, гони в шею этих второсортников, этих подержанных эстрадников, этих шутов и оглоедов. Найми м у ж ч и н у — артиста, который выжмет слезу из бетонщика.

— Касс,— сказал режиссер,— давайте я вас отведу...

— Тихо! Послушай, что мы сделаем. Мы с тобой ударим по ним «Прометеем». Вернем трагедию на землю пепси-колы и мятной жвачки. Честное слово, вот что мы сделаем! Сделаем так, что нашим темным мещанишкам это понравится! Долой голубые мечты и розовые слюни, долой Мики-Маусов! Трагедией

² Синьор режиссер, как дела?

³ Хорошо. Как поживаете? Выпили немного лишнего?

⁴ Софокл, «Эдип в Колоне». Перевод С. Шервинского.

⁵ Немного выпил, и хорош.

угостим их. Чтобы выпрямила им хребты и укрепила суставы, очистила их маленькие душонки. Чего изволите? «Аякса»? «Алкестиду»? «Электру»? «Ифигению»? Ого-го! — Рука его снова нырнула в вырез майки. — «Убийцей быть сестры?.. О, нет, довольно и матери с меня. Душа с душою хочу с тобой и жить и умереть. Удастся мне, и ты увидишь Аргос»⁶.

— Касс, — сказал режиссер, — по моему, вам надо проспаться. На вашем месте...

— Тихо! — снова сказал Касс. И вдруг замолчал. Он почесал лоб. — Начисто забыл, зачем пришел. — Он глядел озадаченно; вдруг улыбнулся, хлопнул себя по ляжке. — А, черт, теперь займемся мелким воровством! Тсс! — прошептал он Крипсу на ухо. — Никому не скажете? Ни словечка, ни одной душе?

— Не понял, — грустно улыбнулся Крипс.

— Наш блестящий хозяин отлучился? Друг Мейсон отлучился? — Он хихикнул, потом сделал таинственное лицо. — Крыса со двора, Regista, — произнес он громким сценическим шепотом, — кошкам игра. А теперь — за проклятым лекарьством. — Он отвернулся от режиссера и, спотыкаясь, ушел с балкона.

Мы с Крипсом сделали невольное движение, чтобы остановить его, но поздно: как ошалелый и полуослепший бык, он налетел на скамейку у рояля, опрокинулся через нее — с подогнутыми коленями и умоляюще вытянутыми руками, словно его подстрелили сзади, — и рухнул на клавиатуру под гром дизелов и бемолей; мгновение он лежал на клавишах подобно какому-то растерзанному и обезумевшему виртуозу, потом со стоном сполз на пол, рука протаскилась по клавишам в залихватском глоссандо.

— Господи! — прошептал Крипс, и мы кинулись к нему на помощь. Но пока мы подбежали, он успел встать на ноги и равнодушно щупал себя — целы ли кости.

— Обошлось, Regista, — сказал Касс. Он тупо глядел на рояль. — Кажется, я мог сломать...

— Все, Касс, — сказал режиссер. — А ну-ка домой.

Мы подхватили его под руки и повели к открытой двери. Дышал он отрывисто; от него разило вином и потом.

— Послушайте моего совета, — сказал режиссер. — На боковую.

Касс, все еще тыча себя в разные места, остановился перед лестницей.

— Пока, — рассеянно ответил он. — Пока. Ладно. — Потом очень осторожно, цепляясь за мраморные перила, спустился во двор.

Мы остались вдвоем. Крипс покачал головой.

— Человек медленно убивает себя, — сказал он. — Никогда в жизни не видел, чтобы так глушили вино, — куда до него моему другу Бёрнси.

— Почему он пьет?

Мы вернулись на балкон.

— Я его в глаза не видел до приезда сюда. Понятия не имею, что он такое, — но тип. Он у Мейсона на каком-то крючке. — Лицо у Крипса стало злым и мрачным. — Я видел такую н и з о с т ь, — вырвалось у него, — такую гнусность, вы не поверите, если... — Голос его затих.

— В каком смысле? — В этом дворце творились какие-то таинственные дела, и мне хотелось в них разобраться.

— Ничего интересного. — Он взглянул на свои часы. Затем без всякой связи с предыдущим, или как будто новая мысль осенила его при взгляде на часы, сказал: — Век распустех. Не остережемся — они нас всех заташат в болото. — И угрюмо замолчал.

Где-то в городе ударили часы. Когда Крипс отвернулся и стал задумчиво смотреть на огни в море, я подумал, что никогда еще не встречал человека, которого так переполняло бы горькое уныние. Одинокий вибрирующий удар колокола затих, замер; был час ночи. Из окна прямо под нами снова грянул «Дон Жуан», страстно, бурно, обольстительно — и очень громко, словно кто-то со злости включил проигрыватель на полную мощность. «Rinfrescatevi! — гремел Лепорелло над флейтами и скрипками. — Bei giovinotti!» И понеслось в черной ночи, отражаясь от дальнего, в лунных пятнах склона долины — такого далекого и вместе с тем близкого, — над берегом моря, над лодками и мерцающими огнями: «Ehi caffè!

⁶ Еврипид, «Ифигения Таврическая». Перевод И. Ф. Анненского.

Ciocolatte!» — и дальше бог знает куда, в Калабрию, в Сицилию. Когда заиграла музыка, блестящее общество у бассейна вздрогнуло и недоуменно повернуло головы, насторожилось, как стадо животных у водопоя.

— Посмотрите-ка на них,— медленно проговорил Крипс.— Знаете, Касс не так уж далек от правды. Посмотрите на них, а? Величайший вид искусства создан человеком, а что перед нами? Пустота... Cosa da nulla⁷... ничто... Мы даже не варвары. Мы шарлатаны.— Он зевнул.— Пойду попробую лечь. У вас бывает бессонница?

— Редко,— ответил я.

— Позвольте дать вам совет. Ведите размеренную жизнь, не надрывайтесь ни по какому поводу, забудьте... ну, добросовестность, усердие — или кончите, как я. Знаете, я лежу, задремываю и вижу сон. В этом сне я всегда жертва. Мою душу оспаривают профессиональный игрок в гольф, эстрадный певец и девица-тамбурмажор. Из ночи в ночь. Иногда побеждает эстрадник, иногда игрок в гольф. А чаще — девица. Она стоит и вертит задом, а потом затаптывает меня до смерти.— Он помолчал.— Слушайте...

«Дон Жуан» смолк. Теперь, буйная, и горестная, и до стыда, до мурашек красивая, вырвалась в ночь американская деревенская песня — резкие голоса, полные пророческого жара, мужской и женский, звон стальных гитарных струн. Только ли громкость была виновата или же полузабытая тоска по музыке родных краев — не знаю; но мне показалось, что я никогда в жизни не слышал ничего более красивого и ужасного, и голоса Юга, южные погоды, пейзажи Юга вытеснили все из головы:

Каждый день все тот же проклятый вопрос...
Что случилось с нашей землей...

Деревенские пивные, сосновые леса, пыльные проселки, красная земля, болотная вода и душистые летние сумерки: ум задышался, захлебывался в воспоминаниях.

— Господи,— сказал я Крипсу,— что это...

— Тсс. Послушаем...

Вдруг кто-то говорит, что война нам грозит,
Пророчества сбываться начнут...

— Замечательно,— прошептал Крипс.

Душа твоя гибнет, а свету — конец,
Вот в чем дело с нашей землей...

Бледные лица внизу повернулись туда, откуда неслась эта анафема, люди прислушивались к шуму: итальянец в спортивной рубашке разразился беззвучными ругательствами, другой, побагровев, поддержал его; Манджиамеле закрыла ладонями уши.

Библия пишет, что погибнет грех —
Вот в чем дело с нашей землей...⁸

Казалось, музыка, полная печали и боли, плывет над всей Италией, бренчанье гитар и резкие апокалипсические голоса сливались в долгой жалобе; возвышенное передразнивало себя и, совершив полный круг превращений, снова обретало какое-то увечное величие. Я слушал, и на глазах выступали неприличные слезы. Вдруг с оглушительным скрежетом иглы, вспоровшим ночь, музыка умерла, кончилась, и мы услышали где-то внизу приглушенные пьяные крики.

— Мразь! — Это был голос Касса.— Скотина! Мразь!

Немного погодя, и уже тише, в темноте раздался «Дон Жуан», и люди около бассейна успокоились, снова забубнили голоса под мечущимися тенями громадных ночных бабочек.

— Убивает себя,— сказал Крипс.— Что тут сделаешь? Он мог бы в два счета осадить Мейсона, да и любого такого же. И смотрите. Убивает себя.

Потом Крипс пожелал мне спокойной ночи и ушел.

⁷ Пустое место.
ерев д Андрея Сергеева.

Но настоящая неприятность произошла вскоре после ухода Крипса. Произошло вот что. Распрощавшись с Крипсом, я еще остался на балконе и размышлял о людях у бассейна. Я слушал музыку — вернее будет сказать, подвергался ей: она опять играла громко и пронзительно, и пока бессовестный гранд занимался соблазнением, Эльвира, Мазетто и Оттавио вопили, как дворовые кошки, и заглушали все, что творилось у бассейна. Я смотрел на огни, парившие над морем, снова восхищался их красотой, но при этом был в глубоком унынии — главным образом из-за Крипса, который непонятным и косвенным образом настолько отравил мое радостное ожидание Америки, что, если память мне не изменяет, я тут же насочинил множество других вариантов: новая служба в Риме, женитьба на какой-нибудь княжне, немедленное бегство в Грецию. На душе было черным-черно, в горле саднило. Но я взял себя в руки: к черту Крипса, подумал я и повернулся, чтобы идти в гостиницу. И вот тут, когда я вышел из длинной комнаты, в нескольких шагах от меня запахнулась дверь, за которой оказалась лестница наверх, и из двери выскочила девушка лет восемнадцати—двадцати; она заскользила по полу, как по льду, поскользнулась, упала, потом вскочила, потеряла локоть — и все это с горькими рыданиями. Она была безупречно красива: даже от одного короткого взгляда на нее, пока она стояла в нерешительности, с округлившимися от боли и страха карими глазами, у меня заняло сердце. Я протянул руку поддержать ее — мне показалось, что она опять упадет, — но она отпрянула и затравленно оглянулась на лестницу. Платье на ней было черное и дешевое — платье служанки, а из разорванного лифа выглядывала почти целиком одна круглая и тяжелая грудь: секунд, наверное, десять девушка стояла, оцепенев от ужаса и нерешительности, и я тоже словно прирос к месту и не мог вымолвить ни слова, разрываясь между благородным и тщетным желанием помочь и звериным инстинктом, который не давал отвести глаза от этой восхитительной вздымающейся груди. Вдруг она запахнула платье и, не переставая рыдать, ударила себя по лицу.

— Dio mio! — иступленно крикнула она. — Questa é la fine! Non c'è rimedio!⁹

— Чем я могу вам... — начал я.

— Боже мой, не надо! — воскликнула она по-английски. — Нет, пожалуйста, не на...

Темно-каштановые волосы свалились ей на лицо, и она тяжело дышала; потом, немного опомнившись, она протиснулась мимо меня и в страхе кинулась дальше, шлепая босыми ногами по полу и постепенно уменьшаясь в глубине коридора. Я повернулся за ней и сел на мраморную скамью, не зная, что делать. Едва я сел, на лестнице опять загрохотало, как будто по ней катились ящики и сундуки. Шум был адский, казалось, в доме происходит вулканическое извержение. Потом вылетел Мейсон — тоже заскользил по полу, нелепо раскинув руки, и затормозил передо мной. Лицо его украшали три полоски пластыря. Волосы торчали во все стороны. На нем был шелковый халат, короткий и надетый, как видно, впопыхах, — грудь в рыжей потной шерсти открыта, из-под подола высовываются мосластые колени. Обут он был — нестати — в купальные шлепанцы на деревянной подошве, чем и объяснялся шум.

— Где она? — рявкнул Мейсон с искаженным и красным лицом.

— Кто? — Я нервно отодвинулся. Таким я его никогда не видел: веки покраснели, выражение лица было зверское, а рука угрожающе согнута, и я подумал, что сейчас он заедет мне, прямо сидячему.

— Куда она побежала? — заорал он. — Говори, гад! Убью ее!

— Клянусь богом, Мейсон. Не знаю.

— Врешь!

И странной, скованной, больной походкой, колченого и бесконечно медленно он двинулся по коридору в ту сторону, куда убежала девушка.

— Ты подожди тут, Питси, мальчик, потому что, когда я вернусь, я из тебя повытопчу жидкое г... — На лице хозяина дома было что-то вроде улыбки, но в голосе — только змеиная злоба и ненависть...

Может быть, вы помните сон о предательстве, который я описал в начале рассказа, — как стучится в мое окно друг-оборотень. Почему-то, когда я вспоми-

⁹ Боже мой! Это конец! Ничего не справишь!

наю свой сон и вспоминаю Мейсона в эту минуту, передо мной возникает другое видение — тоже наполовину сон, наполовину фантазия, — преследующее меня с тех пор, как я побывал в Самбуко.

Такое: я снял приятеля «полярником». Дожидаясь, пока истечет положенная минута, я перехожу в соседнюю комнату и вытягиваю из кассеты свежий глянецвый отпечаток. «Ага!», или «есть!», или «смотри!» кричу я приятелю в ту комнату. Но когда я наклоняюсь, чтобы разглядеть карточку, я вижу на ней не приятеля, а морду какого-то злобного, немислимого чудовища. И ответом мне из той комнаты — молчание.

III

— Господи, — сказал однажды Касс, когда я пытался напомнить ему события того вечера, — неужели меня так развезло?

— Я бы не сказал — развезло, — ответил я. — Не развезло. Насколько я помню, вы даже ораторствовали, хотя и немного бессвязно. А вот соображать — действительно ничего не соображали.

Он долго раздумывал над моими словами.

— Рояль, — сказал он наконец. — Упал на рояль. Совсем не помню. Честное слово.

— Если бы вы упали так трезвым, вы бы неделю провалялись в больнице.

— И деревенская музыка. Ага, она еще сидит где-то, под Букстехуде. «Что случилось с нашей землей?». Уилма Ли и Стони Купер. Я купил эту пластинку в Питерсберге, в Виргинии, сразу после войны, когда гостил у родственника. И таскал с собой по всей Европе. Но, честное слово, не помню, чтобы я хоть раз ее там заводил. А тогда ночью...

— Завели, завели. Да как еще.

— Боже мой. — Он помолчал. — А когда, вы думаете, это было — вечером? В каком часу?

— Да скорей ночью. Что-нибудь около часа.

Он наморщил лоб, потом внимательно поглядел на меня.

— Ну ладно, значит, тогда вы в последний раз видели Мейсона... То есть...

Живым. И он гнался за Франческой. Правильно?

— Так это и была Франческа? — ответил я вопросом на вопрос. — Это ее он убил?

Лицо его на миг сделалось непередаваемо усталым и хмурым. С тех пор как приехал в Чарлстон, я впервые увидел у него такое выражение; отчасти из-за меня, я полагаю, он переживал все заново, и я только сейчас стал догадываться, что значила для него эта девушка.

— Да, это была она, — сказал он подавленно, — больше никому. А после вы ее видели?

— Да, и, кажется, очень скоро. С вами.

— Господи! Где?

— Во дворе Вы... — Я замаялся. Говорить такое вообще неудобно, тем более когда ты совсем не уверен, что собеседнику будет приятно это услышать. — Вы ее целовали. Или она вас. Поверьте, я не подглядывал — я просто проходил мимо...

— Ну конечно Но... — С крайне озадаченным видом он поскреб в волосах. Немного погодя сказал: — Ух, кажется, начинаю припоминать. Кусочками, обрывочками, такими, знаете, всплывками. — Касс опять замолчал, но постепенно глаза у него оживились, он встал со стула и начал расхаживать по захлапленному рыбацкому домику. Шел дождь, крыша протекала, и капли падали мне за шиворот. — Например, то, что вы сейчас сказали. Я и этого не помню. Полный провал. Ну конечно! Я видел ее. Видел И... — Он умолк.

— И что?

Он почесал подбородок.

— И она... Слушайте Это важно Постарайтесь вспомнить как можно точнее. Сколько, по-вашему, вы пробыли в гостях? То есть до той минуты, когда увидели Мейсона и он на вас наорал.

Я задумался, стараясь вспомнить поточнее.

— Мы с Розмари пришли около половины двенадцатого... И около часа...

может, чуть позже Мейсон сбежал по лестнице за Франческой. Получается меньше двух часов. А почему...

— Обождите минутку, обождите,— сказал он, жестом прося меня помолчать. Немного погодя он повернулся ко мне с бледной, грустной улыбкой: — Теперь скажите вот что: когда вы последний раз видели Мейсона?

Я стал объяснять ему, опять в некотором замешательстве.

— Ну, на это как раз легко ответить. Когда он заставил вас изображать дрессированного медведя. Когда он заставил вас...— Я запнулся в полном смущении.

— Ну конечно, господа,— перебил он.— Поппи как-то начала мне про это рассказывать. Такая жуть, что я не дал ей кончить.— Немного волнуясь, он поглаживал себя по голым бицепсам.— Значит, тогда вы и пришли мне на выручку. Я этого не помню, но помню, как потом вы пытались привести меня в чувство. И после моего представления вы больше не видели Мейсона?

— Только холодный труп.

Серьезно и сосредоточенно он смотрел в плачущее дождем окно.

— Где-то здесь,— медленно проговорил он,— в этом промежутке... она мне что-то сказала...— Он хлопнул себя по голове, словно пытаясь встряхнуть память.— Что-то сказала...

Я был окончательно сбит с толку, и Касс, очевидно, понял это по моему молчанию — немного погодя он повернулся и ровным голосом сказал:

— Вы должны меня извинить. Не подумайте, что я темно.— Он набрал воды в миску, сел рядом со мной и принялся потрошить большого горбыля.— Скажу вам прямо. Об этом деле и думать неохота, не то что разговаривать. А может, так оно и лучше — вытащить занозу. Но понимаете... дело вот какое. Этот номер с ученым медведем, как вы сказали. Все лето я частенько заходил к Мейсону. Все началось ничего, сперва мы были чуть ли не приятели. А потом... пошло кривь и вкось. Я был не в себе, пил по-черному, и он начал меня топтать — топтать в полном смысле слова, и я ему позволял,— дошло до того, что это стало вроде оброка. Если хотите знать правду, я был у него кабальным холопом.— Касс помолчал.— Не было в моей жизни человека, которого бы я так ненавидел.— Он умолк и продолжал возиться с рыбой.

— Значит...— сказал я.

— Когда-нибудь я вам об этом расскажу. А сейчас... Короче, суть вот в чем: вы тут говорили, как вас потрясло то, что сделал Мейсон, и вся эта история. Что, по-вашему, на обыкновенное, в полоску и звездочку, американское изнасилование он способен, а на такое капитальное зверство — нет. Так вот, когда вы это сказали, что-то у меня шевельнулось. Потому что в Самбуко, когда все кончилось, я думал так же. Я ненавидел его, я не встречал другой такой сволочи, но я не мог себе представить, чтобы он сделал это. Для такого дела ему чего-то не хватало. Его жестокость и гнусность другого сорта. Но...— Он опять замолчал, работая ножом с таким усердием, что вздулись жилы на руках.— Чертов горбыль,— сказал он, словно желая навсегда закрыть тему.— Овчинка выделки не стоит. Кожа у него, как...

Может быть, я ошибался, но в ту минуту мне показалось, что он готов заплакать.

— Что «но»? — настаивал я.— Слушайте, Касс, вы же сами сказали: зачем темнить? Я ничего у вас не выпытываю, и если вам не хочется...

— Вот что «но»,— сказал он, спокойно обернувшись ко мне.— Но теперь я думаю, что был не прав. Чего там ему не хватало? По всему, что вы говорите... чего я не видел спяну... по всему ясно, что задумал он это с самого начала. Она не хочет — я ее заставлю. Да ведь днем еще что он кричал Розмари, перед тем как вмазал ей? А потом, вы говорите, гнался по лестнице. И сказал: «Я убью ее». Вы же сами слышали? А потом...

— Что?

— Ничего особенного,— сказал он вдруг озадаченно. Он опять обернулся ко мне.— Вот что. Может быть, я говорю как мерзавец. Может быть, это не христиански. Может, я хочу уговорить себя, что он в самом деле был извергом.

— Извергом? — Касс перестал избегать разговора о Мейсоне, и я был рад этим воспользоваться.— Скажите, вы ведь там нахлебались от него, правда?

Он долго и сосредоточенно обдумывал мой вопрос, как будто рассматривал его с разных сторон.

— Да, пожалуй. Но сколько тут было от моего разложения, от старой гнили, которая сидела во мне... насколько я сам виноват — это я тоже хотел бы понять. Может быть, когда-нибудь я вам и об этом расскажу, когда буду в состоянии разобраться и вспомнить. — Он стер с ножа мокрую чешую, вытер руки и продолжал монотонным голосом: — Вообще это любопытно — разные рассуждения насчет зла: что оно такое, где оно, действительность оно или же плод воображения. Болезнь это вроде рака, которую можно вырезать и уничтожить, но не при помощи хирурга, а хотя бы психиатра, или же лечить зло нельзя, а надо давить, как чумную блоху, разом избавляясь и от болезни и от разносчика. Еще недавно, чуть ли не в наше время — да вы юрист, все сами знаете, — десятилетнего мальчика могли повесить за какую-нибудь украденную конфетку в той же веселой Англии, да и во Франции. Это, значит, чумовая теория. Расотпать зло, раздавить. Теперь малый выходит на улицу, и ему уже не десять, а все двадцать и в голове побольше, и совершает бессмысленное, жестокое преступление, может, убийство, — и его объявляют больным, посылают к психиатру на том основании, что зло это... ну, просто временный обитатель его сознания. И обе эти теории — такое же зло, как то, которое они должны излечить или уничтожить. Вот мой вывод. Но, хоть убейте, никакой золотой середины я тут не найду.

— А при чем тут Мейсон?

— Ну, во-первых... Надо кое-что объяснить. Я не собираюсь хвалиться или плакаться, но... короче, все, чего я добился — а это не бог весть что, прямо скажем, — далось мне трудно, сами знаете. Учился я в паршивенькой школе в Северной Каролине, да и той не закончил — писать и ставить запятые для меня и теперь мучение. Но читать я научился и читал много — по своему выбору, — прочел, наверно, раз в десять больше, чем средний американец, хотя, кто их знает, может, это в десять раз больше, чем полкниги. В общем, я считаю, один большой поворот в моей жизни произошел сразу после войны, когда меня выписали из флотского психиатрического госпиталя в Калифорнии — я вам рассказывал. Там был главный врач по этим делам — потрясающий мужик. Слоткин, капитан первого ранга. Я сказал ему, что в школе увлекался рисованием, и он устроил меня в один такой терапевтический класс живописи — с этих пор, считаю, я и стал художником. Поэтому и очутился после войны в Нью-Йорке, а не дома, в Каролине. Насчет моей меланхолии, или что там было, с маниакально-депрессивными проявлениями мы с ним не договорились, но беседовали подолгу, он был мягкий, терпеливый и чуть-чуть не вытаскил меня из моей тоски, а перед тем как я вышел оттуда — не вылечившись, — он подарил мне двухтомник греческой драмы. Это, знаете, не по форме — такой подарок от капитана первого ранга рядовому морской пехоты; наверно, он что-то во мне увидел, хотя на фрейдистские их штучки я не клевал. Помню, он так мне сказал: «Читайте их, когда будет плохо». И так примерно: «Суть, понимаете, в том, что никуда мы дальше греков не пошли». Согласитесь, довольно спокойное высказывание для почтенного психиатра. Милейший мужик был доктор Слоткин. Короче, когда вы сказали, что в ту ночь я декламировал Софокла, я вспомнил. И пот, и ужас, и жуткое зияние бездны. Я еще задолго до Самбуко запомнил наизусть большие куски и отрывки из этих двух книг. А в ту ночь я действительно был хорош — в полном обалдении от вина и от «Эдипа». — Он задумчиво потрогал острие ножа. — Но дело вот в чем. Попробую объяснить, если получится. — Он опять замолчал и закрыл глаза почти молитвенно, словно выманивая пугливые воспоминания из дебрей прошлого. — Я напился вусмерть. Ничего не соображал. Вы что-то сказали... и это имеет какое-то отношение к злу, к тому, про что я сейчас говорил. — Он приоткрыл глаза и повернулся ко мне. — Да, кажется, я что-то припоминаю. Что-то всплывает... Очень смутно помню, как шел вверх. Рояль? Нет. А «Эдипа», Крипса и вас — как будто бы да. — Он помотал головой. — Нет, какую-то связь я еще не могу ухватить. Черт, это уже смахивает на спиритический сеанс. Что-то я разыскивал в ту ночь... Нет, опять все ушло. Как вы думаете, мог я прийти туда, чтобы просто попортить Мейсону нервы «Эдипом»? Вряд ли. — Он решительно помотал головой. — Понятно одно: я тогда выкопал в пьесе какую-то пьяную истину и могу побожиться, что она имела отношение к этому нашему злу и к Мейсону...

Он замолчал и спокойно раскурил сигару.

— А может быть, я ошибаюсь,— добавил он.— Но по-честному, вы-то что думаете о Мейсоне? — Он повернулся ко мне.

— Да не знаю. Не могу в нем разобраться. Никогда не мог. Балбес. Большой испорченный ребенок, чересчур богатый, с огромными претензиями. Врун каких мало. Женщин ненавидел. Распущенный до предела. Но при этом...

— Что при этом?

— Иногда с ним бывало очень весело. Он бывал занятен как никто. Но не просто занятен. Отбросить бы все это — он был бы отличным парнем.

— Вы с ним были старые знакомые? — спросил Касс.

— Трудно сказать. Мы были знакомы года два в школе. Потом неделю или около того виделись в Нью-Йорке сразу после войны. Точно не помню. Десять дней. Может, две недели. Ну ладно, скажем, неделю. И потом — этот день в Самбуко. Вот и все. Но...— Я замялся.— Понимаете, в нем что-то такое было. То есть вы могли сойтись с ним на двадцать четыре часа, и он успевал проявить себя больше, чем другой за всю жизнь. Он был...— Я опять замялся. Я не знал, кем он был.

— Расскажите о нем,— попросил Касс.

— Да мне и рассказывать особенно нечего. В сущности, я не настолько с ним...

— Все равно расскажите.

И я попытался рассказать. Попытался рассказать все, что помнил. Рассказал, как после той черной субботы в Виргинии потерял Мейсона из виду: первое время мы переписывались (он разъезжал: Палм-Бич, Гавана, Беверли-Хиллс, Нью-Йорк — по большей части с Венди; письма были бесстыжие и комические), но переписка наша заглохла, и он канул. Я рассказал Кассу, как через десять лет — месяц в месяц — случайно столкнулся с ним после войны в нью-йоркском баре...

Конечно, легче всего сказать, что, если бы я не встретил снова Мейсона, все обернулось бы иначе: потерявши друг друга из виду, мы не восстановили бы прежнюю духовную близость — можно заменить это декоративное выражение «приятельством» или каким-нибудь другим, тоже преувеличенным, словом — и он не позвал бы меня в Самбуко. Но наша жизнь раскрывает себя не в сослагательном наклонении; важно то, что мы встретились. Произошло это поздней весной, примерно за неделю до того, как я поступил в агентство и отплыл в Европу. Я тогда был очень беден, но работа в юридической консультации для ветеранов более или менее кормила меня и позволяла снимать карликовую фанерную квартиру на Западной Тринадцатой улице. Это было сырое время года: над парными сумерками громоздились гроззовые тучи и вдалеке ворчали грозы, но до нас так и не доходили; пожухлые лица плыли в переулках, распахантые жарю окна извергали музыкальную кашу и голоса, галдящие о войне, холодной войне, угрозе войны. Вечерами я пытался читать вдохновляющие книги, но дух мой был мало приспособлен для ноши одиночества. Из моей комнаты, заполненной подвальным сумраком, открывался вид на вентиляционную шахту и соседнюю гостиницу, где без конца бродили старики, чесались и спускали воду в невидимых унитазах. Однако тогдашняя моя жизнь была малоблагополучной не только из-за среды обитания. Бывают в юности периоды, о которых вспоминаешь без всякой теплой грусти — таким огорчительным представляется тебе потом твое поведение. И так не слишком опрятный, я совсем запаршивел, а пытаюсь познакомиться с девушками в разных пивных Гринич-Вилледжа, держался мрачно и вредничал. В довершение всего снова возник Мейсон — в переполненном баре на Шеридан-сквер, после того как я проштатался весь вечер и был особенно одинок, растрепан и отягощен несвежими желаниями.

Мейсон немного прибавил в весе, но в остальном совсем не изменился. Он был в элегантном тонком свитере и джинсах — художник с головы до пят, причем художник с деньгами,— и, кажется, был очень всем доволен. Сквозь дым я увидел его улыбку и поднятый над головой высокий стакан с пивом. До сих пор помню, как мы случайно встретились глазами, помню свою неожиданную радость пополам с надеждой, что он меня не узнает,— оба чувства возникли почти одновременно и так перемешались, что я даже не успел решить, подняться мне и крикнуть «здорово!» или тихонько улизнуть,— а он уже стоял надо мной, хлопал

меня по спине: «Питси, рванем туда, где вечно пляшут...» — и с восторженными криками мял мне плечи.

— Совершенно сказочное совпадение, — начал он, немного успокоившись. — Как раз вчера за обедом я говорил с одним человеком — прекрасный художник, между прочим, — и как раз заговорили, кто с кем учился. Я сказал, что по Причстону мало кого могу вспомнить — меня попросили оттуда в первый же год. И знаешь, выгнали по самой прозаической причине. Питси, кукленок, будем смотреть правде в глаза: я человек блестящий, но в смысле образования — слепень на заднице прогресса.

Только законченного флегматика не расшевелил бы его напор, его широкая улыбка, искреннее чувство, звучащее в его голосе, когда он хлопал меня по плечу. И я, наверно улыбаясь, сказал:

— Мейсон, да как тебя приняли-то?

— Ты хочешь сказать — после того как выгнали из «Святого Андрея»? Венди нажала на кнопки — через одного родственника устроила меня в роскошную исправительную школу в Род-Айленде. Муштра, гоняли с винтовками, но я держался стойко — не посрамить Венди-дорогую — и получал хорошие отметки. Но из этого, старик, как говорится, non sequitur¹⁰, потому что вышибли меня из университета не за баб, не за пьянку, словом, не за разврат. За отметки! За отметки! Можешь вообразить такую нелепость? А по тестам умственный показатель у меня был сто пятьдесят шесть! Я проводил выходные с одной н е н а с ы т н о й вдовой — до книг ли тут было? Бедная Венди. Папаша сыпал деньги библиотеке корзинами, и когда Венди туда приехала, я думал, она разнесет университет в щепки.

— Слушай, Мейсон, ты льешь пиво на брюки. Кстати, как она?

— Прекрасно. После его смерти хотела бросить пить. Ты, наверно, слышал про него. То пьет, то бросает, бедняга, но уж не помню, сколько месяцев назад я в последний раз давал ей лекарство. Хлоралгидрат с кашкой. И что странно. Ты знаешь, как она ненавидела «Веселые дубы». С тех пор как отец отправился, прошу прощения, в лучший мир, ее оттуда вытащить нельзя, то есть просто влюблена в это место. Сидит там, хлебает в одиночку виски и катается на громадной лошади. Мы с женой — я тебя с ней познакомлю — ездили туда в прошлую субботу. Такой громадной лошади ты в жизни не видел. И как махнет по берегу — со своим новым мальчиком. Бельгонец, ему семьдесят лет, и она заразилась от него новым увлечением — называется дзэн. Я думаю, они там стреляют друг в друга из лука. Ей-богу, Питси, — усмехнулся он, стирая пену с губ, — не знаю, кто с кем там спит. По-моему, сливки снимает лошадь. — Он затрясся от беззвучного хохота.

Ах, господи, — вздохнул он, — до чего же я рад тебя видеть. Так и знал: если мы встретимся, то в каком-нибудь таком чистилище. Знаешь, Венди все время про тебя спрашивает, до сих пор. Чем-то ты ее купил. Я думаю, тем, что помалкивал. Она устала от папашы до осатанения. Он всю жизнь орал ей в ухо, воспитывал ее — неудивительно, что она стала пить. Бедная Венди, — сказал он с неожиданной тоской, — надо привезти ее сюда, чтобы вы повидались. С этой ее лошадью, с бельгийским привидением и бутылкой она загремит в сумасшедший дом.

Ладно, — продолжал он, — это к делу не относится. — Он не был пьян (выпить Мейсон любил, но даже в юности не имел особого пристрастия к спиртному, и помню, я всегда воспринимал это как немаловажную его добродетель), однако в голосе его бурлило веселье и глаза живо мерцали. — Так вот, вчера вечером я сказал этому художнику, что из всех моих однокашников, а их десятки, я только к одному побегу через улицу И назвал тебя, Питси, и подумал: что ты, интересно, подельываешь? Фантастика! Просто ясновидение. Так что ты подельываешь? Расскажи. — Но не успел я раскрыть рот, как он уже тянул меня за рукав. — Любость моей жизни, — говорил он. — Пойдем, познакомлю.

Помню, как меня удивила новость, что Мейсон женат, и я разглядывал женщину — медлительную блондинку Кэрол, которая подарила мне подогретую улыбку, после чего продолжала демонстрировать красивую грудь, устало пожимая плечами. В кабинете с ней сидела рыжая, бледная, нездорового вида молодая чета

¹⁰ Не следует (лат.).

в джинсах — по фамилии, кажется, Пенипакеры — и, как пара лис из клетки, уставилась на меня из сумрака дикими блестящими глазами. Больше никак они меня не приветствовали, а приникли к Мейсону с разговором. пересыпая его твякающими и намекающими звучками, про субботу в Провинстауне, и про какого-то Гаса, и про какого-то Уолли, и наконец, когда они поднялись уходить, Мейсон отслюнил им десять долларов от толстенной пачки (я счел это оплошностью, даже в школьные годы у него хватало такта не хвататься своими деньгами); при виде пачки они захолопали водянистыми, без ресниц глазками, в которых зажглась подпольная алчность, а потом выскользнули в ночь. Я, помню, удивился, что такие потерянные и невдохновенные люди ходят в его приятелях, но, прежде чем начал выпрашивать, Мейсон ответил сам:

— Он из Театра, — существование было произнесено с большой буквы, — гол как сокол и страшный дурак, но сидит в литературной части Театра драматургов. Я дал ему первый акт своей пьесы. Если не возьмут они, я почти уверен, что в будущем сезоне ее поставит Уайтхед — если кончу, понятно. Самое-то головомное — второй акт. Но ты обратил внимание на парочку? Смешно — заметил или нет — они ужасно похожи. Честное слово, по-моему, она его сестра. И выдумщица там, конечно, она. Ох и хотел бы я увидеть их в деле. Зрелище, я думаю, приблизительно такое, как если бы засовывали пастилу в копилку.

Шутки его нашли благодарного слушателя в лице Кэрол, которая перемежала его речь запятыми грудного смеха — и сыпала их не скупясь, стоило ему только открыть рот. Она была крупная, миловидная, с молочной кожей, звучным кабацким контральто и продолговатыми зелеными глазами, в которых не выразилось почти ничего, кроме невозмутимо уверенной страсти. Мне она показалась женщиной, предназначенной для деторождения, но не зашоренной, мягкой, послушной — и смутно влюбленной. Хриплый голос ее навевал мысли о каком-нибудь злачном местечке под Нью-Йорком, и меня огорчил вкус Мейсона в выборе подруги, хотя я и не мог не ощутить холостяцкого зуда и зависти к тому, что он приобрел в других отношениях.

— Ты меня уворишь, — хихикнула она. — А мне еще будет виски со льдом?

— Вообще-то эти богемные притоны не в моем вкусе, — продолжал Мейсон, не обращая на нее внимания, — но иногда это, знаешь, освежает — поглядеть, как веселится псевдоинтеллектуальная шантрапа.

Он схватил меня за руку.

— Понимаешь, мы просто сбежали. Дома у меня — дым коромыслом. Со вчерашнего вечера. Пошли.

У обочины он поддержал Кэрол. Стояла душная манхэттенская ночь, звезды тонули в жидком тлении неона, пахло асфальтом, сточными люками и букетом гардений, с которым выплыл к нам из темноты обтрепанный старик торговец.

— Детка, хочешь немного китча? Заходится от цветов, — пояснил он мне, пока она неверными руками прикалывала цветы к груди, — и, откровенно говоря, это ее единственная слабость из области эстетического. Так вот, Питер, я говорю, освежает. Эти люди — такие flâneurs¹¹. Черт, я, может быть, еще не Кокто и не Брехт, но, по крайней мере, работаю. — Он свистнул таксисту. — Поехали в мастерскую.

Квартира Мейсона — вернее, мастерская — на пятом этаже над одним из самых запущенных закоулков Гринич-Вилледжа была единственным известным мне местом в Нью-Йорке, где мансардное, студенческое отношение к искусству естественно уживалось с роскошью. До Мейсона эту просторную мастерскую занимал некогда известный, а ныне забытый художник-портретист. Многое — облупившийся потолочный фонарь, страшную стенную обшивку из красного дерева — Мейсон не тронул, зато в обстановке виден был его размах: от стены до стены — ковер, в котором тонула нога, скрытые светильники, изящные китайские безделушки, подвижная скульптура Колдера, т р и Модильяни, погонные метры и метры дорогих изданий — все это создавало эффект неожиданности: поднявшись с одышкой по обшарпанной, вонючей лестнице, вы вступали не в заурядную скудную мастерскую, а в сияющий рай. Увидеть его ожидаешь где угодно, но только не здесь: как будто магараджа поселился в рабочем предместье. Мейсон с его неистребимой любовью к ошеломляющему жесту сплавил голливудскую роскошь

¹¹ Праздношатающиеся (фр.).

с богемой: в этом нежном, вкрадчивом свете вы чувствовали себя причастным к жизни немислимых счастливых, и в то же время в ушах у вас ни на секунду не затихали отголоски буйной улицы, где из ночи в ночь слышались вопли музыкального автомата и грубый печальный гомон Содома.

В мастерской было полно народу, но как только мы пришли, Мейсон освободился от Кэрол, которая была пьяна вполне безнадежно, втолкнул меня в спальню, захлопнул и запер дверь и, повернувшись ко мне с сердечной улыбкой, сказал:

— Ну вот, Питси, теперь можно вспомнить старые дни.

Не знаю, потому ли, что он запер дверь, или еще почему — но помню, что уже тогда у меня мелькнуло мрачное подозрение: правда, тут же исчезло. Как человек, склонный к самоанализу и притом чуткий к новым психиатрическим веяниям нашего времени, я часто спрашивал себя: а нет ли чего-то гомосексуального в нашей связи, в моем влечении к Мейсону? Думаю, беспокоился я главным образом потому, что я американец, а американцев вообще беспокоит, что небольшой подъем, некоторая теплота, ощущаемая в присутствии друга того же пола, может знаменовать собой всяческие неприличные побуждения. Вот почему, когда французы целуются и обнимаются без стыда, а итальянцы после разлуки с воем кидаются друг другу на грудь, американец только очеривает зубы и садистически лупит приятеля промеж лопаток. Что же касается слабости Мейсона ко мне, ее я тоже рассмотрел всесторонне, нездоровый душок конечно обнаружил, но, слава богу, не этот. Наверное, в его обществе я просто чувствовал, что он умней меня, ярче меня и в то же время развращенней (то есть я не смогу позволить себе того, что он, сколько бы ни старался), и, бесконечно развлекая меня, он не мешал мне, пресному праведнику, спокойно думать, что я счастливее его — скорее, но счастливее, а то и лучше.

Той ночью он был в ударе. Мы обменялись впечатлениями о годах, прожитых врозь, причем мне, чтобы очертить мой непримечательный путь, хватило минуты. Зато Мейсон прожил военные годы с такой удачей, какой похвастаться могли, я думаю, немногие: для меня, повидавшего за войну только иллинойские прерии, его рассказ звучал фантастически: он служил в УСС¹².

— Клянись тебе, Питси, по мне, лучше отсидеть срок, чем идти в армию. И жевать сухой паек рядом с каким-нибудь кретином из Алабамы. Ну правда, не хмурься, Питер, — должны же мы сохранить, извини меня, аристократию духа! — Попасть ему туда было сложно после провала в университете, но Венди знала одного продюсера, который знал одного генерала в военном министерстве, и быстро пристроила сына, когда он вернулся из Принстона. — Венди-дорогая, — задумчиво сказал Мейсон. — Она, конечно, предпочла бы вообще не отпускать меня, но на одном стояла твердо: чтобы я попал в команду, где чистят зубы, хотя она слышала, что там много гомосексуалистов.

И с холодком в спине я слушал рассказ о его приключениях: об училище под Балтимором (я где-то слышал о нем) и невероятном курсе обучения, в ходе которого новички вроде него, чтобы испытать свою ловкость, должны были ночью проникать на строго охраняемые военные объекты, или похищать совершенно секретные чертежи на верфях корпорации «Бетлхем-стил», или, например, среди бела дня с накладными усами и липовым удостоверением небрежно пройти мимо охранников на авиазавод Гленна Мартина и там по всем правилам своей тайной науки заложить в важную и засекреченную машину макет бомбы или мины-ловушки и в доказательство того, что задание выполнено, снять и принести своему начальнику какую-нибудь ответственную гайку, болт, шплинт или даже — как было у Мейсона — табличку с двери заместителя директора.

— По правде говоря, — рассмеялся Мейсон, — страшно увлекательно было играть в шпионов. Называя это комедией плаща и шпаги или как угодно — но приходилось переживать колоссально волнующие минуты. Сам понимаешь, в Дивизионном институте — так он официально именовался, но для публики, конечно, ни названия не существовало, ни его самого — мы никакому риску не подвергались. На каждом объекте, куда нас засылали, сидел так называемый контрольный агент, обычно человек из ФБР, приписанный к службе режима, и он был в курсе

¹² Управление стратегических служб — разведывательная организация, предшественница ЦРУ.

дела. По крайней мере, он знал, что сегодня Институт проворачивает «скорую» — эти налеты у нас назывались «скорая», — и, если ты заваливался, он мог вмешаться и вызволить тебя. — Мейсон замолчал, его раздумывавшееся лицо стало задумчивым, потом он что-то вспомнил и тихонько засмеялся. — Хотя кое-кому приходилось при этом несладко. Был у нас такой Гейнц Майер из Буффало, смешной, маленький немецкий беженец. По-английски ни бум-бум, но бешеный патриот и был готов на все, чтобы сделать бяку фатерланду. Его послали на базу ПВО... нет, вспомнил — в морской арсенал Далгрена, на Потомаке. А у контрольного агента, у бедного, темного ФБРовца, как назло, случился приступ — то ли сердце, то ли аппендицит, не знаю, в общем, приступ, и его на месте не было, а бедного Гейнца поймали возле здания, где собирали новые секретные дистанционные трубки для двухсоттрехмиллиметровых снарядов. Боже мой, — со смешком сказал Мейсон, — до сих пор у меня в ушах его голос: «Представляете, эти морские пехотинцы, они решают, что я есть немец! Я говорю: я американец, Гейнц Майер из Буффало, штат Нью-Йорк, — а они не верят. Я жду и жду мой контрольный агент, чтобы он приходил и выручал меня, а он не приходит!» Боже мой, — сказал Мейсон, — мы просто катались от хохота. По-моему, караульные хотели отлупить его прикладами, но он как-то выпутался...

Мейсон очень живо изобразил маленького загнанного немца — даже его растерянные жесты. Я тоже хохотал во все горло. Потом спросил:

— Ну а дальше, Мейсон?

Ему, видимо, не хотелось рассказывать дальше, лицо у него стало серьезное, он перевел разговор на свою будущую пьесу, на бродвейские театры и драматургию вообще. А я обиняками пытался повернуть его к прежней теме: интриги и опасности шпионской жизни всегда увлекали меня, хотелось слушать еще и еще.

— Да нет, Питер, это не совсем так, как ты себе представляешь, — сказал он. — И там, и в армии, и почти везде главное — зверская, ну нескончаемая скука. Боже мой, если бы мне заплатили по пятаку за каждый пустой, пустой час моей службы — когда ты сидишь и ждешь, и больше ничего. В Каире дошло до того, что я запомнил каждую трещинку в стене, каждый бугорок и дырку от сучка в баре гостиницы «Шефердс». Сидишь и ждешь, ждешь как дурак, пока Франклин с Уинстоном затеют опять что-нибудь грандиозное — причем в подоплеке всего не стратегия, а какой-то паршивенький нюанс, — большое дело, чтобы выручить какого-нибудь несчастного, кругом обложенного партизана.

И вот, поскольку Стратегические службы были так тяжелы на подъем, Мейсона всего раз отправили на задание — вместе с американским капралом из сербов сбросили на парашюте в немецкий тыл в Югославии, чтобы точно установить, в какой степени глава четников Михайлович сотрудничает с фашистами.

— Поразительно, — вдруг перебил он себя, — когда разговариваешь с людьми, даже, например, с английскими офицерами из Джи-2 — а они-то, казалось бы, должны знать, потому что дела делали дай бог какие, — все думают, что УСС — это сверхчеловеки, говорят на семи языках, в совершенстве владеют дзюдо и без конца рыщут в зоне смертельной опасности с ножом в зубах. Честное слово, Питер, ничего общего с действительностью. Я не говорю, что работа вполне безопасная. С парашютом ночью, в черноту — уже само по себе удовольствие маленькое. Я испытал его всего один раз и с радостью уступлю тебе. Но в остальном, что касается красивых, захватывающих сцен, все это — из кино.

Он рассказал, как, приземлившись на далматинском побережье, под Дубровником, укрылся в приморской вилле у серба Плайи, работавшего на союзные разведки («Потрясающий мужик, богатырская грудь, — описывал его Мейсон, — учился в Кембридже и немисливо разбогател на экспорте сливовицы»), — и здесь Мейсон прожил месяца два в полной праздности, потому что штаб Михайловича перебазировался на восток, в горы, и стал недосыгаем за немецкими войсками. «Мы пробовали связаться с агентами Тито, внедренными к Михайловичу, — продолжал Мейсон, — но бесполезно. Потом со Станчиком. Джек Станчик — это мой капрал-серб из Толидо, замечательный парень, маленький и крепкий, как кремень, бывший цирковой акробат, — мы с ним раза два сунулись было через немецкие порядки, но фрицы взялись за охоту всерьез и все перекрыли наглухо». Не в силах установить связь с агентами Тито, Мейсон кейфовал на вилле серба, нежился на весеннем адриатическом солнце, плавал ночью на кипарисовые остров-

ки, разбросанные вдоль побережья, и попивал душистую сливовицу, самую отборную, из запасов хозяина, Плайи. «Черт возьми, Питер, — перебил он себя, — вот это уже было как в кино. Это было невероятно. Всюду разгуливают фашисты. Смерть буквально в нескольких шагах, а я живу, как мне и не снилось. И в довершение всего дней через пять или шесть появляется дочка Плайи, изумительная брюнеточка — ей было всего четырнадцать — с черными живыми глазками, с пухлыми красными губками и сказочной оливковой кожей, какая бывает у югославов в этой части страны. Прибавь к этому потрясающую грудь — как две молодые твердые дыньки — и изумительный, упругий и мягкий задок. Я чуть не спятил от одного ее вида, после того как столько времени перебивался — именно перебивался — старыми, замшелыми каирскими проститутками. Она не знала ни слова по-английски, но мы кое-как объяснились на ломаном французском... короче говоря, мы стали строить друг другу глазки — Плайя не возражал; наверное, я ему приглянулся, а кроме того, он без конца выезжал на соколиную охоту — кажется, это любимое развлечение богатых югославов, — и вот как-то ночью, нацеловавшись и наворковавшись всласть, мы с ней переплыли на островок. Честное слово, кипарисы, сливы в цвету пахли так, дурманили так, что от одного этого голова шла кругом. Ничего купального у нас с собой не было, мы вылезли при луне на берег мокренькие и голенькие, как две золотые рыбки. У нее это был первый раз, Питси, но ты бы никогда не догадался. Она только всхлинула тихонько и растаяла. Это было все равно что отобрать мороженое у ребенка». Идиллия, рассказывал он, длилась больше месяца. Картина, которую он изобразил, захватила меня. Настолько, что, кажется, почти не вызвали досады ребяческие описания всяких «тонкостей», которым он ее обучил — их можно найти в любом брачном наставлении, — и назойливо повторявшиеся «сдавленные страстные стоны» не разрушали общего впечатления от его рассказа: опасность, разлитая в воздухе, сливы в цвету, соколы в небе, море и запах кипарисов.

— Мейсон, это невероятно, — вырвалось у меня.

— Не веришь?

— Конечно, верю. (Как же иначе? Надо учесть, что в ту пору, за четыре года до Самбуко, я был доверчивее.) Просто это... это... какая-то немислимая романтика. Ну — молодой виргинец Мейсон Флагг из Глостер-Лендинга...

— Согласен, — задумчиво отозвался он. — Правда, как будто из книги. Мне самому казалось, что это сон.

Но сон оборвался, военные ветры выбросили Мейсона из блаженного уединения. Однажды ночью слуга с виллы донес на них немцам. Судьбу его со Станчиком решали минуты: прощание с девушкой, короткое объятие в темноте, поцелуй — и Мейсон со Станчиком бежали, бежали, спотыкаясь и не разбирая дороги, по полям, по оливковым рощам, наобум, как слепые, к английской моторке, которая ждала их где-то на берегу, а за ними, настойчивая и яростная, катилась немецкая погоня, и небо вспыхивало от безжалостного света ракет.

— Ракеты — тоже противная штука, — сказал Мейсон, — не знаю, может, их пускали из ручных минометов, а может, это были винтовочные осветительные патроны. Сперва слышишь громкий треск, и это значит — ложись, падай носом в землю, лежи и не дыши. Секунд через пять или десять где-то в небе раздается глухой хлопок — пх! И тут, хотя мы лежим зажмурясь, ничком на мокром, грязном поле, мы чувствуем, как с неба опускается резкий ослепительный свет, сильнее дневного, и накрывает нас. Это очень страшно. Я не видел его, глаза ведь закрыты, но чувствовал, как этот свет пронизывает меня до костей, и ждал... молился, наверно... ждал, что сейчас нас изрешетят. Но, говорю тебе, это было не самое худшее. Страшнее всего — собаки. У местных они отобрали громадных далматинских догов и натаскали их как ищеек. Я видел их с патрулями на дороге перед виллой — здоровенные голодные зверюги с красными глазами и рыжими пятнами на ляжках. В ту ночь их спустили на нас. Мы слышали, как они рычат и воют где-то за живыми изгородями, ищут наш след. А один раз, когда загорелась ракета, я поглядел из-под локтя и увидел собаку совсем недалеко, на опушке, и рядом — длинного фрица с автоматом. У меня душа ушла в пятки от одного ее вида: жуткая зверюга скалила клыки и большие круглые глаза сверкали, как серебряные доллары. Ее научили убивать, и она перекусила бы тебе хребет, как сосиску.

Небо смилостивилось над ними, или им просто повезло, но они ушли; вернее, ушел Мейсон, потому что его товарищ Станчик (они уже были на берегу, прятались за каменными глыбами и в отчаянии, остуясь и оскальзываясь на обломках скал, бежали к дизельному катерку — к его сигнальному огню, который, казалось, уже слабел и угасал вместе с их надеждой), Станчик угодил ногой в трещину и дико вскрикнул от боли, выдав их местоположение. Мейсон сказал, что явственно слышал хруст кости, а когда он повернулся помочь капралу, в глаза ему ударил ослепительный огонь фашистского прожектора, и его охватило такое отчаяние, какого он не испытывал ни разу в жизни. Беспомощно распластавшийся, смятый болью Станчик хотел передвинуться, но положение его было безнадежно. Мейсон пополз к нему сквозь мучительный свет, и тут по берегу стегнула пулеметная очередь, высекая крошку из сланца и известняка; пуля попала капралу в живот; по словам Мейсона, он увидел черный, как смола, фонтан крови, наверно из какой-то перебитой артерии, потом услышал вздох или шепот капрала — последний медленно затихающий звук его жизни, — а потом Мейсон сам ткнулся в землю: словно огненный нож вспорол ему икру.

— В общем, до лодки я все-таки дотащился, — сказал он. — До сих пор не понимаю, как мне это удалось. А Станчик, бедняга, там и остался. Только успел прошептать: «Бегите, лейтенант. Никому не рассказывайте, как сплхавал акробат». И умер. — Мейсон задрал штанину, и я увидел над щиколоткой уродливый круглый шрам, синеватый, размером с небольшую монету. — На память о войне, — сказал он. — Честно говоря, Пьер, я считаю, что мне повезло. И это приятное напоминание: когда ноет к непогоде, к нью-йоркским нашим дождям, я вспоминаю дочку Плайи, солнце и синее море.

Рассказ поразил меня.

— Ну, Мейсон, потрясающая история.

— Ага, — ответил он небрежным тоном, — все драматические элементы в ней наличествуют. — Он поглядел на часы. — Ну что, может, вернешься к гостям? Знаешь, я побуду здесь. Мне немного надоели эти нахлебники. Соскучишься — возвращайся.

Поскольку Мейсон переживал, если можно так выразиться, богемный период, кинематографистов, к моему разочарованию, почти не было; публику он собрал странную и разношерстную. Как всегда в одиночестве, я занял привычную позицию, пришвартовавшись в какой-то непроточной нише, откуда натренированным глазом отшельника мог наблюдать за приливами и отливами вечеринки. Передо мной проплывали разного пола завсегдаги богемных баров, в том числе — Пенипакеры, которые прибыли чуть позже, хихикая и благоухая марихуаной; несколько абстрактных экспрессионистов от середняков до знаменитостей; редактор «Гудзон ревю»; известный драматург; режиссер с Бродвея, женатый, как шепнул мне перед этим Мейсон, на неизлечимой нимфоманке; три волосатых молодых литературоведа из Нью-Йоркского университета, которые стояли у буфета и сосредоточенно жевали индейку; искусствовед; музыковед — джазовый критик; театровед; человек пять сонных джазистов; и выводок молодых хорошеньких манекенщиц, которые, стоя в комнате и принимали позы в углах, держа стаканы с коктейлями под носом, как нюхательную соль. Из какого-то невидимого источника, неистово бодрый, хлестал джаз, он и поддерживал вечеринку на плаву: стоило музыке притормозить со скрипучей дрожью, как молодые манекенщицы заметно надували губки и оседали в своих воздушных весенних платьях, точно вянущие букеты.

— Этот Мейсон, — произнес мне в ухо хриплый голос, — золотой мальчик. — Голос оказался мистера Горфинкеля, лысого полного человечка, который то ли стеснялся, как и я, то ли был оставлен без внимания и бросил якорь в моей бухточке. Он сказал, что «работает в „Республике“», и я считал ее сталелитейной компанией, откуда он не объяснил мне с придушенным хохотком, что он кинематографист. — Нет, мой мальчик. В Питсбурге я был один раз в жизни. — Потом он повторил: — Этот Мейсон золотой мальчик. Гений. Все при нем. Глаза. Нос. Выразительность. Просто страшно делается. Весь в отца. — Он помолчал. — Пожалуй, ростом выше.

— Вы знали мистера Флагга? — спросил я.

— Знал ли я Джастина Флагга? Мой мальчик, я выкормил его грудью. Я

был ему матерью. Ха! — Он улыбнулся, показав крапчатые резцы. — Это во мне еврейское. — Он подтолкнул меня локтем. — В каждом еврее живет несостоявшаяся мамаша.

Я стал ерзать и поглядывать по сторонам, и в это время мимо прошла одна из самых милых женщин, каких я видел на своем веку. Поразительная женщина; шелковистые, мелко завитые волосы цвета меди окружали ее голову как бы ореолом. От нее веяло мягкостью и внутренним теплом. «Здравствуйте, Марти, вам не скучно?» — сказала она Горфинкелю, взяв его за руку; говорила она совсем не по-актерски, без ложного оживления, голос, женственный и добрый, шел словно прямо из груди, минуя всякие пазухи. А главное, она не назвала его дорогим.

— Привет, Силия,— сказал Горфинкель уже ей вдогонку.— Где ты была, дорогая?

«Кто это...» — хотел я спросить у Горфинкеля, но он опять заговорил о Мейсоне.

— Понимаю,— сказал я.— Так вы давно знаете Мейсона?

— Много лет. Гениальный мальчик. Весь в отца. Только сын будет гением в драматургии.— Он был приятный человек, этот Горфинкель, вид его выражал стоическое одиночество. Не знаю почему, я представил его себе танцующим мамбо в увеселительных морских рейсах в Бразилию и всегда — с женщинами выше его ростом.

— А вы читали его пьесу? — спросил я.

— Нет,— ответил Горфинкель,— он мне ее рассказывал. Она обречена на успех, поверьте. Именно то, что надо. Гениальный мальчик.

— Понятно.

— И подумайте, какие преимущества у сына Джастина Флагга.— Взгляд его сделался мечтательным.— Флагг. Ведь это какое имя... — Он поглядел на меня со значением.— В определенных, конечно, кругах.

Есть такие особенные женщины, перед красотой которых забывает свою робость самый непредприимчивый мужчина. Силия была из них. Я уже думал только о ней и сейчас, когда она стояла посреди шумной комнаты, решил подойти и познакомиться. Я кашлянул и стал отодвигаться от Горфинкеля, который говорил: «Левит. Вы не из тех Левитов, которые домостроительная фирма «Левит, Левиттаун и Лонг-Айленд?» Видимо, есть какой-то фонетический изъян в моей фамилии; я сказал «да», чтобы отвязаться, и пошел к Силии. Но пока я лавировал между гостей, поток их отнес меня в сторону и прибил к буфетному столу; там мне пришлось вступить в пустячный разговор с редактором «Гудзон ревю», который не то чтобы сморщился, когда я произнес название своего колледжа, но сделал круглые глаза, словно содержимое моей головы стало видно ему как на ладони. Кажется, тогда я и решил уйти. Силия была для меня уже недоступна: ее отнесли в угол комнаты и там вокруг нее, жужжа, как пчелы вокруг яркого цветка, вилась молодая люди. Она была красивая, но не могла быть моей, и вдобавок человеку из «Гудзон ревю», говорившему сейчас о массовой культуре, я наскучил так же, как он мне. Зевнув почти в унисон, мы с облегчением пожелали друг другу спокойной ночи, и я отправился к Мейсону сказать, что ухожу.

Экзгибиционистские ли наклонности Мейсона (еще одно проявление его истерической обуянности полом, как и бесконечная жеребятина, трепотня о плотском, которую ты слушал с таким чувством, будто тебе жарко дышат в затылок, и которая вполне понятна в пятнадцати- или шестнадцатилетнем возрасте, но во взрослом могла бы притихнуть — не кончиться, а хотя бы притихнуть) были причиной того, что он оставил дверь спальни незапертой? Он знал, что я могу туда зайти; больше того — сказал, что будет ждать меня. И если он запер дверь на замок, когда хотел поболтать со мной, то, казалось бы, надо запереть ее на два замка, когда собираешься заняться тем, за чем я имел несчастье его застать. Но это, увы, был Мейсон, а не мы с вами, и не стану говорить, будто я всегда понимал, что у него на уме. Скажу зато, что буквально остолбенел, когда, не услышав ответа на мой стук, открыл дверь и при ярком свете увидел их, Мейсона и Кэрол, нагишом в постельной буре. Выглядело это такой инсценировкой, что я застыл на несколько секунд, как человек, впервые наблюдающий вскрытие трупа, а потом, немного опомнившись, произнес неуместное «спокойной ночи, Мейсон», за-

хлопнул дверь, словно огорошенная горничная в гостинице, и поплелся по коридору обратно с горящими щеками, изумляясь могуществу супружеской любви, которая заставляет человека посреди им же устроенной вечеринки уволаскивать свою пьяную жену в спальню.

С той только небольшой разницей, что Кэрол была ему вовсе не жена. (Можно ли упрекнуть меня в том, что я, всего несколько лет как из Виргинии, предполагал, что, если человек говорит «любовь моей жизни», он подразумевает жену? Вероятно.) Когда я направился к выходу, у двери стоял Горфинкель и с ним — мое недостижимое видение, прекрасная и светлая Силия.

— Левит, — сказал Горфинкель, — вы что, уже уходите? Познакомьтесь с женой Мейсона. Силия, это Питер Левит.

— А-а, вы, наверно, Питер Леверетт! — сказала она с оживленной и доброй улыбкой. — Мейсон столько мне рассказывал о вашей чудесной жизни в Виргинии. И о вашей нелепой школе! А я и не знала, что вы здесь!

— Ах, Леверетт. Простите, мой мальчик, — сказал Горфинкель. — Но все равно вы должны знать, что вот ей, вот этой девочке, Мейсон во многом обязан своим талантом.

Жена Мейсона? Множество чувств нахлынуло разом (Кэрол, «любовь моей жизни». Жизни. Жена. Идиот!); я глядел на Силию и не мог вымолвить ни слова. Силия: флейта, свирель, колокольчик; Кэрол была мычанием. И в эту самую секунду Мейсон с Кэрол... Редко доводилось мне испытывать такой тоскливый стыд, такое разочарование в чем-нибудь, во всем на свете.

— Искусство умерло, Питер, — сказал мне как-то Мейсон в эту нью-йоркскую неделю. — Ну если и не умерло еще, скажем так: милая старая муза медленно умирает и через десять—двадцать лет испустит дух у нас на глазах. Наука — вот новая муза, это ясно как дважды два. Наука плюс общая нивелировка вкуса — и конец неизбежен. Но знаешь, плакать не о чем. Нельзя плакать о том, что predetermined истории. Факт есть факт. К концу века искусство — живопись, музыка, поэзия, драма — вымрет, как лабиринтодонт.

— Это что такое?

— Доисторическое земноводное, верхнепермский период.

— Тогда скажи мне, Мейсон, зачем ты пишешь пьесу?

— Да сам не знаю, — ответил он, — наверно, твердолобость своего рода. Моряк, если он не трус, не бежит с корабля, даже когда захлестывает леера. А кроме того, всегда есть вероятность — очень маленькая, но есть, такое случается, — что история сделает вираж и у нас будет ренессанс вместо похорон. Кое-какие намеки я уже замечаю.

— Например?

— Ну, в живописи — абстрактный экспрессионизм. А в музыке — джаз. И в том и в другом колоссальная свобода и энергия, они сбросили путы нудного формализма и всей этой традиционной ереси, которая мумифицирует искусство. Так что... Согласен, надежда слабая — но если оба они войдут в силу, мы можем стать свидетелями возрождения, и, как уже бывало в истории, остальные искусства тоже расцветут. Ты понимаешь, что я хочу сказать?

— Ну, в живописи я ничего не понимаю, Мейсон. А что до музыки, ранний диксиленд, по-моему, штука замечательная или там Бесси Смит¹³, и тем не менее...

— Тем не менее — что?

Я люблю выражаться точно, но, пока подбираю слова, теряю время, инициативу и в большинстве споров проигрываю.

— Тем не менее, — опередил он меня, — есть на свете И.-С. Бах. Ты это хотел сказать?

— Более или менее, Мейсон, — ответил я. — Только чуть подробнее.

— De gustibus¹⁴, Питер, — дружелюбно сказал он. — По рукам: тебе — твой труп, мне, так и быть, — голосистую, огневую девчонку.

— De gustibus, Мейсон, — сказал я.

¹³ Смит Бесси — исполнительница блюзов.

¹⁴ De gustibus non est disputandum (лат.) — о вкусах не спорят.

— Обывателем родился, обывателем умрешь. Но минус тянется к плюсу. Может быть, я за то тебя и люблю, что ты безнадежный обыватель.

Он говорил это с такой милой улыбкой, с такой искренней теплотой, что тут же улетучивалась из памяти вся предыдущая речь, которая еще несколько секунд назад казалась мне оскорбительной, претенциозной и пошлой.

В ту неделю у нас несколько раз заходил обстоятельный разговор об искусстве и близких предметах. Хотя университет расстался с ним — или наоборот, — Мейсон самостоятельно прочел, кажется, все на свете и большую часть усвоил — и, щеголяя, красовался своей изумительной эрудицией, как человек, собравшийся на костюмированный бал, своим нарядом. Если вам угодно было знать о происхождении розенкрейцеров; об островах Курия-Мурия, гуановых атоллах близ аденского побережья; о разнице между абсолютной и видимой звездными величинами; о значении обрезания у женщин в племенах Калахари; о влиянии Ранульфа де Гланвилля¹⁵ на законодательство («Ты хочешь сказать, Питер, что учился на юриста и никогда не слышал о Гланвилле?»); о терпимости к половым извращениям и об их разновидностях у индейцев-гуронов; о разнице между доброкачественными опухолями фибромиомой и хондромой; о том, почему немецкие ученые преувеличивают влияние Томаса Кида на Шекспира; об употреблении древними римлянами механического пениса, — Мейсон мог живо и в подробностях разъяснить вам эти предметы, эти и тысячи других. И самое любопытное — правда, потому, может быть, что я, как истинный сын своего века, падох на факты, — Мейсон почти никогда не утомлял меня своей образованностью; он играл и жонглировал этими бесполезными сведениями, вдруг извлекал их посреди какого-нибудь рассказа или шутки, как фокусник извлекает из рукава кроликов, розы, удивительных турманов. Снова и снова возникала его югославская эпопея, он не уставал о ней рассказывать, а я слушать — хотя бы потому, что все время открывались какие-то новые стороны, появлялись новые действующие лица: веселый мэргородка, дезертир-итальянец (эпилептик с ночными припадками кровожадного буйства), эсэсовский комендант, его страшное появление на вилле, — и на этом фундаменте вырастало поразительнейшее здание истории, фактов, идей и легенд. «Наш Плайя был настоящий далматинец душой, — говорил он мне. — То есть воин. Понимаешь, в средние века его предки сражались с венецианцами: их тогдашний король Владислав Неаполитанский, законченный мерзавец, проданся Венеции за сто тысяч дукатов, если не ошибаюсь. Неслыханно кровавая эпоха! Послушай, как это было...» И начинался новый рассказ. А по ходу его я узнавал, что главный враг обыкновенной садовой сливы — отвратительный жучок долгоносик; что гульфик был запрещен папой Сикстом V как угроза целомудрию; что латинское название сокола, *falco*, происходит от слова *falx*, серп — на него похожи кривые когти птицы. Поразительно в Мейсоне было то, что, презирая прошлое, он так много о нем знал.

И поньше в моей замусоленной и закапанной слезами книжке воспоминаний выделяются две фотографии. На первой (пытаюсь вспомнить, на какой вечеринке ее сделали) видна моя рука, бледная, как рыбе брюхо, при свете вспышки. Тут же Кэрол, томная и навеселе, с влажно поблескивающими губами, наклонила лицо, чтобы через секунду поцеловать Мейсона в красиво постриженный затылок. Что же беспокоит меня в этом снимке?.. Вне всякой связи с их занятием? В центре картины — сам Мейсон. В профиль; разговаривает с кем-то за кадром; он не знает, что губы, влажный бутончик языка, приближаются к его затылку; и сейчас, за секунду до того, как они его коснутся, лицо его выражает совершенную подавленность. Выражение странное, редкое у Мейсона — усталости, упадка и отворачивания к жизни (с кем он мог говорить? — это неважно), — и я много раз задумывался над снимком всегда с сочувствием к этой, должно быть мимолетной, его печали, которую редко наблюдал в жизни. Так ли он был несчастлив тогда, как подсказывает мне снимок? Теперь я не могу решить. Во всяком случае, на другой фотографии Мейсона нет и намека на грусть. Здесь мы сняты возле его мастерской на крыше дома в Гринич-Вилледже: тут и я опять и Мейсон, но не Кэрол на этот раз, а Силия. Весенний полдень; это видно по освещению, по цве-

¹⁵ Г л а н в и л л ь Р а н у л ь ф д е (ум. 1190) — английский юрист, верховный судья при Генрихе II. Ему приписывают «Трактат о законах и обычаях английского королевства».

точным ящикам и деревьям около таких же особняков на крышах зданий на заднем плане и по легкому весеннему платью Силии. Как от всякого выцветающего снимка, от этого тоже веет печалью и ностальгией; они в любительском перекосе кадра, в проступающей желтизне, в ощущении весны, ушедших навсегда, в старых фасонах туфель и причесок, в крышах, которых уж нет (дом Мейсона недавно снесли), в том, в чем состоит, может быть, единственное пронзительное открытие фотокамеры: в чувстве ушедшего и безвозвратного времени. Силия здесь еще красивее, чем мне помнится, ее лицо и глаза подняты к Мейсону, она совсем близко и, кажется, сейчас шаловливо куснет его за щеку ровными белыми зубами. Мейсон наклонил к ней голову; он готов укунить ее в ответ еще игривее, лицо его брызжет радостью и весельем. Что до меня, я стою чуть в стороне, глядя на неведомого фотографа, и мое лицо в лучшем случае можно назвать хмурым. А за нами в небе, выше водокачек, вьется стая сизарей, смазанных пятнышек, наполняя этот миг минувшего пернатым движением, пространством и жизнью...

Должен сказать, в ту неделю Мейсон буквально завладел моими часами, дневными и ночными. Я уже уволился перед отъездом в Европу, делать было нечего, и оказалось, что таскаться с Мейсоном интересно; он никогда не выдыхался, всегда находилось что-то новое: новое занятие, новое место, — и он всегда платил по счету. Против этого я возражал (искренне), но он как-то незаметно заставлял меня перешагнуть через это тайное унижение. «Слушай, кулленок, — говорил он, — французские девушки обходятся недешево. Копи деньги». И, выдержав паузу: «Можно начистоту? Я богатый мальчик, и знаю это, и трагиться хочу на тех, кого люблю. Черт возьми, не пропадать же втуне папашиным неправедно нажитым деньгам. А ну-ка отдай мне счет!» И, вытаскивая бумажник, добавлял: «С нашей вшивой демократией, если ты богат, ты должен вертеться ужом, изображая нищего».

Я соглашался — каким-то простуженным, осипшим голосом. Очутиться в таком положении уютно, во всяком случае поначалу. Я не раз спрашивал себя: положим, не поеду я за границу, что будет, если остаться вот так, под крыльшком у Мейсона, до конца моих дней? И от мысли этой мороз пробегал по спине. Конечно, я подозревал, что под широкими жестами Мейсона таится некая жажда власти, но в то же время сознавал не без стыда, что во мне самой готовности подчиняться больше, чем мне хотелось бы. А кто меня упрекнет? Что ни ночь (их было пять по меньшей мере), то новая девушка. И все они были безмозглые, красивые и покладистые. Разве не приятно очутиться во власти такого легкого, щедрого сводника! Я говорю серьезно. Никогда еще я не жил такой напряженной и разнообразной половой жизнью. И обязан был этим Мейсону. Я стал кронпринцем среди его нахлебников. А когда он показал мне свою эротическую коллекцию, я понял, что я окончательно свой.

Увидев ее впервые, я только протяжно и прочувствованно свистнул.

— Мейсон, где ты добыл столько добра?

— Года два назад умер от опухоли в мозгу мой приятель. Он завещал мне это. Подложить тебе льду? Вернее, это была основа моей коллекции — большинство вот этих книг. Я увлекся и стал понемногу добавлять. В сущности, это хорошее помещение капитала. Знаешь, спрос на такие вещи большой. Почти такой же, как на живопись, и гораздо более устойчивый, чем на золото или марки.

«Основа» состояла из таких почтенного возраста предметов, как «Тысяча и одна ночь» (Лондон, 1921, отпечатано по частному заказу); «Мемуары Фанни Хил» (там же, 1890); полные собрания по-английски и по-французски «бесподобного гения в своем роде», как выразился Мейсон, «божественного» маркиза де Сада, включая его шедевр «Жюстини», а также «Жюльетту», «Философию в буддуре» и «Преступления любви» (Париж, 1902, с иллюстрациями); «Одиннадцать тысяч палок» Аполлинера; книжек пять, отпечатанных в Париже по-английски, — французские лаомства для разговляющихся англосаксов. Но после того как я пролистал эти элементарные труды, на меня обрушился поток таких прелестей, о каких я не ведал ни сном ни духом: прекрасно оформленные произведения на итальянском и французском, некоторые аж XVII века: приапические прославления римских способов любви, с помпейских фресок около 79 года нашей эры; изысканные и тонкие рисунки из Аравии, Индии, Японии, с Явы, на рисовой бумаге и в свитках; любовь на Кубе, в Туркестане и у персов; и даже любовь у скандинавов.

В общем, из всех искусств, изобретенных человеком, это по длительности воздействия стоит на последнем месте — если не учитывать лиц переходного возраста и психически неуравновешенных, — так что довольно скоро меня стало преследовать ощущение некоторого однообразия, и, поникнув, буквально поникнув, я обернулся к Мейсону в большой тоске от всего увиденного.

— Ты серьезно говоришь, что это барахло стоит больших денег? — спросил я.

— А ты как думал? Я за один китайский свиток заплатил пятьсот долларов. Начало маньчжурской династии. А вот еще интересная вещь... Секс — последняя граница, — продолжал он где-то у меня над плечом. — Как в жизни, так и в искусстве, Питер, секс — единственная область, где люди еще могут полностью выразить себя, с полной свободой. Где они могут сбросить общественные путы и условности и вновь обрести свою человеческую индивидуальность. Причем я говорю не о тихонькой, унылой обывательской спазмочке в потемках. Я говорю о полном освоении секса, как виделось Саду, и вот почему так важна и целительна для духа подобная библиотека. Можно назвать это *le nouveau libertinage*¹⁶. В том-то и состоит гениальность Сада, революционность его идей, что он увидел человека не таким, каким ему предлагали быть — нечеловечески благородным созданием, чье благородство есть псевдоблагородство, ибо он просто искривлен, укорочен и болен из-за напрасных попыток победить в себе животную природу, — а таким, каков он есть и всегда будет: мыслящим биологическим комплексом, который, кстати или некстати, существует в мире несбывшихся сексуальных фантазий, и подавление их — корень доброй половины всех зол и страданий в мире. Это странный парадокс, Питер, что Сад стал синонимом всякой жестокости и мучительства, когда на самом деле он был первым психоаналитиком нового времени: он увидел больше зла и боли в бесплодном подавлении секса, чем в том, что было для него простым ответом на это подавление, панацеей — высвободиться из мира фантазий и реализовать секс на уровне действия... Когда половой акт будет отображен в искусстве — в прозе, в живописи и на театре (хотя это, согласен, сложнее), — тогда и только тогда получим мы какую-то свободу. Ибо, во-первых...

От размышлений над этой диковатой перспективой мне стало смешно, как от щекотки, я чувствовал, что смех распирает меня, и, обернувшись к Мейсону, не выдержал и громко мыкнул; он оборвал фразу на половине и уставился на меня.

— Что тут смешного? — раздраженно спросил он. И только теперь все слова, которые он произносил так торжественно и с такой страстью, запоздало и разом дошли до меня, будто открылся люк и все это на меня высыпалось.

— Да не знаю, Мейсон, — ответил я не в силах сдержать ухмылку. — Ты ведь не серьезно это говоришь? Я всегда считал это удовольствием, прекрасным, замечательным, самым лучшим на земле — но ты, кажется, хочешь превратить его в культ, и притом в мрачный.

— Вот ты и выдал себя, кукленок, — сказал он. Тон был легкий, но раздражение еще слышалось. — На вершинах своих секс всегда был культом. Лелеемым и утонченным, как всякое высокое искусство. — Сухо улыбнувшись, он отобрал у меня очередную картинку. — Обыватель из обывателей, — благодушно добавил он.

— Дело вкуса, Мейсон.

Но эти две фотографии — одна с Кэррол, другая с Сирией — до сих пор не дают мне покоя; они встряхивают память, как аромат, как обрывок музыки или знакомый голос, которого не слышал много лет. Я снова обращаюсь к первой, пытаюсь схватить ее настроение, уразуметь ее, разместить во времени — и вот внезапно (может быть, тоже окольным ходом через воспоминание о коллекции) она оживает для меня, я понимаю, что она значит. Как со стоп-кадром в кино, когда лыжник зависает в воздухе, ныряльщик замирает на середине сальто или клоун, шлепнувшись на задницу, застывает с нелепо задранными конечностями, а через несколько долгих мгновений все снова трогается с места, — так и эта картинка вдруг становится движущейся; больше того, незначительным усилием воображения я могу убедить себя, что не разглядываю эту сцену, а участвую в ней, как много лет назад, что рука моя, не зная, чем заняться, чуть отодвигается, а

¹⁶ Новая распушенность (фр.).

я, еще не проморгавшись после фотовспышки, вижу, как дрожащий и мокрый язычок Кэрол наконец прикасается к шее Мейсона, а ее рука... Тени божественного маркиза! И почему после всех рассуждений Мейсона о «групповом взаимодействии» я не смекнул, что меня затащили на оргию, то есть смекнул, но чуть ли не задним числом, — это и теперь для меня такая же загадка, как тогда: остается только честно признать, что я, наверно, догадывался или подозревал о предстоящей оргии и тоже подспудно жаждал оргиастического катарсиса.

Принимал нас в тот вечер в большой и пышно обставленной квартире около Вашингтон-сквер знаменитый молодой драматург Харви Гланснер. Сразу после войны на Бродвее с громадным успехом прошла его пьеса, где смело и с большой проникновенностью были обнажены на примере бедной нью-йоркской семьи невротические мучения нашего века. Затем у него было несколько провалов подряд, что в Америке, особенно на Бродвее, равно могиле. После этого, к огорчению многих, все еще видевших в нем надежду американского театра, талант его пошел прахом; он принялся писать мутноватую публицистику — в основном статьи для маленьких ежеквартальников, в которых воспевал преступность среди несовершеннолетних (в ту пору еще только ее ростки), прославлял психопатов, насильников, сутенеров, наркоманов и другие человеческие отбросы и наконец сполз в какую-то полубессвязную порнографию, став непригодным для чтения (но не для печати, к чему он, по-моему, стремился), если не считать довольно специфического интеллектуально-эстетского кружка, приветствовавшего любой нездоровый шум, даже самого детского свойства. Он распространялся о торжественности оргазма, о его неполноте и мучении и о его отношении к богу. При всем этом он был одаренным писателем, даже после того, как потерял благосклонность Бродвея, и мог бы пользоваться более широким успехом, если бы секс в его писаниях не выглядел чем-то тяжким, ужасным и отвратительным: вы можете писать о сексе сентиментально, путая его с любовью, и вас все равно будут читать, но если вы приравниваете секс к неприятности, можете быть уверены, что аудитория у вас станет призрачной независимо от того, пуританский у вас уклон или порнографический. «Харви, как Данте, — настоящий ненавистник», — сказал Мейсон. Думаю, что этот Гланснер и был вдохновителем его эротической философии. Прыщавый, мертвецкого вида молодой человек с брюшком, крючковатым носом и в очках с роговой оправой, Гланснер встретил нас в дверях многозначительной (а мне тогда показалось — бессмысленной) улыбочкой и раздал сигареты с марихуаной. Я должен описать состав участников, для оргии, мне кажется, небогатый, а впрочем, может быть, и наоборот. Нас было восемь человек: вездущие Пенипаперы, лисоватые, как всегда; Гланснер и его жена, изгибчатая золотоволосая красавица в арлекинских очках, имени ее не помню; и, так сказать, в задней линии атаки я сам и Лайла, которую добыл для меня Мейсон, — спелая и привлекливая девушка из стриптиза, гораздо быстрее меня разобравшаяся в обстановке; в самом начале она отвела меня в сторону (это было нетрудно сделать, потому что джаз гремел оглушительно, а многочисленные синие лампочки заливали наши лица не светом, а кровоподтечным сумраком мертвецкой) и, к моему изумлению, сказала: «Никому не говори, но чую, вечеринка с душком».

Как многие беспорядочные воспоминания, это тоже сохранилось у меня в виде клочков и обрывков — синий свет, вой саксофонов и неотвязный пряный запах марихуаны. Сперва Гланснер слонялся по комнате и снимал нас громадным «графлексом».

Воздержавшись от марихуаны, которая на меня, кажется, вообще не действовала, я занялся потихоньку красным вином и почти все время просидел бок о бок с Лайлой на белой кожаной оттоманке. Джаз, музыка не слияния, а расщепления, беспрерывно хлестал мне в лицо, а когда он прерывался и автомат с тихим жужжанием ронял новую пластинку, тишина была жуткой и тягостной, и, помню, я удивлялся атмосфере вечера, сочетавшей в себе отчаяние, недоброжелательство и неприличную вялость собрания молодых баптистов на юге. Впоследствии я узнал, что марихуана подавляет желание разговаривать: в тот вечер она определенно наложила свою тяжелую длань на беседу. Только мы с Лайлой на нашей оттоманке, как на островке, пробовали разговаривать: что же до остальных, они расселись парами на диванах и, посасывая из кулака, окутались сизым дымом. Однако чуть погода гости слегка оживились; там и сям послышалось сла-

бое, тонкое, бессмысленное хихиканье, и хозяин завел танцевальную музыку; после джазового штурма ее буржуазные звуки утешали слух, но она, наверно, тоже была частью ритуала: Мейсон, например, встал с напряженным жестким выражением лица, поднял красивую жену Гланснера и повел ее по темной комнате в некоем подобии танца, не совсем, правда, плавного, но с большим количеством посторонних телодвижений.

Я с удовольствием описал бы оргию подробнее, но как раз тут — для меня и Лайлы, во всяком случае, — мероприятие подошло к концу. Чуть позже, когда Мейсон еще танцевал, Гланснер зажал Кэрол в темном углу и замычал ей что-то на странном батрацком, вахлацком наречии (через несколько лет оно стало известно как жаргон хилстеров, но тогда я этого еще не знал); слова, которые он сонно напевал ей, были самые забористые в языке, и произносил он их с безжизненной повелительностью метронома, вызывавшей у меня озноб; однако если он рассчитывал, что они хоть кого-нибудь возбудят, и если мою Лайлу рассматривать как барометр, то он сильно просчитался. Лайла была крупная здоровая девушка с пружинистой грудью, девушка тертая и без выкрутасов. Когда я повернулся к ней — уже более чем ощущая упомянутый душок, — она тихо сказала: «Я бросила курить эту дрянь в шестнадцать лет. Неужели никто не скажет этому лопуху, что пора повзрослеть — сколько можно играть в бирюльки? Он что, думает ее р а з з а д о р и т ь? Смотри, мы, кажется, влипли». Пенипакеры слезли с кушетки и крадучись двинулись к нам. Мы поднялись разом, Лайла и я, и, чтобы спастись от них, пошли танцевать в потемках, держась ближе к стенам. «Когда я выступала в Лондоне, там называли такую компанию скверной. Очень подходящее слово. О чем Мейсон думал? Я компанейская девушка, но эти номера не для меня. Он что, проституткой какой-то меня считает? — Она прижалась ко мне. — Пойдем от этой артели».

Мы танцевали довольно долго, тесно прижавшись, неразлучные, как супружеская пара. Позади нас слышалась возня, стоны, и, когда мы наконец решились уйти, я обернулся и увидел Мейсона в дверях спальни, освещенного с головы до ног; одной рукой он обнимал жену Гланснера, у которой были остекленелые глаза и уже расстегнут лиф, причем их фигуры загораживали все, кроме лица Гланснера, полулежавшего в изголовье огромной кровати, и на лице этом (к моему удивлению, ибо я не ожидал ничего такого пронзительного) было написано замозильное уже бессилие человека в пяти минутах от виселицы.

Теперь о лице самого Мейсона: я, наверно, предполагал увидеть его пылающим страстью, о чем мы читаем в романах, но все, что там было — или открылось моему взгляду, — это какая-то жалкая, сиротская наивность.

— В чем дело, Питси? — спросил он. — Ты уже уходишь? — Назвать его голос страдальческим было бы преувеличением, но в нем определенно звучала жалоба одинокого, покинутого человека, и когда он повторил эти слова, только громче: — Ты уходишь? — я понял, что он по-настоящему обижен моим дезертирством. — Брось, кукленок, — сказал он заискивающе, хотя обида еще была слышна, — неужели ты струсил?

— Лайла плохо себя чувствует, — соврал я.

Не хочу рассуждать, кто из нас, Мейсон или я, был прав или не прав; вопрос — если есть такой вопрос — состоит не в этом. Как ни воспламенен я был тогда страстью к Лайле, я счел большой нечуткостью со стороны Мейсона его нежелание понять, почему мне, может быть, не захочется при свете снять брюки и, потяя, плечо к плечу и глаза в глаза со всей честной компанией совершить радостный обряд любви.

— Ладно, Питер, — сказал Мейсон. — Обывателем родился, обывателем умрешь.

На другое утро, когда мы с Лайлой сидели за завтраком, самым смешным во вчерашнем вечере нам показалось вот что: если Мейсон и получил миссис Гланснер, а Гланснер — Кэрол, то Пенипакеры, как сокращенное издание Паоло и Франчески, вероятнее всего, довольствовались друг другом. Но тут Лайла погрузилась.

— Как ты думаешь, что гложет Мейсона? При такой жене — ты видел ее? прелесть, — если хочешь знать, по-моему, он просто сбрендил.

Некоторые жесты врезаются в память. Однажды ясным днем Мейсон с Силией и я ехали обедать на Лонг-Айленд, и рука Силии прикоснулась к его затылку.

— Посмотрите на его волосы, — сказала она. — Видите, как блестят на солнце? Правда красивые, Питер?

Не могу не отметить одну черту, роднившую Силию с Венди: обе бесстыдно льстили своему ненаглядному. Но на этом сходство кончалось. Силия стоит особняком, она ни на кого не похожа.

Кэрол осталась в моей памяти как большая ночная клякса, Силия — лист, облако, свет, дневное существо, никак не причастное к ночным изысканиям Мейсона. А дни и вечера Мейсона, его жизнь с Кэрол и его жизнь с Силией были настолько разделены, что за исключением одного или двух случаев я помню Силию только днем, как на той фотографии, и лицо ее всегда поднято к Мейсону словно к солнцу. Как она его обожала! И до чего задевала меня небрежность, с какой он принимал ее обожание, ее лесть, ее ласку. Не только потому, что я сам в нее влюбился, безнадежно и, так сказать, на расстоянии, а потому, что, подобно Лайле, я не понимал, как он мог променять такое яство на шамовку Кэрол.

Но надо отдать должное Мейсону: он был любезен и даже ласков с Силией — по крайней мере при мне; в словоре с солнечным светом она будто облагораживала его характер, обуздывала и смягчала. Сама она была мягка, как шелк; в ней было что-то от котенка, но ни капли робости и жеманства, и в голосе ее звучали восхитительно теплые переливы, все женственные и все деликатные. В ней было и достоинство, и та светлая собранность, очень редкая в красивых женщинах, которая порождается сознанием, что красота ее должна радовать мужчин, а не только ее саму. Боюсь, что ей не хватало только одного: чуть-чуть стержности, которую способны проявить даже самые ангельские женщины, будучи вынуждены к этому; некоторые мужчины презирают добрую женщину еще больше, чем мегеру, и я готов был бы допустить, что как раз порядочность, великодушие, доброта Силии бросили Мейсона в несвежие объятия Кэрол, — да в том беда, что Мейсон всегда бы нашел себе Кэрол, не одну, так другую.

Как бы то ни было, последние четыре или пять дней перед моим отплытием в Европу мы провели втроем, и провели прекрасно. Я почти переселился к Мейсону, а в своей квартире только спал; я завтракал с Мейсоном и Силией, ел с ними второй завтрак и с ними проводил долгие послеполуденные часы безделья. Если подумать, получился у нас весьма степенный и платонический *ménage à trois*¹⁷; отношения между нами были самые близкие, теплые, родственные. Я заметил, что при Силии Мейсон не распускает язык: прекращались назойливые похабные разговоры, зловещая кабалистика *le nouveau libertinage*; иногда он рассказывал что-нибудь забавное, а я украдкой смотрел на Силию и видел, как по ее очаровательному веселому лицу разбегаются морщинки смеха, видел наивное, восторженное удивление ребенка, которому показали какого-нибудь странного нового зверька, какого-нибудь клоуна, какое-нибудь новое чудо, — и трудно было представить себе, чтобы она разглядывала вместе с Мейсоном его коллекцию или участвовала в свальных вечеринках Гланснера. Впрочем, это праздные рассуждения, потому что, как я уже сказал, Мейсон не путал свои дни с ночами: в конце дня я прощался с ними, а позже, когда снова встречался с Мейсоном, происходило это в каком-нибудь прокуренном гриничском шалмане, набитом людьми, всегда пребывавшими в спячке, какими-то сгорбленными, полуобморочными (впрочем, «это шальные ребята, Питер, — сказал мне как-то Мейсон. — Они хотят от жизни только остроты, переживаний, это последние бунтари»), и всегда там была Кэрол, сонная, со слипающимися глазами, и просила еще виски.

— Против чего они бунтуют? — спросил я.

— Против водородной бомбы. Против мира, который создан не ими.

— Послушай, Мейсон. Ну ладно бы они веселились...

— Веселились? Они слишком отчаялись, чтобы веселиться. Они понимают, какое нам завещано наследство.

Я не стал уточнять.

Чем дольше наблюдал я Мейсона в этой двойной роли дневного барина и ночного нигилиста, это раздвоение между Кэрол и Силией, тем яснее станови-

¹⁷ Брак втроем (фр.).

лось, что вот передо мной поистине замечательный молодой американец — способный в век отвратительной пресыщенности и в сером тумане Единства восстать против общепринятых норм и кинуться в омут изощренной чувственности, наркотиков, синтетического греха, не выпуская из крепкого кулака свои два миллиона долларов. Тогда мне виделось в этом нечто заслуживающее определенного уважения: по крайней мере, для этого требовалось больше вкуса, больше фантазии, чем бывает обычно — или проявляется — у богачей.

День накануне моего отплытия в Европу запомнился такой прозрачностью, которая очень редко бывает у летнего неба, — без дымки, без облачка, необъятная пылающая синь, которая словно растворяет все болезненные ошибки прошлого, а в грядущем сулит бог знает что. Ни до, ни после не было в Нью-Йорке такого упоительного дня, и, когда мы ехали на Лонг-Айленд, даже унылые бульвары Квинса благоухали весной. Но не только погода украсила этот день. Силия, хрупкая и кроткая, в легкой косынке, даже при солнце светилась, как свеча. Мы ехали в спортивной машине, в «феррари», которую Мейсон — как всегда, впереди прогресса — купил только накануне; такие машины в то время еще вызывали любопытство, и, когда мы останавливались перед светофором (Мейсон с Силией сидели впереди, а я притулился сзади в ямке между какими-то ключами и домкратами, точно так же как много лет назад — в норке между чемоданами позади Мейсона и Венди), на нас глазел весь Форест-Хиллс. И все же самое главное было, наверно, в Мейсоне; он был хозяином дня: пока мы неслись к далеким зеленым просторам острова, он болтал без умолку и с обаянием кудесника. Сыпались острооты, смешные едкие намеки, каламбуры, легкие и радужные, как мыльные пузыри, выдумки такие изумительно нелепые, что Силия, розовая от смеха, умоляла его перестать, валилась к нему на колени с криками: «Не могу! Хватит!» — а я корчился от хохота между железками. Ночное создание, психолог, торжественный жрец промежуности — куда все это подевалось? Жизнь была из него так, что хватило бы на троих, веселье и юмор переполняли его. Он упивался своей ролью, и один бог знает, почему он не был верен ей всегда — столько удовольствия она дарила окружающим. Вдруг, словно подумав об этом своем подарке нам, а может быть, заодно и о том, откуда он взялся, Мейсон обнял одной рукой Силию, прижал к себе и благодарно замурлыкал ей на ухо; меня пронзила зависть.

Позже, после прекрасного завтрака с вином в ресторане на северном берегу, мы долго сидели на террасе в кружевном от листьев солнечном свете. Мимо проезжали всадники; я снова вспомнил о Венди. Задумчивый, довольный, ничем не похожий на Мейсона ночного, иступленного, он держал Силию за руку и рассказывал мне, чего стоит ждать от Европы:

— Тебе не все там понравится, Питер, она еще не оправилась от войны. И во всем, во всем — какое-то омертвение. Искусство там, в сущности, кончилось, вот почему — хотя поездить люблю — я не могу жить подолгу нигде, кроме Америки. Не сочти меня пошляком, но мы в самом деле страна будущего, и всякий, кто связывает свою судьбу с Европой — то есть навсегда, — на мой взгляд, просто проигрывает. Так называемые сокровища прошлого — все это, конечно, прекрасно и даже необходимо для каждого, кто хочет приобщиться к культуре, но значащая форма, пользуясь выражением Клайва Белла¹⁸, зиждется на постоянном изменении, постоянном омоложении в источниках современности, на непрерывной перетряске и перестройке, а Европе это уже не по силам. Вот почему без всякого смущения, а, наоборот, с гордостью я считаю себя непоколебимым модернистом.

Так облегчившись — это было едва ли не единственное глубокомысленное его высказывание за весь день, — он стал говорить об удовольствиях, ожидавших меня в Европе («Если ты взглянешь на нее как на игрище и все еще очарованную землю, то не останешься в накладе»): Париж и солнечная прелесть южной Франции, Лазурного берега, фантастическая красота Альп, Балеарских островов, Коста Брава. Я слушал его лекцию прилежно, увлеченно; в сказку превращались описываемые им места, знакомые ему люди («Ага, сейчас я черкну записочку папаше Альберу. Лучшие coquilles St. Jacques¹⁹ в Лионе, иначе го-

¹⁸ Белл Клайв — английский искусствовед, пропагандист современного искусства.
¹⁹ Съедобный вид моллюсков (фр.).

вора, в мире. Маленький человек, без ноги...»), укромные уголки, кафе и пляжи, тихие бухточки, не ведомые ни одному американцу, кроме него...

Все это превращалось в сказку, но сказку, наполненную его особенным, мейсоновским комизмом; Силия смотрела на него с обожанием и очаровательно прикусывала нижнюю губу, сдерживая смех. Наконец она не выдерживала, а вслед за ней и мы разражались хохотом; в тот веселый весенний день с запахом морской соли, с белыми парусами, косо вросшими в синюю даль, с брызгами хрусткого гравия из-под конских копыт на дорожках, сидя под удлиняющимися тенями, я думал, как мне все же повезло, что я знаком с этим ярким, неистощимым молодым человеком и считаюсь его приятелем. Богатый, красивый, образованный, остроумный, талантливый, герой войны, муж женщины, при виде которой богини должны скрежетать зубами от зависти,— чего еще желать смертному? Сулила ли жизнь когда-нибудь больше молодому счастливцу? В тот день рядом с ним я почувствовал себя заурядным и мелочным и огорчился, что это мешает мне увидеть в его неприятных качествах вместо испорченности черты роскошного ренессансного мужчины-жеребца.

Конечно — если взять только один из штрихов, позволявших мне рассматривать Мейсона не вполне поэтически,— никаким героем войны он не был. Точнее говоря, он числился уклонившимся от призыва (шрам на ноге возник в результате столкновения велосипедов во время неудачного принстонского семестра), а что касается Югославии, знакомство с ней не шло у него дальше книги Ребекки Уэст «Черный ягненок, серый сокол», которую он прочел с восторгом и почерпнул оттуда достаточно красок и исторических деталей, чтобы заморочить голову не только мне, но и гораздо менее простодушным. Откуда я это узнал? Силия сказала.

Сказала в ту же ночь, придя ко мне, если можно так выразиться, в гости. Вернее, это было утром — в четвертом часу, я как раз собирал вещи в дорогу: лихорадочный стук в дверь, дверь тут же распахивается и передо мной Силия. На улице шел дождь. Волосы у нее прилипли ко лбу и щекам. Она остановилась на секунду, посмотрела на меня с мукой, с болью; губы у нее раскрылись, словно она хотела заговорить, потом она дотронулась рукой до затылка, и, когда отняла руку, я увидел на руке кровь. Она ничего не сказала. Она стала смотреть на свои окровавленные дрожащие пальцы, рот у нее опять раскрылся, но она не заговорила, а рухнула на пол. Милая Силия. Я остолбенел.

Привести ее в чувство удалось легко: сперва я смочил ей лоб холодной водой, а потом дал растворимого кофе. На затылке у нее оказалась шишка размером с яйцо, сама же рана была маленькая и неглубокая; кровь скоро остановилась сама собой, и Силия с тихим стоном откинулась на подушку, тяжело дыша и закрыв глаза сгибом руки.

— Что случилось?

— Ох, голова болит!

— Ради бога, что случилось?

— Он ударил меня тарелкой,— сказала она.

— Тарелкой? Какой тарелкой?

— Английской, из сервиза. Блюдом. Ох, голова болит!

Я дал ей две таблетки аспирина, накрыл одеялом (ее знобило) и сказал, что надо вызвать врача. Но она и слышать об этом не хотела: все пройдет — он и раньше ее бил, и сильнее, и гораздо сильнее.

— Подлец,— сказал я.— Скотина. За что? Он часто вас бьет?

— Я не знаю за что, Питер.— Она хотела сесть на кровати; я ее придержал. Теперь она открыла глаза, и я увидел, что они покраснели от слез.— Напрасно я к вам пришла, Питер,— сказала она.— Простите, пожалуйста. Но иногда с ним так страшно. А вы стали... стали совсем своим, а я просто не знала... — Голос ее замер.— Нет, он не часто меня бьет. (Слова настоящей жены, верной даже in extremis²⁰; в жизни не слышал ничего подобного: либо ты бьешь жену, и тогда это — «часто», либо вообще не бьешь.) Правда, простите меня, Питер,— повторила она.

— Не извиняйтесь, Силия,— сказал я.— Не надо. Жаль, что я не знал этого раньше.— Во мне уже вскипала ярость, вдвойне мучительная оттого, что бес-

²⁰ В крайности (лат.).

сильная; причинить боль этой беззащитной девочке, этому жаворонку казалось мне тогда, в разгар моей молчаливой влюбленности, подлейшим из всех подлых грехов.— Где он сейчас? — сказал я со злобой.— Где этот гад? Я ему врежу.— И я бы взрезал, попытался бы.

Силия понемногу приходила в себя; она приподнялась на локтях, потом села, подвернув под себя ноги и прислонившись головой к стене. Она все равно была красивой, но и поза, и слипшиеся волосы, и окровавленные пальцы, и красные глаза — все вызывало острую жалость: цветок, припечатанный грязным башмаком. Я готов был сжать ее в объятиях, признаться, что люблю ее безумно, бесповоротно, но тут она заговорила, и не знаю, что больше — удивили меня ее слова или огорчили.

— Не надо его так называть,— мягко сказала она.— Я люблю его, Питер. Понимаете, люблю. И не надо его так называть. Пожалуйста, не надо. Я его люблю.

— Ч т о?

— Да, люблю,— безмятежно сказала она.

— И после этого?

— Да.

— Но как же так?

Очень просто, сказала она. Она любит его, потому что он веселый (богатство тут ни при чем, ее родители — они живут на Лонг-Айленде — уж а с н о обеспеченные люди), потому что он ее смешит, потому что он столькому ее научил. И не в последнюю очередь — поверите ли? — потому что он красивый! И будет любить его, несмотря ни на что. «Я от него без ума»,— сказала она. В голосе ее звучала оголтелая восторженность гимназистки, и мне захотелось указать ей на дверь. Ничего подобного я, конечно, не сделал, а, наоборот, продолжал слушать ее; два часа, если не больше, я слушал о том, как она живет с Мейсоном, и как жила, и на что даже сейчас (по лицу ее пробежала тень, а пальцы, все еще дрожавшие, легонько прикоснулись к разбитому затылку) продолжает надеяться. Нет, она не собирается его оправдывать; его недостатки она видит не хуже других. Он враль, да, это она знает; югославская история — типичный пример, он воспользовался... ну, какими-то связями, чтобы увильнуть от военной службы. Шрам на ноге? А-а, это от какого-то столкновения на дороге. Но неужели я не понимаю? Неужели не понимаю: все эти дикие выдумки — проявление его широкой природы, его в о с п р и я т и я жизни, такого широкого, такого всеобъемлющего, что без преувеличений, без приукрашивания ему просто не обойтись? Неужели я этого не понимаю? Неужели я не понимаю, что у него есть потребность в таких вымыслах — безобидных, в конце концов, не приносящих вреда никому, кроме него самого,— хотя бы потому, что он дает в них выход избытку своей энергии, своему неумному воображению? Неужели я не понимаю?

— Я пытаюсь, Силия,— сказал я.

Ну да... и Кэрол тоже. Их семейная жизнь. Нет, она не будет притворяться, что это ей нравится. Это огорчает ее, причиняет боль... мучит, наконец. Иногда по ночам ей бывает всякому одиноко, до отчаяния. Ведь Кэрол не первая. Были и Аня, и Нэнси, и Кэти... их не перечесть. Но разве это оправдание для жены человека, наделенного таким невероятным животным магнетизмом, такой жизненной силой и талантом,— если она не может примириться с этим... ну, если и не пустяком... да, и вечеринки... конечно, она о них знает. Они отвратительные. Ребяческие даже, если говорить правду. И картинки. Он заставлял ее разглядывать картинки (правильно, это глупость с его стороны — думать, будто они ее возбуждают, всякому должно быть понятно, что похабные картинки не возбуждают женщин... почти), она от них только ежится. Но он, в конце концов, мужчина. И необыкновенный мужчина. Все это необходимо ему как выражение амбивалентности... хорошего и дурного, которое неизбежно должно присутствовать в такой... ну, в самом деле незаурядной личности. Он первопроходец, искатель приключений в искусстве, и ему просто необходимо дать своим силам такой выход, вот и все...

Я спросил, откуда она знает, что это так необходимо. Я стал рассказывать по комнате. Несмотря на всю мою страсть к ней, она падала в моих глазах все ниже и ниже, стоило ей открыть рот.

Она сказала, что необходимо, и все. Он ей сказал, что необходимо. И объяснил все очень философски, с точки зрения художника. И она поняла. И приняла. Ведь не такая это большая жертва, правда?

Потому что во всем остальном он к ней очень добр. Ах, сколькому он ее научил. И какие места показал, и какие книги заставил прочесть. Конечно, жизнь с ним не так уж совсем безоблачна. Но какой брак обходится без этого? Большинство его друзей, особенно гриничская богема, нагоняют на нее скуку — в сущности, это просто большие дети. А что до остальных... да настоящих друзей у него нет, она это понимает. По большей части это прихлебатели. Мейсон это понимает, он с грустью сказал ей, что у богатого нет настоящих друзей, кроме него самого...

Ну, и... да, во вкусах они тоже немного расходятся, и из-за этого с ним бывает нелегко. Музыка. С раннего детства она обожала музыку. Брамса. Шопена. Вагнера. Особенно Брамса. Как она любила замечательный грустный финал до-минорной симфонии и Академическую увертюру. Они напоминали ей о чем-то далеком, темном, нежном, осеннем — о сумерках и лесах, где падают листья, о горных озерах в вечернем тумане. Брамс. Наверное, он был человеком, который умел стареть. Который приветствовал зрелый возраст и даже старость. А Мейсон... он нет, иногда плохо воспринимал. Никогда не позволял ей ставить такие пластинки... ну, время от времени все же позволял. Только не тогда, когда у нее было настроение. И она помнит, как однажды летом ей до того захотелось послушать Брамса, что она поехала на такси на Тридцать четвертую улицу — в такую даль, — забила в душную будку в магазине пластинок и просидела там до самого вечера, все слушала, слушала...

Да, в этом смысле с ним иногда трудно. Зачем скрывать? Но разве я не понимаю, что жена в таких делах должна подчиняться мужу? В конце концов, ведь муж должен быть... ну, если угодно, ведущим. Главное — его будущее, а не ее. И если он так предан своей работе (а пьеса будет чудесная, остроумная и лихая; нет, она не читала, но он рассказывал — действие происходит в Югославии, молодой американский офицер, красивая девушка-сербка), если он посвятил себя ей целиком, тогда все остальное неважно, даже если кому-то хочется иметь детей... Она замолчала.

На улице опять прояснилось. Заря стекала серебром по вентиляционной шахте, и старики напротив с шумом приводили в действие водопровод. Вдалеке в переулках заворачали автобусы, я отвернулся от окна и опять с шемящей жалостью увидел рану на голове Силии: голова была опущена, и Силия плакала, беззвучно и безнадежно. Я сел к ней и обнял ее, и мы долго сидели так среди отъездного развала, не говоря ни слова.

Наконец она подняла голову и заговорила тихим голосом, едва слышно:

— Когда мы только поженились, у нас был дом за городом. Очень славный, понимаете, простой, но удобный. Не знаю, Мейсон был тогда каким-то... другим. В том смысле, что ценил — ну, простые вещи. Мы хотели жить там, хотели детей, и он хотел писать пьесы. Никогда не забуду, как мы туда приехали и в первую ночь не ложились до рассвета. Была осень, было холодно... но этот рассвет — я помню, как ясно было за окном... и красиво. Помню, Мейсон вышел жечь мусор, и я стояла рядом с ним вся закутанная, смотрела на него, смотрела, как тихо светлеет все вокруг, и в холоде было обещание чего-то чудесного, а Мейсон стоял у костра, ветер трепал ему волосы, и в рассветных сумерках пылал костер. А потом, помню, он обнял меня, мы оба дрожали и смеялись, и я, помню, подумала, как хорошо будет жить тут, в глуши, вместе с ним, растить детей и помогать ему, а он будет писать пьесы. Я подумала: чего еще желать женщине? По небу летели утки. Тогда он меня не бил.

Она опять умолкла, но теперь я почувствовал, как ее пробирает дрожь.

— Мне страшно, когда он меня бьет. — Губы у нее дрожали, и я крепко прижал ее к боку, как маленькую девочку. — Но это неважно, — вдруг выпалила она. — Я без ума от него!

И я отодвинулся, мне показалось, что она говорит мне о чем-то, лежащем глубже этих слов.

Разглядишь ли в глазу — как пылинку в луче света — особый отблеск безумия? Не знаю. Может быть, во мне отдалось это «без ума, без ума», повто-

рвавшееся как заклинание. Но теперь, наблюдая, как стремительно надвигается истерика, я понял: бьет ее Мейсон тарелками или еще чем, это в его арсенале не худший вид угнетения.

— Он не спит со мной два года! — закричала она. — Но это ничего! Потому что — дети! Понимаете, его творчество! Понимаете, хорошо, если у нас не будет детей! Понимаете? И он говорит, зачем приносить невинных в этот адский мир! Это ничего! Даже лучше! Пусть делает что хочет! Я все равно без ума от него!

В конце концов мне пришлось отвести ее за угол в больницу святого Винсента; ее встретили с сочувствием, дали успокаивающее и уложили в постель. Это быстро пройдет, сказали мне, и ее отправят домой. Но когда я ушел оттуда при белом свете дня, поцеловав ее в щеку — самый грустный поцелуй в моей жизни, — она все еще бормотала.

Спросите меня, почему после этого я поехал к Мейсону в Самбуку, и ответ мой вряд ли будет внятным. Но, может быть, кое-что прояснится, если я расскажу, что произошло в то утро на теплоходе.

Четырьмя часами позже в полном оцепении я вошел в свою каюту второго класса на «Куин Мэри». Сперва мне показалось, что я не туда забрел. Крохотная каюта была набита предметами роскоши, причем в каком-то диковинном, никогда не виданном сочетании: не бутылка, а целый ящик шампанского, две громадные корзины фруктов, плоская коробка конфет размером с плиту для тротуара, высокая стопка книг на полу, гроздь бутылок виски, аккуратно перевязанная широченной красной лентой, и несколько корзинок огненных цветов, от тесноты уже ронявших на пол свежие мягкие лепестки. И другие богатства: подложны блоки сигарет, кипа журналов, банка икры во льду. А еще я заметил дым, густыми синими клубами плававший по каюте, и в ноздри мне ударил острый травянистый аромат, который я не узнал только в первое мгновение. Потом я сделал шаг вперед и в сумраке на койке разглядел две неподвижные фигуры: землистого молодого человека с бегающими желтыми глазами, в свитере с высоким воротом и негра лет двадцати, в тесных бархатных штанах и тонкой малиновой фуфайке, который медленно повернулся в темноте и наклонился в мою сторону, так что свет из иллюминатора — яркий солнечный овал — упал на его чернильно-синее, с тонкими усиками лицо, совершенно столбнячное по выражению. Стало ясно, что тут притон наркоманов, — я торопливо попятился, призывая стюарда, который явился бегом и на энергичном лондонском просторечии разъяснил, что это моя каюта. Я снова вошел туда, потом со всей суровостью, на какую был способен, представился двум молодым людям на койке и, услышав в ответ что-то вроде тихого «хи-хи» — далекого, неотчетливого, эфирного, донесшегося как бы из космоса, — повернулся к коробке конфет, которая почти целиком заняла мою койку, и увидел на ней карточку: «Питси. от доброго дяди». И тогда, внимательно, со злостью, и стыдом, и все большим возмущением, к которому примешивалось, однако, другое чувство — теплой, унижительной благодарности, — я осмотрел остальные дары: все предназначались мне, на каждом была карточка: «Для Питси»... Тут, к окончательной своей досаде, я расчихался, в ответ на что задумчивый приятный голос негра сказал мне:

— Gesundheit²¹, старик. Ты уж извини, что напустили туману.

— Благодарю, — ответил я.

Последовало долгое молчание, потом он опять заговорил:

— Это все такой длинный чувак натащил. Сказал, вернется tout de suite²².

Спутник его опять тихо хихикнул.

— Отхиливаем, Джонсон, давай на палубу.

— Господи боже, — сказал я с отвращением.

— Не, — хихикнул негр. — Не он. Такой здоровый, длинный чувак с потрясающей блондинкой. Сказал...

Тут в каюту ворвался Мейсон, за ним — увитая орхидеями Кэрол, и он со зверскими приветственными криками бросился меня тискать.

²¹ Будь здоров (нем.).

²² Сейчас же (фр.).

— Allons-y, Питси!— орал он мне в ухо.— Pour chercher les баб françaises²³. Не знаю прямо, самому, что ли, взять билет на твой рейс да встряхнуть их немного на рю Бонапарт? Что с тобой, Пьер? Кисловатое личико для человека, которому брать приступом отборнейшие крепости в христианском мире.— Он отступил на шаг и, придерживая меня пальцами за плечи, окинул ласковым укоризненным взглядом.

Я, наверно, замычал или что-то в этом роде: во всяком случае, он почувствовал мою злость — а я был возмущен им настолько, что весь закаменел от одного его прикосновения и даже не мог посмотреть ему в лицо. Но, как ни странно, при всей моей злости по поводу того, что он сделал с Силией, я не мог произнести ни слова.

— Слушай меня, Питер,— продолжал он,— я обшарил это корыто от носа до кормы, и хотя половина народу — сварливые англичанки, от которых вообще неизвестно чего ожидать, я видел пару девочек, американок,— они, по-моему, готовы на все. Правда, у меня есть приятели, которые были в Англии во время войны и говорят, что английские дамочки просто cormorants²⁴, будут раскобегать тебя, пока у тебя уши не отвалятся. Не знаю. Chacun à son goût²⁵.

Снова из темноты долетело слабое хихиканье.

— Старик, сечешь этого обалденного француза?

Мейсон круто обернулся к цветному парню, на синем изможденном лице которого дремала блаженная улыбка.

— Взгляни-ка, Питси,— сказал он ухмыляясь и очень громко.— Я как почувял запах травы, сразу понял, что найду здесь парочку лотофагов.— Он захохотал во все горло.— Леверетт в стране бибоба²⁶!— Снова обернувшись к моим будущим соседям, он сказал: — Ребята, тут у вас на борту не очень передовой малый, но человек он хороший. Не обижайте его. Вы куда собираетесь? По каким делам — намерены перевернуть Монпарнас? Куда же ты подевал свой берет?

— Он здесь, старик,— сказал цветной парень и, сонно вытащив из кармана мятой головной убор размером с блюдо для пирожных, ухарски надвинул его на лоб так, что глаз стало почти не видно.— Отключь, n'est-ce pas²⁷?

— Видал, старик? — хихикнул его спутник.— Конец света.

Мейсон заразительно рассмеялся.

— Будь здоров, бронева башка! — воскликнул он.— Мой привет Сиднею Беше²⁸. Пошли, Питер, дыму тут — как от пожара на горфянике. Пошли на налубу, подышим воздухом. А вы, ребята, пальцами в икру не лазьте. Мой друг — князь Питер из Югославии, он битниками закусывает.

Одной рукой схватив бутылку шампанского, а другой меня за локоть, он пошел к двери, где до сих пор стояла Кэрол (я уж и забыл о ней): ее гладкое личико было печальным и растерянным, а веки порозовели, словно она только что вытерла слезы и собиралась плакать опять. Она улыбнулась мне слабой, виноватой улыбкой и, едва раздвинув губы, прошелестела «здравствуйте». Но прежде чем я успел ответить, Мейсон сказал. «Одну секунду, извини, Питер», быстро отвел ее к трапу и там возбужденно о чем-то заговорил: слова доносились до меня неразборчиво, но в голосе явственно звучала досада: он придвинул лицо почти вплотную к ее лицу и отрезал ей все пути отхода, упершись обеими руками в стену, как ротный старшина, распекающий необломанного новобранца. Меня подмывало сбежать: и без того было паршиво, а тут с безумной отчетливостью возникла мысль, что если мне сейчас придется участвовать, хотя бы как зрителю, в очередном его бредовом скандале, я сам в конце концов начну лепетать и плакать. Но что-то удерживало меня, и я как зачарованный наблюдал за Мейсоном — лицо у него стало помидорного цвета, на лбу набухли и пульсировали жилы, и наконец, яростно встряхнув волосами, он прорычал: «Ну и убирайся, сука! К чертовой матери на Кони-Айленд... или из какой там помойки...»

²³ Вперед! На поиски французских баб (фр.).

²⁴ Ненасытны (фр.).

²⁵ Кому что нравится (фр.).

²⁶ Би б о п, или боп,— первоначальная форма современного джаза, возникла в начале 40-х годов.

²⁷ Не так ли? (фр.)

²⁸ Беше Сидней — американский джазовый саксофонист, жия в Париже.

Он оторвал руку от стены, и я подумал, что он ее ударит, но ладонь словно по инерции неосуществленного намерения со звонким шлепком снова влипла в стену. «Иди! — донеслось до меня. — Иди!» И тут, на глазах, Кэрол превратилась в студень. Она глядела на него с испугом и жалобным недоумением.

— Ох, сколько можно, — застонал я и отвернулся.

— Хватит с меня! — раздался за спиной его голос, и я снова замер в ожидании звука пощечины. Но когда я опять повернулся к ним, Кэрол убежала по коридору бедрастой виляющей рысью, голая, как плакальщица, оглашая нутро теплохода мощным контральным мычанием, и по всему ее пути из дверей высывались головы.

Шум постепенно слабел, наконец затих, и я обернулся к Мейсону. Он стоял, уткнувшись лбом в стену, и в единственном слове, которое он произнес — за торжествующим гомоном туристов и отдаленным гулом корабельной машины, — мне послышалось бремя многовековой усталости.

— Женщины! — сказал он.

— Ну что еще, Мейсон? — раздраженно спросил я, когда он подошел.

— Не знаю, — закричал он. — Не знаю. — И мрачно посмотрел мне в глаза. — Что-то у меня не ладится с ними в последнее время. Кэрол. Сука. Ничего. вернется. Она вернется. Это меня не волнует. Питер, я тебе скажу, женщины — это другая раса! Они людоеды. Только отвернись — готовы слопать тебя живьем.

— Что случилось, Мейсон? — Не так уже мне это было интересно, но я просто не знал, что сказать. Мейсон невыносимо надоел мне.

— Пойдем, — сказал он, поворачивая меня к трапу. — На палубу. Да ничего. В самом деле ни-че-го. Через два часа опять соскучимся друг по другу. У нее, кажется, менструация, и решила выместить это на мне. Бу-бу-бу, бу-бу-бу — хочет, чтоб я сделал ее кинозвездой. Купил ей «ягуар». Думает, я «Метро-Голдвин-Майер». Не знаю, стоит начаться этому делу, она просто сатанеет. Это самое плохое в женщинах — их дурацкий водопровод. Колоссальная клоака, текущая через райский сад.

Я принадлежу к тому сорту людей, которые на подобную поэзию откликаются услужливым «угу». Так я и сказал:

— Угу.

И хоть убей, ни слова не мог вымолвить о Силии. Однако:

— Нет, правда, Питер, — выпалил он вдруг. — Я сам себя проклинаю. — Мы разговаривали на ходу, в толчее; голос у него был встревоженный, озабоченный, почти просительный. — Честное слово, за вчерашнюю ночь. После вчерашнего — ну, с Силией — ты, наверно, решил, что я совсем спятил. Она недавно пришла. Мы помирились, все в порядке. Тоже свинство с ее стороны — нашла себе фельдшера. Но и я хорош — распускать руки. Я был весь на нервах из-за пьесы. А она заняла насчет детей. Да будут у нее дети, но неужели непонятно, что главное сейчас — пьеса? Первый раз ее тронул! Сам не знаю, что на меня нашло! — В голосе его не было убежденности, словно он знал, что я не поверю. — И сейчас тебе устроил развлечение. Ох, женщины! Иной раз хочется перейти на бобров. Или на орден Лосей. Или на коммерсантов. Не знаю. Или уехать в «Веселые дубы», чтобы Венди растерла меня мазью бом-бенге.

Но когда мы выбрались на верхнюю палубу и стали проталкиваться сквозь толпу орегонских туристов к носу, он как будто забыл свои горести, заговорил весело и с удовольствием. День был нежнейший, в сапфировом, без дымки небе два самолета чертили прямые белые следы, словно царпины от призрачных ногтей. Монолитами блеска стояли в синеве башни Манхэттена, и на этом фоне Мейсон стал снимать меня лейкой, треща без умолку.

— С чего тебе взбрело плыть вторым классом? — спросил он. — Провести вечерок с такой парочкой даже занятно, но неделю в одной каюте — гроб. Эх, Питер! Я заранее могу сказать тебе, с кем ты будешь сидеть за столом. Я видел список пассажиров. Педикюрша из провинции и жуткая старуха лесбиянка со слуховым аппаратом. Почему ты не полетел?

— Из экономии, Мейсон. Как это — ты видел список?

Он фыркнул и спустил затвор.

— Шучу, кукленок. Не волнуйся. Плавание будет сказочное.

Потом мы молча пили у перил шампанское из бумажных стаканчиков. Молчать было неловко, но во мне медленно росло ожесточение против Мейсона — не вопреки его щедрости, а скорее даже из-за нее и из-за того еще, что, будучи выделен сейчас как предмет его особой любви — нелепой любви, — я не испытывал ни малейшей благодарности, а только возмущение, чувствовал себя запачканным и униженным, будто получил взятку. Словом, гордость или просто оскорбленный вкус мешали мне заговорить, и в конце концов заговорил Мейсон, причем, к моему удивлению, в торжественном и даже грустном тоне:

— Питер, я буду скучать по твоему неброскому личику. Пиши мне время от времени, а? Буду скучать по тебе, старик. Не знаю даже почему. По правде говоря, ты невыносимая зануда, и чинная притом, как двадцать экономок. Но ты, наверно, знаешь, я всегда тебя любил. Силия, по-моему, попала в яблочко. Она сказала: «Он понимает людей», хотя что это значит, одному богу известно. Думаю, ты купил ее тем, что важно кивал, потирал бороду и небрежно почесывал зад в подходящую минуту. Словом, Пьер... словом, я буду скучать по тебе.

— А что собираешься делать, Мейсон? — праздно спросил я.

Он помолчал. Не как-нибудь помолчал, а значительно, и я уже знал, что надо быть начеку. Тут присутствовало некое глубокое раздумье и специальный блеск в глазу, а я уже настолько изучил его, что почти слышал лукавые токи в его мозгу, бесстыдно сортирующем голые враки, которые, зазвучав — гладко и бойко в шустрых его устах, — нарядаются правдой. Без изящества он сплюнул за борт.

— Да не знаю, Питси. Наверно, кончать пьесу. Это первое на повестке дня. Уайтхед выходит из себя — подавай ему скорее пьесу. Но, знаешь, пьесу ведь нельзя вот так взять и выдумать из головы, как рекламную передачку. Тут надо думать и думать, мучиться и мучиться и опять думать. Опять же эта вечная проблема реалий — лучше сказать, правдоподобия. Например, в моей пьесе... ладно, тебе я могу сказать. Пьеса о том, что я пережил в Югославии. Я тебе еще не говорил? Это само по себе тормозит работу. Чтобы добиться, ну... правдоподобия — а мне это необходимо позарез, — ну хотя бы кое-какие сербские идиомы, названия улиц в Дубровнике, разные партизанские пароли — я их забыл — и тому подобное... В общем, чтобы все это легло точно, приходится вести бесконечную переписку со стариком Плайей. Помнишь, я рассказывал — старый...

— Ты хочешь сказать — этот старый свист? — перебил я. — Эту мелкую парашу? — Сдерживаться дальше, позволять, чтобы меня начинали этими баснями и росказнями, этими муторными выдумками и прочей дресвой и мякиной его неслыханного прохиндейства, было выше моих сил. Хотя бы напоследок он мог избавить меня от оскорбления ложью; но он не пожелал, и меня подмывало сказать ему это. — Помню ли, что ты плел? — сказал я.

До него не дошло.

— Ну, помнишь — Плайя, — продолжал он, — старик еще жив и здоров. Собирается приехать сюда в гости. Он у меня как бы консультант...

— Слушай, Мейсон, почему ты считаешь нужным мне врать? Ты меня за кого держишь — за придурка или кого? За идиота? А?

Он побледнел. Плечо дернулось кверху, и он умоляюще протянул ко мне руки.

— Что такое, Питси? Ты меня неправильно понял. Я не говорил...

— Что значит — не говорил? Напыжился тут, как дьякон, плетешь небывлицы и думаешь, что я поверил! Да ты вообще что думаешь? Что я кретин? Что я никогда не узнаю правду? Исповедуешься мне, называешь другом, кукленком, фиг знает чем — и тут же, с места не сходя, врешь, как сивый мерин! Не был ты в Югославии! Ты отмотался от армии! Пьеса твоя — мыльный пузырь! — Я задыхался от ярости. Щенячьи школьные словечки («свист», «фиг», «параша») я выкрикивал с истерическим озлоблением пятиклассника — и сознавал это, когда выкрикивал, сознавал, как глупо, нелепо, невозможно молоды мы до сих пор на нашей земле, и благодарил бога, что расстанусь с Мейсоном и отбываю в Европу, и слезы смешанного происхождения — и от солнца, и от злости, и от старой, сношенной жалости и любви к нему — наворачивались на глаза,

Я отвернулся от него.— Что, Мейсон? — выкрикнул я, теряя уже всякую власть над голосом и связность речи.— По-твоему, я такой дурак? Ты поди покажись врачу!

Из трубы над нами вырвалась струя пара, и грянул гудок. Под обрушившимся на нас чудовищным ревом я почувствовал прикосновение к плечу, обернулся и увидел его серое, убитое лицо и губы, которые немо чертили контуры слов. Люди вокруг, заткнув пальцами уши, медленно двигались по сходам.

— ...обидно! — прокричал он во внезапной и ошеломляющей тишине.— Мне обидно слышать от тебя такое.— Губы у него дрожали: казалось, он сейчас заплачет.— Такое.— горько сказал он,— такое... не п о р а в и м о. Чтобы ты... именно ты, а не кто другой... не мог почувствовать эту тонкую грань между ложью... между заурядной, низкопробной, корыстной ложью и таким беспечным художественным свистом, за которым нет другого умысла кроме как позабавить и рассказать что-нибудь поучительное.— Плечо у него сильно и часто задержалось, я почти слышал, как трещат от напряжения связки.— Черт возьми, Питер!— воскликнул он с искренней обидой — обидой и горечью.— Неужели у тебя не хватило п р о н и ц а т е л ь н о с т и понять, что все это я рассказываю тебе как было, просто чтобы увидеть твою реакцию? Увидеть, тянет ли это за пьесу. Убедительно ли звучит вступление такого человека, как ты, чьей чуткости я доверяю, чей художественный вкус...

— И с женой! — прорвало меня.— Обаятельная, потрясающая женщина! Ты в своем уме? Не тронь ее! Не тронь ее, черт бы тебя взял! — И тут я замер с раскрытым ртом, поразившись мысли, что сейчас я впервые по-настоящему огрызнулся на Мейсона — впервые вспылил, в первый раз отчитал его. Я не находил слов. Потом, опомнившись, добавил уже мягче: — Правда, Мейсон, может быть, у всех нас нервы расшалились, но я тебя умоляю...

Мейсон, однако, продолжал о своем. И сказал убитым голосом:

— Если я не могу довериться твоим реакциям, Питер, тогда, видит бог...— Он безнадежно махнул рукой, отвернулся к перилам и выдал из себя несколько слов, которые проняли меня до глубины души:— Видит бог, я старался, чтобы не было скучно. Но стоит мне рот открыть — каждый раз вляпываюсь в...— Он запнулся, губы у него дрожали. Видеть это было невыносимо.— Кончается тем, что все меня употребляют. Или ненавидят.

— Да за что мне тебя ненавидеть...— начал я, но второй гудок чуть не подбросил нас в воздух. Где-то в пароходном чреве начался колокольный перезвон. Продолжать я не стал.— Ну что, Мейсон, кажется, пора кончать пьянку.— Я подал ему руку, чувствуя себя отвратительно.— Спасибо за прекрасные подарки, Мейсон. Правда, спасибо...

Он шагнул ко мне со слабой, невеселой улыбкой, протягивая руку.

— Счастливо доплыть, кукленок. Не робей. Выпей за мое здоровье, ладно?

Это были его последние слова. По-прежнему дергая плечом, он пожал мне руку, и этот обыкновенный прощальный жест превратился в такое изъявление одиночества, обнаженной тоски, печальнее которого я, кажется, не видел.

Ибо, как тот исчезающий мальчик из дальних детских воспоминаний — лицо его забылось, имя тоже,— богатый соседский мальчик, то ли больной, то ли урод, то ли калека, а может быть, и то, и другое, и третье — об этом мне рассказано было много лет спустя,— когда родители спросили его однажды, куда, почему, каким чудом так быстро исчезают все его медные и никелевые монетки, с плачем признался, что все они, все до единой ушли не на конфеты, не на игрушки и мороженое, а на плату другим детям, чтобы с ним водились,— пять центов за час, двадцать за вечер, горсть за целый летний день; как у того исчезнувшего мальчика жест Мейсона был жестом оплаты и найма, проникнутым мукой бездружества. Прежде чем я успел сказать хоть слово и по-настоящему сообразить, что он мне дал, он исчез, растворился в толпе провожавших, оставив меня с комком французских денег в кулаке, добытых невесть откуда, сплошь тысячефранковых бумажек, которых хватило бы на золотые швейцарские часы — если бы они мне были нужны.— или на твидовый костюм, или на бутылки коньяка без счета. Униженный, я хотел крикнуть ему вдогонку, но он уже скрылся из виду, только раз мелькнула вдалеке на трапе его фигура: он опустил голову, глядя под ноги, и от этого показался мне на удивление неловким, неуклю-

жим; не прежний стремительный иллюзионист, а увалень, беззащитный и дико растерянный, баловень грядущего, человек, занесший ногу над пустотой.

Через несколько минут палуба под ногами задрожала и пароход пошел. Грудью к перилам, с комком денег в кулаке — чувствуя даже в эту последнюю минуту, что моя добродетель куплена на корню, что я каким-то образом навеки запродан и приобретен, — я скользил в море, к Европе. и весь Манхэттен, вавилонски цапающий небо своими шпилями и кенотафами, сверкал у меня перед глазами.

Со спутниками я ужился отлично: они оказались вежливыми, сговорчивыми ребятами — может быть, и не слишком открытыми, но, по-моему, гораздо менее испорченными, чем Мейсон, и лучше приспособленными к жизни. В Париже я получил от Мейсона письмо о том, что Силия поехала в Рино²⁹. Помню одну характерную фразу, взявшуюся — как и многое в Мейсоне — словно из какого-то царства теней, где не знают ни радости, ни горя. «Плачь. плачь по Мейсону и Силии, Питер. мы разошлись, как в море корабли». И очень скоро я перестал думать о Мейсоне. А теперь жалею, что не могу в подробностях вспомнить один свой сон на пароходе, посреди океана, когда в темноте, наполненной храпом моих попутчиков и сладким запахом медленно умирающих цветов, весь обливаясь потом, я подскочил на койке, оглушенный откуда-то-вестью о неминуемой гибели Мейсона.

IV

В Самбуку, когда Мейсон, гремя деревянными подошвами, убежал по коридору, а я, дрожа, остался сидеть на мраморной скамье, мне было нелегко разобраться в своих чувствах. Я был в ярости, что и говорить. Однако к гневу примешивался не только неопределенный и необъяснимый страх перед Мейсоном, но и обыкновенное беспокойство; ясно было, что из дворца, из Самбуки надо бежать, и я сидел, растравляя в себе обиду и одновременно обдумывая, как мне исчезнуть отсюда прилично и незаметно. Прошло несколько минут. Я уже хотел встать, но тут услышал медленно приближавшийся стук подошв Мейсона. Он вошел все тем же странным, затрудненным, скованным шагом, но менее согнутый и посмотрел на меня с такой мальчишеской заразительной улыбкой, что весь мой страх перед ним тотчас пропал. Уже не оборотень из «поляроида» — Мейсон как Мейсон, отчаянно натуральный с головы до пят.

— Огорошил я тебя, а? — сказал он. — Не выпить ли нам, Питси? Я даже не успел...

— Пошел к черту, — огрызнулся я. — Как ты со мной разговариваешь? Мы с тобой не в «Святом Андрее», и если ты думаешь... Я тебе не какой-нибудь приживал...

— Питси, Питси, Питси, — замурлыкал он по обыкновению вкрадчивым, жалобным голосом. Он сел рядом и дружески хлопнул меня по плечу. — Старичок Питси. тонкокоженький. Послушай, я хотел сказать тебе...

— Нет, ты послушай. — Я вскочил. — Не знаю, какая чертовщина тут творится, но могу сказать одно: с меня хватит. Я что тебе, *contadino*³⁰ какой-нибудь, чтобы меня шпынять? Ты зазвал меня в гости — а мне тут, я вижу, рады, как тифозной вше! Если бы не Розмари — понял? — мне бы поесть не дали. Я сдаю билет. *Mille grazie*³¹. Индюк! Ничтожество! — жалко выкрикивал я уже через плечо. — Пригласи меня в другой раз, когда легче будет выдержать такой расход!

Мейсон вскочил и поймал меня за руку. Он еще был потный после погони, еще не отдышался, и лицо было настолько пристыженное, насколько позволяло его устройство.

— Извини, — сказал он. — Извини, честное слово. Я сам не понимал, что несу. Я был не в себе. Питер, пожалуйста, прости меня. Пожалуйста.

— Ладно, я пошел, Мейсон, — сказал я не очень решительно. — До новых встреч.

²⁹ Рино — крупнейший город в штате Невада, где во многих случаях проще всего получить развод.

³⁰ Крестьянин.

³¹ Большое спасибо.

— Никуда ты не пойдешь, — возразил он. — Ты простишь меня за то, что я был сволочью. И останешься с твоим старым приятелем.

— Почему это ты сказал, что растопчешь меня? Что на тебя нашло, Мейсон? Что я сделал? Я не бродяга, не воришка, чтобы так со мной...

Он нервно провел рукой по лбу.

— Не... не знаю, Питер. Извини. Эта девка. Она обчистила меня. Только что украла серьги Розмари. Я был расстроен, вот и все. Не знаю, такая досада взяла — казалось, что все сговорились ее защищать. Ну, бред, конечно. Скажи, что ты меня прощаешь! Не принял же ты это всерьез. Клянусь, я, когда это сказал, почувствовал себя скотиной.

Как всегда, сентиментальность во мне взяла верх. Я опустил глаза, пожал ему руку.

— Ну ладно, Мейсон, ладно. — Всю жизнь в таких положениях у меня возникает позыв взять вину на себя. Я добавил: — И ты извини. Я, наверно, тоже отчасти виноват.

Это приободрило его.

— Ну да, — рассеянно сказал он, — ну его к черту, кто старое помянет... Кто из нас не ошибается. Слушай, подожди здесь минуту, я пойду оденусь, а потом покажу тебе предприятие.

Он ушел наверх, а я остался ждать его с чувством человека, которого обдули на базаре в какие-нибудь первобытные «три листика», — с чувством, что это он принял мои извинения.

Его не было пять или десять минут. Все это время я бесцельно слонялся по комнате, дымя сигаретой; я все еще не мог успокоиться, и особенно беспокоила меня девушка, за которой он гнался по коридору и к которой наверняка приставал. Кажется, на дворе покапало; пока я ждал и опять разглядывал плафонную кучу малу (на этот раз — Охотница, пронзенная точно в пупок позднейшей электропроводкой), внизу загудели голоса, компания у бассейна распалась, и люди стали возвращаться в дом.

Мейсон спустился в белой куртке, отутюженных ярких шортах, очень деловитый.

— Пошли. Питси. осмотрим предприятие.

Выражался он кратко, но изо всех сил старался быть любезным и произвести на меня впечатление. Полчаса он показывал свою берлогу — сафьяновый барский кабинет. обставленный, как на рекламе виски, — крупнокалиберные ружья, книги, афиши коррид, оттоманка из передней ноги носорога, голова африканского буйвола. убитого будто бы им самим: довольно жалостная морда смотрела со стены с тупым, задумчивым и кротким выражением обыкновенной буренки. Мейсон в новой фазе, раздумывал я, — путешественник и охотник: мы задержались в берлоге, пили коньяк, и он рассказывал мне о своей дружбе с разными знаменитыми матадорами, демонстрировал толстые, в бычьей коже тома по тавромахии — именно это слово он употребил — и наконец, в бесстыдстве и беззастенчивости превзойдя самого себя, подробно описал свое сафари в Кении в обществе чуткой канадской блондинки. Она защитила докторскую диссертацию о поэтике Бодлера в университете Торонто... Но не буду вдаваться в подробности таким составом из воющих в ночи шакалов, из душераздирающих кровавых следов в ложбинах не то лощинах из бван и мем-саибов³² и ледящих кровь минут ожидания, когда раненый зверь бросится из зарослей, — и все это с густым ароматом «Цветов зла»³³ и сильными сквозняками блуда на вельде, — такой романтикой вас в жизни не потчевали. Я, наверно, изображал внимание, но мысли мои были далеко: мне только одного хотелось: удрать из дворца и лечь где-нибудь спать. Потом он повел меня по «предприятию», показал подвал с мазутным отопительным котлом «Дженерал электрик» — привезен из Неаполя, сказал он, с большими трудами и расходами. — шкаф для замороженных продуктов, а потом целую кухню из нержавеющей стали, с холодильником и длинным строем шкафов, печей и плит, на которых сверкали разноцветные ручки, кнопки, индикаторы. Я огляделся. У матовой стальной раковины в облаке

³² Бвана — почтительное обращение к европейцу в Африке; мем-саиб — почтительное обращение к замужней европейской женщине в Индии.

³³ «Цветы зла» — книга Шарля Бодлера.

пара трудились две судомойки из местных — очищали тарелки для посудомойной машины, ворчавшей, как дизель на холостом ходу; за ними в углу старик Джорджо в подтяжках уныло забавлялся электрическим точилом, раздирая воздух невыносимыми взвизгами.

— Я покупаю все по оптовым ценам в военном магазине, — сказал Мейсон. — Ну что ты об этом скажешь?

— Мейсон, я скажу, что это потрясающе. А ты мне вот что скажи: как ты проник в военный магазин?

— Есть каналы, — загадочно ответил он. А потом отвел меня к какой-то нише и показал новейший американский огнетушитель, активный агент которого — какую-то клейкую пену — по его словам, можно просто есть.

— Изумительно, Мейсон, — сказал я. Легко было видеть, что в культурном смысле он поменял вехи; этим добром он похвалялся так же простодушно, как прежде своими вылазками в полусвет. — Объясни мне, — продолжал я, — как это ты вдруг обзавелся «кадиллаком»? Нет ли в этом чего-то обывательского?

— А-а, спортивные машины, — сказал он, — это стало так банально.

А я-то думал.

Потом мы вернулись на кухню, где нас встретил недовольный и чем-то опечаленный Джорджо и подал Мейсону записку:

— *Da Francesca* ³⁴.

— От Франчески? — воскликнул Мейсон, широко раскрыв глаза. — Где она?

— *Dov'è, signora? Non lo so. Ma credo che sia giù, nella strada* ³⁵.

— Говори! — нетерпеливо приказал он. Потом мне: — Что он говорит, черт возьми?

— Он думает, что она была внизу, на улице.

— Что значит «думает»? — Мейсон лихорадочно раскрыл записку. — Не знает, что ли, старый дурак?

— *Se n'è andata* ³⁶, — сказал Джорджо и развел руками. — Конец.

— Она ушла, Мейсон, — сказал я.

— Скажи ему, пусть найдет ее.

Я перевел. Более осведомленный, по-видимому, чем полагал Мейсон, он зашаркал прочь, ворча: «Нашли себе дурака». Я занервничал. Мейсон тем временем пробежал записку и налился кровью; он поджал губы, словно собираясь плюнуть или выругаться, побагровел еще сильнее, бросил записку на пол и наконец, ошалело выпучив глаза, разразился такими словами:

— Сучонка, — произнес он тихо и злобно, — паршивая, грязная итальянская сучка.

— Мейсон, — заторопился я, — я, пожалуй, пойду в «Белла висту». Падаю с ног...

— Преступные душонки, честное слово, — перебил он. — Все как один — грязное жутье. Они рождаются с этим, клянусь, Питер, точно так же как немцы рождаются кровожадными. Разбой и воровство у них в крови. Неудивительно, что они такие нищие. Они же раздевают друг друга! — И, как в старое время, задергал плечом.

— Слушай, Мейсон. Все это прекрасно и замечательно, но это неправда, и я не хочу об этом разговаривать. Я смертельно устал и хочу лечь...

— Черт! — продолжал он, не обращая на меня внимания. — Подумать, что эта вороватая сучка разгуливает у меня под носом два... нет, целых три месяца и обирает меня до нитки — при таком жалованье!.. — обирает без малейших угрызений совести, словно какого-то заморского идиота. Ходит по всему дому, как хозяйка, виляет своим наглым задом...

И, стоя передо мной в этой парной, сверхсовременной кухне, он разразился филиппикой такой бредовой, что я сперва принял ее за шутку: неужели я не слышал, черт возьми, про Вилли Морелли и Тертого Тони Анастасия, про таких головорезов, как Хват Абандано и Кривоногий Сарто, не говоря уж, черт возьми, о Лючиано, Костелло, Капоне? Это ли не доказывает, если еще нужны доказа-

³⁴ От Франчески.

³⁵ Где, синьор? Не знаю. Но думаю, внизу, на улице.

³⁶ Ушла.

тельства, что главное, чем одарили итальянцы Америку, если не все человечество (не надо, Питер, он знает, знает о Возрождении), — гнусная преступность, такая кровавая, такая аморальная, какой еще не было в истории? «Черт возьми, Питер! — с сердцем закричал он, словно чувствуя мое молчаливое осуждение. — Подумай своей головой!» Неужели я не знаю, что синдикат убийств — эта подлая банда профессиональных палачей — почти целиком состоит из итальянцев и, больше того, гангстеризм в Америке полностью контролируется гнусной шайкой торговцев наркотиками и их полицейских пособников из Италии? (Италия, бедная старушка.) Я слышал об этом, но не видел этого. «Черт! — воскликнул он. — Подумай своей головой!» И под конец не удержался и угостил меня и себя еще одной пламенной, патетической небылицей (последней, которую я от него услышал): об одном своем друге из Гарварда, молодом помощнике районного прокурора, человеке настолько блестящем, что его прочили в мэры Нью-Йорка, — он лично объявил войну гангстерам, бесстрашно внедрился в банду, но однажды ночью был найден на пустыре в Квинсе убитым и изуродованным до такой степени, что даже ему, Мейсону, невыносимо об этом рассказывать (тем не менее рассказал: живот проткнули раскаленной кочергой; половые органы... и т. д.). Я старался не слушать. «И мафия выжгла свое клеймо у него на груди! — заключил он, содрогаясь от ярости. — Шайка грязных итальянских головорезов с психикой зверей. Слушай, ты знаешь, что я не... не к с е н о ф о б крайнего толка. Но это ли не доказывает, что итальянцы деградировали до животного состояния? Ты можешь понять мое недовольство, — сказал он с глубоким сарказмом, — когда эта грязная сучонка с неслыханной дерзостью... наглостью... выносит из дома практически все, что у меня есть? Тебе понятно, что меня это, мягко говоря, раздражает? Понятно?»

Я не ответил. Он дышал, он пыхтел, и я не мог даже посмотреть на него. Вдруг он стукнул по ладони кулаком, я вздрогнул и поднял глаза. Тут он заборотал вполголоса что-то совсем уже, на мой взгляд, бессмысленное: «Так это просто жалкое, примитивное надувательство и больше ничего. Случка по-тихому». Лицо его было мокро от пота; он снова долбанул кулаком по ладони. «Ладно, мы этим займемся!» Он круто повернулся, пробежал мимо огнетушителя к двери и в хлопающих длинных цветастых шортах вскачь понесся по коридору.

Я поднял с пола брошенную им записку. Написано было по-английски, но какими-то рваными, расщепленными каракулями, почти непонятными: «Ты попал в большую беду. Я скормлю тебя воронью. К.». Я решил, что это какой-то розыгрыш.

Я сунул записку в карман и уныло, но с любопытством поплелся за Мейсоном. Его высокая стремительная фигура то и дело отражалась в зеркалах коридора; он миновал мраморную скамью, где мы недавно встретились, влетел в зал и, не обращая внимания на вернувшихся с улицы гостей, выскочил на балкон, откуда вела лестница во двор. Я прошел через зал за ним, мельком увидев несколько танцующих пар и черное неутомимое лицо Билли Реймонда над роялем. Когда я вышел на балкон, Мейсон, перевесившись через парапет, кричал во двор:

— Касс! Эй, Касс! Поднимись сюда!

Из-за зеленой двери внизу не доносилось ни звука.

— Касс! — закричал он снова. — Эй, Касс! Поднимись к нам! — В голосе его не было ни гнева, ни волнения, что меня удивило — я видел, как он бежал; голос звучал всего лишь резко и повелительно, словно в расчете на то, что его услышат и повинуются, и гулкими волнами отдавался в темном просторном дворе. — Касс! — крикнул он снова, но из-за двери по-прежнему не отвечали; он раздраженно обернулся ко мне: — Да куда же он, к черту, подевался?

— Понятия не имею, — растерянно ответил я.

Его будто перекорежило — а почему перекорежило, бог знает. Он вздрогнул, опять провел рукой по потному лбу. Я подумал, что он сейчас заплачет.

— Ничтожество! — произнес он сдавленным голосом. — Жалкое ничтожество! — Он кинулся мимо меня, то ли проговорив, то ли заглотив с воздухом: — Джорджо точно знает! — И убежал в дом.

Я был в полном недоумении.

Самое время было уйти. Я и ушел бы — и уже ногу занес над первой ступенькой к свободе, — если бы в этот самый миг не отворилась зеленая дверь вни-

зу, бросив сноп света во двор и заставив меня отпрянуть, словно воришку (такова была заразительность Мейсоновых речей), в глубину балкона. Из двери вышли двое — Касс Кинсолвинг и девушка. Девушка устало и горестно всхлипнула, а Касса качнуло к стене; потом, когда они медленно вошли в прямоугольник света, я увидел, что девушка — та самая служанка в черном платье, которая упала передо мной на колени возле мраморной скамьи. Я услышал их тихий, печальный разговор — голоса, невнятные и безжизненные, то сменяли друг друга, то звучали в унисон, и это тихое кладбищенское причитание изредка прерывалось такими же тихими и безутешными рыданиями девушки. Любопытство одолевало меня, я перегнулся через парапет. Я увидел, что Касс споткнулся и, чуть не упав, привалился к стене, потом снова услышал голос девушки: она припала к нему как будто в полуистерическом приступе горя. Две фигуры слились у стены в скорбных объятиях. Наконец я услышал единственное слово: «Basta³⁷». Потом кто-то из них произнес: «Тсс», голоса упали до шепота, и несколько минут я не слышал ничего, а потом девушка, все еще плача, прошлепала босыми ногами по двору и исчезла.

Касс один, качаясь, стоял у двери. Вдруг он неуклюже повернулся, прижался щекой к стене и раскинул по ней руки, словно обнимал серый камень. Мне показалось, что он застонал, потом этот звук замер, и слышно было только его дыхание, свистящее, надсадное, отрывистое, как у стайера на последнем круге. Тут позади меня распахнулась дверь, и Мейсон подскочил к парапету.

— Касс! — кричал он. — Поднимись сюда! Поднимись, выпей!

Человек внизу не пошевелился, только тяжело и шумно дышал. Мейсон позвал снова, еще не грубо, но уже нетерпеливее, резким повелительным тоном, как офицер — туповатого или глуховатого подчиненного. «Мерзавец», — услышал я его раздраженный шепот. Он неожиданно повернулся и с деревянным грохотом подошв устремился вниз по лестнице, шагая через ступеньку, спрыгнул во двор, неловко взмахнул руками, чуть не потеряв равновесие, и по плиткам мимо камер и микрофонов побежал к Кассу. До меня донесли их голоса, сперва Мейсона, дружелюбный и неискренний: «Пойдем наверх, старик, к компании», потом невнятный ответ Касса и снова голос Мейсона, все более нетерпеливый, но еще вежливый; он звучно хлопнул Касса по спине; до меня долетело громкое: «Не порть людям веселье!» — с этими словами он повернул Касса кругом, придерживая за талию, и медленно повел через двор к лестнице. Касс был пьянее, чем час назад, если можно быть пьянее. Это был человек на грани распада, глаза его за очками сошлись к переносице, как на комиксах, руки бессильно болтались. По дороге наверх он один раз чуть не опрокинулся через перила. Мейсон угрюмо поддержал его. Наконец он ввалился на балкон, плывущий взгляд его остановился где-то в нескольких сантиметрах от моего лица, и мне вдруг показалось, что он подмигнул; но понять что-либо по этим косым глазам было невозможно.

Мейсон, возбужденный и запыхавшийся, отпустил его талию.

— Поди выпей, — резко сказал он. Потом мне: — Касс выступит с небольшим представлением. Касс — настоящий актер, когда немного примет. Я, может, даже уговорю Алонзо сделать из него профессионала. Как ты на это смотришь, Касс? — спросил он с кривой улыбкой.

Касс с упавшими на лоб волосами стоял перед нами, покачиваясь, и ухмылялся сонно и глупо.

— Как скажешь, как скажешь. — Из горла его вырвался идиотический булькающий смех. — Я настоящий актер. Мельпомена и Талия. Прекрасные богини, за кого... за которых, я бы сказал... дядя Касс готов умереть. Охотно. — Он икнул. — Охотно. Без дураков. Рожден для сцены. Феспид³⁸ — мой крестный. За выпить дядя все сделает. — Страшно потея, он глядел на Мейсона через затуманенные очки. — За выпить — что угодно. Только не этого самодельного виски. Не надо этой сивухи, от нее ворона закукарекает. Поцелуйным виски — вот чем угощает Мейсон, дворянским виски! Чистая солодовая влага, которая восемь лет не видела белого света. Скажи мне, старый друг Мейсон, — он положил тяжелую руку Мейсону на плечо и опять икнул, — скажи мне, мальчик, остался у тебя «Джек

³⁷ Хватит.

³⁸ Ф е с п и д — греческий драматург (VI век до н. э.), первым ввел актера в драму, прежде исполнявшуюся одним хором.

Даниэлс», которого мы взяли сегодня в военном магазине? Осталось что-нибудь дяде Кассу? — Из оживленного, разговорчивого, добродушного человека, которого я встретил сегодня днем, он превратился в расслабленного пьяницу, подобо-страстного и глупого. Я огорчился. Еще один прихлебатель.

— Конечно, Касс, — сказал Мейсон. — Получишь сколько угодно. После нашего маленького представления. — Он засмеялся, опять схватил Касса за руку и подтолкнул к двери, но глаза у него блеснули недобро. Затылок покраснел, как у рака; Мейсон закипал, и следовало ожидать самого худшего. — Пошли, возлюбленный, — саркастически сказал он, подталкивая Касса в плечо. — Пошли, старик. Покажем народу настоящее представление.

В эту секунду — когда мы входили в фойе — я услышал тонкий пронзительный крик внизу, и по двору опять зашлепали чьи-то ноги. Я вернулся назад и глянул вниз. Это была Поппи. В цветастом кимоно и носках, с какой-то оштукатуренной головой — ее желтые волосы были накручены на бигуди, — она, пыхтя и отдуваясь, взбежала по лестнице и со сжатыми кулаками, с детской гневной обидой на лице напала на Мейсона.

— Мейсон Флагг! — завопила она, яростно дергая его за руку. — Я слышала! Я слышала, что вы затеяли, гадкий человек! Оставьте Касса в покое! Слышите? Оставьте его в покое! — В линялом кимоно она выглядела бедной и обносившейся, но все равно была хорошенькой.

Мейсон обернулся к ней и рявкнул:

— Уйдите! — Потом спокойнее, с натянутой улыбкой добавил: — Не волнуйтесь, Поппи. Мы просто хотим немного развлечься. Правильно, Касс?

— Не разговаривай с ним, Касс! — захлебывающимся голосом выкрикнула Поппи. — Он хочет над тобой надсмеяться! Он опять тебя унизит! — Она глядела на Мейсона ошестившись, огромными, круглыми, полными слез глазами и все время дергала его за руку. — Почему вы такой гадкий, злой человек? Почему вы с ним так поступаете? Не видите, в каком он состоянии? Не понимаете, что он сам не свой, когда он в таком состоянии? Прошу вас, — она глядела на него умоляюще и почти плакала, — прошу, оставьте его в покое, дайте его уложить! Не позорьте его! — С мольбой она повернулась ко мне. — Прошу вас, мистер Левретт, не разрешайте ему, Касс совсем больной! А Мейсон хочет выставить его на посмешище! — Она опять повернулась к Мейсону и топнула ногой. — Животное! Это уже не смешно, Мейсон! Это подло. Ух, я вас ненавижу! Ненавижу, ненавижу! — Она закрыла лицо руками и расплакалась.

— Может, правда оставишь его в покое? — вмешался я. — Seriously, Мейсон.

— А ты, малыш, не лезь, — презрительно бросил он мне.

Наверное, только тут (на удивление поздно, учитывая все, что произошло между нами после моего приезда в Самбуку) я впервые осознал, что Мейсон, если отбросить его грубое и очевидное притворство, не любит меня так же, как я его. Оба мы наконец изменились — и необратимо. Он задержал на мне взгляд.

— Не лезь, слышишь? — повторил он, а потом с презрительной насмешкой взглянул на Поппи. После этого повернулся к Кассу и скомандовал: — Пошли, Лохинвар³⁹, в комнату.

Касс привалился к двери.

— Все нормально, Поппи, все нормально, — хрипло, глотая буквы, сказал он и выпрямился. — Не жалея меня. Мы с Мейсоном будем веселиться, так, старик? Игры и развлечения, как всегда. А что, если капельку «Джека Даниэлса», для смазки хода?

Мейсон не ответил и толкнул Касса вперед. Поппи потащила за ними, обливаясь слезами.

— Все внимание! Прошу тишины! — Мейсон хлопнул в ладоши, голос его раскатился по громадной комнате, музыка смолкла, танцоры остановились. — Прошу тишины! — снова крикнул Мейсон. Он улыбался во весь рот, но куртка его промокла от пота, внутренне он был накален. — Тишина! — крикнул он. — Дамы и господа, прошу собраться для специального вечернего аттракциона! Будьте добры, станьте поближе!

³⁹ Л о х и н в а р — романтический влюбленный, персонаж поэмы Вальтера Скотта «Мармион».

Гости медленно двинулись к Мейсону и Кассу. Их стало заметно меньше. Дело шло к двум часам ночи, и многие, наверно, отправились спать в «Белла висту» или в свои комнаты на вилле. Не было Алисы Адэр, не было Мортонa Бэйра и Доун О'Доннел, но я увидел пышную Глорию Манджиамеле, и Розмари, и среди прочих стриженного ежиком молодого человека, который окосел уже в буквальном смысле слова, и другого моего *bête-noir*⁴⁰ — помощника режиссера Вана Ренслера Раппарта. В общем, я думаю, оставалось человек двенадцать, и, пока Мейсон кричал и хлопал в ладоши, все успели собраться вокруг него.

— Что случилось с твоим красивым лицом, дорогой? — сказала, посмеиваясь, Глория Манджиамеле, после чего прижалась к Мейсону и обняла его за талию.

— Я упал в шиповник, — рассеянно ответил он. — Прошу присутствующих...

— Шиповник? — удивилась Манджиамеле. — Что такое шиповник?

Я взглянул на Розмари: она являла собой картину бледной виллы.

— Прошу присутствующих подойти поближе. Благодарю вас. Сегодня вас ожидает аттракцион-сюрприз, — он показал на Касса. Голос у него сделался звучным и напыщенным, как у шпрыхталмейстера, а на лице застыла несуразная, будто нарисованная улыбка. — Дамы и господа, разрешите представить вам Касса Кинсолвинга, выдающуюся личность, самый выдающийся театр одного актера со времен покойного и несравненного Джолсона⁴¹. Правильно, Касс? Говори, Касс. Начнем с твоей родословной.

На заднем плане мелькнула Поппи: прикусив губу и сдерживая слезы, она пыталась остановить Касса, но он уже шагнул вперед все с той же дурацкой улыбкой и, шатаясь, встал рядом с Мейсоном, как дрессированный медведь, грузный и неуклюжий. Майка у него неряшливо болталась вокруг бедер, штаны были в пятнах, очки на воспаленном и потном лице сидели криво; он стоял, опасно кренясь; в его кряжистом облике было что-то от ученого и, несмотря на улыбку, читалась глубокая и немая меланхолия — пропащий, спившийся профессор из Нью-Йоркской ночлежки, погруженный в созерцание своего распада. Среди этих лощеных людей он действительно казался чужим, как бродяга. Я услышал хихиканье Глории Манджиамеле, потом кто-то еще засмеялся. Компания зашевелилась, зашуршали платья. «Он просто великолепен», — произнес кто-то вполголоса с французским акцентом; я обернулся и увидел шею пожилого педераста, вытянутую над моим плечом. Розмари показала мне его раньше: знаменитый модельер Жак Какой-то, о котором я должен был слышать, но не слышал. Шея у него была розоватая и бородавчатая, как у грифа. «Где его Мейсон откопал?»

— Давай, — подгонял Мейсон. — Ну, Касс. Давай родословную.

Касс почесал в затылке.

— На ваш запрос касательно моего происхождения, возраста и т. д., — прохрипел он наконец, — мать моя работала лошадью на конке... отец был извозчиком... сестра объездницей в арктических районах... а братья — бравыми матросами на паровом катке. — Все это он выпалил единым духом. Выпалил механически, как зазубренный урок, а кончив, посмотрел на Мейсона, ожидая одобрения. И взгляд был такой же заученно-механический — казалось, Мейсон кинет ему сейчас рыбину или кусок мяса. Наступила полная тишина — тишина, которую можно было потрогать, насыщенная тяжелым недоумением, всеобщей неловкостью. Меня прошиб пот. Никто не проронил ни звука. Но вот Мейсон, по-прежнему улыбаясь, уставился на Касса повелительным взглядом, и кто-то сбоку от меня засмеялся. Смеялся мужчина — хрипло, громко, грубо, — и это подействовало на всех заразительно: кто-то еще заржал, потом еще и еще, и скоро вся компания заливалась воющим истерическим хохотом, и бессмысленные раскаты его, отраженные стенами и потолком, наполнили зал. Гости смеялись и смеялись: смеялись, наверно, потому, что достигли той стадии опьянения, или апатии, или скуки, когда готовы смеяться над чем угодно. А посреди мечтательно и отрешенно стоял Касс, и капельки пота блестели на его щетине; он не слышал хохота, он покачивался и улыбался, словно стоял где-то там, далеко, возле своей ночлежки. Во всем его облике было что-то такое сломленное, иссякшее, что вызывало чуть ли не отвращение. Ни капли силы не осталось в нем, ни капли мужского,

⁴⁰ Пугало, предмет ненависти (фр.).

⁴¹ Дж о л с о н Ал — американский киноактер и певец.

толстые, мускулистые руки висели, как тряпки; он улыбался, похихикивал, вдруг начинал валиться в сторону, потом выпрямлялся. Смех наконец затих, смолк. Только Манджиамеле, которая, наверно, не поняла и половины его слов, продолжала всхлипывать, тряся грудями, в изнеможении закрывая ладонями раскрасневшееся лицо. Когда ее немного отпускало, она глядела на Касса чистым идиотическим взглядом, и я вдруг понял, что мозгов у нее не больше, чем у комара. Мейсон снял с талии ее руку и сделал шаг вперед.

— Молодцом, Касс, — сказал он. — А теперь покажи «Честного Эйба».

— А как же, — пробормотал Касс. — А как же, как скажешь.

— Билли, — обратился Мейсон к негру-пианисту, — можно несколько тактов «Черного Джо»? — Он повернулся к гостям: — Почтеннейшая публика, это песня о честном Эйбе Линкольне. К сведению присутствующих неамериканцев, Линкольн был президентом США, великим освободителем, а также отчасти вруном и недотепой, хотя об этом средо не догадаться.

Публика надлежащим образом прыснула, Мейсон вытолкнул Касса вперед, и рояль грянул, маэстозо, начальные аккорды «Черного Джо». Касс запел мокрым, склеенным голосом:

Я честный Абрахам,
Ворода на подбородке.
Я волю дал рабам
И... оказался... на... пятерке...

Темп был терзающе медленным. Я думал, он никогда не выговорит слов. А самое плохое — Касс был напрочь лишен слуха и только плутал, зажмурясь, по лабиринту нежной мелодии: ни разу не взял на правильной ноте, а хрипло выпаливал каждый слог наобум и все время отставал на несколько долей. Голос его тонул в восторженных воплях и взвизгах.

Я никогда не врал,
Я... весь... вот... тут...
Зачем ты застрелил меня.
Джон... Уилкс... Бут?⁴²

Смех низвергался на него волна за волной. Он стоял, закрыв глаза, словно замечтавшись, глухой ко всему, и улыбался сонной улыбкой.

— Теперь клич мятежников! — крикнул ему Мейсон. — Не забудь клич мятежников!

И Касс, будто очнувшись от глубокого и беспамятного сна, вдруг ожил. Он закинул голову, сложил ладони рупором и испустил душераздирающий вопль, от которого у меня побежали мурашки.

— Яйхиинииинии! — завопил он. — Яууииинииинии! — Раз за разом издавал он этот никчемный оглушительный клич, завывая, как леший или безумец, а люди вокруг корчились, съезживались на глазах, хватались друг за друга, отворачивались с оскаленными зубами, зажимали ладонями уши. Касс все завывал, как взбесившаяся сирена или гудок, раскупоренный непостижимой и злой волей Мейсона. — Яйхиинииинии! — Мне казалось, что от этого дикого бессмысленного рева сейчас посыплется штукатурка. Обе судомойки и за ними Джорджо выбежали в коридор, заламывая руки, вытаращив от ужаса глаза; неведомо откуда впрыгнул персидский кот с поднявшейся дыбом шерстью и тут же ракетой ширкнул в дверь. Потом появились другие люди. Как погост, разбуженный архангельской трубой, дворец извергал свое сонное население: в пижамах и халатах, босые, протирая глаза, они сбегались так, словно готовы были к самому страшному. Первой появилась меловая Доун О'Доннел, за ней Алиса Адэр, за ней два всклокоченных итальянца в трусах, за ними Алонзо Крипс, усталый и бессонный, с сигаретой в подергивающихся губах. На лице у него было недоумение, и, когда вопли Касса смолкли, он первым подошел к Мейсону и первым заговорил:

— Что тут происходит. Мейсон?

— Мы развлекаемся, Алонзо. Касс решил повеселить людей. В цирке его назвали бы гвоздем программы. Правильно, Касс?

— А как же, — отдуваясь, ответил Касс бессмысленным голосом. — Как скажешь. Глоток бы «Джека Да...»

⁴² Перевод Андрея Сергеева.

— Мы думали, тут кого-то убивают,— сказала Доун О'Доннел.

— Нельзя ли немного потише? — сказал Крипс. — Кое-кому из нас завтра утром работать. — Он находился в затруднительном положении: был взбешен, но не хотел показывать это хозяину дома. Потом он повернулся, остановил взгляд на Кассе, и в глаза его появилась боль. — Оставили бы вы его в покое, Мейсон, — спокойно сказал он. — По-моему, 'это уже совсем не смешно. Что за интерес, не понимаю. По-моему, хватит с вас. Посмотрите на него.

Касс обалдело повернулся и отдал ему честь на английский манер — ладонь вперед, над бровью.

— Добрый вечер, режиссер. Рад приветствовать вас на борту.

— Оставили бы вы его в покое, а? — Крипс говорил сдерживаясь, почти дружелюбно. — Неужели вам еще мало?

Сцена была гораздо более напряженной, чем могло показаться: слова Крипса прозвучали как вызов, и притом публичный. Однако подвыпившие и отчаянно скучавшие гости были единодушно настроены на веселье и не разделяли чувств Крипса. Они загудели и зафыркали: до меня донеслось: «Иди спать, Алонзо», щеки у них покраснелись, подмышки взмокли, они желали зрелища — или крови. Даже те, кто спал, разгулялись — Алиса и Доун подошли поближе, чтобы лучше видеть, итальянцы в трусах, осанистые и невозмутимые, как два посла, непринужденно почесывали волосатые животы и посмеивались.

— Не будьте старым ворчуном, Алонзо, — шутливо сказал Мейсон. — Ей-богу, поспите лучше, гулянье только началось.

После этого Мейсон заставил Касса читать лимерики. Все чуть не попадали. Они и раньше веселились, но теперь просто обессилели и от смеха стали неосторожно действовать локтями, наступать друг другу — и мне тоже — на ноги, проливать на себя виски.

— Президент Американской академии, — декламировал Касс торжественным сомнамбулическим голосом, — отличался очень странной анатомией...

Глаза у него остекленели, он больше не улыбался; кровь отлила от лица, пот со лба испарился, он выглядел иссохшим, опаленным, и бледность, которая бросилась мне в глаза на лестнице — бледность больного или отравленного, — стала еще заметнее. Он закончил стихотворение сильным прерывающимся голосом, полным усталости и меланхолии. Вокруг грянул смех.

— Ха!.. Ха!.. Ха-а-а! — Голос француза-модельера бил мне прямо в ухо, и я вдруг сообразил, что слышу его непрерывно и уже давно — неослабевающий пронзительный визг.

— А теперь ту, Касс, — хохотнул Мейсон, похлопывая его по спине. — Про девицу из Нассау. И потом про распутную игуменью из... Чатема или откуда?

И тут, пока Касс хрипел очередной лимерик, а я смотрел на него и краем глаза поглядывал на Мейсона, все прежние чувства, догадки, подозрения, копшившиеся на задворках ума, вдруг выстроились на первом плане и осветились.

Мейсон держал Касса в кулаке, в л а д е л и м, как владел, хотя и совсем по-другому, но не менее прочно — по крайней мере до нынешнего вечера — мною. И когда я посмотрел на Касса, а потом посмотрел на Мейсона — на это холеное, высокомерное, чувственное, заматерело-молодое американское тщеславное лицо, которого я столько лет был виноватым вассалом, — я ужаснулся своей подслеповатости, тому, что сам висел на волоске. И от души пожалел Касса. Игуменья из Чатема закончилась под совсем уже истерический гогот, и тут я сообразил, что наблюдаю нечто гораздо более странное и омерзительное. «Вы будете валяться», — голос Мейсона доносился как будто издали, потому что моим вниманием завладели двое маленьких детей в ночных рубашках: с широко раскрытыми глазами они тихонько вошли в комнату. Это были дети Касса, старший мальчик и старшая девочка, — большими растерянными глазами они водили по комнате, наконец увидели Поппи и быстро зашагали к ней, держась за руки. Все ее маленькое тело сотрясало от безмолвных рыданий: не сводя глаз с Касса и закусив рукав кимоно, она одной рукой подгрребла к себе детей. Я заметил, что Розмари исчезла.

— Ладно, ладно, Касс, — проговорил Мейсон, спиной ко мне. — Дадут тебе выпить. После сеанса.

Тонкий плач Поппи прорезал общее гудение:

— Остановите же его, кто-нибудь! Остановите...

— Это подлинное воспроизведение парижского сеанса, который дается в первоклассных заведениях Монмартра. Касс, кукленок, приступай.

И, похолодев от ужаса, я увидел, что Касс опустил на колени.

— Messieurs, dames, c'est comme-ci que l'on fait l'amour en Norvège⁴³. — Он скосился на озадаченных гостей, в очках его блеснули круглые желтые блики. Массивный, неуклюжий, в этой постыдной позе он напоминал большого несчастного зверя: между тем его речь с безукоризненным французским выговором, жеманная, непристойно распевающая, его писклявый и апатичный голос — все это было точным изображением парижской проститутки. — В Норвегии это делают... — Длинные патлы мели по лицу, как у маньяка; глупо облизываясь, он переставил ноги и принял позу настолько пародийную, что даже пафосские боги, будь у них глаза, огорчились бы такому надругательству. — En Norvège...

Но показать ему не удалось, и публике не пришлось посмеяться. Я вдруг представил себя на его месте — распростертым, позорным шутком. Я кинулся к нему, но меня опередил Алонзо Крипс, он поднял Касса на ноги и с нескрываемым отвращением посмотрел на Мейсона.

— Хватит, слышите?

— Господи, Алонзо... — заныл Мейсон.

— Я сказал, х в а т и т.

Поппи протиснулась между гостей и, рыдая, припала к плечу Касса. Он уронил голову на грудь.

— Извини, маленькая, — услышал я его глухой печальный голос. — Ей-богу, извини.

Крипс, наверно, угадал во мне союзника.

— Вы бы отвели его вниз. — шепнул он. Я с трудом удерживал Касса. — В жизни не видел такой гадости. — Крипс сказал это как бы про себя, но Мейсон наверняка слышал.

— Да что вы, в самом деле, Алонзо, — начал Мейсон, — это же шутка...

Но Крипс уже уходил по коридору. Замечательный человек, не снисходящий до низменных препирательств.

Гости тихо рассеялись, растворились в ночи. Не могу сказать, как они отнеслись к этому, я был занят Кассом, мне недосуг было разбираться, но разошлись они молча, и в молчании этом не было стыда, а скорее разочарование и досада. Мы с Поппи повели Касса к двери, дети пошли за нами.

— А вы почему не спите? — всхлипывая, сказала им Поппи. Потом она обернулась и посмотрела на Мейсона, оставшегося в одиночестве, смущенного и озадаченного. — Мейсон Флагг! — крикнула она. — Вы гадкий и злой человек! Он не ответил.

— Со своим дерьмовым буйволом! — добавил я, когда мы протиснулись в дверь. Поскольку это были мои последние слова к нему, раскаяние потом не раз покусывало меня, несмотря на все его художества.

⁴³Дамы и господа, вот как занимаются любовью в Норвегии (фр.).

Перевел с английского В. ГОЛЫШЕВ.

(Продолжение следует)

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЦЕЗАРЬ СОЛОДАРЬ

★

И ВЕЧНЫЙ БОЙ...

— **М**огу назвать настоящего, даже образцового писателя-фронтовика: Ставский.

Услышал я это от Всеволода Иванова в Штраусберге под поверженным Берлином на следующий день после подписания акта капитуляции. Впервые за многие недели работы без отдыха и срока на берлинском направлении этот день, как и для всех военных корреспондентов, оказался для Всеволода Вячеславовича выходным.

На скамейке у замутненного тиной озера он продолжал:

— На финском фронте вы наверняка общались с Владимиром Петровичем Ставским. Излишне поэтому убеждать вас, насколько он храбр. Всегда тянулся на передовую, чтобы выполнить закон, им самим над собой поставленный: писать только о том, что видел. Так он работал на полях Кубани, так работал на войне. На Отечественную пришел с опытом трех войн: гражданской, на Халхин-Голе, с белофиннами. Когда после тяжелого ранения на Карельском перешейке Владимира Петровича наградили вторым орденом Красного Знамени, мы с Фадеевым, Фединым и Гладковым послали ему телеграмму. Хотя моя подпись стоит первой, написал не я, а случившийся тогда в Москве Константин Александрович Федин. Написал тепло и даже несколько возвышенно. И все же телеграмма не была традиционно поздравительной и, боже упаси, комплиментарной. Мы дали единственно справедливую оценку мужеству Ставского. Мне кажется,— задумчиво добавил Иванов,— не погибни Владимир Петрович в сорок третьем на Прибалтийском фронте, вчера он сидел бы среди нас в Карлсборсте. И, может быть, с Золотой Звездой на гимнастерке, именно на гимнастерке — кителей, мне говорили, он не носил...

Говорилось это убежденно, с таким внутренним волнением, что я не решался прерывать Всеволода Вячеславовича вопросами. А он, уже улыбаясь своим мыслям, потягивая на меня, сказал:

— Только не воображайте, что у меня не было никаких расхождений со Ставским в оценке некоторых — и заслуженно и незаслуженно — нашумевших книг. Были. И большие. Частенько спорили, даже ссорились. Порой по-разному оценивали задачи Союза писателей, одним из активнейших организаторов которого был Владимир Петрович. Но когда новосозданный наш союз был еще очень-очень молод, нередко возникали и не могли не возникать стычки между бывшим секретарем РАППа и бывшим попутчиком, каковым имел честь числиться я. Но у горячего, вспылчивого Ставского было великодушное для руководителя качество: полнейшее отсутствие, по старинке говоря, памятьозлобности. А сводить личные счеты ему было — это мы чувствовали! — глубоко противно... Вот уж кто завзято боролся за единение всех разношерстных в ту пору литературных сил — так это Владимир Петрович. И потому ныне о человеческих качествах Ставского, главное, о высочайшем советском патриотизме, породившем настоящее мужество, я готов говорить и писать более возвышенно, нежели в том телеграфном послании...

Много лет спустя я узнал содержание телеграммы Ставскому. Вместе с Ивановым, Фадеевым и Гладковым ее подписали также Константин Тренев и Николай Подиц:

«Дорогой Владимир Петрович! Получение тобой второй высокой боевой награды еще раз показывает нам то, в чем мы никогда не сомневались,— что ты замечательно соединяешь в себе новый тип советского писателя — гражданина и бойца. Уметь защищать Родину — великое искусство, требующее от бойца высокого сознания долга и героического чувства. Ты обладаешь и тем и другим и можешь служить нам примером беззаветной преданности социалистическому отечеству. Обнимаем тебя! Крепко!»

Да, Владимир Ставский действительно олицетворял собой на фронте новый тип советского писателя — гражданина и бойца.

В дни боев с белофиннами мне, начинающему литератору, посчастливилось восемь раз встречаться с ним. Восемь бесед — ни больше ни меньше. Содержательных бесед — Ставский не выносил пустой болтовни. Вот почему и запомнилась каждая встреча.

1 декабря 1939 года, на второй день войны, спровоцированной реакционными правительствами по наущению фашистской Германии, Англии, Франции и США, я приехал в Ленинград. Командировала меня центральная военная газета «Боевая подготовка» — была такая младшая сестра «Красной звезды».

Сразу же поехал в редакцию фронтовой газеты «На страже Родины». Полковой комиссар Д. Березин, только что назначенный ответственным редактором, предложил мне и приехавшим одновременно со мной художникам-карикатуристам Вениамину Брискину и Василию Фомичеву войти в состав редакционного коллектива. Мы с радостью согласились.

К нашему разговору внимательно прислушивался широкоплечий и несколько грузноватый политработник с ромбом в петлицах гимнастерки. Мне и в голову не могло прийти, что этому представительному человеку, как бы затмившему всех, кто был в комнате, нет сорока. От волнения я не разглядел на его гимнастерке ордена Красного Знамени (еще не были введены орденские ленты и военнослужащие-орденоносцы обязаны были носить награды, как выражались на фронте, живьем) и флагообразный значок депутата Верховного Совета СССР. Но сразу же узнал в бригадном комиссаре Владимира Ставского, одного из руководителей Союза писателей, редактора «Нового мира», автора популярных в те годы книг «Разбег» и «Станица». Он меня, конечно, не знал и скорее всего даже не слышал обо мне.

Мне пришлось назвать себя и пославшую меня на фронт газету. Первые же слова Ставского звучали ободряюще:

— В добрый час, молодой корреспондент! Знаю, ваша «Боевая подготовка» рассчитана на младших командиров. Но не ищите в боях героев только из их среды. Встретится отважный красноармеец, пишите о нем.— И шутливо добавил: — Умелыми делами полковников и генералов тоже не следует пренебрегать.

Затем Владимир Петрович спросил меня, в каком преимущественно жанре намерен я выступать во фронтовой газете.

— В поэтическом и сатирическом,— не без апломба ответил я.

— Неплохо. Но на фронте самый именитый писатель должен быть прежде всего корреспондентом, очеркистом. Надо писать очерки о героях войны. Нельзя брезговать и короткой оперативной заметкой, если даже придется ухлопать много времени, чтобы передать ее в номер... С поэтом Константином Симоновым знакомы? Нет? Моложе вас, а как здорово поработал в «Героической красноармейской» на Халхин-Голе! И порошу вдосталь понюхал, и на танке шел, и под обстрелы попадал. Но хотя все время среди бойцов был, а с очерками о них не получалось. А газете нужны очерки о героях. И пошел Костя по такому пути: стал писать очерки в стихах. Да, стихи о красноармейце таком-то, стихи о погибшем майоре, о самоотверженном военвраче. Я сегодня рассказал об этом Николаю Семеновичу Тихонову и Саше Твардовскому. Призадумались. Не идет мне роль прорицателя, но вот увидите — и они здесь, на фронте, возьмут на вооружение стихотворные очерки... С Николаем Семеновичем немедленно познакомьтесь. Не идет отличнейший поэт, но и бывалый воин. В вашей литературной группе будет надежным дядькой при новобранцах. Почаще советуйтесь с ним. Да и Виссарион Саянов, уверен, пособит вам, молодому, необстрелянному. О Сергее Ивановиче Вашенцеве и говорить нечего — он у нас в Союзе первейший ветеран, еще в старой армии служил. Вам повезло — в прекрасную компанию попали, есть у кого поучиться. Впрочем, на воспитателей надейся, а сам не плошай.

Все это говорилось сердечно, дружески, без менторских ноток. Чувствовалось, что писатель с огромным опытом фронтовика от души хочет помочь начинающему литератору, впервые попавшему на войну.

...Раздумываешь о гребовательном внимании Владимира Петровича к молодым литераторам-фронтовикам и отчетливо осознаешь: да, не случайна настойчивость, с какой он перед Первым съездом писателей то и дело просил Горького ознакомиться с робкими литературными опытами начинающих писателей из заводских литобъединений типа знаменитой «Вальцовки» на «Серпе и молоте». «Алексей Максимович,— с гордостью рассказывал Ставский,— шел навстречу этим просьбам. Для порядка побрязжит, побрязтит, а потом вроде бы нехотя скажет: «Ладно, кто там из ваших подопечных на очереди? Так и быть, потолкую с ним. Но ежели провалю доклад на съезде, грех разделим с вами пополам»...»

И не случайно именно Владимиру Петровичу возглавляемый Горьким Оргкомитет поручил выступить на Первом всесоюзном писательском съезде с докладом «О литературной молодежи нашей страны».

— Почему в порядок дня съезда,— говорил тогда Ставский,— включены специальные доклады о литературной молодежи, о работе с начинающими молодыми писателями? Ответ дает сама жизнь, сама наша действительность... Молодежь идет в литературу бурно, стремительно, словно горные ручьи... молодежь — завтра нашей литературы, ее будущее.. Возьмите состав съезда: большинство участников — литературная молодежь. У нее все вперед: расцвет сил, писательской и иной деятельности. И наш съезд — это великая школа, организованная коммунистической партией. С другой стороны съезда — могучее производственное совещание..

Своеобразными производственными совещаниями под руководством опытного наставника были и беседы Ставского с молодыми сотрудниками фронтовой печати...

— Воинского звания, вижу, у вас еще нет,— продолжал Ставский наш первый разговор.— И в писательском союзе вы покамест не состоите. Постарайтесь показать себя на фронте так, чтобы вернуться в Москву со знаками различия на петлицах и с уверенностью, что сможете получить авторитетные рекомендации в Союз писателей.

На прощанье я услышал:

— Конечно, мы еще не раз встретимся. Хорошо бы увидеть вас на передовой. Где я нахожусь, вам подскажут в корпункте «Правды».

Несколько дней мне пришлось в редакции поработать над сатирической подборкой «Прямой наводкой». И только 6 декабря получил я от заместителя редактора Михаила Сергеева «добро» на поездку в действующие части: «Продумайте маршрут и через два часа согласуйте со мной, куда именно поедете на рассвете».

Мне очень хотелось встретиться «в деле» с Владимиром Петровичем. Позвонил в корпункт «Правды». Голос шумного и темпераментного правдиста Николая Михайловского, впоследствии писателя-мариниста, звучал необычно глухо: «Владимир Петрович тяжело ранен».

Когда я пришел к заместителю редактора, уже известны были подробности ранения Ставского.

Он находился в авангардном батальоне полка, получившего приказ преодолеть преграду в районе Ладожского озера. Успешное выполнение этой боевой задачи должно было обеспечить фланговое прикрытие наших наступающих подразделений. Началась операция. Не зная предостережениям комбата, Владимир Петрович пошел в первых рядах. Под настильным огнем противника преграда все-таки была преодолена. Вместе с бойцами Ставский на неприятельском берегу. Надо развить успех. Только бойцы поднялись в атаку, вражеская пуля сразила комбата. Не медля ни секунды, его заменил бригадный комиссар. Властная команда Ставского: «Во славу Родины вперед!» — увлекла бойцов на штурм вражеских укреплений. Противник усилил артиллерию. Стремительная атака уже подходила к концу. И в эти мгновенья осколок снаряда подкосил Ставского. Тяжелая рана...

Навестить Владимира Петровича в госпитале нельзя было. Началась газовая гангрена — в палату первое время не пускали даже жену.

Не вылежав положенного срока на госпитальной койке, Ставский переехал в гостиницу. Узнав, что он снова взялся за перо, я рискнул пойти к нему.

Письменным столом Владимиру Петровичу служил широкий подоконник — так удобнее было примостить забинтованную ногу на кресле у окна. На подоконнике

аккуратными стопками были разложены журнальные гранки — редактор «Нового мира» ознакомился с подготовленным к печати номером.

У Владимира Петровича было прекрасное настроение. Его любимец, капитан Николай Угрюмов, чей батальон первым ворвался в сильно укрепленный городок Териоки, стал Героем Советского Союза. Именно воинам комбата Угрюмова была посвящена первая корреспонденция Ставского с Карельского перешейка в «Правде». Разумеется, военный корреспондент ни единым словом не упомянул, как лично участвовал в первой попытке угрюмовского батальона штурмовать вражеские укрепления, как в решающий момент одним из первых пошел в атаку.

«Первый», «первая», «первые» — не слишком ли часто повторяю я это слово? Нет. Такова правда, ею поступиться нельзя.

В батальоне Угрюмова мне посчастливилось побывать вскоре после взятия Териок. Я поспешил поделиться с сияющим Ставским своими впечатлениями. Отложив в сторону перо и забыв о журнальных полосах, Владимир Петрович жадно внимал моему сбивчивому рассказу об угрюмовцах. А затем забросал вопросами. К сожалению, будучи в батальоне, я не побеседовал со многими запомнившимися Ставскому воинам, не приметил интересовавших его мелочей. Он все откровенней хмурился: мой рассказ явно не удовлетворил его.

Прощаясь со мной, Владимир Петрович еще раз напомнил мне:

— Передайте Николаю Семеновичу: фронтовая газета обязана как можно скорее дать стихи об Угрюмове. Тянуть с этим непростительно — так и передайте.

Так случилось, что фронтовая газета через день напечатала мою «Песню о комбате Угрюмове». Поэтическими достоинствами она не отличалась, но искреннее восхищение героическим капитаном в ней ощущалось.

Какова же была моя радость, когда, вновь посетив Ставского, я в ответ на «здравствуйте, Владимир Петрович!» услышал строку из «Песни...»: «Где идет Угрюмов, белофиннам круто!» Приступнув в такт словам костылем, Владимир Петрович повторил: «Белофиннам круто!»

Через несколько дней в передовице «Правды» было процитировано четверостишие из «Песни о комбате Угрюмове», начинавшееся с запомнившейся Ставскому строки.

Прихватив для верности экземпляр «Правды», я под каким-то предлогом помчался к Владимиру Петровичу.

— Знаю, знаю, — улыбаясь опередил он меня. И, хитровато прищурясь, добавил: — А коли совсем откровенно, знал еще до того, как номер вышел в свет.

Не претендуя на роль руководителя, не проявляя какого-либо вмешательства в редакционную жизнь, Ставский ощущал ответственность писателя-коммуниста с военным опытом за работу своих сотоварищей по фронтовой печати. Нетрудно было заметить, с каким вниманием присматривается он к работе писательских групп в газетах «На страже Родины» и «Героический поход». Там работали Алексей Сурков, Михаил Чумандрин, Борис Левин.

Особенное внимание Владимира Петровича привлекали материалы рубрики «Герои фронта». Увидев под очерками и зарисовками подписи Твардовского, Тихонова, Суркова и других поэтов, он очень радовался тому, как быстро перестроились они в нужном фронтовой печати направлении. А когда Александр Трифонович стал выступать со стихами о подвигах поименно названных бойцов, Владимир Петрович совсем уж удовлетворенно сказал:

— Эти стихи — не однодневки. Войдут и в тома избранных. А коли иные и не войдут, тоже не беда. Сегодня они в арсенале нашего оружия, а значит, делают большое дело. Во всяком случае, историки войны, в которой мы сегодня участвуем, да и историки литературы не пройдут мимо этих стихов и читателей.

Как показало время, не проходят мимо этих стихов и читатели.

Внимательно вчитывался Ставский и в материалы сатирических подборок. В газете «На страже Родины» они появлялись регулярней, нежели в «Героическом походе». Это огорчало Ставского. Но он понимал, что одному Суркову трудно регулярно заниматься сатирой.

— У вас карикатуристы есть, — оправдывал его Ставский. — А у Суркова таких соавторов-выдумщиков нет. Да и с полиграфией в «Героическом походе» хуже.

На четвертой полосе нашей газеты появились первые серии цикла веселых пождений смекалистого бойца Васи Теркина — рисунки со стихотворными подписями.

Один из авторов этого цикла, я, естественно, с нетерпением ждал оценки Владимира Петровича. И через несколько дней он обрадовал меня:

— Хорошо придумано. Если боец не то что расхохочется, а хотя бы улыбнется, игра уже стоит свеч. А Вася Теркин подчас заставляет бойцов всюду хохотать — я точно знаю. Да, да, информация надежная.

Уловив мое удивление, Владимир Петрович уточнил:

— Меня навестил бригадный комиссар Абрамов, из политуправления фронта. Политработники просят его воздействовать на редакцию, чтобы Вася Теркин регулярно из номера в номер озорничал.

Некоторые приключения Васи Теркина, чересчур фантастичные, Ставский не одобрил:

— Озорство, хитрость, бесшабашность — все это я принимаю. Но только в сочетании с правдоподобием.

С такой оценкой, между прочим, решительно не согласился Александр Твардовский:

— Смешная былина — вот что такое «Василий Теркин». Былина, а не быль. Как же тут без сказочных преувеличений обойтись? Пресно получится.

Ленинградскому поэту Николаю Щербакову, одному из авторов приключений Васи Теркина, довелось потом слышать спор Ставского и Твардовского о том, каким же все-таки нужно изображать смекалистого и бесстрашного бойца.

— Только без фантастики, — утверждал Владимир Петрович.

— Только в лубочном плане, — стоял на своем Александр Трифонович.

«Переуступил» отдел «Прямой наводкой» Щербакову, я начал чаще выезжать в действующие части. И, разумеется, чаще стали появляться в газете мои очерки о героях боев. Но Ставский словно не замечал их. Меня это, честно говоря, волновало. И вдруг слышу:

— Наконец вспомнил о ротном политработнике!

Речь шла об очерке, посвященном младшему политруку Кузьме Высоцкому.

Но в тот же самый день Владимир Петрович основательно распек меня. Произошло это так.

Я застал у него хирурга, профессора Военно-медицинской академии в генеральском звании. То ли профессор торопился уйти, то ли по моим петлицам без знаков различия принял меня за посыльного из редакции, но на мое приветствие ответил весьма небрежно. Владимир Петрович, видимо, тоже заметил это.

— Знакомьтесь, — чуть ли не приказным тоном сказал он генералу, — молодой писатель из редакции «На страже Родины».

Услышав «писатель», профессор словно впервые увидел меня. Приветливо улыбнулся и протянул мне руку. А меня угораздило вызывающе отчеканить:

— Вовсе не писатель, товарищ генерал, я всего лишь журналист.

Не помню, какотреагировал профессор. Но Ставский мгновенно изменился в лице. От его возмущенного взгляда мне стало не по себе.

— Вишь ты какой прыткий! А известно ли вам, товарищ «всего лишь журналист», что Владимир Ильич в партийной анкете именовал себя журналистом? Работой в советской печати надо гордиться. По крайней мере я очень горжусь. И десятки моих товарищей. Хотя бы потому, что журналистика привела их в литературу. Да разве Николай Погодин написал бы «Темп» и «Поэму о топоре», не имея за плечами десятка очерков в «Правде»? А до этого в ростовском «Молоте». И не одного Погодина воспитала газета...

Профессор ушел, а Ставский продолжал прорабатывать меня. Вспомнил и других писателей, пришедших в литературу из газеты. И главное, не порывающих с журналистикой.

По моему смущенному виду и бессвязным репликам Владимир Петрович понял, что я более высокого мнения о советской журналистике, нежели запальчиво брякнул о ней профессору.

— Начало моей журналистской работы почти совпадает с началом службы в Красной Армии, — стал вспоминать Владимир Петрович. — Сейчас мне кажется, что однажды ночью я впервые пошел в разведку, а наутро взялся за первый очерк... И военкорские заметки писал, причем регулярно. А вскоре на документальную повесть замахнулся. Благо свободное время появилось — в госпиталь угодил. Задумал написать о бывалом моряке, воевавшем в красноармейских рядах на суше. Был у нас

в полку такой балтиец... Погодите, погодите,— оборвал себя Ставский.— Как же я упустил! Ведь сейчас с белофиннами воюют и краснофлотцы Балтики. А ваша газета как воды в рот набрала,— напустился он на меня, словно фронтовую газету редактировал я.— Писательской группе надо выехать в Кронштадт. А когда Вишнеvский, Соболев и Лебедев-Кумач придут с фронта к вам, звоните их на передний край. Они во флотской газете расскажут о героях красноармейцах.— И нетерпеливо закончил: — Не теряйте времени, скорее в редакцию! Вдруг вы застанете Тихонова. Уж он загорится, я знаю!

Вскоре Тихонов, Твардовский, Саянов, Вашенцев поехали к морякам в Кронштадт. А дня через четыре на Карельский перешеек приехали Всеволод Вишнеvский, Леонид Соболев и Василий Лебедев-Кумач.

Сейчас уж не могу точно сказать, какую часть они посетили. Впечатление того дня затмила поистине пламенная — другого слова не подберу — речь Вишнеvского на коротком красноармейском митинге. Она так захватила воинов, что Виссарион Саянов потом с полным основанием сказал: «Воскликни Всеволод: «За мной, на врага!» — все бы как один ринулись за ним».

Слово дали Лебедеву-Кумачу. Красноармейцы дружно и очень долго аплодировали. Это так смутило поэта, что несколько секунд он не мог найти первой фразы. Вишнеvский подсказал ему:

— Ты, Василий Иванович, лучше спой! Твои песни здесь знают и любят.

Лебедев-Кумач нерешительно запел: «Широка страна моя родная...» Десятки голосов тут же подхватили: «Много в ней лесов, полей и рек...» Под конец любимую песню пел, заглушая гармонию, уже большой, многоголосый хор. Такого исполнения знаменитой песни я в жизни больше не слышал.

Красноармейцы засыпали гостей с флота вопросами. Преимущественно интересовались боевыми действиями краснофлотцев Балтики. Но молодой сержант из питерской рабочей семьи неожиданно спросил:

— Правда ли, что на ухтинском направлении погиб наш ленинградский прозаик Михаил Чумандрин? Может, не стоит посылать на фронт писателей — не так уж много их у нас, зачем же рисковать?

— Да, Чумандрин пал в бою, — откликнулся Вишнеvский. — С ним погиб и Борис Левин, тоже многообещающий писатель. И Ставского Владимира Петровича здесь, на перешейке, шюцкоровцы тяжело ранили, слышали, наверно? Но писатели рвутся на фронт, поверьте мне, друзья, настоящие писатели рвутся к вам. А кто же другой о ваших подвигах напишет? Тот, кто не видел ваших глаз за считанные минуты до атаки? Вряд ли. Напишет тот, кто с вами из одного котла на морозе кашу ел. И не раз... А могли бы вы здесь без своей газеты обойтись?.. Нет? И я думаю, нет. А какая же это красноармейская газета — без писательского слова!

По взгляду молодого сержанта нетрудно было догадаться, что Вишнеvский его переубедил.

...Авторский актив фронтовой газеты все разрастался. Из центральных газет приехало много спецкоров и литераторов-добровольцев. Наша редакция привлекла их на свои страницы.

Заметив новое авторское имя, Ставский пытливо расспрашивал:

— Молодой?.. Имеет воинское звание?.. Член партии?..

Но самым главным и неизменным был такой вопрос: «Ездит на передовую или ошивается в штабах и политотделах?»

«Ездит ли на передовую?» Для Ставского это был решающий критерий оценки фронтового литератора — и видного писателя и начинающего.

Приехал двадцатипятилетний Сергей Михалков, широко известный в ту пору только как детский поэт. Но на финский фронт Сергея Владимировича командировал не журнал «Пионер», не «Пионерская правда», а киностудия. Хотя Михалков тогда еще совсем не был причастен к кинематографу, руководителей студии подкупало горячее стремление поэта написать сценарий «Фронтовые подруги» о женщинах на войне — санитарках, медсестрах, врачах.

Прямо с вокзала Михалков пришел в редакцию «На страже Родины». Ему повезло: глава писательской группы Николай Семенович Тихонов оказался в редакции Поздно вечером, когда номер уже был готов к печати, по приглашению Тихонова собрались на внеочередную летучку не только писатели, но и добрый десяток других сотрудников.

Михалков ознакомил нас со своим замыслом, прочитал наброски будущего сценария. Участники необычной летучки весьма сочувственно отнеслись к услышанному. И сразу стали вываливать Михалкову «взятые, ей-богу, из самой жизни» подсказки, советы, пожелания. Причем каждый и вправду отталкивался от собственных наблюдений.

Но Николай Семенович, завершая действительно горячие прения, обдал нас ушатом холодной воды. Он сказал Михалкову:

— Как вы смогли убедиться, все мы искренне хотим вам помочь. Но забудьте, слышите, забудьте то, что вам здесь наговорили. А вот из Владимира Петровича выжмите все, буквально все. Когда белофинны прострелили Владимиру Петровичу ногу, девушка-санинструктор далеко не богатырского сложения дотащила его под огнем до перевязочного пункта.

— Не раздумывала ни секунды,— добавил Саянов.— Ее решительность и помогла потом врачам в госпитале своевременно купировать газовую гангрену. Конечно, вам обязательно надо к Ставскому.

— Сейчас же еду,— мгновенно откликнулся Михалков.

Взрыв хохота заставил его взглянуть на часы: шел второй час ночи.

Со следующего утра Сергей Владимирович зачастил к Ставскому. А вскоре мы с Вашенцевым услышали шутовые стенания Владимира Петровича:

— Замучил меня Михалков! — Он комично воздел руки кверху. — Потрошит меня, все выложит ему... — И перешел на серьезный тон: — Верю в его сценарий. Душу вкладывает... А знаете, как я проверил его на горяченьком? — с хитрецей продолжал Ставский. — Продиктовал ему порядочный список адресочков, по которым обязательно должен побывать. И не в тыловых госпиталях, а больше на передовой — в батальонах, в ротах. И он там побывал. Привез мне даже привет от комбата Угрюмова. А дорогу в угрюмовский батальон простреливают шюцкоровские кукушки... Сегодня Михалков великодушно дал мне выходной, — снова перешел на шутку Владимир Петрович. — Я направил его к знакомым разведчикам. Пусть вместе с разведбатом поближе «Линию Маннергейма» понюхает!

Ставский питал неприязнь к боязни понюхать пороку на передовой.

— Если на тебе военное обмундирование,— говорил Ставский,— то, писатель ли ты, металлург или философ, ты уже воин. И веди себя по-воински. Особенно военный корреспондент. В газетчиках бойцы видят политработников. А бросать тень на политработников мы не имеем права.

Но в глубине души Владимир Петрович, очевидно, сам понимал, что вряд ли всем военным корреспондентам стоило следовать его примеру: ползать в тыл врага, в критические моменты принимать команду на себя, поднимать бойцов в атаку — а именно так вел себя бригадный комиссар Ставский на Халхин-Голе и на Карельском перешейке (а потом и на фронтах Великой Отечественной). Мало того, Владимир Петрович настойчиво доказывал, что стариков, например, нельзя пускать на передовую. А когда газета «На страже Родины» привлекла к сотрудничеству приехавшего в Ленинград пятидесятидвухлетнего Самуила Яковлевича Маршака, Ставский сказал полковому комиссару Березину:

— Старик, уверен, запросится на фронт. А вы — ни в какую. Штатским, скажите, запрещено. Самуил Яковлевич и без того много сделает.

Кто-то из журналистов обратил внимание Ставского на то, что Борис Николаевич Агапов, командированный на фронт «Известиями», внешне остается глубоко штатской личностью: разъезжает по частям в шубе и каракулевой шапке, даже с палкой в руке.

— А пишет о боях и войнах лучше иных товарищей со многими шпалами в петлицах,— резко возразил Владимир Петрович.— По-человечески пишет, искренне, без конструктивистских выкрутасов молодых лет. Полезный автор для фронтовой газеты.

На эту бескомпромиссную оценку стоит обратить особое внимание. Ведь в дни основания Союза писателей Владимир Петрович нескрывая скептически относился к писателям из так называемой группы конструктивистов. На войне же не проявил к Агапову ни малейшей предвзятости. И вскоре Борис Николаевич действительно стал полезным членом коллектива фронтовой газеты.

Наблюдательный и пытливей публицист, он, возвращаясь из действующих частей, частенько подсказывал руководителям газеты свежие, животрепецующие темы.

А однажды по его подсказке Виссарион Саянов написал очередную серию веселых приключений Васи Теркина. Эти стихи, особенно удачно проиллюстрированные В. Брискиным и В. Фомичевым, похвалил Ставский. И попросил меня передать это Виссариону Михайловичу. Справедливости ради я уточнил: тема подсказана Агаповым.

— Вот вам и глубоко штатская личность с каракулем на голове и палкой в руке, — обрадовался Владимир Петрович. — Понял, выходит, чем можно развеселить бойцов. — А через несколько дней, узнав, что Агапов выехал на фронт уже в полушубке и буденовке, пошутил: — Кто знает, получи Борис Николаевич военную экипировку сразу, он дебютировал бы как военный корреспондент менее удачно. Впрочем, как говаривал царский военный министр Сухомлинов, «сомневаюсь чтоб».

...30 марта 1940 года редактор показал мне телеграмму из ГлавПУРа. Первые строки, говоря по правде, меня обрадовали: мне было присвоено воинское звание интенданта 3-го ранга — беспартийным работникам фронтовой печати и потом, на Великой Отечественной, присваивались интендантские звания. Вторая часть телеграммы, не скрою, огорчила меня: я получила назначение в редакцию армейской газеты «На разгром врага» и обязан был в течение суток отбыть в Сортавалу. Мне сообщили: газету «На разгром врага» редактирует мой друг по «Боевой подготовке» старший батальонный комиссар Николай Потапов. Он-то, как я потом узнал, и просил ГлавПУР перевести меня к нему.

И все же мне было грустно расставаться с коллективом фронтовой газеты, особенно с Николаем Семеновичем Тихоновым и другими товарищами из писательской группы. Известные писатели, они с первых же дней тепло приняли начинающего литератора в свою семью. Я не чувствовал себя в их среде ниже рангом. Николай Семенович не раз подробно беседовал со мной о моих публикациях и терпеливо правил некоторые мои материалы. Саянов, которого я в шутку прозвал «мы с Николай Семенычем» (он частенько повторял это, рассказывая об очередной поездке с Тихоновым на передовую), тоже сердечно относился ко мне. Даже со стороны Александра Твардовского, очень медленно и туго, я бы даже сказал, осторожно сближавшегося с литераторами, я не замечал и тени отчужденности, не говоря уж о высокомерии.

Но больше всего не хотелось мне лишиться возможности хоть изредка навещать Владимира Петровича Ставского. Не будучи формально членом нашего коллектива, он тем не менее до последних дней войны существенно влиял на работу фронтовой газеты. Передо мной вещественное, как говорится, доказательство — изданное отдельной брошюрой обращение бойцов, командиров и политработников — участников боев с белофиннами. Первым его подписал Николай Угрюмов. А в самом конце говорится: «В составлении письма принимали участие писатели, работающие во фронтовой газете», — и первой стоит подпись еще не поднявшегося с постели В. Ставского.

Скупой на внешние проявления сердечности, до предела требовательный и даже придирчивый к молодым литераторам, он все-таки больше и настойчивее других занимался, смею сказать, воспитанием во мне фронтового корреспондента.

И воспитывал не только меня.

Сколько раз Владимир Петрович приглашал к себе наиболее часто выступавших на страницах нашей газеты молодых сотрудников. Об одной из таких бесед подробно рассказывал в редакции молодой журналист политрук А. Литвинов:

— Живого места на моем очерке не оставил. Слушать мне, конечно, не очень-то приятно, но чувствую: прав он, во всем прав. Но вдруг рассмеялся и говорит: «Кое в чем я перегнул. Из воспитательных, так сказать, целей. В вашем очерке вот такая-то деталь хороша. И такая-то мысль. И такой-то прием». Слушаю и не верю собственным ушам: оказывается, я написал приличный очерк. А Владимир Петрович на прощанье говорит: «Вы уж простите бригадного комиссара за то, что он политрука с таким перегибом проработал. Но я всегда так, когда верю в человека, — ведь я не первый ваш материал прочитал. Вот смотрите... — И показал мне несколько номеров с моими писаниями: вдоль и поперек исчерканы и восклицательными знаками, и вопросительными, и какими-то непонятными мне иероглифами. — Вам, конечно, известен поэт Евгений Долматовский? Ясное дело, сейчас его многие знают. А я его первые шаги наблюдал. Много едких слов ему от меня досталось. Знал, что его чуть ли не моим любимцем считают, и ни малейшей зазубринки ему не прощал. Почему? Верю в его большое дарование, в добрую работоспособность, в творческую честность. Настоящий поэт будет. И неплохим организатором показал себя. Не удив-

ляйтесь, организатором должен быть не только журналист, но и писатель. Организатором литературы. Мы Долматовского, совсем зелененького, на Дальний Восток направили. Обязали его там наладить что-то вроде представительства нашего Союза писателей. Наладил. И стихи неплохие привез. Как видите, его поэзии совсем не помешали обязанности организатора литературы».

Ревностное выполнение таких сложных обязанностей было одним из призваний писателя-коммуниста Владимира Ставского, прошедшего далеко не прямой и не очень легкий путь от молотобойца-рабкора до первого секретаря Союза писателей СССР. И помощь этого великолепного организатора литературы я за месяцы войны ощутил на себе в полной мере.

Вот почему, ознакомившись с предписанием ГлавПУРа, я тут же поспешил к нему. С помощью костылей он уже ходил по улицам и, нарушив запрет врачей, конспиративно выезжал в части.

Желая удивить Владимира Петровича, я наскоро прикрепил к петлицам положенную мне по воинскому званию шпалу. Войдя строевым шагом, я, приосанясь, начал:

— Товарищ бригадный комиссар, разрешите интенданту третьего ранга...

Владимир Петрович, однако, не принял моей игры, широко улыбнулся и протянул руку. Пытаясь похлопать меня по плечу, уронил на пол костыль.

— Деревом по дереву, говорят пензяки — мои земляки, это к счастью. Быть, значит, в ваших пеглицах второй шпале. Только бы не на войне, а так, по выслуге лет...— Ставский задумался.— Хотя как тут закроешь глаза на обстановку в мире. Халхин-Гол и белофинская провокация — только предгрозые. Грозу готовят фашисты...

Пауза. Затем Владимир Петрович вспоминает, как тревожно говорили о военной угрозе на Первом съезде советских писателей.

— Иногда лица Алексея Максимовича Горького и Мартина Андерсена-Нексе сливаются в моем представлении в одно,— необычайно тихо сказал Ставский.— Как-то уж очень по-одинаковому бледнели и суровели они, когда раздавались слова о милитаристских планах западных держав... Прошло уже шесть лет, а мне до сих пор яственен памятен рассказ Вилии Бределя на съезде о зверствах фашистов. Почти год томился он в застенках. Оторван был от друзей, от книг, от всего, без чего не может жить настоящий человек. Одного не могли ему запретить фашисты: мыслить. И он черпал мужество в мыслях о героях лучших произведений нашей литературы. Советской литературы! Его признание в этом — не преувеличение. Вспоминал мужественных партизан из фадеевского «Разгрома», вспоминал героев Шолохова, Серафимовича, Гладкова и говорил себе: «В будущей войне с фашизмом надо быть таким, как эти люди!».

...Будущая война. Неизбежность кровопролитного сражения с фашизмом. Нашествие коричневой чумы. Святой долг коммунистов — сплотить советских людей в подготовке к отражению вражеского нашествия. Вот о чем негромко и задумчиво говорил Ставский в тот памятный мне вечер.

Как бы стряхнув затем придавившие его невеселые думы, Владимир Петрович решительно склонился над изрядно потрепанной военно-топографической картой:

— Давайте-ка поглядим, чего можно ждать от вашего сортавальского направления.

Меня поразила военно-тактическая эрудиция, с какой Ставский размышлял о роли армии, куда я направлялся, в окончательном разгроме белофинских войск. Такого обстоятельного анализа военной обстановки не приходилось мне слышать из уст писателей-фронтовиков.

В армейскую газету я не попал: утром пришло сообщение о перемирии.

Это позволило мне еще раз увидеть Ставского в Ленинграде.

От приехавшего из Москвы работника Воениздата я узнал, что в срочно издающемся сборнике материалов о героях боев с белофиннами очерку Владимира Петровича о комбате Угрюмове будет предшествовать моя «Песня...». Мне почему-то показалось, что это будет не по душе Ставскому. А может, я просто искал повод навестить Ставского.

— Мальчик, мальчик! — рассмеялся Ставский, выслушав меня.— Теперь нам не до авторского самоуправления. Будь написан еще с десяток очерков и стихотворений об Угрюмове, их тоже следовало бы поместить в сборнике... И не только об Угрюмове — о любом герое войны...

Нашу беседу прервал стремительно ворвавшийся в комнату Михалков. Его не застал врасплох вопрос Ставского:

— Сережа, ты не собираешься писать об Угрюмове?

— Надо спокойно полистать блокноты, чтобы твердо ответить. Может быть, напишу. Для своего читателя, непризывного возраста.

— Хотел бы услышать не «может быть», а «да, напишу», — отпарировал Ставский.

...Летом сорокового года Ставский вызвал меня в «Новый мир».

— Подумать только, даже в «Журналисте» до сих пор не рассказано как следует о Леониде Коробове! — Таким неожиданным возгласом встретил меня Владимир Петрович. — Военный корреспондент «Комсомолки» заменяет павшего командира. Поднимает батальон в атаку. Бойцы под шквальным огнем удерживают отбитую у белофиннов высоту. Ведь это наглядный урок мужества всем журналистам, всем политработникам! Да и массовому читателю полезно знать, почему не имеющего воинского звания корреспондента наградили орденом Ленина. И писал с фронта Коробов необычно, не банально... Словом, вот что. Пока наши киты подумывают и раздумывают, напишите-ка о Коробове. Ежели не вытянете на уровень «Нового мира», очерк все равно не пропадет.

К сожалению, к тому времени я никогда не видел Леонида Коробова. Только в пору Великой Отечественной мне довелось познакомиться, а затем подружиться с этим мужественным писателем-фронтовиком из правдистов. А под Берлином мы частенько ночевали на одной квартире, пользовались одной автомашиной...

По моему молчанию Ставский понял, что я не решаюсь взяться за очерк о подвиге Леонида Коробова.

— Понимаю вас, одни беседы с Леной вам ничего не дадут. Да и не из словоохотливых он. Вам нужны те, кого он поднял в атаку... Слушайте, — осенила Владимира Петровича после короткого раздумья мысль, — не поехать ли вам в ту самую дивизию? Узнаю, где она сейчас расквартирована. Доберетесь до батальона. Если даже придется порасспросить демобилизованных, они тоже не иголка в стоге сена. Словом, подумайте и через денька два загляните.

Заглянуть-то я заглянул, но вынужден был сообщить Ставскому, что выезжаю в Ригу, где мне поручается вести страницу красноармейского литературного творчества в газете Прибалтийского особого военного округа «За Родину».

Чтобы не отвлекать Ставского от редакционных дел, я хотел было попрощаться с ним. Но он продолжил разговор:

— Вы будете редактировать литстраничку, я редактирую толстый журнал. Но для редактора любого калибра счастье в одном: открыть нового талантливого автора. Вдруг вам пофартит... Нет, нет, на фарт уповать нечего, надо искать, терпеливо искать одаренных авторов. Учтите, трудность в том, что начинающий из талантливых большей частью не торопится посылать свою тетрадку в редакцию. В этом плане более отважны посредственности. В общем, найти нового стоящего автора нестерпимо трудно. Но в редакторской работе, запомните, оно-то и главное. И не только в редакторской, но и в работе творческих секций Союза писателей... Жаловался мне как-то Константин Андреевич Тренев: не может выдать из себя многостраничный отчет о деятельности бюро секции драматургов. И поделился со мной: а не рискнуть ли уложить весь доклад за отчетный период времени в пять слов: помогли такому-то стать настоящим драматургом. Я, конечно, рассмеялся, а Константин Андреевич вздохнул: «Правда, нет еще уверенности — настоящий ли драматург товарищ такой-то».

Закончил Владимир Петрович тот разговор совсем уж неожиданно:

— Послушайте, чем черт не шутит! А вдруг вы в Прибалтийском военном округе наткнетесь на свидетелей подвига Леонида Коробова. Мало верю во всякие «кабы да кабы», но напоминаю: мое задание остается в силе

Так и не удалось мне написать о мужественном поступке Леонида Коробова, который, по существу, повторил то, что сам Владимир Петрович совершил дважды: на Халхин-Голе и на берегу Ладожского озера. Но никогда не упоминал о собственных боевых заслугах. И не любил, когда о них ему напоминали.

Это заметил и Николай Федорович Погодин, рассказывавший Льву Романовичу Шейнину и мне:

— Еще когда обдумывал «Падь Серебряную» (пьеса о воинах-дальневосточниках. — Ц. С.) и потолкался среди военных, зародилась мысль сделать пьесу о полит-

работнике. И только вернулся Ставский после боев с белофиннами в Москву, я к нему. Ну и стал, конечно, «с драматургическим подтекстом» допытываться, как он в атаке взял на себя обязанности командира. А он отрезал: «Николаша, дорогой, о моих наблюдениях — сколько тебе угодно, а об ощущениях не спрашивай, не пытайся. Запомни: когда на поле боя ранен или убит командир, командование принимает на себя комиссар. Азбучная истина».

Бросалась в глаза подчеркнутая уважительность, с какой Ставский говорил о Николае Федоровиче Погодине. Уже позднее, сопоставляя замечания, услышанные мною от Владимира Петровича о драматургах и драматургии, я понял, что Погодин привлекал его не только как яркая и своеобразная личность, но прежде всего как высокопрофессиональный драматург, мастер, умелец.

Услышав, что свои газетные очерки о войне я с чрезмерной уверенностью собираюсь уложить в пьесу, Ставский нахмурился:

— В основе драматургии зачастую лежит документалистика — готов с этим согласиться. Но настоящий драматург переплавляет ее в сценические образы, в театральное действие. Мне это не удается. Сколько, бывало, мне твердили: «Твой «Разбег» — готовая драма, остается только отделить реплики от ремарок». А хорошей пьесы не вышло. Причем я работал с таким взрывчатым режиссером, как Николай Охлопков. И у меня самого тогда взрывчатости на пятерых хватало. Но на одном темпераменте из самого волнующего документа, из самых достоверных наблюдений спектакля не сделаешь. И «Разбег» в Реалистическом театре Охлопкова стал интересным экспериментом для театроведов, а не долговечным спектаклем для зрителей. А вот Погодин овладел искусством переплавлять документальные наблюдения в театральные формы. Не традиционные, к счастью, не канонические, но выражено театральные. Да еще свои. И у того же Охлопкова погодинские «Аристократы», в основе которых лежит, как и у меня в «Разбеге», очерковость, приобрели лучшие приметы интересного спектакля. Зритель после первых же сцен перестает удивляться смелым охлопковским режиссерским приемам. Он захвачен уже только погодинским сюжетом, только погодинскими характерами! Понимаете, погодинскими!

К тому времени в Ленинграде уже была поставлена первая в моей жизни весьма несовершенная пьеса «Январь». Самонадеянно считая себя на этом зыбком основании человеком, разбирающимся в драматургии, я настойчиво пытался доказывать Владимиру Петровичу, сколь подлинно театральны отдельные эпизоды спектакля «Разбег».

— «Отдельные эпизоды», отдельные удачи, — саркастически подхватил Ставский. — Запомните, любое художественное произведение — очерковая ли повесть на манер моей «Станицы» или героическая драма того же Николая Федоровича «Мой друг» — должно привлекать не только «отдельными эпизодами»!

И все же сейчас я обязан по совести сказать: уж чересчур безжалостно оценивал Владимир Петрович свой полный жизненных красок и примет современности «Разбег» на сцене Реалистического театра. Мне, приехавшему с Украины молодому сотруднику газеты, рассчитанной на селянского читателя, довелось смотреть этот спектакль году в тридцать третьем. Но прекрасно помню, как в маленьком зале на площади Маяковского, где потом работал кукольный театр С. В. Образцова, зрителей моего поколения с первых же минут захватывали картины борьбы большевистских организаторов хлебозаготовок на Кубани с жестоким кулачеством. Может быть, иные театроведы и впрямь больше судили и рядили, имел ли право режиссер отказать от традиционных кулис и перенести сценическое действие в партер и галерею верхнего яруса. Но те, кого принято называть массовым зрителем, были захвачены правдой борьбы за коллективизацию деревни и дружно аплодировали самоотверженным поступкам посланцев партии.

Характерно, что особенно яростно выступили против спектакля единомышленники автора по РАППу Их разносной критике резко возразил Всеволод Вишневский, разглядевший в спектакле приметы того эпического, народно-героического, подлинно революционного театра, за который он страстно ратовал всю жизнь.

В восхищении Владимира Петровича высоким профессионализмом Погодина был, очевидно, подтекст, о котором мне еще раз напомнил в своих интересных заметках о Первом писательском съезде Евгений Долматовский. Справедливо подчеркнул он незаурядность одного из основоположников советской художественной документали-

стихи — Ставского и особенно его самоотверженную деятельность организатора литературы в воспитании литературной смены.

В пору подготовки к Первому съезду, возглавляя самый трудный участок — работу с литературной сменой. Ставский порой, возможно, забывал об уровне профессионального мастерства молодых литераторов. И только несколько лет спустя, возглавив «Новый мир», он стал подходить к произведениям любых, самых именитых, авторов уже с позиции высоких редакторских требований. Отсюда, вероятно, и его, не боюсь сказать, преклонение перед отменным профессионализмом литератора, в данном случае — драматурга Погодина.

Ответственным редактором «Нового мира» Владимир Петрович стал в октябре 1937 года. Поистине символично, что номер журнала открывало редакционное извещение: «IV книга романа Мих. Шолохова «Тихий Дон» начнется печатанием в 11-й (ноябрьской) книге журнала „Новый мир“».

В десятом же номере журнала началась публикация романа Александра Малышкина «Люди из захолустья». Роман этот, рисующий рост сознания людей, пришедших из далекого захолустья на крупную стройку Урала, сразу же завоевал читательские симпатии.

Ставский вместе со своими товарищами по редколлегии Леонидом Леоновым, Федором Гладковым, Александром Безыменским, Александром Малышкиным привлек на страницы журнала и широко известных, и только выходящих на литературную стезю писателей разных творческих направлений: А. Толстого, М. Шагинян, М. Исаковского, М. Зощенко, С. Образовича, И. Новикова, В. Биль-Белоцерковского, В. Лидина, С. Голубова, П. Антокольского, С. Щипачева, С. Мстиславского, М. Зенкевича, С. Диковского. Почти в каждом номере можно встретить и произведения совсем молодых Д. Кедрина, М. Алигер, Е. Долматовского, К. Симонова, П. Нилина, А. Копштейна, Л. Ошанина, А. Софронова.

Сказывается пристрастие Ставского к драматургии. В одном только 1939 году в журнале публикуется шесть драматургических произведений: «Путь к победе» Алексея Толстого, «Волк» Леонида Леонова, «Богдан Хмельницкий» Александра Корнейчука, «Бикин впадает в Уссури» Михаила Чумандрина, «1812-й год» Владимира Соловьева и киносценарий Алексея Каплера и Т. Златогоровой «Ленин».

Не забывает Ставский и литературу братских республик. Стихи Янки Купалы, Максима Рыльского, Сулеймана Стальского, Джамбула, Миколы Бажана, Аветика Исаакяна, Симона Чиковани, Ицика Фефера соседствуют в журнале с романом белоруса Э. Самуйленка «Будущность» и рассказом украинца С. Скляренко.

Ощущается стремление знакомить читателя с зарубежной прогрессивной, особенно антифашистской, литературой. Назовем, к примеру, рассказ Вилли Бределя «Комиссар Рейнской армии», «Четыре стихотворения» Эриха Вайнерта и большую обзорную статью С. Востоковой «Антифашистская германская литература»...

Расскажу об одной — самой необычайной и сугубо личной — встрече со Ставским в Москве, пусть читатель лишний раз убедится в свойственном Владимиру Петровичу теплом отношении к тем, кого, по его выражению, «хоть самую малость проверил на фронте». И в том, как не чурался он с чистоплюйским безразличием самых склочных дел, если речь шла о несправедливо обиженном человеке.

Некий фельетонист выступил с едким и, надо сказать, весьма небезосновательным фельетоном о не названных им поименно эстрадных авторах-ремесленниках. В заголовке же — как потом он объяснил, просто из шалости — обыграл мое имя и фамилию. И хотя я к тому времени не написал ни единой строчки для эстрады, у читателей могло создаться впечатление, что я один из героев фельетона. Знакомые литераторы не скупались на выражение сочувствия, но тут же беспомощно разводили руками: хитро сработано, ничем не поможешь!

Через два дня в «Боевую подготовку» позвонили из «Нового мира»: Владимир Петрович приглашал меня к себе.

— Скажите честно, вы, конечно, считали, что я должен был пригласить вас еще вчера? — без тени иронии спросил Ставский. — Но мне нужен был день, хотя бы один день: хотел документально убедиться, что вы непричастны к болоту ремесленников. Да, документально. — И показал мне справку Управления охраны авторских прав. — Я не могу не выступить на защиту фронтовика, но обязан сделать это с чистой совестью. И посоветовал товарищам из «Литературной газеты» перепроверить меня.

Это взял на себя Евгений Петрович.— Ставский имел в виду члена редколлегия газеты Евгения Петрова.— Газета даст оценку хулиганскому поступку фельетониста, Евгений Петрович так и сказал: хулиганскому.

Наш разговор прервала девушка-секретарь:

— Владимир Петрович, редактор «На страже Родины» Березин у телефона.

Ставский взял трубку, а я направился к выходу.

— Разговор далеко не секретный,— остановил меня Владимир Петрович.

Не стесняясь, честно говоря, в выражениях, он поделился с полковым комиссаром Березиным своим отношением к злосчастному фельетону. Видимо, Березин ответил, что пришлет телеграмму от коллектива редакции.

— Только не мне,— сказал Ставский,— а в «Литературную газету» Петрову.

Через несколько дней «Литературная газета» опубликовала реабилитирующую меня реплику под бескомпромиссным заголовком «Хулиганский поступок фельетониста...».

Я тут же позвонил Ставскому.

— Хотите зайти? — спросил он.

— Нет, нет, я позвонил, чтобы поблагодарить за поддержку. Иначе мне нелегко было бы работать.

— Еще как нелегко. А сейчас работайте спокойно. А когда твердо поверите, что достойны войти в писательский союз, приходите. И прихватите все, что сами сочтете добротным...

На Великой Отечественной войне корреспондент «Правды» Владимир Ставский ездил с фронта на фронт, из части в часть. Я же, сотрудник фронтовой «Красноармейской правды», бывал только в частях Западного фронта. И впервые встретился с Владимиром Петровичем лишь в конце августа сорок первого.

Мне тогда довелось дня два прожить в Политуправлении фронта в Касне — между Смоленском и Вязмой. По поручению начальника Политуправления дивизионного комиссара Д. А. Лестева я на основе своих очерков и корреспонденций о молодых воинах в «Комсомольской правде» составлял «Памятку фронтового комсомольского агитатора».

Возвращаясь из полюбившейся ему с первых дней войны 100-й ордена Ленина стрелковой дивизии генерала Руссиянова — впоследствии она первой в Красной Армии получила почетное наименование гвардейской,— Ставский поздней ночью приехал в Политуправление.

О многом мне хотелось тогда поговорить с Владимиром Петровичем. Но он сразу же стал расспрашивать меня о группе белорусских писателей, базировавшихся в первые недели войны в нашей «Красноармейской правде». Многих из них — драматурга Кондрата Крапиву, прозаика Михася Лынькова, поэтов Петруся Бровку и Петруся Глебку, писателей своеобразных и одаренных,— Ставский очень ценил и лично знал еще со времен Первого съезда.

Ставскому, оказывается, не попадалась на глаза маленькая, но полная гнева и оптимизма фронтовая газета, регулярно выпускаемая белорусскими писателями. Я вкратце рассказал ему о ней. И еще о том, как белорусские друзья пишут тексты листовок, разбрасываемых нашей авиацией над землей захваченной врагом Белоруссии.

— А ведь белорусам втрое, вдесятеро тяжелей, чем нам,— отозвался Владимир Петрович.— Их земля, их дома под фашистом. Они догадываются о страшной судьбе их близких. А кроме тех, кого я знаю, есть ли в белорусской группе новые имена?

Я назвал Анатоля Астрейку и Пимена Панченко. Добавил, что несколько очень сильных стихотворений Пимена Панченко опубликовала в моем переводе «Комсомольская правда».

— А вы подумайте о книжке его стихов,— неожиданно для меня отреагировал Ставский.— Чего с таким удивлением глядите на меня? Разве я предложил нечто несбыточное?

Забегая вперед скажу, что мысль Владимира Петровича была реализована менее чем через год. Весной сорок второго в прифронтовой Москве «Молодая гвардия» издала на русском языке тощенькую, но хорошо подобранную и достойно оформленную книгу стихов Пимена Панченко «Тебе, Беларусь!». Не уверен, что Владимиру Петровичу довелось увидеть ее.

Возвращаюсь к нашей встрече в Касне. Ставский настойчиво внушал мне, как важно в ту пору переводить на русский язык стихи и публицистику писателей братских республик. Особенно тех, на чьей родной земле зверствовали фашисты.

— Давайте я коротко напишу об этом Алеше Суркову. С его темпераментом он сумеет вовлечь многих в это благородное дело.

Действительно, получил записку Ставского, Сурков и сам активно взялся переводить белорусов и подтолкнул к этому Николая Рыленкова, Михаила Матусовского, Павла Железнова и других поэтов, с кем общался на Западном фронте.

Конец октября сорок первого. Замечательный полководец К. К. Рокоссовский потом назовет эти дни самыми тяжелыми и тревожными для оборонявших Москву войск.

Именно в армии Рокоссовского на волоколамском направлении посчастливилось мне тогда встретить Владимира Петровича. Направлялся он в танковую бригаду — его всегда влекло, как мы уже знали, к танкистам. Меня поразило его изможденное, заметно постаревшее лицо. По-прежнему подвижный и общительный, он, однако, не мог скрыть от окружающих свое скверное настроение. К этому у него были основания — член Военного совета, дивизионный комиссар А. А. Лобачев рассказал ему то, о чем остальные газетчики узнали значительно позже: армия Рокоссовского располагала слишком малыми силами для того, чтобы упредить массированное наступление врага и нанести ему ощутимый контрудар.

И все же не мог я не поделиться со Ставским большой радостью: 14 октября меня приняли кандидатом в члены партии.

— Желаю ни на один день сверх положенного срока не задерживаться в кандидатском звании, — пожимая мне руку, сказал Владимир Петрович. Узнав, что одним из рекомендателей был Алексей Сурков, заметил: — Алеша, знаю, и на фронте семь раз отмерит, прежде чем даст рекомендацию... Ну, теперь с вас, выходит, спрос больший. Надо писать партийнее, острее. Есть хорошие заготовки? — кивнул Ставский на мою полевую сумку.

— Есть-то есть, — неуверенно ответил я. — Только материал такой, как бы сказать, острый, что наша фронтовая газета не напечатает. И тем более «Комсомольская правда». Я, Владимир Петрович, вступил в конфликт с исполняющим обязанности комиссара полка...

— Странный конфликт, — нахмурился Ставский. — А еще более странно, что ваш материал не подходит для газеты. Не немцам же он, надеюсь, подходит?.. Расскажите толком.

И я рассказал Владимиру Петровичу, как в соседней армии встретил девушку-санструктора, отважную комсомолку, вынесшую под огнем с поля боя двенадцать раненых бойцов и командиров. Я беседовал не только с отважной девушкой, но и с двумя долечивавшимися в полевом медсанбате спасенными ею красноармейцами. Миловидная Нина Корзинкова очень сдержанно рассказала о своих боевых делах:

«Наскоро сделаю перевязку, а затем тащу к нам. Сначала тяжело было, а потом приоровилась: сама бочком — раненого сподручнее на свободную руку положить. Только никак к вражескому огню привыкнуть, хоть убейте, не могу. И снайперские пули жужжат, и бризантные снаряды, кажется, прямо-прямо над головой летят. Страшно, что говорить. Но раз выносить раненых — моя обязанность, что тут поделаешь! В разведке к врагу подбираться еще тяжелей. А ведь подбираются. И языков приносят».

Спасенные Ниной красноармейцы восхищались ее мужеством: «Откуда только в такой крохе столько сил берется? Можем объяснить: вся причина в том, что не только храбрая она, но еще с большой совестью. За такую можно головой поручиться: никого ни в какую на поле боя не оставит».

По недавно объявленному войскам приказу наркома обороны младшего сержанта Нину Корзинкову полагалось уже дважды представить к боевой награде — за вынос с поля боя пяти, а затем десяти раненых. Но исполняющий обязанности комиссара полка отказывался подписывать наградные листы.

«Морально не выдержана», — объяснил он мне. «Разрешите узнать, товарищ батальонный комиссар, в чем выразилась моральная невыдержанность младшего сержанта Корзинковой?» «Афиширует свои интимные отношения с разными лицами, на виду у всех открыто целует их».

Я — снова к Нине.

«Да, поцеловала связиста после перевязки. Он прямо с перевязочного пункта пополз восстанавливать поврежденную связь на самый страшный участок переднего края. Фашисты простреливали не то что каждый метр, а каждый сантиметр ничейной земли. Ракетами светили. Чували, видно, что как раз там протянут наш провод. Связист выполнил приказ. Но вернулся с тяжелым ранением. Пришлось ползти за ним метров сорок, волочить на себе. Сейчас он в госпитале. Ни в какую не хотел уезжать в госпиталь, пока не поцелую. Обязательно три раза. Тогда, сказал, оно на счастье выйдет. Я поцеловала его... И не только его,— продолжала девушка с вызовом.— И разведчика на дорожку поцеловала — молодого-молодого, самого молодого у нас в полку... Четвертый день пошел, а он еще не вернулся. Вернется — сама ему на грудь брошусь и крепко-крепко поцелую. Хотя знаю, что дома любимая девушка, дай ей бог дожидаться. Ну, конечно, товарищ батальонный комиссар уж не простит мне такого. В полные разложенки зачислит. И уж наверное поставит вопрос, чтобы меня исключили из комсомола. Но я билет не отдам. В землю зарю. А потом мне его снова торжественно вручат, увидите... Разрешите идти?»

— И вы...— В том, что Владимир Петрович не договорил угрожающе тихо начатую фразу, нетрудно было ощутить его нарастающий гнев.

— Я так расстроился, что поскорее из этого полка — сюда, в армию товарища Рокоссовского.

— Расстроился? — саркастически переспросил Ставский.— И не сказал девушке, что очерк о ней, спасшей двенадцать воинов, будет напечатан во фронтовой газете?! Что обязательно пришлете фотокорреспондента, который снимет ее для газеты?

— Но ведь исполняющий обязанности комиссара полка на прощанье повторил мне: «Если напечатаете о Корзинковой в положительном смысле, то подорвете авторитет политруководства полка».

— И вы не помчались в политотдел дивизии? В политотдел армии? — В голосе Ставского появились нотки раздражения.— Не написали начальнику Политуправления или даже члену Военного совета о грубейшей ошибке батальонного комиссара! Либо он до мозга костей начетчик и сухарь, либо... не очень умен. А вы... Вы поступили не как военный корреспондент, получивший карточку кандидата партии.

Мой убитый вид повлиял на Ставского, и он перешел на более спокойный и деловой тон. Тут же при нем я написал и отдал ему докладную в Политуправление фронта, куда он собирался ехать прямо из армии Рокоссовского.

— Постарайтесь получше написать о санинструкторе Нине Корзинковой. Уверен, Миронов (бригадный комиссар, редактор «Красноармейской правды». — Ц. С.) напечатает его, не дожидаясь указаний Политуправления. На всякий случай такое указание последует... А вы, кандидат партии Солодарь, еще раз, еще десять раз подумайте и честно ответьте самому себе на вопрос: по-партийному ли поступили в этой истории? Правильно ли поняли долг писателя-фронтовика, столкнувшегося с фактом нарушения приказа Верховного Главнокомандующего?! Как вы в таких случаях поступите впредь? Будьте всегда и во всем коммунистом.

Когда на следующий день вернулся в редакцию, многие сразу обратили внимание на то, что я осунулся и даже, по чьему-то выражению, как-то посерел. Истинную причину узнали только редактор Миронов и Алексей Сурков, которым я дословно передал свою необычную беседу со Ставским.

...Фашистские войска вышиблены с ближних подступов к Москве. Наши части ведут наступательные бои. Возвращаясь из отбитого у фашистов Клина в редакцию «Красноармейской правды», я заехал в Перхушково, в Политуправление фронта. В коридоре наталкиваюсь на торопливо, несмотря на небольшую хромоту, шагающего Владимира Петровича. И хотя оживленно беседует с провожающим его к выходу старшим батальонным комиссаром, он останавливается и спрашивает, словно мы продолжаем давно длящийся разговор:

— Что интересного расскажете?

Непонятно почему, но, вместо того чтобы рассказать Ставскому о пылающем Клине, об оскверненном фашистами доме Чайковского, о продолжающемся стремительном броске наших войск, я вытаскиваю из сумки четыре тошненьких книжечки. На обложках бросающиеся в глаза слова: «Библиотечка газеты «Красноармейская правда».

— Вероятно, вот что будет для вас интересно, Владимир Петрович.

Забыв о провожающем, Ставский отходит к окну и листает книжечки. К моему

удивлению, прежде всего он просматривает последние страницы. Почему? Ведь там, кроме фамилий редактора и художника, ничего не прочтешь. Но Ставского, оказывается, интересует самая последняя строчка: дата подписания книжки к печати.

— Поглядите, как оперативно сработано,— говорит Владимир Петрович спутнику.— Подписаны к печати в ноябре. Шутка ли, в ноябре сорок первого фашисты под самой Москвой, а фронтовая газета начинает издание своей массовой библиотечки. Представляете, как это воспринимают бойцы?

Ставский уже не торопится к выходу. Внимательно просматривает оглавление первого сборника, вернее сборничка,— «Герои Отечественной войны». Ему по душе конкретные, без литературных украшательств заглавия очерков. «Герой Советского Союза Муравицкий», «Капитан Городничев», «Санитар Печенка», «Связист Исмаилов» — так озаглавлены, к примеру, очерки Вадима Кожевникова.

Ставский сразу замечает, что один из кожевниковских очерков посвящен младшему политруку Георгию Гречко:

— Молодчага Вадим. Пусть и в дальнейшем приглядывается к низовым политработникам. Во взводе, в роте. Так и передайте ему: просит об этом молодого коммуниста политработник в звании бригадного комиссара...— И обращается к батальонному комиссару: — Кожевников показывает себя настоящим военным прозаиком. Его «Тяжелая рука», хотя и в три-четыре странички, всегда будет украшать антологию рассказов о войне.

Внимание Ставского привлекают очерки Алексея Суркова и Михаила Матусовского:

— Поняли братцы-шесты, поняли дорогие, что на фронте иногда впору писать презренной прозой.— Задержал взгляд на какой-то странице и воскликнул:— Нет, шалишь, не презренной, а весьма поэтичной! Слушайте...— И прочитал нам несколько строк от очерка Матусовского «Артиллерист Иван Понедилко».

Полистал Ставский и книжечку «Фронтовые стихи», авторами которых были А. Сурков, К. Симонов, М. Матусовский, М. Слободской и я. Сразу же обратил внимание на раздел стихов о героях фронта.

— Стихи — подспорье пропагандистам,— показал он книжку старшему батальонному комиссару.— Вот она, фронтовая поэзия.— И прочитал вслух заглавия стихотворений: — «Радист Морозов», «Разведчик-наблюдатель Усеинов», «Санитарный инструктор Какутия», «Политрук Пылаев».

Две книжечки — «Гриша Танкин» (цикл веселых стихотворных рассказов о смекалистом бойце, написанных Сурковым и мною в духе «Василия Теркина») и «Ежи» (сборник фронтовой сатиры) Владимир Петрович полистать не успел. Взглянув на часы, спросил меня:

— Конечно, вашу «Библиотечку...» оставите мне?

Попрощался и так стремительно поспешил к выходу, что молодой политработник еле поспевал за ним...

Храбрый военный корреспондент, писатель-фронтовик погиб 14 ноября 1943 года на Прибалтийском фронте в боевых порядках 69-го стрелкового полка, отражавшего ганковую атаку фашистов у деревни Турки-Перевоз близ Невеля.

«Затих бой,— с шемящей сердце точностью рассказывает о последних минутах писателя-комиссара бывший редактор «Красной звезды» Д. Ортенберг.— На ничейной земле торчат два «тигра», подбитые нашими артиллеристами. Надо бы посмотреть поближе: впервые писатель встретился с новинкой фашистской техники. Перелез через бруствер траншеи и по-пластунски пополз к танку. За ним капитан Круглов. До танка осталось несколько метров. Казалось, цель достигнута. Ставский поднялся для броска. Но в этот миг с вражеской стороны ударил пулемет. И Ставский упал, сраженный фашистской пулей...»

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

С. АПТ



ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ

«Спасибо за письмо, за добрые пожелания. Они как нельзя более кстати, т. к. в минувший год на нас непрерывно сыпались не только мелкие неприятности и неудачи, но и такие беды, о которых даже писать не хочется».

Эта она написала уже после трех лет страшной болезни, парализованная, полуослепшая. Сколько вообще тяжелого выпало ей на долю! «Беды, о которых даже писать не хочется», изводят человека разрушительнее и бесповоротнее, чем те, которые для облегчения души все-таки облакаешь в слова. А сыпались эти новые беды на шестидесятипятилетнюю женщину, чьи лучшие годы прошли в самоотверженном единоборстве с житейскими обстоятельствами — не ради творчества (до него ли было!), а в материнском единоборстве ради детей. Но в ее письмах, написанных среди этих последних бед, нет ни отчаяния, ни даже горечи, и если бы надо было привести пример того, как может слово, собственное или прочитанное, озарять светом тьму, рождать улыбку из слез, как оно помогает человеку подняться даже над долгим физическим страданием, я сослался бы прежде всего на эти письма.

Мое знакомство с Верой Федоровной было главным образом почтовым, оно началось с писем, благодаря письмам упрочилось, распространилось на сферу текущих бытовых дел и кончилось тоже письмом — последним ее письмом, написанным уже под диктовку, когда жить ей оставалось только два месяца. Но мне случилось и разговаривать с ней — несколько раз и в разные годы в Комарове, один раз в Москве во время долгой автомобильной поездки по городу и один раз в Ленинграде, в ее доме на Марсовом поле. Говорить ей хотелось со мной больше всего о Томасе Манне, которого она считала «величайшим писателем нашего времени» и благодаря которому я и познакомился с ней: узнав от давно уже покойной переводчицы А. Г. Кулишер, что Панова, за чьим творчеством я пристально следил, очень почитает Томаса Манна, я послал любимой писательнице что-то из его вещей в своем переводе, не помню уж что, и сразу же получил от нее письмо, откуда и взяты приведенные выше в кавычках слова. Ее восхищение Томасом Манном не шло на убыль до самой смерти, оно даже возрастало, тогда как мой томас-манновский пыл с годами, наоборот, остывал, и, наверно, поэтому от наших встреч в памяти у меня почти не осталось ее читательских высказываний на манновскую тему. Осталось от этих встреч то, что относилось к теме, если можно так сказать, экзистенциальной, остались какие-то ее суждения (и не столько даже суждения, сколько интонация, южная, с детства знакомая, теплая, чуть-чуть вульгарная, сколько выражение глаз), остались какие-то самые общие ее замечания о жизни, о смерти, о собственных привычках и слабостях:

— Если я знаю, что через две недели должна буду говорить перед публикой, то я уже не могу работать сосредоточенно, я уже заранее волнуюсь, отвлекаюсь, готовлюсь;

— Как я люблю кататься на машине по городу, да еще не очень знакомому! И новые дома люблю, квартиры, куда только что въехали или сейчас въедут;

— Томасу Манну я обязана одной очень серьезной вещью. Я всегда очень боялась смерти. А он научил меня не бояться. Вернее, не поднимать шума, не делать

из своего конца такого уж события. Помните, как умирает молодой Цимсен в «Волшебной горе»? Еще бы не помнили...;

— Вы слышали «Песню американского солдата» Окуджавы? Замечательно! «Возьму я плащ, и вещмешок, и каску, в защитную окрашенную краску» — прекрасно! И это: «А если что не так — не наше дело...»;

— Лучше всего о том, что такое время, сказал Томас Манн. Он сказал: «Время дает созреть»;

— Неужели машинистка, которая переписывала «Иосифа», действительно сказала Томасу Манну: «Ну, теперь знаешь по крайней мере, как это было на самом деле»? Так и сказала? Вы не выдумали? Ну да, такого не выдумаете. Этого я уже никогда не забуду;

— Когда-то я, темная женщина, смеялась над теми, кто читал Томаса Манна и всяких умников, и называла одного из них «мальчик из хедера Марселя Пруста».

Она вообще всегда готова была упомянуть о своей «темности», «непросвещенности», причем без тени кокетства, с искренним почтением ко всякой образованности. На самом деле она и знала много, и читала много, больше иных специалистов с учеными званиями, а главное — все, что она читала, она пропускала через свой ум, юмор, житейский опыт, в ее устах и под ее пером книжные впечатления воистину одухотворялись, ее читатель и собеседник мог дышать ими, как чистым воздухом, который после привычной духоты многословия и унылого вакуума безмыслия кажется особенно.

В отношении к прочитанному, к литературе у нее был здравый смысл в самом светлом и одобрителем понимании этих слов, тот здравый смысл, который безошибочно и без поблажек отличал живое от мертворожденного. Может быть, проще сказать — «хороший вкус», но когда я вспоминаю о ней, определение «здравый смысл» кажется мне куда более точным. Этот здравый смысл прекрасно уживался у нее с самым эмоциональным отношением к книгам, с неуступчивой прихотливостью в оценках, симпатиях и антипатиях. Наверное, синонимы этого здравого смысла — такие слова, как «ясность», «определенность», «цельность». И очень ярким его выражением представляется мне, как ни странно, может быть, это прозвучит, ее почерк. По-моему, не нужно быть графологом, чтобы увидеть в этой четкости букв, в изящной твердости линий, в знаках ударений над некоторыми, допускающими два прочтения словами, в профессионально-корректорских обозначениях дефисов и переносов, а иногда — этим она даже играла — и заглавных букв, в педантично расставленных запятых, кавычках, тире, — чтобы увидеть во всем этом не просто журналистскую еще привычку к литературному труду, к технике ремесла, связанного с неизбежной правкой и перепиской, но и характер, нрав, позицию, стремление к предельной ясности для себя и для других. О каждой написанной ею фразе так и хочется сказать: черным по белому. «Дай Вам бог (Бог) здоровья и счастья» — типографским способом этой игры, пожалуй, не передашь. И щемяще-горько было, горько и сейчас видеть ее уже искаженные болезнью строки, неровные, наползающие одна на другую, но с той же безукоризненной пунктуацией, или ее такую же, как прежде, красивую собственноручную подпись под продиктованным, или ее последнее собственноручное письмо, совсем уж неразборчивое, подписанное просто «В», хотя такой домашней короткости в наших отношениях никогда не было. Была в ее письмах под конец большая доверительность, но это совсем другое...

Да, она называла себя простой, необразованной, причисляла себя походя к «зауряд-литераторам», отзывалась о собственных работах со строгой сдержанностью и порой даже иронической отстраненностью, глядела как бы снизу вверх на тех, кем восхищалась. Помню, с каким восторгом (в этом восторге было что-то от «куда нам до таких великанов!») говорила она о Гоголе, о его юморе:

— Подколесин подробно расспрашивает Степана насчет ваксы, купил ли он ее, где купил, хороша ли она, блестит ли. И Степан отвечает: «Блестеть-то она блестит хорошо». Такой скепсис. Как будто от ваксы требуется еще что-то, скажем играть на скрипке.

И вместе с тем — это было особенно заметно, когда она говорила о современном литературном быте, о знакомых собраниях по неру и по заседаниям, — она, что называется, знала себе цену и в той предупредительной почтительности, какой окружали ее, например, в Комарове, видела — так мне, во всяком случае, кажется — не только уважение к возрасту и всяческим внешним приметам успеха, но и признание

своей человеческой значительности и писательской недюжинности. Применительно к такой, как она, демократке по существу, издевавшей и черной, совсем не художнический груд, и материальную нужду, и семейные беды, слово, которое я скажу, требует, наверно, тысячи оговорок, но все-таки, когда я перебираю комаровские зимы, оно у меня напрашивается: нет-нет да мелькала в ней какая-то барственность. Иногда величавая, обаятельно-женственная, иногда не по-женски — или, может быть, именно по-женски — жесткая.

И задумываясь сейчас, в чем же все-таки ее человеческая неповторимость выразилась для меня полнее всего, не писательская, подчеркиваю, а человеческая, то есть в каком поступке, взгляде, жесте видится мне теперь она вся, во что уплотнилось в моей памяти то, что было когда-то самой жизнью, неделимым бытием, индивидуумом, я снова и снова прихожу к одному и тому же. Спусток этот — для меня не поступок, не взгляд, не жест, а в то же время и первое, и второе, и третье сразу. Это ее слово, его выбор в зависимости от настроения, от темы и от соседних слов, всегда неожиданный, по-шекспировски смело сплавляющий высокое с низким, грустное со смешным. Вот отрывки из ее писем, часто касавшихся моей работы над переводом «Иосифа и его братьев» и движения этой рукописи в издательстве:

«Оба мы горячо радуемся — с Вами, за Вас и прежде всего, как паршивые эгоисты, — за себя» (16 октября 1962 года);

«...И мы наговоримся о Фаусте, Гансе Касторпе и прочих волнующих нас личностях» (26 октября 1963 года);

«...Тот экземпляр, что был у Р., давным-давно у нас. Прикажете, и мы Вам его перешлем посылкой (это очень просто) с доставкой на дом, и бо не собираемся отнюдь (разрядка ее. — С. А.) — словечки, подобающие предмету, о котором идет речь, — его замотать...» (4 января 1965 года);

«Но пусть горит — пока что — личная работа» (22 января 1965 года);

«В Египте мне беднее после всех этих великолепий Именно беднее. Хотя еврей Иосиф в египетской модной одежде очень смешон» (29 декабря 1966 года).

И вот уже страшный, истерзанный болезнью почерк, но какого возвышающего над личной судьбой достоинства полно упоминание об этой болезни — мало того что в деэпричастном обороте, как бы мимоходом, так еще и на равных правах с общим суждением:

«...Будучи жестоко удручена своей болезнью и (как оказалось) малым количеством в мире сем интересных книг, осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой дерзкой, почти неприличной...» (17 апреля 1968 года).

Я думаю, что к последнему своему тяжкому испытанию, когда мир почти совсем свелся для нее к словам, она была подготовлена не только уже пережитыми невзгодами, но и этим даром выражать себя в написанном слове полнее всего и слышать за словом весь мир. И закончу я свои короткие воспоминания, приведя без комментариев несколько заразительно-жизнеутверждающих страниц из писем, само начертание которых было уже нелегким трудом:

«Последнее время я с помощью Г. перечитывала все самое мною любимое у Т. Манна, в т. ч., конечно, «Иосифа» (чуть ли не в 7-й или 8-й раз). И, как в первый раз, плакала в совершенно уже определенных местах, особенно же — в сцене, когда Вениамин начинает догадываться, и в самом конце. Я не стыжусь этой своей способности облиться слезами над вымыслом, как называл это Пушкин, хотя со стороны это, может быть, смешно в мои годы. Но это для меня самое драгоценное в соприкосновении с литературой, и книги, над которыми ни разу не прослезившись, мне кажутся бесплодными. А от чего плачешь — от содержания или от прекрасной формы, это, я думаю, все равно.

Сейчас также обливаюсь слезами над булгаковским Понтием Пилатом. Вот бы написать хоть что-нибудь отдаленно сходное по нравственной силе, — можно бы и умереть спокойно. Не знаю, как Вы относитесь к Булгакову, а я его считаю первым писателем России нашего времени. Не знаю, известно ли Вам, что <...> в этот дом («дом Турбиных», — С. А.) постоянно совершаются паломничества читательских масс. Мои дочка и невестка довольно часто бывают в Киеве по служебным командировкам и не раз были свидетельницами этого явления, а невестка сама дважды участвовала в таких экскурсиях, возникающих, по ее словам, совершенно стихийно, по инициативе самих читателей.

«Существует, и ни в зуб ногой», как говорится у Маяковского. «Хоть он дерись», как говорит Буратино. Правда, бывают и у нас, зауряд-литераторов, маленькие радости в таком же роде. М-ца два назад, например, в Ленинграде был слет всех тех, с кем я в свое время ездила в санпоезде. Тоже нечто... Собрание сочинений выходит, тоже приятно, честно говоря. Уже 4 тома вышло, остался один 5-й том» (17 октября 1970 года).

«Кончаю перечитывать (в который уже раз?) «Иосифа» и опять испытываю счастье. Что читать после этого? Есть Рабле, но я этого никогда не могла дочитать до конца. И вообще не люблю французов. Не смотрите на меня так с высоты Вашей образованности, мы народ простой, деревенский.

Мы еще Калинушку певали,
Мы еще Некрасова читали,
Мы еще не начинали жить»

(16 марта 1972 года)

«...Все это как-то ужасно не идет к его штанам с розами и прическе «пойдем со мной в пещеру». У современных причесок совершенно обольстительные названия, мне их как-то фатально не удается использовать, а они этого стоят. Лично мне больше всего нравится название «полюби меня. Гагарин», это косы, закрученные у висков и украшенные маленькими бантиками, голубыми или розовыми. Есть прическа «я у мамы дурочка», есть «вшивая горка» и всякое другое. Курица, продаваемая в магазине, называется «синяя птица», а вошедшие в моду колготки — «ни дать, ни взять».

Вообще, обожаю уличный фольклор, но почему-то у нас к нему относятся как к атомной бомбе, и куда его не сунешь. По вечерам на бульварных скамейках сидят старушки и старички — это они услаждают друг друга ленинградским фольклором...» (3 декабря 1972 года).

«...Но оказалось, что наш мальчик избрал совсем другой язык, а именно — эскимосский и, ознакомившись с ним, уверился, что тут непочатый край работы, и теперь усердно работает над эскимосским синтаксисом и прочими вещами, при упоминании о которых моя бедная непросвещенная голова совсем идет кругом. В последнем слове я ставлю ударение на «у» — не знаю, правильно ли, но я исхожу из примера А. К. Толстого, который в «Шибанове» написал:

И ходят их головы кругом:
Князь Курбский нам сделался другом.

Я считаю А. К. одним из величайших знатоков нашего поразительного по силе и по коварству языка. прямо скажу — не ниже Крылова, который, между прочим, однажды написал такие строчки (кажется, эта басня называется «Дележ»):

Имея общий дом и общую контору,
Какие-то честные торгаши
Наторговали денег гору.
Окончили торги и делят барыши,—

выразив простейшими русскими словами сложнейшие явления и понятия, тогда еще, надо полагать, и не распространенные в обществе, бытовавшие, возможно, лишь в среде Рылеева и ему подобных, оглядывавшихся на европейский прогресс. Но что я Вам, Апту, подсовываю басни Крылова Я Вам лучше приведу одну частушку и одну изящную похабщину, то и другое я узнала когда-то от покойного Прокофьева, который хоть и журил меня иногда за политическую незрелость (к ней он относил «Серезу»), но, в сущности, всегда относился ко мне как добрый учитель, помогал в быту и не раз в моем присутствии говорил что я удивительно знаю поэзию, в т. ч. сказал Твардовскому что я знаю даже такие стихи, к-рых не знает он, Прокофьев, а я ему только всего и прочитала что прутковского «Философа в бане», помните:

Взрытый наукою лоб розами тихо укрась.

В общем, он ко мне относился дружески и любил читать интересные птучки из того фольклора что прилежно собирал на Севере Вот, например, какую частушку сложила тамошние девки, когда был введен налог на бездетность:

Девыцы-красавицы,
До чего мы дожили:
Что хранили-берегли,
На то налог наложили.

А вот Вам и похабщина — все оттуда же:

Я на горке была,
Я Егорке дала.
Не подумайте плохого —
Я махорки дала.

Обратите внимание на внутреннюю рифму и на грациозный полет этой стихотворной шутки и подумайте, какими словами обзывать тех, кто смеет утверждать, будто только интеллигент может творить поэзию.

Кстати, интеллигентный Маяковский употреблял то же слово «лѳжить» вместо «класть», как сделали это заонежские рыбацки:

Нежные! Вы любовь на скрипки лѳжите.
Любовь на литавры ложит грубой.

...Но пора и кончать, а то я своей болтовней загоню Вас в больницу... А «что-нибудь Пановой» прочтете не скоро, хоть у меня и начато много работ, но до завершения и выхода в свет еще сто верст; да и работы маленькие, пустяковые» (18 декабря 1972 года).

«Вчера с милой моей чтицей Аней <...> мы закончили читать «Избранника». Аня читала в первый раз и, понятно, была очарована, так сказать, первично и действительно, я же внезапно для себя нашла на этот раз (как находишь в каждой истинно прекрасной книге) новые красоты, поражающие заново и внезапно. На сей раз это был последний разговор Сибиллы с сыном — папой! Раньше мне, серой, эта сцена не нравилась, казалась слишком чувствительной и ненатуральной, а тут я вдруг как-то заново ее поняла и приняла как высочайшее завершение этого довольно эротического и необузданного романа. Конечно, роман всем составом своим, всей своей идеей не мог не потянуться к этой высокой точке, без нее он бы не жил и не дышал, ничем другим автор не мог бы с такой убедительностью открыть читателю, что милость Господня неисчерпаема, что все прощены и устроены в Его мире. Ведь этот удивительный разговор происходит вовсе не в папском кабинете, а где-то у самых ног Божьих, и отнюдь не в смежных покоях, а здесь же, рядом, вплотную прижавшись к матери и брату, находятся две сестры, скорей всего — дурнушки, м. б. — больные, м. б. — настолько отталкивающие, что даже возможность пышного греха им никогда не будет дарована, а будут даны только грехи ничтожнейшие, не достойные не только прощения, но и внимания как высших сил, так и наших, людских. И все это осенено чем-то безмерно огромным, туманно-светлым и не выражаемым словами.

И когда я это так увидела, мне захотелось Вам об этом сказать. Ничего, правда ведь?» (22 декабря 1972 года).

«...Хочу забыть о всех гадостях, жить так, как живу сейчас, и написать роман» (31 декабря 1972 года). Это строки из последнего письма от нее, которое я получил.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ЮРИЙ ЛОТМАН



БИОГРАФИЯ — ЖИВОЕ ЛИЦО

Вопрос о том, почему широкого читателя интересуют не только произведения человеческого ума и таланта, но и биографии авторов этих произведений и как этот интерес следует удовлетворять, никогда не теряет актуальности. В последнее время об этом снова напомнила дискуссия, нашедшая отражение на страницах нашей печати. Необходимо сразу же отметить, что любая попытка ответить на вопрос «как?» каким-либо готовым рецептом или указанием на некоторый идеальный образец заведомо обречена на провал: сколько талантливых и компетентных авторов будет браться за решение задачи, столько и вариантов положительного ответа мы получим.

Говоря об особенностях биографического жанра, хотелось бы подчеркнуть следующее: серия, основанная Горьким, не случайно называется «Жизнь замечательных людей», а не «Жизнь великих людей». Вторая формула заключала бы в себе противопоставление человека великого простому, между тем, как отмечал еще А. Толстой, примечательным, достойным внимания и памяти потомков может быть и самый обычный ничего не написавший и не изобретший человек. И не случайно в «Войне и мире» Толстой убеждал читателя, что так называемые великие люди скучны, стандартны и непримечательны, а жизнь неизвестных людей полна замечательного.

Однако биография неизвестного человека — тема для романиста: она почти недоступна для историка-биографа, поскольку неизвестность подразумевает отсутствие источников — препятствие, переа которым исследователь в бессилии отступает¹.

¹ Необходимо, однако, отметить, что за словами «отсутствие источников» часто кроется наше неумение их искать, лень ума и приверженность к привычному кругу текстов. Характерно, как мало в серии «Жизнь замечательных людей» женских биографий и как незначительно в списке уже вышедших книг число неожиданных, вновь открытых или малоизвестных имен.

Но у этой формулы есть и другая, менее бросающаяся в глаза сторона: из сочетания слов, составляющих заглавие серии, если мы уже договорились, что замечательным человеком может быть и самый простой, вытекает ее специфика — «жизнь людей». Следовательно, книги этой серии должны быть именно биографиями, а не монографиями о творчестве. Смешение этих двух типов книг — биографии автора и анализа им созданных произведений — редко приводит к удаче. Конечно, жизнь творческой личности неотделима от истории произведения, но биография описывает творчество под другим углом, нежели монография.

Что влечет читателя к биографии? Не понимая природы своего интереса, иной читатель может думать, что его притягивают к себе авантурные или пикантные подробности из жизни знаменитого писателя. И тогда легко объяснимым кажется успех псевдоисторических жанров с их детективной, а то и скандальной интригой. Но сквозь туман успеха, вызванного незрелой культурой такого читателя, пробивается интерес к Литературе. Это она зовет тех, кто откликается на ее призыв, сам не понимая, откуда этот призыв исходит, и радуясь подделкам, пока на ощупь пробирается к правде. Популярность низкопробной литературы — всегда расплата за серость так называемой серьезной. Там, где есть Великая Литература, низкопробная псевдолитература погибает сама, как сорняки у корней дуба.

За читательским интересом к биографии всегда стоит потребность увидеть красивую и богатую человеческую личность. Биография соединяет для читателя эстетические переживания, родственные тем, которые возбуждает слияние игрового и документального кинематографа: герой — как в романе, а сознание подлинности — как в жизни. Перед читателем не актер, который, упав со смертельной раной, поднимается и раскланивается под аплодисменты публики. — речь идет о «полной гибели всерьез» (Па-

стернак). Наблюдая борьбу Сервантеса или Пушкина с клеветой, завистью и бездарностью, мы видим не актера, а гладиатора. И если, терзаясь судьбой Гамлета, мы не полезем на сцену спасать героя, то здесь в читателе пробуждается наивное, но и глубоко нравственное желание вмешаться, лично принять участие.

Однако, для того чтобы эффект подлинности сработал, необходима жизненность центрального образа, вернее жизненность всей атмосферы книги. Биографическая монография научного типа может ограничиться документом. Не случайно возникновение таких биографических жанров, как документальный монтаж (например, «Книга о Лермонтове» П. Е. Щеголева) или летопись жизни, положительное значение которых в случае умелого составления бесспорно. Однако биография для массового читателя не может пойти по этому пути. Она должна дать встающий за документами живой и целостный человеческий образ. И тут авторы подстерегают серьезные опасности.

Прежде всего свод документов всегда содержит пропуски и дает нам взгляд с позиции внешнего наблюдателя (даже когда мы имеем дело с, казалось бы, идеальным документом — дневником; наивная вера в аутентичность содержащихся там сведений и интерпретаций чаще всего оказывается иллюзорной). Автор научной монографии может ограничиться указанием, что о жизни Крылова на протяжении ряда лет нам практически ничего не известно. Автор беллетризованной биографии вынужден заполнить этот пробел.

Отношение документа к тексту такой биографии можно сопоставить с жизнью человека и отражением ее в семейном альбоме: перед нами ряд фотографий, некоторые моменты жизни представлены обильно, но есть и лакуны. Главное же, живое глядит на вас остановленными мгновениями, не подвижными картинками, порой искусственным выражением лиц, отрывками. А надобно восстановить ее непрерывное течение, снять искажающий эффект искусственности («Спокойно снимаю! Сделайте веселое лицо!»). И тут возникает соблазн дешевого беллетризования, когда автор, выписав строчку из романа своего героя или его письма, дневника или из каких-либо малодостоверных мемуаров о нем, сопровождает цитату «художественным» текстом от себя типа: «Он закрыл глаза и задумался, в голове возникла фраза...»

Очень губительны для вкуса читателей (и, скажем прямо, редакторов) попытки увеличить занимательность, превращая исследо-

вателя в эдакого комиссара Мегрэ. Литературоведение последних двух-трех десятилетий изобилует «тайнами» и «загадками». Однако опыт показывает, что сенсации, как правило, недолговечны и скудны реальным содержанием.

Дело здесь не в том, чтобы на аптекарских весах взвесить, сколько граммов вымысла допускается на килограмм документа, — необходимо искать законы жанра (говорю «искать», так как далек от мысли, что эти законы мне известны). Для того чтобы читатель понял страдания биографа, которому не хватает документа, позволю себе сравнение. В одном итальянском фильме комиссар полиции, будучи бессилен против главы мафии, так как у него нет исчерпывающих улик при полной убежденности в своей правоте, меняет жанр: из полицейского становится убийцей, махнув рукой на закон, он просто стреляет в того, кому не может даже предъявить обвинения. Аналогичным образом поступает биограф, когда не может свое глубокое внутреннее убеждение подтвердить документально: он меняет жанр, становится писателем и пишет не биографию, а биографический роман. Тынников был вправе заставить своего Пушкина всю жизнь любить Карамзину², так же как Толстой — своего Сперанского «слишком отчетливо» (не *comme il faut*) говорить по-французски. Это Сперанский в романе, и никому нет дела до того, что Сперанский в жизни говорил и писал «по-французски бегло и правильно, как на отечественном языке» (И. И. Дмитриев), не хуже самого Толстого. Правда романа имеет другие законы.

Итак, один способ писать биографию — это отказаться от биографии и писать роман? Я бы назвал это жестом отчаянья. Автор имеет на него право, если честно и прямо предупредил читателя. Кроме того, для романа, конечно, нужно и дарование романиста.

Один из надежных способов придать биографии беллетристический интерес состоит в следующем: автор погружается в мемуары, дневники и письма интересующей его эпохи и окружает своего героя целым миром красочных бытовых деталей. Умение живо и ярко передать характер отдаленной от читателя эпохи исключительно важно для биографа и не только будит читательский интерес, но и позволяет понять характер ли-

² Попытки Ю. Н. Тынькова превратить свою гипотезу в фант научной биографии Пушкина (см. его статью «Безыменная любовь» в кн. Ю. Н. Тыньков. Пушкин и его современники. М. 1968) скорее способны лишь укрепить сомнения.

ца, стоящего на первом плане повествования. Однако за каждым исследовательским приемом неизбежно возникает (порой не осознанная для самого автора) исследовательская концепция. Если яркость исторического фона превышает ту, с которой нарисован главный герой, то повествование в целом внушает читателю, что объект биографии интересен именно как сын века, представитель чего-либо: эпохи, среды, класса. Особенности личности, ее индивидуальность отступают на второй план. А вместе с этим уходят из поля зрения те черты, которые делали эту жизнь выдающейся. В сложном единстве человек своей эпохи и человек, обгоняющий свое время, созданный обстоятельствами и торжествующий над ними,— освещается лишь первая часть формулы.

Любое богатство исторического фона может лишь обогатить и украсить биографическое повествование, но не способно решить его основную задачу: спаять разрозненные документально-фактические сведения в единую и живую человеческую личность. Для этого нужны другие средства. Важнейшее из них — владение инструментом психологического анализа. То, что писателю дается художественной интуицией, ученый и автор научно-популярного текста могут получить лишь ценой анализа. К сожалению, современный литературовед или знаком с наукой о человеке на уровне середины прошлого века, или вообще не уделяет ей и такого внимания.

Простые истины о том, что человеческая личность представляет собой сложную психологическую и интеллектуальную структуру, возникающую на пересечении эпохальных, классовых, групповых и индивидуально-уникальных моделей сознания и поведения, что любые исторические и социальные процессы реализуют себя через этот механизм, а не помимо него (то есть через человеческие мысли и человеческое поведение), что социальный процесс проявляется и в структуре общения и что, следовательно, любое гуманитарное исследование не может не учитывать достижений науки в этих областях, все еще не вошли в научное сознание литературоведа. Практическим результатом этого является господство стандартов в биографическом жанре. Особенно наглядно эти стандарты проявляются в жанре кинематографических биографий великих людей. Историческая личность остается непонятой или понятой в соответствии с упрощенными схемами

Но можно ли ставить такие задачи перед книгами популярного жанра, когда и акаде-

мические монографии не всегда поднимаются даже до постановки таких вопросов? В том-то и дело, что методологическая нагота, прикрываемая в академических работах специальным и, как правило, ограниченным характером задач (в художественных произведениях близкой тематики вывозят талант и интуиция автора, если они есть), неприкрыто зияет именно в работах популярного жанра. Не парадокс, а элементарная истина заключается в словах о том, что популярная книга — самый трудный из всех жанров.

Именно поэтому удачные популярные книги так редки. Именно поэтому так радуют подлинными успехами в этом жанре. И говорить об удачах всегда приятнее, чем останавливаться на плодах недобросовестности или невежества. Это и привлекло мое внимание к книге А. Гастева «Леонардо да Винчи», только что появившейся вторым изданием в серии «Жизнь замечательных людей» («Молодая гвардия», 1984) почти сразу вслед за первым.

Писать о Леонардо да Винчи трудно. Даже если ограничиться литературой на русском языке, можно вспомнить такие имена, как Д. Айналов, М. Гуковский, В. Лазарев, А. Лосев, а в последние годы — работы Л. Баткина, В. Зубова, В. Рутенбурга. Леонардо да Винчи нельзя назвать забытым автором. Но его нельзя назвать и понятным, понятным автором. Атмосфера таинственности до сих пор окружает его имя и, может быть, будет окружать вечно. А. Гастев не ставит перед собой задачу рассеять эту атмосферу, с которой, может быть, связано отчасти и обаяние великого художника, ученого и мыслителя, чему основание, вероятно, сознательно положил сам Леонардо. А. Гастев не поддался соблазну детективности по нехитрой, но популярной схеме пресловутого «сеанса черной магии с полным ее разоблачением» — сначала «тайны» и «загадки», а потом «полное разоблачение».

Не поддался А. Гастев и другому соблазну жизни Леонардо да Винчи богата внешними событиями и протекала на фоне такой красочной, яркой эпохи, что даже как сырой материал составляет почти готовую канву авантюрного повествования. А. Гастев не только не пошел по этому пути, но и как бы полемически противопоставил ему свое повествование. Его книга рассчитана на читателя, уже имеющего элементарные сведения о жизни главного героя. Биографические данные сообщаются скупно.

Идеальный читатель книги А. Гастева уже прочел кое-что о Леонардо да Винчи, ознакомился с внешними фактами его биографии

и оглушен их пестротой, противоречивостью, слишком ярким богатством, для того чтобы вместиться в уме, душе, личности одного человека. У него возникают вопросы: что же представлял собой этот человек? что образывало единство его личности? Читатель должен захотеть увидеть в истории души Леонардо его притягательность, ключ к его поступкам, то, что объединяет художника и механика, военного советника Цезаря Борджа и ненавистника войн, мудреца и непоседу, практика и фантаста.

С завидным тактом А. Гастев не стал пускаться в сложные объяснения того, что, по его мнению, составляет ядро и мировоззрения и индивидуального психического склада Мастера³. Он нашел емкий и одновременно точный образ: сфумато. Сфумато в собственном значении слова — исчезнувший, растворившийся, как дым, в воздухе. Достаточно себе представить растворение черного, непрозрачного дыма в прозрачном воздухе, чтобы возник образ незаметного перехода субстанции в субстанцию. В художественной теории Леонардо сфумато обозначает незаметное, воздушное взаимопроникновение света и тени, создающее как бы третье состояние — светящейся тьмы и затемненного света. Придание этому чисто зрительному в своих основах образу более широкого значения не является искусственным. Предшествующая культурная традиция создала настолько устойчивую тенденцию символического истолкования тьмы и света, что восприятие сфумато как исполненной глубокого смысла метафоры было естественным и для самого Леонардо и для его современников. Ведь и путешествие Данте описано им как движение из беззвездной, темной и покрытой непроницаемым туманом («Ад», IV, 10) бездны преисподней к Точке, лившей такой «острейший свет, что вынести нет мочи» («Рай», XXVIII, 16—17, перевод М. Лозинского). В этом смысле изображение земного трехмерного пространства как тончайшего и радостного сфумато, бесспорно, имело для живописца не только колористический, но и философский смысл. Достаточно при этом вспомнить такие явления, как типологически родственное живописное распределение света и тени на полотнах Рембрандта и метафорическая их контрверза в характерах Шекспира, как резкие световые контрасты в живописи барокко, отказавшейся от полутеней и ретуши, что прямо ассоциировалось

с трагической разорванностью мира между добром и злом.

Сфумато становится у А. Гастева тем зерном, из которого вырастают самые разные идеи и замыслы Леонардо. Здесь и флейта, о которой сам изобретатель пишет, что она «меняет свой звук не скачкообразно, как большинство духовых инструментов, а подобно человеческому голосу. Это достигается скольжением руки». Здесь и теория гласных фонем. Здесь же мысли о структуре пространства и его границах. Такое сознание прежде всего противопоставит средневековому догматизму — миру вечных расчлененных идей и неподвижных предметов. Это была та поэзия мира, полного живой жизни, которая позже сквозила в сочинениях Джордано Бруно, не случайно произнесшего афоризм совершенно в духе Леонардо: «Философами являются некоторым образом живописцы и поэты; тот, кто не воображает и не изображает, — не философ».

Однако слияние подразумевает предварительное различие. И если один взгляд на мир рисует его в поэтическом просвечивании субстанции сквозь субстанцию, то параллельно мысль Леонардо видит его сквозь четкие контуры механики, разнообразных конструкций, в которых Мастер упражняется столь же неутомимо, как и в наблюдении тончайших нерасчлененных оттенков природы.

Но если сфумато становится для А. Гастева своеобразной эмблемой всех поисков Леонардо, то оно же связывает герба с окружающим миром, в котором повествователь усматривает все ту же слитую расчлененность, взаимопроникновение крайностей. Сначала это разноязычная, многонациональная и поликультурная среда Милана. Затем этот образ расширяется до картины Италии эпохи Леонардо: «Что касается размещившихся на полуострове государств, их почти столько, сколько наречий, хотя разделяющие их границы более четкие и определенные, тогда как наречия, соприкасаясь, проникают друг в друга с ф у м а т о м». И наконец, эта же характеристика переносится на культурную эпоху — Ренессанс: «Надо полагать, еще древние знали, что выражение горя и скорби, когда углы рта опущены книзу, не иначе — перевернутое или находящееся на противоположной стороне круга выражение радости, а звуки смеха и рыдания бывают настолько сходны, что их легко перепутать. Страшная изменчивость и неопределенность, когда в любом качестве содержится противоположное качество и одно через другое просвечивает или брезжит, есть особенный признак замечательной

³ Так А. Гастев именуется своего героя, соединяя русский перевод итальянского ренессансного обращения с булгаковскими ассоциациями.

и знаменитой эпохи, известной как Возрождение».

Стремление раскрыть единство мира, не снимая и не примиряя его контрастов, а показав, как они обогащают друг друга, увидеть в разном одно а в одном — разное составляет, по Гастеву, основу личности Леонардо. Поэтому он противопоставляет мне нию о непостоянстве Мастера (якобы ничего не кончавшего, вечно бросавшего начатую работу для другой) идею упорного и целеустремленного движения к единой цели одновременно по многим путям Его Леонардо да Винчи никогда не отвлекается от своего замысла, ибо у всех его начинаний замысел един.

Л. Баткин в ряде глубоких работ принципиально обратил внимание на то, что идея разнообразия мира — одна из главных структурообразующих идей Ренессанса. Это в полной мере относится и к Леонардо. Но рядом с этой идеей возвышается и другая — изоморфизма всех разноликих проявлений мира. Отсюда стремление понять живое как механизм, с одной стороны, а с другой — оживить механизмы.

Идея изоморфизма, подобия, составляет основу мышления Леонардо и — более того — его способа видеть мир. Когда он рассматривает приливы и отливы как дыхание моря и вычисляет объем легких Земли по массе «вдыхаемой» и «выдыхаемой» воды, то это и наивная научная параллель (с элементарной ошибкой в вычислениях, как показывает Гастев), и глубокая поэтическая метафора, и, наконец, смелое прозрение структурного изоморфизма, ритмических процессов. «Странные сближения» (выражение Пушкина, цитировавшего в данном случае Стерна) могут в равной мере служить и науке и искусству. Способность мыслить метафорически может дать поэту или художнику новые образы, а изобретателю — новые идеи.

Сознание Леонардо метафорично, и Гастев кладет метафору в основу своего повествования. Эпизоды биографии Мастера, фигуры исторических лиц появляются в тексте книги не в хронологическом порядке, а в сложном ритме цепляющихся друг за друга метафорических образов. В этом смысле показательное использование автором записей его героя в дошедших до нас рукописях и кодексах. Набранные курсивом, они проходят через всю книгу Гастева, не растворяясь в ней. Поскольку они, как правило, начинают главы, их можно принять за эпиграфы. Однако функция их совершенно иная.

Вот начало главы шестьдесят шестой «Родился от малого начала тот, кто ско-

ро делается большим; он не будет считаться ни с одним творением. мало того, оч силою своей будет в состоянии превращать свое существо в другое. Об огне» Прочитываемая здесь запись Леонардо (мысль для задуманной работы об огне как элементарной стихии) будучи соположенной с ребусом — эмблемой пылающего льва, образует сложное метафорическое построение, приоткрывающее завесу над многими другими идеями Мастера.

Искусство цитировать документ так, чтобы высечь из него и искру поэзии, и свет совершенно неожиданных смыслов, конечно, не изобретено А. Гастевым. Тем более интересно наблюдать как у разных писателей оно работает по-разному. Непревзойденными мастерами цитирования документа были В. О. Ключевский и П. Е. Щеголев.

Если же говорить о наших днях и — уже — о серии «Жизнь замечательных людей», то здесь нельзя не вспомнить книги В. Шкловского «Лев Толстой» и Н. Эйдемана «Лунин». И Шкловский и Эйдемман — мастера в искусстве заставить цитату говорить. Но работают они по-разному: у Шкловского цитата впаяна в текст и работает в одном ряду со всеми элементами повествования, которые определяются как стиль Шкловского и основной пружиной которых является парадоксальное мышление и парадоксальный стиль речи самого автора. Эйдемман стремится сохранить цитату как цитату, как голос документа, с которым автор вступает в диалог, иногда в спор. Не случайно он, как и А. Гастев, часто выделяет документ курсивом. Неожиданное же сопоставление таких документальных отрывков дает читателю широту перспективы.

А. Гастев идет по третьему, и исключительно оригинальному, пути. Рядом с документальными отрывками, извлеченными из рукописей Леонардо, не сливаясь с ними, а сложно соотносясь, течет авторское повествование. Однако этот автор-повествователь совсем не автор книги А. Гастев. Необычность языка, трудные обороты синтаксиса, а главное — какое-то простодушие, неполное знание истории после Леонардо (именно это избавляет автора от снисходительного — с позиций XX века — тона в рассуждениях о ряде технических идей своего героя, даже то, что с позиции современного историка техники в идеях Леонардо покажется ошибочным вызывает у повествователя изумление, с которым, вероятно, леонардески, последователи и подражатели Леонардо, смотрели на замысло-

ватые чертежи своего Мастера) выдают в повествователе существо не из XX века.

Вопрос о возможности введения такого чисто литературного приема в документальную биографию, конечно, принадлежит к дискуссионным. Однако хотелось бы напомнить, что дискуссия эта не нова. В свое время М. А. Булгаков, написав для «Жизни замечательных людей» биографию Мольера, начал с того, что смело ввел себя в качестве повествователя в текст книги:

«И вот: на мне кафтан с громадными карманами, а в руке моей не стальное, а гусиное перо.

Передо мной горят восковые свечи, и мозг мой воспален.

— Сударыня,— говорю я,— осторожнее поворачивайте младенца, не забудьте, что он рожден ранее срока. Смерть этого младенца означала бы тяжелейшую утрату для вашей страны.

— Мой бог! Госпожа Поклен родит другого!

— Госпожа Поклен никогда более не родит такого, и никакая другая госпожа в течение нескольких столетий такого не родит.

— Вы меня изумляете, сударь!

— Я и сам изумлен...»⁴

Повествователь здесь, конечно, странный: в кафтане и с гусиным пером, но с лицом Булгакова. Попав в XVI век, он не забывает и век XX. Повествователь смутил редакторов. Вот как рассказывает об этом эпизоде современная исследовательница: «В 1932—1933 годах — повесть о Мольере для серии «Жизнь замечательных людей». Закончил ее в марте 1933-го. В апреле из издательства пришел ответ. После вежливой и краткой похвалы стилю в ответе говорилось, что фигура «воображаемого рассказчика», от лица которого ведется повествование, неудачна; что рассказчик этот не марксист; что из книги не видно, интересы какого класса или какой социальной группы обслуживал театр Мольера; что к числу крупных недостатков книги относится то, что рассказчик „страдает любовью к афоризмам и остроумию“»⁵.

А. Гастев идет вслед Булгакову, но по своей дороге.

Повествователь Булгакова надел кафтан с громадными карманами, но сохранил речь своего автора. Маска, которую надел повествователь Гастева, имеет в основном речевой характер.

Создание речевой маски, которая на русском языке должна имитировать некоторую иноязычную традицию, само по себе проблема. Сказать, что в данной ситуации тот или иной писатель ориентируется на определенную традицию переводов, отнюдь не означает унижить его труд. Когда тот или иной переводчик передает французские александрины русским шестистопным ямбом с парными рифмами, он поступает правильно, хотя сам по себе избранный им русский размер не имеет ничего похожего на французский оригинал. Но в русской стиховой культуре установилась традиция считать эти размеры эквивалентными, и каждый переводчик не может с этим не считаться. Попытка переводить Расина русским силлабическим стихом не приблизила бы нас к оригиналу.

Для передачи стиля итальянской ренессансной прозы также есть интересная русская традиция. На стиль А. Гастева, думаю, особенно повлияла замечательная и недостаточно оцененная книга — перевод М. Лозинского «Жизни Бенвенуто, сына маэстро Джованни Челлини, флорентинца, написанная им самим во Флоренции». Это замечательное произведение переводческого искусства одновременно именно благодаря своим художественно рассчитанным неправильностям и языковым трудностям является и прекрасным произведением русской прозы, и текстом, пропитанным духом оригинала. Воспроизвести всю свежесть непрофессиональной, отмеченной жизнью, а не искусством речи, соединить налет архаизма и ощущение непосредственного говора — это и значит дать нам дохнуть воздухом Возрождения.

Именно ориентация на этот тип речи придала рассказчику А. Гастева непосредственность и наивность. Однако некоторая большая сочность речи, кажется, не помешала бы. Когда же в конце книги тот же самый повествователь несколько торопливо повествует нам о судьбе наследия Леонардо в веках, маска делается ненужной и искусственной. Возможно, здесь автору следовало бы перехватить у рассказчика инициативу повествования. То, что так естественно у Булгакова в силу другой структуры повествования, у А. Гастева производит впечатление нарочитости.

В детективной литературе внимание читателей сосредоточено на таинственном событии. Характеры, по сути дела, никого не интересуют. Они заменены ролями: роль жертвы, роль преступника, роль незадачливого официального сыщика-полицейского

⁴ М. Булгаков. Жизнь господина де Мольера М. 1962, стр. 10.

⁵ Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. М. 1983, стр. 212.

и роль мудрого, всепроникающего детектива. Жертва, как правило, в действии не участвует: ей суждено погибнуть, — и именно с этого момента начинается настоящее действие. Если же и участвует в сюжете, то несомненно она наименее интересная фигура: ее роль чисто страдательная — быть объектом преступного действия или намерения. Наибольший же интерес привлекает, бесспорно, детектив: ход его размышлений, самые детали его поведения подаются читателю как достойные пристального внимания.

Эту же расстановку ампула усвоило и так называемое детективное литературоведение, часто говорящее с читателем от имени всей науки о литературе. Роль жертвы, как правило, отводится какому-либо писателю (например, «Тайна гибели писателя N» или «Кто убил писателя N?») или литературному произведению («Загадка таинственной рукописи»). Роль убийцы отводится друзьям, жене или высшему свету. Незадачливые следователи — все предшествующие авторы, занимавшиеся этим вопросом, а обнаруживающий преступление или раскрывающий тайну детектив — сам автор статьи.

Не будем поддаваться соблазну легкой иронии. Каждый исследователь переживал минуты, когда чувствовал себя Шерлоком Холмсом, и в жанре литературоведческого детектива были написаны не только увлекательные, но и научно ценные работы. Если бы этот, по сути дела, периферийный научный жанр не аттестовывался порой как вершина науки и не так часто соблазнял научно неопытных малых сих вступать на путь сенсаций, то возражения по этому поводу можно было бы свести до минимума.

И все же некоторая опасность таится и в самом жанре.

Уподобленный жертве писатель фатально оказывается на втором плане: он интересен не тем, что он сделал, а тем, что с ним сделали. На первое же место выдвигается сам автор-детектив. Не случайно в литературоведческих работах с некоторых пор завоевали себе место фразы вроде: «Бегу на вокзал, покупаю билет», «Вхожу в архив, меня встречает милая девушка...» А в одной статье даже попало: «Я задумался. И вдруг меня осенило». Трудно представить себе другую науку, где, даже в популярной статье, можно было бы встретить подобные пассажи.

Главное же в том, что смещается вся картина научного поиска. Раскрытие **сенсационных** тайн совсем не составляет сущ-

ности науки. Наука стремится обнаружить связь явлений, представлявшихся разрозненными, скрытые закономерности там, где поверхностный взгляд видел лишь скопление случайностей, и на этой основе объяснить сущность изучаемого объекта. Задача подлинно значительной детективной прозы (например, Честертона) близка к науке. Но именно сравнение размножившихся в популярном литературоведении детективов с Честертоном лучше всего укажет на их слабую сторону — отсутствие внимания к психологии, понимания внутреннего мира людей той эпохи, которая заинтересовала того или иного автора, всего того, что составляет обаяние повестей Честертон и превращает их в научно-психологические этюды в художественной форме. Не так давно на страницах наших журналов обсуждалась выдвинутая писателем, много и с любовью занимавшимся биографией Пушкина, догадка о том, что во время роковой дуэли на Дантесе была какая-то кольчуга. Опровергать ее не стоит, потому что то, что не имеет под собой доказательств, не нуждается в опровержениях. Для нас сейчас интересно другое — ошибки вполне добросовестного автора. Нельзя рассуждать о дуэли, видя в ней простое убийство (то есть перенося в глубь истории нашу современную точку зрения), не зная ее правил и не задумываясь над психологией ее участников.

Сначала о правилах. Во-первых, согласно правилам и обычаям любой из секунданта мог потребовать осмотра противников. Это было маловероятно. Зато каждый отправлявшийся на дуэль не мог не считаться с возможностью раны. Пуля могла попасть в руку, плечо, ляжку (классическое место ранения. Сравним: «Взвести друг на друга курок и метить в ляжку или в висок»), в любое другое не защищенное кольчугой место. Ранение неизбежно потребовало бы перевязки, и кольчуга немедленно была бы обнаружена. Что это означало для того, на ком ее нашли бы? Позор и, вероятно, каторжные работы. Всякая дуэль по законам Российской империи была уголовным преступлением и влекла за собой судебное разбирательство. Особенно тщательно при этом исследовался вопрос, были ли допущены какие-либо нарушения принятых норм, так как в этом случае дуэль превращалась в преднамеренное убийство. Если в первом случае офицера-дуэлянта судил военный суд, составленный из его же полковых товарищей, сочувствовавших «жертве чести», и приговор, как правило, заключался в разжаловании в солдаты и

ссылке на Кавказ, дававшей надежду на скорое возвращение офицерского чина, то во втором деле переходило в уголовную палату и могло кончиться лишением дворянства и ссылкой в Сибирь — в лучшем случае на поселение, в худшем в каторжные работы.

Однако важнее психологическая сторона дела. Невозможно, занимаясь вопросами дуэли, игнорировать психологию дуэлянта. Страх нарушить условные правила чести был безмерно сильнее в массовом, среднем офицере той поры, чем страх потерять жизнь. Чувство страха — один из сильнейших эмоциональных регуляторов социальных структур — облекается в разные эпохи в психологически конкретные формы, и тот, кто хочет изучать человека в истории, должен уметь анализировать исторические эмоции. Нарушивший правила чести терял все: возможность продолжать службу (того, кто на дуэли надел кольчугу, товарищи по полку с позором выгнали бы — никто не захотел бы с ним служить), от него отвернулось бы все общество и за него не стало бы заступаться французское посольство. Дамы на балу и государь в Зимнем дворце с презрением говорили бы о трусе. Он стал бы изгоем. Трудно предположить, чтобы легкомысленный, развращенный, любящий успех и ту блестяще-пустую жизнь, которая составляла норму для петербургского гвардейца авантюрист, но не трус — Дантес решился бы на поступок, возможно естественный для аморального человека XX века, но решительно невероятный для аморализма той эпохи. Как и все человеческие деяния, разврат, преступления и соблазны тоже историчны. А этого не учитывают, как правило, искатели детективных тайн в историческом прошлом. Таким образом, надевая кольчугу Дантес проявлял себя как человек, решающийся на беспримерно индивидуальный поступок, а выходя спокойно к барьеру, он совершал лишь то, что сделали бы на его месте сотни офицеров.

Детективное литературоведение очень любит мелодраму и от этого часто попадает в ситуации, о которых Гоголь, характеризуя мелодраму своего времени, писал так: «Иногда русский мужичок отпустит такую театральную штуку, что и римлянин не сделает. Подыметесь с полатей или с своей печки и выступит таким шагом, как Наполеон; какой-нибудь Василий, Улита или Степан Иванович Кучка после какой-нибудь русской замашки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг: „Смерть и ад!“».

Современная историческая наука все более поворачивается к изучению человека в истории, историческая психология — нормы и запреты, эмоции и представления разных эпох — все более привлекает внимание историков. В середине прошлого столетия один юмористический журнал напечатал стихотворение «Стыдно и не стыдно», в котором сатирик смеялся над тем, что в светском обществе стыдно барышне иметь хороший аппетит и не стыдно приходиться на бал почти обнаженной. Чувство стыда так же исторично, как и чувство страха, гордости и другие эмоции. А оно влечет нас к изучению исторической морали, с одной стороны, и истории моды — с другой. Все — от глубоких верований до явлений быта — складывается вокруг человека в сложный механизм, строящий его личность и поведение. Сложные социально-исторические закономерности, для того чтобы превратиться в поведение людей, должны вступить во взаимодействие с этим механизмом исторической психологии и исторического быта. Меняя его, они реализуются все же только через него.

Но тот, кто хочет понять жизнь выдающегося человека, оказывается перед задачей еще более сложной. Интересующая его личность не пассивна по отношению к массовой психологии своего времени. Она борется и сама лепит свою судьбу, она активна, и ее психический склад, часто странный для современников, «в грядущем поколении поэта приведет в восторг и в умиление» (Пушкин, «Полководец»). Отношение такой личности к психологическим нормативам эпохи напоминает отношение поэта к грамматике — данные извне нормы становятся творчески преобразованными и свободно выбранными. Навыки работы с художественным текстом приходят здесь на выручку историку. И это закономерно, потому что жизнь Леонардо да Винчи или Пушкина, Блока или Маяковского развивалась по законам творчества, напоминая работу скульптора с гранитной глыбой, — сопротивление материала преодолевается силой творчества, и сами препятствия преобразуются в искусство.

Сопоставление жизни выдающегося человека с произведением искусства не ново. Еще Державин писал: «Смерть мужа праведна прекрасна! Как умолкающий орган...» Однако, видя в этом сопоставлении не просто красивую метафору, а имеющее вполне реальный смысл указание на особую роль творческого момента, вводящего в действительность такие чисто художественные категории, как замысел, вы-

бор жанра, преодоление материала и др. не следует отождествлять жизнь, созданную средствами искусства, и жизнь, воссозданную в материале самой жизни. Пересоздание самого себя не просто самый трудный вид творческой деятельности, но это и особый материал, имеющий особые законы. Редко мы сталкиваемся с таким полным торжеством творческого начала, которое является нам в биографиях Пушкина или Моцарта. Чаще одна и та же физическая жизнь включает в себя две, три, несколько биографий разной ценности, достоинства и творческой одухотворенности. Чаще всего биограф выбирает какую-либо одну линию (предположим, даже доминирующую) и описывает ее. Портрет выигрывает в ясности, очищается от противоречий, но зато становится схематическим. В определенных случаях этот прием вполне пригоден: жанр биографии зависит от жанра, в котором ее герой прожил свою жизнь, от замысла био-

графа и его аудитории. Схематизм иногда достоинство, а не недостаток. Однако жесткое следование биографа своей концепции опасно: концепции — скоропортящийся материал. Они быстро стареют. Порой биограф берет себе за образец черно-белую гравюру — сталкивает две контрастные жизни своего героя. Подчеркнуты противоречия — нюансы убраны (например, «В двух планах» Вересаева). Портрет получается эффектный, но мелодраматический, очень часто ложный и почти всегда — портрет глазами внешнего наблюдателя.

Секрет психологического правдоподобия в том, чтобы раскрыть взаимную необходимость разных жизней. Найти психологическую структуру личности. Одно просвечивает сквозь другое, вдохновенье — сквозь глыбы жизненных обстоятельств, свет — сквозь дым. Портрет в манере сфумато..

Тарту.



В. КАМЯНОВ



В СТРОКЕ И ЗА СТРОКОЙ

К 125-летию со дня рождения А. П. Чехова

1

Хотя прозаические сюжеты Чехова обычно уместались на малом пространстве новеллы, его повествовательные ритмы неторопливы. В интонациях нет предчувствия близкого финала. Художественная мысль разворачивается широко и свободно, словно не зная наперед о краткости своего маршрута. Тем не менее к моменту развязки она достигает полной зрелости.

Маршрут сюжетного движения завершен, маршрут мысли разомкнут.

Есть особая, скрытая драматургичность в соединении лаконизма малой эпической формы и неспешных внутренних ритмов этой прозы. Малая форма готова принять в свои границы и, приняв, замкнуть житейский казус, эпизод, фрагмент людских отношений, а ритмы выводят их далеко за черту развязки, включая те же фрагменты в широкое течение жизни.

«Встреча с Иловойской,— подытоживает современный исследователь свой разбор рассказа «На пути».— это... не удобная сюжетная «рамка» для исповеди, а поистине отрывок из романа. Рассказ завершился. Но роман русской жизни продолжался...» (А. Турков, «А. П. Чехов и его время». М. 1980). Продолжался роман и развевалась широкая панорама жизни. Русской? Современной Чехову? Разумеется. Но не только.

«Жизнь есть досадная ловушка,— рассуждает доктор Рагин центральное лицо «Палаты № 6».— Когда мыслящий человек достигает возмужалости и приходит в зрелое сознание, то он невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода. В самом деле, против его воли вызван он какими-то случайностями из небытия к жизни... Зачем?»

Российская действительность, какой она изображена в рассказе, и впрямь ассоциируется с ловушкой (аналогии «больница — тюрьма», «палата для душевнобольных — пыточная камера» напрашиваются сами собой). Но предмет докторского рассуждения — жизнь как целое, вечная загадка духа, щедрый дар, которому не всякий находит достойное употребление.

Подобного рода медитациям о тщете земного бытия предавались и другие персонажи Чехова, как бы намагничивая свои души мрачной философией безысходности. Однако, выступив проповедником этой философии, Рагин встречает резкий отпор со стороны узника палаты № 6 Громова. Рагинскую обволакивающую казуистику Громов опровергает с неотразимой сердечной убедительностью: «Я люблю жизнь. люблю страстно! бывают минуты, когда меня охватывает жажда жизни и тогда я боюсь сойти с ума. Ужасно хочу жить, ужасно!». «На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость — негодованием, на мерзость — отвращением. По-моему, это собственно и называется жизнью».

Тут нет и намек на полемический азарт или апломб спорщика, а есть непосредственный взрывной протест против уступок силам разложения и смерти, интеллектуальному загрызанию с нею. Споры Громова и Рагина не раз комментировались потезисно, на просветительский лад — как борьба полярных мнений. Мнения и впрямь полярны. Но столкновением рациональных доводов правит логика другого противоборства, где по одну сторону капкан, ловушка больничной антижизни, по другую — порыв, непокорная энергия жизнелюбия, странным образом поощренная теснотой и безысходностью.

Пространственные границы рассказа у нас на глазах сужаются, стягиваясь к цент-

ру. Кажется, сама жизнь убывает, свертывается, вбираясь в тесноту больничного флигеля. Задолго до своей встречи и острых диспутов доктор Рагин и его пациент побывали в больших городах, приобщились к университетской науке. Но в их разговорах культурные центры как бы полуреальны, окутаны сказочной дымкой, обозначаются с помощью неопределенных местоуказаний — «там» и «вообще». Гораздо реальной захолустный город, до которого от больницы рукой подать. Только домоседа доктора туда не тянет, а тянет беседовать с Громовым, которого и за порог палаты не выпускают.

Правда, незадолго до трагической развязки доктору пришлось отступить от оседлых привычек, пуститься в дальний путь, повидать Москву, Петербург, Варшаву. Но путешественник он подневольный. дорожной суевой угнетен, по сторонам почти не глядит и, как о земле обетованной, тоскует о своей глухомани, где можно снова забиться в угол и выведывать у вечности ее секреты.

Несколько страниц о дорожных мытарствах доктора лишь по видимости нарушают центростремительное построение рассказа. Пространственные границы лишь ненадолго раздались вширь, чтобы вслед затем еще резче сдвинуться к центру действия — больничному флигелю.

И когда в этой зарешеченной душевной коробке в ответ на докторские призывы самоуглубиться звучит взрывчатая патетика Громова, нам дано ощутить напряженные защитных сил жизни, которые действуют в отпор давлению и в разрыв тесноты.

Тут не ум фехтовально скрестился с умом, не принцип соревнуется с принципом — тут живая страдающая душа сопротивляется удушью.

«Душно... жить», — с горечью заключал Иван Дмитрич Громов. К характеристике «душно» читатель подготовлен упоминанием удушливого запаха, аммиачной вони, фитильной гари в больничном флигеле. К этой же характеристике читателя вернет и развязка — отчаянный крик доктора «Я задыхаюсь!» и вслед затем: «Задыхаясь он рванул на груди халат...» В свою очередь слова «жить», «жизнь» исподволь наращивают свою смысловую активность, направляя, стягивая к себе повествовательный контекст.

Поначалу слова эти работают как будто без дополнительных нагрузок, обозначая либо перемену в судьбе героя («Такой жизни не выдержал Иван Дмитрич»), либо рас-

порядок, уклад застойного существования. («Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна...»; «Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает...»). Но по ходу споров между центральными персонажами постепенно прорезываются более напряженные значения слова жизнь: в глазах одного из спорщиков она — хитрая ловушка, по убеждению другого — счастливый дар.

Теперь, когда общие и напряженные значения определились, по-новому смотрится вся цепочка сигнальных повторов («жить... жизнь»), протянувшаяся от экспозиции рассказа к тем главам, где противостояние Громов — Рагин полностью определилось. Глава шестая открывалась уже цитированной строкой: «Жизнь его проходит так. Обыкновенно он встает...» Есть ли тут что-нибудь сверх сказанного? Вроде бы нормальное деловое сообщение. Проще не бывает. Изменилось бы оно, зачеркнул автор первое слово и поставь на его место, предположим, «день»? Несомненно, поскольку на слове «день» пресекалась бы цепочка подготовительных всплеск-сигналов. А продолжающее эту цепочку слово «жизнь» раздвигает рамки простой информации о распорядке дня: не серенький рядовой денек, существование доктора «проходит так», влачится...

За ближним повествовательным планом прорисовывается у Чехова план широкий и обобщенный.

Значит, «жизнь... проходит», и доктор в ней — пленник, не согласный украшать «ловушку» мечтами, но склонный с интересом разгадывать замысловатое ее устройство. Такова система лукавой самозащиты доктора от жестокого мира. И оппонент Рагина безошибочно находит ее центр: «От природы вы человек ленивый, рыхлый и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигало с места».

Суждение Громова — одно из ключевых. И совсем не случайно всеохватное понятие «жизнь» поставлено здесь в пассивную позицию, подчинено энергичному глаголу «складывать». В самой логике высказывания закреплено доверие к человеческой воле: строить, «складывать» жизнь — это норма, рабски покорствоваться ходу вещей — аномалия. Таково заветное убеждение Громова, а вместе — одно из опорных положений этики Чехова.

Персонажам рассказа досталось пусть и незавидное, но преимущество перед героями других чеховских произведений: из душевной камеры, где они ведут свои споры,

они могут наблюдать и оценивать жизнь словно бы с отдаления — как некий полузагадочный объект, проплывающий мимо. «Ловушка», — настаивает один из героев. «Ужасно хочу жить!» — восклицает другой. Кажется, в художественном составе рассказа вот-вот произойдет кристаллизация полярных начал (силы жизни — силы распада; свобода — неволя...) и на передний план резко выступит образ-символ.

На передний план он, однако, не выступает, оставаясь за строкой и организуя глубину застрочного пространства.

Горький как-то заметил, что в искусстве Чехова-драматурга «реализм возвышается до одухотворенного и глубоко продуманного символа». В прозе зрелого Чехова роль «одухотворенного символа» не менее значительна. И столь же недемонстративна, как и в его драматургии.

Символика у Чехова намечена пунктирно и выказать себя не спешит; художественная условность держится в тени, отступает перед безусловностью бытового колорита, социальных и психологических мотивировок. Рассказ о конкретном происшествии, построенный как добросовестное показание очевидца, способен вдруг выложить нашему взгляду развернутую метафору, целостный образ полутюремного российского бытия. Это ли не широта социального обобщения! Разумеется, и широта и редкая пронизательность автора, дружно отмечавшиеся уже чеховскими современниками.

Но в той же «Палате № 6» мы угадываем тему, для которой и такая широта не предел, — тему духовного смущения человека перед загадкой Жизни: как увидеть ее настоящее лицо, распознать ее нрав? И себя кем числить — безропотным узником или активным устройтеlem собственной судьбы?..

2

Российская муза всегда смотрела на мир широко объектом ее пылливости становилась вся полнота бытия. И если Толстой обращался к событиям 1812 года, то взгляду его открывалось взбудораженное историческое море, катившее «волны большого движения» из края в край обозримого мира. Причем толстовские доверенные герои чутко угадывали моменты предельных напряжений, когда нет места бутафории, суть вещей обнажена и есть надежда постичь секреты мироустройства.

На грани сна и яви в сознании Пьера Безухова появляется образ живого колеб-

лющегося шара, состоявшего из бесчисленных капель. Появляется как внезапное разрешение его мучительных попыток соединить «в душе своей значение всего», охватив умозрением единство подвижных «капель» — жизнью.

Безмерная пылливость для толстовского героя — норма, естественная мера его духовной активности. Герои Достоевского ведут не менее напряженный диалог с миром, чем Пьер Безухов или Константин Левин, и на крутизну вечных проблем взбираются без всякой робости. Но влечет их туда не столько пылливостью, сколько жажда утвердить заветную идею, переборов ее ниспровергателей.

Даже Разумихину из «Преступления и наказания» вопреки его репутации простачка доверена роль горячего полемиста, отрицателя рационалистических схем и защитника «живой души», «натуры», которая «жизни хочет, жизненного процесса еще не завершила».

Слово ж и з н ь тут — ключевое и повторяется Разумихиным, будто заклинание. Не менее настойчиво оно звучит в речах других персонажей Достоевского, оберегающих «натуру», природный закон от неумеренной активности схематиков, приверженных культу рассудочного знания. «Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни», — с горьким сарказмом излагает основу их веры герой «Сна смешного человека», который во внезапном озарении постиг красоту и поэзию людского братства. «О, теперь жизни и жизни!» — восклицает он в «неизмеримом восторге». Но где сам предмет восторгов прозревшего героя? В его аллегорическом сне.

Достоевский, художник и проповедник, был устремлен к идеалу соборности, сердечной общности, мечтал о радикальной перестройке людских душ, которым должна открыться красота идеала, гармония вечной природы. «Клейкие, распускающиеся весной листочки» — так обозначается (а вернее — кодируется) у прозаика-урбаниста область нерукотворной гармонии, отдаленная от его художественного зрения.

Гению Достоевского яснее всего был виден трагический лик жизни. Светлый же ее край, солнечная ее сторона как бы промельком проглядывали у него сквозь сырой петербургский сумрак, кисею дождей и туманов, маячили где-то в умозрительных даялах, за чертой непосредственного опыта героев. И те скорее грезили Жизнью, клялись ее именем, чем ощущали ее полноту. Урезанное, частичное существование персонажей, придавленных экстре-

мальной «идеей», измерялось, однако, масштабами единой, неурезанной Жизни.

Толстой свободно вбирал ее в свой художественный кругозор. Достоевский больше охватывал умозрением, но масштаб реалистических картин того и другого писателя был задан масштабами нерасчленимой Жизни. Толстому и Достоевскому далеко было видно с исторического перевала 60—70-х годов, на которые пришлось самая зрелая пора их творчества. И переломное время отлично выражало свой характер, свои потенции через широту их мировидения, энергию духовной работы над освоением мира.

При этом у Толстого и Достоевского все крупное и смотрелось крупно, к развитию магистральной темы прилагались главные усилия стиля. В звучании вторского слова различались и подземный гул эпохи, и приближение грядущих катаклизмов. Так оно обычно и случается в произведениях, написанных «на все времена»: слово художника не скрывает своей высокой, даже провидческой миссии, а философский лейтмотив, как ему и положено, уверенно распоряжается тематическим многозвучием повествования.

У Чехова картина иная: философские лейтмотивы звучат у него приглушенно, внутренняя тема словно сама к себе прислушивается, как бы не очень настаивая на своей важности и пропуская вперед будничную логику фактов.

Во многих отзывах о Чехове представителей отечественной и зарубежной культуры можно уловить ноту удивления: конечно, величайший художник, но не видно, из чего соткана материя его гениальности, и нет на его облике печати духовного «титанизма»... Да, гений Чехова и впрямь «нетипичен» Странен. И странно, как бы не по чину скромно, ведут себя у писателя широкоохватные категории его мысли.

«Вот жизнь», — произносит у Толстого старичок учитель, показывая Пьеру водяной шар, и теперь Пьер — обладатель выстраданного знания, к которому он упорно восходил на наших глазах. Чеховский же герой чаще набредает на знание, нежели восходит к нему.

Вот ехал, к примеру, слабый, уступчивый человек Петр Михайлыч берегом пруда, «печально глядел на воду» и вдруг в темном зеркале застойной воды угадал некий «чертеж» всей запутанной и невнятной жизни: «...вся жизнь представлялась ему теперь такую же темной, как эта вода, в которой отражалось ночное небо и пере-

путались водоросли». Таков итог невеселых рефлексий молодого помещика Петра Михайлыча Ивашина и таков, добавим, финал рассказа, где нерешительный молодой помещик — центральное лицо («Соседи»).

Между тем участников этого сюжета не очень манит область отвлеченных проблем, ибо есть житейское обстоятельство, в котором безнадежно запутались их души: Зина, молодая девушка, сестра Петра Михайлыча, оставив родную усадьбу, тайком ушла к соседу-помещику, а тот женат да вдобавок намного старше Зины... И что теперь люди скажут? И чем такое неприличие кончится?

Значит, души персонажей угнетены не обычным происшествием, увязли в нем и ничего больше видеть не могут? Нет, хотя и боковым зрением, но могут. И угнетенностью своей тайне удивлены. И на собственную горячку из холода поглядывают, и о большом Времени помнят, ибо рамки происшествия чеховскому человеку тесны.

В движении новеллистического сюжета все яснее вырисовывается та зона, которую герои видят боковым зрением.

За пестротой или даже толчеей рефлексий, полупорывов, дробных впечатлений чеховских персонажей открывается их забота о преодолении дробности, интерес к капитальному вопросу: «Что же есть вся жизнь?»

Случаи рассеянной сосредоточенности персонажей на трудных и вечных вопросах у Чехова многочисленны. И рассказу «Соседи» мы отдали сейчас предпочтение лишь по одной причине: хронологически он тесно примыкает к «Палате № 6» (завершен летом 1892 года, за несколько месяцев до публикации «Палаты № 6»).

Доктор Рагин с его оппонентом Громым оказались восприимчивыми смутной думы Петра Михайлыча обо «всей жизни». Только на сей раз дума заметно окрепла, глубже укоренилась в сознании персонажей и получила широкий выход в текст. Нет, широкий — это не совсем точно...

У чеховского слова есть зона открытой работы. Сюда свободно входит ближайшее календарное время с его резкими социальными приметам и, войдя, укладывается в емкий образ, допустим, в образ закупоренного смрадного флигеля, охраняемого кулачным бойцом Никитой. Но за календарным и близким временем встает протяженность времен, за обозримым участком жизни — «вся жизнь», за отчетливой темой — тема, звучащая приглушенно. Угадывая ее, мы вступаем в область подспудной работы слова. Причем отчетливая те-

ма как бы прислушивается к той, сокровенной, обмениваясь с нею короткими сигналами

«Проклятая жизнь!» — жалуется Иван Дмитрич Громов. «Несчастливая горькая жизнь!» — вторит ему спившийся лакей по прозвищу Сорок Мучеников («Страх»). «Жизнь проклятая!» — произнес следом за ними полуразорившийся станционный буфетчик «и ударил колбасой о пол» («Убийство») ... Казалось бы, все ясно и просто: вот оно, чувство отчаяния и протеста, а вот напитанное им открытое, резкое слово. И где тут укрыться невяному смыслу? Но невянные смыслы рядом — в рефлексиях персонажей, смущенных загадкой «всей жизни». И открытое слово-восклицание наэлектризовано этими смыслами.

В чеховской прозе внутренняя тема свободно перетекает из прежнего сюжета в новый, формируя повествовательные циклы. Завершена история узников палаты № 6. Следующий по времени публикации (декабрь 1892) рассказ озаглавлен «Страх».

Ни докторов, ни больничных палат, похожих на казематы, ни философических диспутов здесь нет. А есть обманутый муж, неверная жена и соблазнивший ее друг дома, он же лицо повествующее. И еще есть страх, гнетущий образцового, на посторонний взгляд, семьянина Дмитрия Петровича Силина. Не психоз, как у Ивана Дмитрича Громова, страдавшего манией преследования, а затяжная оторопь мысли, изъясная мировосприятия, при котором все причинные связи — в тумане.

Вспомним: перед героем «Соседей» маячил невнятный образ «всей жизни»; доктор Рагин, почитая жизнь «ловушкой», находил отраду в келейном ее «уразумении». Силин, по его словам, «болен боязнью жизни». Персонажи трех смежных рассказов из своей уездной глуши высматривают единый порядок бытия, пробуя самоопределиваться в этой системе.

Что до рассказа «Страх», то за ним среди истолкователей чеховской прозы закрепилась мрачноватая репутация, гармонирующая, впрочем, с колоритом заголовка и самооценками помещика Силина. Рассказ воспринимается как густой экстракт, или, по характеристике новейшего исследователя, «своего рода квинтэссенция мыслей и настроений отчужденного человека», произведение, где «действительность изображается... окрашенной в один определенный тон»¹.

¹ В. Я. Линков. Художественный мир прозы А. П. Чехова. Издательство Московского университета. 1982.

Да, признания Дмитрия Петровича и в самом деле угнетающе однотонны: «Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизни», «Мне все страшно», «Никого и ничего я не понимаю» и т. п. Но стоит ли безоглядно доверять словесному автопортрету героя? Разве нам не приходилось наблюдать, как чеховские интеллигенты и в покаянии немного прихорашиваются, стараясь даже слабости свои подать порельефнее?

Тут не фальшь или корысть и не «пыль в глаза», а сложная смесь исповедальности с лицедейством, искренняя заявка на роль, которая была бы увлекательней будничной.

Характерно, что ипохондрик Силин после своих мрачных излияний заметно повеселел и долго, со вкусом распространялся на отвлеченные темы («Он философствовал с удовольствием», — комментирует рассказчик, нарушая тем самым «один определенный тон»).

Страхи Силина, конечно, не выдумка, но при всем том — примета незаурядности, ампула, возвышающее героя над рутинной быта (впрочем, каждый второй чеховский интеллигент — мастер театрализации собственной судьбы). А вот кто по-настоящему испытал ожог страха, так это друг дома, повествователь, не привыкший ничего усложнять и предаваться рефлексиям. Новичок в этом деле.

Когда после негаданного любовного приключения, признаний, ласк Марии Сергеевны он возвращался из усадьбы Силиных, то пробовал прийти к какой-то ясности («Зачем я это сделал?»). Но так и не пришел. «Страх Дмитрия Петровича, который не выходил у меня из головы, сообщился и мне. Я думал о том, что случилось, и ничего не понимал. Я смотрел на грачей, и мне было странно и страшно, что они летают...»

Да, тут и впрямь оторопь духа, смущенного неразберихой «всей жизни».

В одной из глав книги В. Линкова читаем: «У Чехова жизнь как время пребывания человека на земле становится самостоятельным предметом искусства». Верно, становится. И когда персонаж пропускает ее сквозь фильтры своих «страхов» либо хронического «непонимания», то восприятие персонажа не подчиняет себе логику текста, не давит на него, ибо оно — внутри авторского кругозора, подконтрольно общему строю авторской речи. И если развязка очередного сюжета ничего отрадного персонажу не сулит, тупиковых ситуаций не разрешает, то для внутренней темы все финалы разомкнуты.

Повторим: сама неспешность повествовательных ритмов (без переломов или сбоев даже на драматических участках действия), ровность тона говорят о том, что до главных итогов далеко и перспектива движения открыта.

Художественная мысль Чехова, втягиваясь в новеллистическую форму, не просто дисциплинирует себя условиями жанра, его краткостью, но и преодолевает краткость... людских отношений, ограниченных рамками сюжета, застойность бытовых и духовных укладов. Преодолевает, раскупоривая замкнутые мирки, налаживая сообщение между ними.

Этот труд преодоления оставляет свой след в поэтике Чехова. Живет в ней как образ.

Вернейший знак его присутствия в тексте — особая наэлектризованность слова «жизнь». Произнося это слово, персонажи чаще всего нервно поеживаются и мрачнеют.

Признание молодого художника из «Дома с мезонином»: «Меня томило недовольство собой, было жаль своей жизни, которая протекала так быстро и неинтересно...»

«Быстрый» и «неинтересный» ход своей жизни он наблюдает горестно и отстраненно.

«Моя жизнь» — названа повесть, написанная сразу же после «Дома с мезонином» (середина 1896 года). Центральное лицо повести, Мисаил Полознев, пробует сам строить собственную судьбу, критически оценивая при этом, что же у него выходит, и, по примеру художника из «Дома с мезонином», проводя взглядом убегающее время.

Есть в исповеди Мисаила характерный акцент: «Особенно же смущала меня мысль, что жизнь моя осложнилась и что я совсем потерял способность управлять ею, и она, точно воздушный шар, уносила меня бог знает куда». Мисаил настаивает: моя жизнь, разумея свою ответственность за нее и право распорядиться ею соответственно достоинству этого уникального дара, то есть не бездарно

Вспоминается Иван Дмитрич Громов, объяснявший доктору Рагину, «как именно тот «старался складывать» свою жизнь В самой лексике («управлять», «складывать») — чисто чеховский поворот капитальной темы «Человек и его предназначение».

Великие предшественники Чехова наблюдали общественно возбужденного человека, который если и отлучался с многолюдного форума, то не переставал слышать его

гол. Отлучаться он мог ради уединенной работы познания или вынашивания, последней шлифовки своих честолюбивых планов, но, даже уединяясь, был неотрывен от многолюдства, внутренне связан с ним, намагничен его токами.

Чехову же выпало наблюдать размагниченного человека 80—90-х годов, который, не слыша властных целеуказаний извне, сбит с толку и не знает, как распорядиться собой.

Недаром персонаж «Чайки», доктор Дорн, на вопрос о том, что ему больше всего понравилось за границей, отвечает: «Уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически...» Тут слышна нота ностальгии по тем временам и гем душевным состояниям, когда человек психически сливался с многолюдством. Теперь же личная судьба, удел, «моя жизнь» вдруг обратились в груз, который надо по-бурлацки куда-то тянуть («Жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф», — замечает одна из героинь той же «Чайки»). Куда?..

Толстовские правдоискатели, поднимая глаза к небу, разгадывая тайны бытия, шли наперекор властным течениям, напрягались духовно, дабы сохранить широту обзора и подотчетность большому Времени. Конвульсивные мыслители Достоевского пуше всего оберегали свое душевное «подполье» от любых властных течений (как бы волной не захлестнуло!) либо готовились управлять ими. Персонажи Чехова, оказавшись на отмели, затосковали: сознание стало цепляться за убегающее время, молодое чувство — равняться на старческий опыт.

Жизнь, изменив своему жесткому, распорядительному характеру, обрушивала на человека необычный вопрос: «Как приспособить себя к ней, а ее к себе?»

Вопрос не предполагал ни острого и напряженного правдоискательства, ни трагического разлада с основами мироустройства. Он предполагал озадаченность, затяжное недоумение (как ухватить объект познания?), склонность к попятным или пробным шагам, ибо плохо видна цель и повсюду чудятся тупики. Вот текущая неведомо куда Жизнь, а вот оставленный на собственное попечение человек весь в работах о самсопределении — такова чеховская ситуация. Внешне как будто ненапряженная, внутренне конфликтная и в основе своей — испытательная.

3

В мире Чехова не проводится никаких принудительных операций над персонажем для выявления его человеческой сущности. Ни мор, ни глад, ни вражеское нашествие не создают критического давления на душу и не требуют мгновенного выбора: жизнь или смерть, честь или бесчестье, торжество разумной нормы или всесветный хаос.

Тянутся чередой дни-близнецы, а между тем человеку все трудней управляться с самим собою. Его томит непредсказуемость собственных запросов, анархия и сбивчивость чувств. Волей-неволей он учится понимать их своенравие, подлаживаясь под них, обходясь с ними, как с капризными постояльцами. И если герою вдруг наскучило чье-то общество, он не предлога удобного ждет, чтобы встать и откланяться, а... «подходящего настроения» («Моя жизнь»), так как боится резким движением выбить себя из колеи.

Удел этих героев — рассеянный, ползучий кризис души, при котором растет чувство отпадения от общей жизни и та видится как бы со стороны — то путаницей водорослей, то коварной ловушкой, то чужей-то завтрашней радостью.

У великих предшественников Чехова высокий накал или жар сюжетных коллизий был поощрен и обеспечен материалом, который готов вспыхнуть, как порох. Продолжая это сравнение, можно сказать, что у Чехова прекрасно горели и сырые дрова.

В одной из ранних своих статей с характерным названием «Безвременье» Блок писал о людях исторического промежутка, идущих «путями томления»: «Как бы циркулем они стали вычерчивать какой-то механический круг собственной жизни, в котором разместились, теснясь и давя друг друга, все чувства, наклонности, привязанности».

В подобных условиях резервные силы духа и воли мобилизуются не для отпора внешним угрозам, а для преодоления внутренней «давки», тесноты «механического круга». Насколько велика надежность, какова работа резервных сил, которым неоткуда ждать подмоги и поощрения (на дворе — «безвременье»), — один из коренных чеховских вопросов. Полоса душевных кризисов оказывалась на поверку испытательной полосой, где угрозам распада способна противостоять энергия самоорганизации.

Интерес к этому скрытому противостоянию с течением десятилетий не слабеет ни в искусстве, ни в жизни.

Конечно, путь Толстого и Достоевского к новым поколениям читателей прослеживается проще, нежели чеховский: очень многое в трудном опыте XX века было предугадано ими, да и высота их духовных призывов, напряженность пророческого слова отлично согласуются с характером этого опыта. А чеховское негромкое слово, окрашенное в тона грустной иррациональности, как будто не слишком согласуется. Как будто...

Но именно Чехов яснее всех своих предшественников рассказал XX веку о заботах и тяготах индивидуума, обреченного на труд самоорганизации, а заодно — об очень властном процессе, который можно обозначить как неуклонное разрушение типажности. Чеховский герой, озадаченный собственной сложностью, никак не уместается в рамках традиционного понятия «тип». Любое готовое амплуа, заданный обычаем стандарт поведения для него что платье с чужого плеча: жмет или висит как на вешалке.

Вынужденный среди переплетения дорог искать свою тропу, поминутно улаживая при этом запутанные отношения с самим собой, он разглядывает мир из глубины своей разросшейся индивидуальности. И болезненно морщится, читая в чьих-то глазах ее непризнание.

«Уберите от меня этого сумасшедшего!» — зывал профессор Серебряков к домочадцам в разгар ссоры с Войничким. «Ты не сумасшедший, а просто чудак... — услышал Войничкий от доктора Астрова в следующем акте пьесы. — Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения что нормальное состояние человека — это быть чудачком».

Речь Астрова — о нормальном «чужачестве» дяди Вани, который вдруг отказался усреднять себя сообразно своему жизненному месту и роли. О себе вспомнил, об ушедших годах и растраченных силах. И, минув промежуточные рубежи, вышел на очную ставку с Жизнью. А у нее к нему — особый счет, который вчерашнему кумиру Серебрякову не переадресуешь... Такого рода «чужачества», очные ставки и глобальные рефлексии приобрели после Чехова исключительную популярность в искусстве.

Причины тут самые разные. И, видимо, на одном из первых мест — новый, тревожный статус человеческой жизни (и жизни человечества) в эпоху истребительных мировых войн, острого экологического кризиса и небывалых угроз миру со стороны реакционных режимов. Живой мир

непривычно уплотнился. Величавый, царственный лик Жизни стало возможным разглядывать как бы через уменьшающие линзы. То есть стало возможным для вполне уравновешенного сознания. Но полной уравновешенности мешает тревожный фон: и сам по себе нынешний мир крайне неспокоен, и велико давление прошлого. Не столь отдаленного прошлого, которое врезало в нашу память картины нацистских изуверств, когда не разрешенную (идеологами фашизма) жизнь искореняли планоно, педантично и узники третьего рейха день за днем каждой клеточкой ощущали свою отторженность от нее.

Советская проза о войне сохранила для нас этот особенный ракурс удивления, нет — ошеломленности тем, как вдруг отдалается, откатывается от человека жизнь, когда он поставлен за черту, числится незаконно живущим (сошлюсь хотя бы на книги В. Семина, А. Адамовича, К. Воробьева, В. Козько)... Короче, у нынешнего читателя немало поводов отвлечься от ближайшего счета ценностей, дабы вобрать в свой кругозор широкое движение Жизни.

Наша великая литература, умевшая видеть далеко вперед, активно поощряет такую работу души. Совсем не случайно классикам минувшего века отводится почетное место в сегодняшних гуманитарных спорах. Чехову — в частности.

По ходу широкой дискуссии на страницах «Литературного обозрения» о закономерностях литературы XX века отмечалось, что искусство нашего столетия обязано Чехову «новым качеством психологизма» (А. Зверев). К авторитету Чехова обратились и авторы дискуссионных выступлений, публиковавшихся «Литературной газетой» под традиционной рубрикой «Литература и нравственность».

Одному из них, прозаику Р. Кирееву, Чехов видится прямым восприимчиком художественных заветов Пушкина, умевшим, подобно Пушкину, воздействовать на читателя исключительно силой поэтических аргументов, то есть не прибегая к открытой проповеди (см. «Другая жизнь людей». «Литературная газета» от 18 апреля 1984 года). Лишь одно из произведений позднего Чехова стоит, по мнению Р. Киреева, особняком, ибо содержит в себе некий назидательный итог. — рассказ «Жена» (1892).

Между тем в произведении этом с особенной отчетливостью выразилось именно «новое качество психологизма», унаследованное позднейшим искусством, вообще выразились черты чеховского метода. Не случайно Бунин, составляя свой знаменитый

список лучших вещей Чехова, включил туда и рассказ «Жена». Так нравоучителен ли его финал?..

Прочитываем для начала исповедальные слова героя рассказа о сердечной привязанности, которую он испытывает к своей законной супруге: «Я скучаю по ней, как когда-то в детстве скучал по матери и няне, и чувствую, что теперь, под старость, я люблю ее чище и выше, чем любил прежде...» Такое признание способно притупить нашу этическую бдительность. Но продолжим цитату до точки: «...люблю ее чище и выше... и поэтому мне хочется подойти к ней, покрепче наступить ей каблуком на носок, причинить боль и при этом улыбнуться».

Инженер Асорин, он же лицо повествующее, — человек крайне несимпатичный: сухарь, сутяга, «скиф» (по характеристике его жены). Такова репутация Асорина. И он носит ее на себе, словно панцирь.

А что под панцирем? Рефлексия и моральное самоедство, тоска одинокой, раздерганной и безупрочной души, для которой дурная репутация, какая ни есть, да определенность — некий противовес внутренним шатаниям и разброду чувств. Как и во многих чеховских вещах, речь идет о дезорганизованной сложности, которую раскачивает на зыбях безвременья, а способных унять качку у нее нет, и надежного причала не видно. Зато ей отлично видна собственная неустроенность, и взгляд от себя она почти не отводит.

Персонаж Чехова — страдающий эгоцентрист. Вынужденный возиться с собой, поминутно врачевать свои душевные садины, он натренирован в чутком отношении к себе. И со стороны близких ждет той же чуткости. А не дождавшись, тем паче получив вместо ласки обидный пинок, способен тут же настроиться на месть и расплату: пусть получше поймут его боль, когда испытают собственную («...покрепче наступить ей каблуком на носок...»).

Персонажи рассказа, муж и жена, обращенные каждый в себя, изредка аукаются в тумане. Вернее — перебраниваются. Оба уже овладели культурой самонаблюдения, отзывчивы на тончайшие свои запросы, но туго воспринимают запросы и призывы другого. Такова фаза, на которой Чехов застает среднеинтеллигентного современника, принужденного строить свою личность наугад, по наитию и протаскивать себя через глухие годы.

Но где же тут ноты моральной проповеди? На каком полезном выводе нам, чи-

тателям, успокоиться?.. Сказав «успокоиться», ловишь себя на невольном заимствовании: слово это из лексики инженера Асорина. Припоминаем: все начинается с большого для него беспокойства, а заканчивается покоем. Из нормальной колеи выбила инженера активность супруги, занявшейся сбором средств для голодающих, а желанное успокоение настало после взаимных выпадов, пикировок, когда инженер, не гнева больше жену, сам принялся помогать бедным.

Такая концовка представляется притчевоназидательной не одному Р Кирееву, а порою и авторам капитальных работ о Чехове. Но благополучие финала обманчиво.

Не случайно ведь внутренним слухом Асорин неотступно следит за переменной своих состояний: покой — беспокойство — покой. Устав от одиночества, душевного бесприютства, он ради мира в душе и в доме готов все имущество раздать: срок разорения настанет когда-то, а покой дорог сейчас (по той же логике помещица Раневская откупится от попрошайки-прохожего золотой монетой, хотя сама давно живет в долг).

Торжества добродетели нет. Финал открыт. За ним — перспектива новых «беспокойств». И читатель поощрен не к вынесению однозначных «виновен» или «заслуживает снисхождения», не к суду — больше к рассуждению. По ступенькам художественных мотивировок он вынужден взбираться, не касаясь перил. Нет привычных размежеваний: корысть — бескорыстие, жестокость — доброта. Путеводны для нашего морального чувства не сюжетные обострения и переломы, а общий тон повествования, особый наклон слова в сторону душевного парадокса, путеводен стиль как носитель ценностного содержания.

А притча об исправлении плохого человека, значит, чистейший мираж? Фантом читательского восприятия? Нет, не мираж и не фантом, а нормальная легенда о случившемся. Простейшая версия, внутри которой (и вопреки ей!) напрягаются скрытые линии этой истории. Примерно так же незагубленная человечность Асорина ведет подспудную жизнь внутри его готовой репутации.

Герою рассказа бросают в лицо — «скиф», «эгоист, ненавистник», «ничтожный характер», а он корчится от бессилия как-то упорядочить себя и объяснить свою правду другому. Устав от нескончаемых перепалок, жена избегает его, а он с не-

приличной назойливостью ищет продолжения споров. И то, что может выглядеть психической аномалией, страстью к мучительству, на деле — вывернутая потребность в общении с женой, поминутное желание видеть ее красивые волосы, лицо, слышать любимый голос. Асоринным тяготятся, уговаривают его уехать куда-нибудь с глаз долой, и он уезжает, но с полпути возвращается: тяга назад неодолима². Тяга к жене? Утвердительный ответ был бы верен лишь отчасти.

«Из миллионной толпы людей, совершавших народное дело,— размышляет Асорин,— сама жизнь выбрасывала меня, как ненужного, неумелого, дурного человека». Рамки, казалось бы, камерной истории об отношениях мужа и жены раздвигаются. В ряду трудных вопросов персонажа к самому себе: верно ли, по совести ли поступаю? прав я или виновен перед близким человеком? — тесня их, появляется сверхтрудный вопрос: каков я по отношению к народному делу и перед лицом Жизни?

Такие переходы от вопросов трудных к сверхтрудным, их скрытое взаимодействие для чеховской поэтики — норма.

В отличие от Болконского, Константина Левина, Раскольниковова, Ивана Карамазова чеховские асорины, рагини, ивашины, полозневы, конечно, не самобытные мыслители, не персонажи-идеологи. Но на их примере видно, как глобальные проблемы «личность и народ», «календарное время и протяженность Времени», «моя жизнь и общая Жизнь», переставая быть уделом избранных, высокоодаренных натур, демократизировались историей, исподволь ориентировали души (теоретический разум тут на вторых ролях, основная работа достается душе) уездных докторов, юристов, земских деятелей и т. д.

Чеховские герои, многократно обруганные энергичной критикой за безволие, нытье, расслабленное прожектерство, ныли и безвольничали совсем не без смысла. Непривычными руками они пробовали поднимать груз безуховских, левинских вопросов, примеривались к строгому труду духовного освоения Жизни, для которого у последующих поколений появятся новые властные стимулы.

² Заметим: такие чеховские персонажи, как Асорин, доктор Рагин, Шамохин («Ариадна»), Подгорин («У знакомых»), с самой идеей пути не в ладу. В дороге или отлучке им и тоскливо, и маетно, и ничто глаз не радует, и вернуться таяет. Каждому из них удобней одолевая внутреннюю смуту, не двигаясь с места.

Необычная роль отводится в чеховском искусстве разного рода логическим построениям. Персонажи адресуются друг к другу (а иногда и к неодушевленным предметам) с философскими или публицистическими монологами, произносят устные трактаты о тайнах женской души, исчезновении в России лесов, преимуществах старческого пессимизма над юношеским, о связи гуманитарных наук с науками точными, о литературе живописи, педагогике, садоводстве и, конечно, о будущем, о нем — больше всего.

На основе таких монологов и диалогов выросла не одна гипотеза об идейной позиции писателя, который «хотел сказать» то-то и то-то. Между тем авторитетное слово персонажа живет по законам контекста и редко бывает равно самому себе.

Вот вчитайтесь: «За пасьянсом мы решаем разные вопросы, преимущественно высшего порядка». Следующее далее рассуждение об упадке науки о судьбах человечества как бы взято в иронические кавычки («Скучная история»).

Или: «Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем».

Тузенева. Давайте. О чем?..» После такого вступления согласная медитация персонажей драмы «Три сестры» о «новой счастливой жизни», которая настанет «через двести — триста, наконец, тысячу лет», приобретает привкус дежурного блюда.

Не странно ли? Ведь медитации о будущем в основе своей серьезны. И для чего автору пьесы понадобилось расхолаживать зрителя репликой о чае?..

У великих предшественников Чехова серьезный персонаж о важных вопросах и рассуждал серьезно. И если Иван Карамазов «выдумал» поэму о Великом инквизиторе, то «с жаром выдумал», выразив ею свою заветную мысль, да в значительной степени — и авторскую. Что до философствующих героев Чехова, то среди серьезных монологов либо теоретических прений они могут вдруг приложиться к графинчику, или невпопад засмеяться, или промурлыкать какой-нибудь мотивчик, или прослезиться, или тревожно поглядеть на часы.

Ясно, что умственная диалектика для них дело, в общем-то, побочное. Тем не менее в суждениях своих эти герои бывают точны, пронизательны, подчас афористичны. А по ряду вопросов они даже единомышленники автора (персонажам случается

почти дословно «цитировать» письма Чехова).

Правда, на суждения меткие и толковые у них обычно наслаивается ворох троизмов, легковесных доктрин собственного сочинения. Получается пестрый конгломерат из риторики, дельных мыслей и любительских полукровок.

Техникой мышления философствующих персонажей Чехова вплотную занялся литературовед В. Б. Катаев (см. его книгу «Проза Чехова: проблемы интерпретации». Издательство Московского университета. 1979). И пришел к любопытным выводам. Например, о том, что в произведениях Чехова «самостоятельным объектом анализа... становятся познавательная деятельность человека, его ориентирование в действительности, представления о мире...». Далее тот же вывод усиливается: «Если Толстой мыслил о своих героях «в плане морально-психологическом», то Чехов мыслит о своих героях в плане гносеологическом».

Насчет того, как много значит у Чехова гносеологический «план», сказано справедливо. Только, слишком сосредоточившись на этом «плане», легко разминуться с Чеховым, ибо чеховский человек по сути своей не теоретик и не упорный правдоискатель. «Познавательной деятельности» он предается вполсилы и гораздо лучше обнаруживает себя в паузах между высокоумными разговорами, в рассеянном насвистывании, обрывочных междометиях и напевчиках, странных репликах типа «А, должно быть, в этой самой Африке теперь жарница...», чем в трактовке вопросов «преимущественно высшего порядка».

Предаваясь теоретизированию, он перекладывает на рассудок хотя бы часть груза, лежащего на душе. Разного рода рассудочные операции, выстраивание логических систем для него в немалой степени — психотерапия, отвлекающий маневр, бегство в логику и метафизику от душевных тягот.

Об инженере Ананьеве, герое повести «Огни» (1888), читаем: «По-видимому, он был равнодушен к отвлеченным вопросам, любил их, но трактовать их не умел и не привык». Между тем — трактует. И не столь уж сбивчиво. А вопрос, за который взялся Ананьев, как раз из сферы гносеологии: достаточно ли честно мыслит современный человек, российский интеллигент, не юлит ли перед собой, не потакает ли своим слабостям?

Да, обычно потакает, убежден инженер. И его сосредоточенность на «отвлеченном вопросе» говорит в пользу вывода В. Б. Ка-

таева о чеховском интересе к познавательной деятельности человека. Однако рассуждения инженера о мыслителях-«виртуозах», об усыпляющих. «наркотических» свойствах модного в ту пору пессимизма не бесстрастно аналитичны, не наставительны, а скорее исповедальны. И в сюжетном отношении — вспомогательны, ибо служат прологом к рассказу-признанию («целому роману с завязкой и развязкой») этого героя о своем давнем донжуанском походе, о молодой женщине Кисочке, которую он обольстил и предал.

Постепенно по ходу исповедального рассказа перестраивается повествовательный контекст повести. А еще вернее — выявляет свой истинный строй. Теоретический экспромт инженера был, как выясняется, его косвенным покаянием: за твердыми выкладками рассудка с самого начала скрывалось переживание. Боль совести. Рациональный тезис был иноказанием чувства. То есть прямое значение оставалось при нем, но за прямым значением проступали скрытые духовные планы. И по отношению к этим планам роль тезиса подсобна.

Логическое рассуждение по своей природе общительно, ищет внимательную аудиторию и готово за себя постоять. Душевная озадаченность, непокой совести намного более скрытны и широкой огласки избегают. В мире Чехова незащищенная душевность заключает временный союз с конструктивной логикой, как бы замыкая себя в готовый контур или примеривая удобную дисциплинирующую форму.

Помещик Алехин, рассказав приятелям историю своей любви к Анне Алексеевне Луганович, а вернее — историю своих затянувшихся колебаний («К чему может повести наша любовь?..»), заключает: «Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе» («О любви», 1898).

На первый взгляд — вот выстраданное убеждение, мудрость, извлеченная из горького опыта, а заодно — резюме, главный итог всей истории. Но итоговую сентенцию слушатели пропускают мимо ушей (и это у Чехова в порядке вещей: теоретические пассажи его героев-рассказчиков очень часто повисают в воздухе, мало трогая участников беседы, которым ясна некоторая декоративность и ритуальность таких пассажей), больше занятые красотой сельских видов, открывавшихся с балкона. Да и в тоне Алехина нет особого упора на «я по-

нял», а преобладает сердечная и печальная нота («Мы расстались — навсегда», «Я... сидел тут и плакал»).

Он совсем не похож на педанта мысли и достаточно умен, чтобы не возводить свои любительские откровения в ранг аксиом. И в образном строе новеллы итоговая сентенция Алехина — род интеллектуального орнамента к поэтическому и скрытому сюжету, где авторитетность рассудочных выкладок обманчива.

У Чехова, как легко убедиться, очень непрямые отношения с прямой рассудочной логикой. Если в дочеховском искусстве она зачастую вырывалась вперед, на открытую, даже ключевую позицию, то в искусстве Чехова ей вообще не дано права на лидерство. Ее работа — черновая.

Едва определившись как логика разъясняющая, твердая в ответах и заключениях, она вынуждена расступиться, чтобы пропустить художественную мысль дальше. Тут — скрытый спор мысли завершенной и мысли длящейся.

В октябрьском выпуске «Дневника писателя» за 1876 год Достоевский сетовал на самоуверенность российских «умников» и — шире — на «нашу русскую стремительность к обобщению»: «Какая прямолинейность, какая скорая удовлетворимость мелким и ничтожным на слово, какая всеобщая стремительность поскорее успокоиться, произнести приговор, чтоб уж не заботиться больше...»

Нечто подобное приходило в голову и чеховским героям. Например, инженеру Ананьеву, из повести «Огни». Популярность среди интеллигентной молодежи безбрежного, вселенского пессимизма, библейских изречений про «суету сует» он склонен объяснять мозговой ленью пессимистов, желанием увильнуть от серьезной духовной работы: «Наше же несчастье в том, что мы начинаем мыслить именно с этого конца. Чем нормальные люди кончают, тем мы начинаем. Мы с первого же абцуга, едва только мозг начинает самостоятельную работу, взбираемся на самую высшую, конечную ступень и знать не хотим тех ступеней, которые пониже».

Пафос этого рассуждения близок и самому Чехову, чья работа проходила под знаком отрицания духовной ленисти, попыток с нижней ступеньки познания сразу перескакивать на последнюю, а перескочив, укладывать широкий Мир в логическую схему — будь то либерально-народнические догмы Лиды Волчаниновой («Дом с мезонином»), теория доктора Рагина о жизни-«ловушке», новые вариации на те-

му «суета сует» или рассуждения фон Корена об «улучшении человеческой породы» («Дуэль»).

Чеховскому персонажу, однако, бывают тесны рамки облюбованной им доктрины. Обзавелся он ею наспех и способен одуматься.

Такое несовпадение персонажа с его догматом кое-кому из современников Чехова казалось странным. Когда по выходе в свет повести «Дуэль» (1891) началось ее публичное обсуждение, писателю пришлось выслушать немало упреков и недоумений по поводу якобы «произвольной» развязки. Речь шла прежде всего об одном из дуэлянтов, зоологе фон Корене, энергичном стороннике идеи уничтожения «хилых и негодных», который в конце повести пересмотрел свой догмат, протянул руку прежнему противнику Лаевскому. Или скажем так: спустился с последней ступеньки познания, почувствовав ее опасный наклон да и шаткость остальных ступеней, приведших его к зловещей доктрине.

В начале повести фон Корен словно бы принимал эстафету от тех героев Достоевского, кто склонялся к отмене моральных запретов, делил человечество на высший и низший разряды и разрешал себе «кровь по совести». Но и в начале заметна разница: мысли зоолога как будто те самые или близкие к тем, а душевный настрой не тот. Есть идейный запал, но нет детонации, нет того мрачного азарта, той нервной дрожи, болезненной взвинченности, какие отличали героев Достоевского, придавленных экстремальной «идеей». В отличие от них чеховский зоолог не сжигал за собой мосты.

За его умственной предрвзятостью и логическим напором оставался некий резерв душевной непредвзятости, который и обнаружил себя поближе к финалу. И как раз фон Корен в заключительном эпизоде первым произносит грустную фразу-рефрен: «Никто не знает настоящей правды».

Фраза эта многими истолкователями прочитывалась со смущением или протестом: не ставит ли автор под вопрос нашу способность положительно и твердо судить о предметах? А повод для подобных недоумений легко отыскивался и в других чеховских вещах. Ведь и «Огни» кончались тем же примерно рефреном — невеселым заключением героя-повествователя: «Да, ничего не поймешь на этом свете!»

И по поводу этого рефрена Чехов уже тогда выслушивал нотации от коллег-литераторов: мол, на то вы и художник-пси-

холог, чтобы толково объяснять непонятное³.

Но не о том шла речь у Чехова, что мир непостижим, а о методе постижения. Совсем не случайно слова «никто не знает настоящей правды» произносит именно фон Корен, очнувшийся от дурмана всеведения, и не случайно повтором «да, ничего не поймешь!..» завершается повесть «Огни», где столь отчетливо сказано о рутине всеведения и о привычке взбираться на верхнюю ступень познания, минуя нижние. Тут действует совсем не прямая логика. Крайность вытесняется крайностью: чем уверенней в себе, чем авторитетней холодная рациональность, тем настойчивей — в отпор ее авторитетности — звучит мотив «ничего не поймешь...».

Весь строй и сама органика чеховской мысли образуют прочнейший заслон против той «стремительности поскорей успокоиться, произнести приговор», о которой с горечью писал Достоевский. «Стремительность» не найдет для себя в этом заслоне ни малейших зазоров: ни однозначных развязок, ни просветительских сентенций, ни открытой патетики, ни морализаторства. У большинства прозаиков дочеховской школы финальный повтор «ничего не поймешь», и все тут — слова убежденного, как черным по белому написано: «не поймешь» и все тут — слова убежденного агностика. У Чехова они прочитываются иначе: «Ничего не поймешь, пока не научишься понимать!»

Чеховский человек обычно понимает медленно, ибо его не устраивает собственная торопливость. Проза умственной работы человека (ее рассудочная сторона) у Чехова — под неусыпным контролем поэзии. «Непонимание» в этом случае санкционировано поэзией и скрывает в себе волю к движению, обещание роста.

По творческому своему темпераменту Чехов не был ниспровергателем литературных канонов. И когда новизна задачи диктовала ему отход от традиции, он отходил от нее недемонстративно, сохраняя уважительный нейтралитет. Разве рассудочные выкладки, соображения, устные трактаты персонажей не имеют у Чехова собственного веса? Имеют, и подчас немалый. Но главная их служба — пропускать читательское внимание дальше, к психологической подоснове взглядов и поступков. Конструирующий ум при этом заметно урезан в правах (эстетических), но тем яснее

³ В письме к А. С. Суворину от 30 мая 1888 года Чехов весьма энергично отклонял такие призывы к разъяснительству.

пропускает внутренняя работа человека, которому за сеткой будничных дел стала открываться широта Жизни.

5

Один из персонажей Чехова, тоже принадлежащий к плеяде рассеянных правдоискателей, как-то раз додумался до очень важного вывода: смотреть на мир как на скопище «случайностей», «отрывков жизни» может тот, «кто свое существование считает случайным», а чтобы разрозненные явления или те же «отрывки» виделись частью «одного организма, чудесного и разумного», недостаточно лишь умозаключать, «надо еще, вероятно, иметь дар проникновения в жизнь».

Эти мысли молодого следователя Лыжина («По делам службы», 1899) интересны как своего рода автокомментарий Чехова-художника, для которого разрозненных «отрывков жизни» попросту не существовало!

Чуткость человека к переменчивым состояниям природы и бескорыстный интерес к чужой судьбе, по Чехову, — знаки причастности к целому — «чудесному и разумному». Следователь Лыжин, набредя на свою счастливую мысль, увидел будто при яркой вспышке всю судьбу и скромное подвижничество старика сотского, на которого он только что поглядывал свысока. Гуров из «Дамы с собачкой», пройдя через очищение любовью, первой настоящей любовью — к Анне Сергеевне, вдруг «почувствовал сострадание к этой жизни, еще такой теплой и красивой, но, вероятно, уже близкой к тому, чтобы начать блекнуть и вянуть...».

Еще раз напомним служебные, казалось бы, слова из «Палаты № 6», относящиеся к доктору Рагину: «Жизнь его проходит так...» Не день проходит — жизнь. И в «Даме с собачкой» — о Гурове: «...почувствовал сострадание к этой жизни». Не к этой женщине — к этой жизни. Сердечное сострадание персонажа поддержано думой о Жизни, заведенном ее укладе (заметим попутно, что «Дама с собачкой» написана вслед за рассказом «По делам службы», где шла речь о «даре проникновения»).

Но снова вернемся к мыслям следователя Лыжина о единстве Мира как «чудесного и разумного» целого и задержим внимание на чеховском искусстве детали.

...Плывет по морю пароход. Везет с Дальнего Востока несколько сот бессрочно отпущенных солдат и матросов. Качка. В судном лазарете скатилась на пол и зазвез-

нела кружка. «Ветер с цепи сорвался», — говорит один из больных («Гусев», 1890). Все как будто житейски непритязательно и заурядно. Заурядна и речевая фигура «как с цепи...», стершаяся от долгого употребления. Но тут же выясняется, что ветер и впрямь сорвался с цепей — толстых заржавленных цепей, которыми был прикован к стенам у самого конца света. Такова легенда, сложенная для одного себя больным солдатом Гусевым, тем самым, кто произнес слова о ветре.

А помимо ветра, каменных стен и цепей в голове больного проплывают другие видения — огромная рыбина, например, чей хребет вдруг да и проломит корабельное днище...

Сознание Гусева на свой манер перетолковывает мир. И свидетелей этой внутренней работы нет. Кроме нас и автора. А гусевские соседи по отсеку слышали от него будничную фразу о злом ветре, которая по житейской логике значит одно, по фантастической — иное, фразу переходную, связующую мир с мифом. И еще. Все слышали, как зазвенела упавшая кружка. Поднять, значит, надо. И только. А для нас, читателей, тут почти музыкальная связь: кружка со своего места сорвалась — ветер «сорвался»; кружка зазвенела, и цепи из гусевских видений, кажется, звоном отозвались.

Так и на малом участке повествования обнаруживает себя жизнь того чудесного «организма», о котором думал следователь Лыжин.

В чеховском искусстве действует закон круговых порук и тайных сговоров между миром человеческой души и миром неодушевленным. Тот и другой миры легко находят общий язык, подают друг другу сигналы близости. Завывание ветра, скрип ставен, колотушка ночного сторожа, голоса далеких колоколов здесь обычно звучат как музыкальная реплика к диалогам или внутренней речи персонажей.

Герой «Рассказа неизвестного человека» в ночную глухую пору слышит из-за стены тревожный женский голос: «Кто там?..» «И тотчас же на столе часы нежно пробили час ночи». Тут кончается глава, и нежный бой часов дал выход подспудной теме, сказал нам о чувстве героя-повествователя к женщине, чей голос секундой раньше прозвучал за стеной. Господство унылого серого колера в гостиничной обстановке, вид длинного серого забора против дома, где жила Анна Сергеевна, внезапно открыли Гурову глубину ее тоски, ее угнетенности здешним губерньским

прозябанием («Дама с собачкой», 1899)...

По этим рефлексам, отблескам переживаний, ложащимся на предметы, по этой отзывчивости предметов на подъемы или спады чувств легко узнается особый склад чеховской поэтической речи. Но за системой тонких лирических мотивировок, игрой эмоциональных оттенков встают широкие планы чеховской мысли — о бескрайнем и целостном Мире, о человеке, совершающем свой недолгий путь посреди этой бескрайности...

Вот в новелле «Гусев» сразу же после экспозиции вспыхивают и струятся фантастические образы рыбьих-горы, заржавленных цепей и т. д. А если заглянуть в конец? Финальная картина опять же легендарна и выполнена словно бы великаньей кистью: мертвое тело Гусева, соскользнув с борта по наклонной доске погружается в волны; вокруг тела, зашитого в парусину, зигзагами снуют стайки рыб, затем под него подплывает акула...

Но чье же столь обостренное воображение отнимает у моря его тайну, ведет, говоря сегодняшним языком подводную съемку? Загадка. А наверху тем временем из-за облаков появляется зеленый луч, потом фиолетовый, золотой, розовый. «Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные...» Да ведь это редкостной красоты реквием по усопшему, выдержанный в тонах трагического мажора!

Но где живая душа, сумевшая так соединить, а соединив, на свой лад дорисовать все увиденное? Лазаретных собеседников Гусева уже нет в живых. Их тела отданы морю. И ближе к финалу мы остаемся с глазу на глаз с художником, чья воля волшебным образом примирила краски неба с красками океана. Но ведь и солдат Гусев не исчез без следа. Финальная картина памятлива и возвращает нас к началу, к тем фантастическим образам — надводным и подводным, что струились в сознании солдата Гусева. Слово повествователя взаимодействует с уже отзвучавшим словом персонажа, сохраняя свое старшинство. И такое взаимодействие — важная черта художественной системы Чехова.

Вообще на долю чеховских персонажей выпадают моменты тесного поэтического содружества с художником, когда впечатление, закрепленное в пластическом образе, ритме, интонации, внеперсонально и голос автора как бы сливается с внутренней речью персонажа.

То место рассказа «Страх», где помещик Силин посвящает приятеля в тайну своего угнетенного духа, открывается картиной сельского вечера. На землю опускались сумерки, а над рекой и прибрежными лугами бродили «высокие узкие клочья тумана». Они заслоняли отражение звезд в воде, цеплялись за ивы. Деревья, выглядывая из туманной пелены, «каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились...». Тот же самый мотив возобновится и перед развязкой «Я взял трость и вышел в сад. Тут уж подымался туман, и около деревьев и кустов, обнимая их, бродили те самые высокие и узкие привидения, которых я видел давеча на реке. Как жаль, что я не мог с ними говорить!»

Автор прямо-таки по-царски щедр к своему герою-повествователю, наделяя его преимуществом обостренного поэтического зрения. Заслужен ли героем столь щедрый дар? Человек он по всем признакам поверхностный, покладливый, в делах амурных себе на уме и верного шанса не упустит (через минуту после своих лирических прозрений вернется в дом приятеля, чтобы соблазнить его тоскующую жену), в мыслях мелок и увертлив, из признаний Силина извлек удобный для себя вывод: раз жизнь страшна, «бери все, что можно урвать от нее».

И такому-то селадону дано увидеть через некий магический кристалл игру тумана и темных деревьев в саду? Дочеховской традиции подобное не предусмотрено...

В письме Суворину, написанном сразу по возвращении в Москву из сахалинского путешествия (9 декабря 1890 года), письмо горячее, взволнованно-доверительное, Чехов итожит: «Хорош божий свет. Одно только не хорошо — мы». Тут же этому «мы» крепко достается за разрыв между словом и делом, благим порывом и нелепым результатом...

Да, «хорош белый свет», открытый взору чеховского героя. И своей нерукоотворной гармонией оттеняет его внутреннее несовершенство.

Но в художественной практике Чехова «Божий свет» и «мы» не разведены так резко по полюсам, как в цитированных строках из письма. Соотношение «хорошо — не хорошо» подвижно. И души чеховских героев совсем не глухи к «божьему свету».

Не случайно суетный повествователь из рассказа «Страх» выделен симпатичной

чертой восприимчивости к прекрасному и загадочному в мире. И бывший денщик Гусев — тоже.

Попробуйте подойти к Гусеву с привычными моралистическими мерками: какие в этом персонаже преобладают свойства — похвальные или дурные? Вряд ли получится что-нибудь путное. То достоинство в нем проглянет, то рабская приниженность, то ум, то бездумность; то он за деревенскую свою родню душой болеет, особенно за ребятишек, то ему вдруг «скучно» становится и нападает охота избить кого-нибудь до крови, китайца («манзу») по шее смазать (в прежней практике Гусева подобное случалось).

В целом смутный он человек, Гусев, путанный и беспорядочный: к какому краю наклон, туда и скатывается. С одной стороны, жертва социальных условий, навязавших ему, крестьянину, ступальную лакейскую службу за многие гысячи верст от дома, с другой — выученик мордобойной системы, готовый выместить свою приниженность на том, кто еще больше принижен.

Но вот и «манзу» по шее смазать сил нет, близится последняя черта, предел безотрадной этой судьбы. И перед самой чертой повлекло гусевскую душу выбраться на свет и, оглядевшись, свести в одну сказочную картину весь видимый, да и заочный Мир — чтобы тот не дробился на части. Произошло рождение духовной формы, внутреннего порядка — вопреки смуте, царившей в душе героя. Такова новеллистическая завязка.

Народившаяся форма, мирообъемлющий душевный жест героя как раз и делают его незримым участником возвышенно-поэтической концовки, где преломлены гусевские фантастические видения и где в обортонах авторской речи вновь оживает внутреннее слово персонажа. Патетикой прощания с ушедшим, который века своего не дожил и Миру открыться не сумел, поощрен союз авторского голоса с голосом персонажа.

А в рассказе «Страх» столь властного поощрения нет. И в других вещах, тематически близких к этому рассказу, — тоже. Тем не менее их персонажи на какие-то минуты как будто перерастают самих себя, получая высокую привилегию думать и чувствовать заодно с автором.

Минуты эти, правда, скоротечны и служат персонажу наградой за сбереженную им остроту духовного зрения — то самое свойство, которое молодой следователь Лыжин обозначил как «дар проникновения в

жизнь». Достается ли он кому-нибудь одним большим слитком и в бессрочное обладание, столь завидный дар? Среди чеховских персонажей такого удачника нет. Зато много полуудачников, чей разум или интуиция работают избирательно и от случая к случаю, не столько движутся (от загадки к разгадке), сколько снуют либо находят для себя одну, но постоянную отдушину посреди всегдашней их смуты и моральной раздерганности.

Вспомним сумрачного Якова Бронзу, гробовых дел мастера, которому верой и правдой служила скрипка, удерживая его на последней грани одианья («Скрипка Ротшильда»); или того же героя-повествователя из рассказа «Страх», столь чуткого к переменчивым состояниям природы; или чиновника Грузина, натуру рыхлую, ленивую, с наклонностями попрошайки и приживала, который однажды тронул в рассеянии клавиши рояля, а потом «с чудесным выражением сыграл две пьесы Чайковского» («Рассказ неизвестного человека»), причем рассказчику этой истории представляется чудом, что человек, которого он «привык видеть среди самой низменной нечистой обстановки, был способен на такой высокий... подъем чувства, на такую чистоту».

Тут природная одаренность персонажа открыта нам одной лишь гранью. Остальные не отшлифованы и к свету глухи.

Чеховский персонаж чаще всего — нерадивый хранитель своей одаренности. Наружу она прорывается помимо его воли, вопреки рутинным навыкам или нескладному характеру.

Ни толща предрассудков, ни дурной, «скифский» характер не помешали инженеру Асорину ощутить глубину народной правды: темнота, неразвитость солдата Гусева, груз усвоенных им казарменных привычек не погасили волшебных образов, вспыхнувших перед ним напоследок, а духовная рассеянность следователя Лыжина все же отступила перед внезапной его пытливостью и счастливой догадкой: «В этой жизни... все полно одной общей мысли, все имеет одну душу...»

А готовые репутации? Они не менее важны, чем указательные вехи на том месте, где предстоит разыскивать скрытое.

Соседом солдата Гусева по судовому лазарету был желчный и многоречивый больной — Павел Иваныч. Если подходить к нему с обычными житейскими (и литературными) мерками — «ничтожный характер»: с окружающими высокомерничает («Вы люди темные, слепые... Парий...»), о

себе отзывается с горделивым пафосом: «Я живу сознательно. я все вижу, как видит орел или ястреб, когда летает над землей...» И отлично к тому же знает, какая о нем ходит молва: «Все знакомые говорят мне: «Невыносимейший вы человек. Павел Иванович!» Горжусь такой репутацией. Прослужил на Дальнем Востоке три года, а оставил после себя память на сто лет: со всеми разругался».

Браг он себе, что ли, Павел Иванович.— за дурную славу держится и в меру сил ее укрепляет? Вопрос был бы вполне законен при условии, что персонаж рассказа неотделим от своего характера, тождествен ему. Но тождества нет. И спрашивать надо иначе: «А зачем она сейчас понадобилась герою, столь нелестная репутация?» Ответа как будто нет. И он есть — в атмосфере повествования, его художественной логике.

А логика эта неожиданна: Павел Иванович укрепляет, взбадривает себя своей нелестной славой, заслоняется ею от смерти, уже подступившей вплотную. «Это можно назвать жизнью»,— на победной и жалкой ноте завершает он свою тираду-вызов, братаясь напоследок с Жизнью.

Так снимается видимая, застывшая «определенность» персонажа, которому у Чехова гарантировано неискаженное («репутацией», то есть взглядом снаружи) и неурезанное понимание.

Современники, ожидавшие от Чехова строгой прорисовки характеров, пользовались мерками привычной им поэтики. Между тем Чехов писал человека, либо не успевшего духовно развернуться (Гусев, Яков Бронза), либо находившегося в разладе со своим характером, который ему тесен, буквально по швам ползет, не вмещаая его разросшуюся индивидуальность.

За неимением лучшего чеховский интеллигент порой отступает под защиту собственного характера или готовой репутации, утешая себя их определенностью. Но любая найденная им определенность (включая сюда определенность и четкость его логических выкладок, любительских доктрин, футлярных правил) нетверда и ненадежна. А что же надежно?..

Надежное приходится извлекать из-под спуда. Сама поэзия чеховской прозы есть поэзия высвечивания и поощрения той силы, которой владеет удрученный своими слабостями персонаж.

Кажется, чеховский рассеянный человек разминулся с самим собою — сосредоточенным, внимательным к жизни. Либо ненадежно обронил свой дар, и его тянет

вернуться, поискать оброненное (между прочим, эти персонажи и впрямь постоянно разыскивают какие-то потерянные ими предметы, недоумевая по поводу своей забывчивости). Но дар при нем, только не ухожен. И те минуты, когда он самочинно напоминает о себе, отзываются в поэтике Чехова вспышками лирического согласия между автором и персонажем.

Вокруг этих минут сюжетное время уплотнено. Тут его центр. И динамика сюжета поощрена скрытой энергией все того же дара, который зовет героя к труду самоорганизации и которому в ключевых сюжетах Чехова достается разрешающая роль.

При переводе на язык моральной проповеди и педагогических рекомендаций эта тема о даренности могла бы прозвучать, как скрипичная партия, переложенная для ударных инструментов. Но чеховская поэтика исключает такое обнажение мотивов.

В художественном мире Чехова необычная акустика. Даже самые веские в людском обиходе слова произносятся здесь приглушенно («Чехов говорит со мною шепотом»,— заметил как-то французский романист Анри Труайя). После апокалипсических пророчаний Достоевского, горестного смеха Гоголя, суровой патетики Толстого чеховская речь может показаться камерной: ни мажорных призывов, ни холодящих душу трагических диссонансов. Полное торжество меры над безмерностью (а разве «гений» и «безмерность» не воспринимаются нами как слова-синонимы?). Но вот, по определению писателя Ивана Новикова, младшего современника Чехова, жизненные конкретности Чехов «давал по особому, на широком и спокойном горизонте своего раздумья».

Именно так. И если чеховское раздумье спокойно, то отсюда не следует, что оно бесстрастно. Сказанное о спокойствии и характеризует чистоту процесса, когда мысль целиком занята своей внутренней работой и не спешит к итогу.

Приглушенность чеховского тона сродни красноречивому жесту, которым прерывают шум и просят сосредоточиться, всем вместе сосредоточиться на том, что протекает неявно и звучит негромко.

Об искусстве Чехова можно говорить как об уникальной и для каждого поколения современной школе мысли, где главная дисциплина — метод неспешного освоения правды, мягко-настойчивый метод, при котором искомое далеко впереди найденного.

Казалось бы, для этих ритмов неторопливого раздумья простор нужен, длинный путь от завязки к развязке, где такие ритмы смогут по-настоящему окрепнуть, то есть нужны широта и все преимущества большой эпической формы. Но Чехова столь же мало стесняло ограниченное пространство новеллы, как позднего Пушкина излюбленная им форма лирического фрагмента или «отрывка». У двух великих поэтов фрагменты, случаи, «отрывки жизни» особенно красноречивы и многозначны благодаря их видимой локальности. О целостном Мире, о внутренней слаженности всего со всем они свидетельствуют как бы нехотя, вопреки сдержанному характеру и отдаленному (от горячих участков Исто-

рии) положению. Такие свидетельства бывают особенно дороги.

Чеховская краткость — родная сестра протяженности, для которой и сжатость формы не помеха: на тесном сюжетном пространстве, быть может, особенно выразительна властная повадка Жизни, не согласной распадаться на «отрывки».

Чеховские рассказы (фрагменты реальности) самой поэтической энергией своей, гармоническим строем и ладом сопротивляются расслабляющим догадкам о хронической нескладице, царящей в мире, и, по словам Горького, усиливают «одну глубоко ценную и нужную для нас ноту — ноту бодрости и любви к жизни».



ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Д. Чернис. Время диктует поэту. — В. Адмони. Роман испытания.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Казанов. У истоков Вооруженных Сил. — Владимир Ситников. «Парадоксы» хозяйствования.

Литература и искусство

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ ПОЭТУ

Владимир Соколов. Избранные произведения в 2-х томах. Т. 1. Стихотворения. 463 стр. Т. 2. Стихотворения. Поэмы. 303 стр. М. «Художественная литература». 1981.

Владимир Соколов. Стихотворения. М. «Детская литература». 1983. 175 стр.

Владимир Соколов. Александровский сад. Поэма. «Москва», 1984, № 7.

Свое незаемное видение мира, своеобразие поэтики — качества, без которых судьба художника состояться не может Владимир Соколов обладает ими сполна. Перечитаем:

Был двор — ожившая гравюра,
И, выполненный в двух тонах,
Он ждал, ветвясь тенями хмуρο
На снега белых валунах...

Но лишь сгустится сумрак ласковый,
Двор вновь живет, седым-седой,—
Карнизами, ветвями, красками,
Порогами, самим собой...

Я люблю эти кровли, деревья, карнизы,
Я люблю, просыпаясь ни свет ни заря,
Видеть, как проступают наброски, эскизы,
Невзначай побелевшие от декабря.

Эти строфы возникали на протяжении тридцати лет: первая — в 70-е годы, вторая — в 1952 году, третья взята из газетной публикации 80-х. Однако их внутренняя близость настолько велика, что, если бы не ритмические различия, они могли бы, кажется, выразить собой развитие лирического переживания внутри одного стихотворения

Таких «цепочек» переключек в книгах Владимира Соколова можно обнаружить немало. Вот почему критики обращаясь к его стихам уже длительное время занимаются постижением явленного в них устойчивого поэтического мира Мира своеобразного, благородного и напряженного.

Однако книги последних лет, публикации новых стихотворений говорят не только о

закономерностях этого поэтического мира но и о явно происходящих в нем изменениях.

К широкому читателю поэзия В. Соколова пришла во второй половине 60-х, пришла проникновенными лирическими стихотворениями, исполненными напряженных раздумий о судьбах Родины, о средне-русской природе, о любимой:

Хотел бы я долгие годы
На родине милой прожить,
Любить ее светлые воды
И темные воды любить.

До появления двухтомника мало кто из читателей помнил, что характерные герои первых книг В. Соколова — боец и строитель, пилот и учительница. Далеко не всегда совершенные, стихи о них включены в итоговое издание не для того, чтобы продемонстрировать жанрово-тематическое разнообразие. Недавно В. Соколов так сказал о значении, которое для лирического поэта имеет знакомство с «обширной, распахнувшейся жизнью»: «...и камерное стихотворение надо писать словами, побывавшими на ветру».

В те же 60-е годы в поэтический мир, созданный такими широко известными стихотворениями, как «Ростов Великий» и «Венок», произведения другого плана — взвешенные, более жесткие («Пейзаж с дорогой», «Моление о разлуке», «Волки»), внесли существенные изменения

Казалось бы, диаметрально противоположные герои встают за строчками «Вот мы с

случайно, что именно сейчас в стихах В. Соколова особенно часто варьируется мотив призвания поэта. Зов времени глубинно зреет в его душе («...необязательно вслух время зовет слугу своего»). Величавость и музыка стиха подчеркивают правомерность, благодотворность для искусства этого зова:

Как тишиной своей ни кружи,
Вызовет, перед глазами встав.
Гордая лирика спелой ржи.
Горькая лирика жухлых трав.

Так уж складывалось творчество В. Соколова, что первоначально лирика его запечатлевала чувства отстоявшиеся, а поэмы, отражая поиск жизненной позиции, были подчеркнута динамичны, вбирали в себя элементы фантастики. Работа над поэмами оказала своеобразное воздействие на Соколова-лирика, стихи его теперь все чаще приобретают качества, первоначально проявившиеся в поэме. В тех случаях, когда поэт взрывается, оцутим темперамент незаурядный:

Хотите, научу царапать землю.
Цепляясь за ее траву руками,
Лицом в непониманье уходя?

Связи творчества В. Соколова с поэзией предшественников обширны и многообразны. «Не повторить хочу — продолжить, на память нежно привести» — так обоснована важная для него роль реминисценции. Сказано это давно, но справедливо и сегодня. Ведь поэтическая переключка — не только разговор с классиками. Иногда В. Соколов как бы примеряет к себе стих или конкретный образ, характерный для современных поэтов. «Я как паж — до такой королевы, чтобы мнение иметь, не дорос» — так мог бы сказать Булат Окуджава; «жиличка континентальная» естественно вписалась бы в контекст стихов Андрея Вознесенского. Однако эти пробы — лишь эпизоды в целенаправленных поисках органичного выражения того, что «молится на карандаш».

В последние годы В. Соколов, признанный мастер рифмованного стиха, нередко идет на соединение его с нерифмованными строчками, и такие переходы сообщают стиху дополнительную выразительность:

Время, уходящее в пространство,
Оглянулось.
Я бежал за ним
И не успевал.
Оно прекрасно
Понимало, что я им гоним.
Но по взгляду часа или мига,
Страшному, прекрасному — из мира.
Где не существует языка,
Я внезапно понял, почему
Так драгоценна речь...

В каждой новой книге поэт неизбежно возвращается к неисчерпаемой теме времени. Полная драматизма ситуация в итоге порождает счастливую уверенность в том, что уходящее уходит в будущее. Время бесконечно содержится в человеке, и человек полнит его своими делами.

«О, в жизни есть высокая отрада всеисторического бытия», — с радостью констатирует поэт в недавно опубликованной поэме «Александровский сад». Как и в поэме «Сюжет», здесь сплетены воедино сегодняшнее время и годы сороковые. Однако если в поэме «Сюжет» изображена нынешняя непростая, зачастую несправедливая жизнь ее персонажей, судимая сопоставлением с безупречной белизной, чистотой роковых сороковых, то «Александровский сад» — поэма о зыбкой порою перехода из детства в юность, пришедшейся на нелегкие военные годы, и ярчайшие картины жизни того времени сопрягаются с лирическими раздумьями умудренного жизнью автора.

В Александровском саду сорок лет назад состоялись первые свидания героя и с девушкой, и с музой; сегодня в этом саду он соразмеряет свою жизнь с дыханием Вечного огня. Но временные рамки поэмы раздвинуты значительно шире: от истоков национальной истории до завтрашних свершений космонавтики (вместе с героем поэмы неизвестный космонавт смотрит на дюзовое пламя Вечного огня).

В душе лирического героя, в душе самого поэта соединяются времена, совмещаются страны, осмысливается неостановимый и не исчезающий бесследно ход времен. Вот почему и в самых камерных его стихах слова, «побывавшие на ветру», рождают прочный сплав личного и общего:

Ты плачешь в зимней темени,
Что годы жизнь уводят.
А мне не жалко времени,
Пускай оно уходит.
...Не надо плакать, милая,
Ты наших поколений.
Стань домом, словом, силою
Больших преодолений.

Все яснее ощущается, что негромкое слово Владимира Соколова заряжено силой больших преодолений, ибо духовность, вечное стремление лирического героя его поэзии к нравственному совершенствованию достойны времени. Времени, масштаб которого передан поэтом очень точно: «между последним часом бога и первым спутником Земли».

Д. ЧЕРНИС.



РОМАН ИСПЫТАНИЯ

Борис Виан. Пена дней. Роман. Новеллы. Перевод с французского. М. «Художественная литература». 1983. 319 стр.

Глава к Борису Виану пришла в 60-е годы. С тех пор его читают, прославляют, изучают. Он становится чуть ли не классиком французской литературы XX века. Но самому Виану узнать об этом не довелось. Он умер в 1959-м.

Писателей, которые не получили прижизненного признания, немало. Но причины непризнания различны. Чем же оно было вызвано у Виана? На первый взгляд здесь действовали факторы скорее внешние.

В 1946 году, необычайно плодотворном для двадцатипятилетнего Виана, он пишет пародийный роман «Я приду поклониться на ваши могилы» и публикует его под вымышленным именем американского писателя Вернона Салливена. Роман сначала пользуется успехом. Но разоблачение мистификации вызывает всеобщее негодование.

Что касается шедевра Виана, романа «Пена дней», созданного в том же 1946 году, то для него характерно полное отсутствие военных реминисценций. «Пена дней» написана так, словно закончившейся лишь за год до того второй мировой войны с ее великими испытаниями вообще не было. Для читателей тех лет это не могло не показаться странным.

Но главная причина того, что творчество Виана так поздно дошло до читателя, заключается, пожалуй, в том, что и проблематика произведений Виана, и их образный и языковой строй, как они явственно проступили именно в «Пене дней», стали действительно актуальными для Запада лишь через пятнадцать—двадцать лет после создания романа. Сам того не зная, Виан писал не для своих современников, а для читателей последующих поколений.

Первое, что бросается в глаза при чтении романа,— это его насыщенность фантастической символикой. Черты алогизма возникают на каждой странице, чуть ли не в каждом абзаце.

Многие привычные понятия в «Пене дней» предстают пародийно сниженными. Даже на именах героев романа, Колена и Хлое, лежит печать пародийности, потому что они типичны для старинных идиллий и пасторалей и никак не гармонируют с той действительностью западного индустриального мира, которая окружает Колена и Хлою.

«На перекрестке полицейский сунул голову под пелерину и стал похож на боль-

шой черный зонтик. А официанты из ближайшего кафе водили вокруг него хоровод, чтобы согреться».

«...толкнул дверь, которая в ответ грубо толкнула его. И тогда, решив не настаивать, он вошел через витрину».

Владелец магазина покуривал трубку мира, удобно устроившись на полном собрании сочинений Жюлья Ромена, который писал свои тома исключительно для этой цели».

«Конькобежцы... тормозили и в результате, подшибая друг друга, валились на лед. Эта куча мала росла с каждой секундой за счет врезавшихся в нее несчастных созданий»... И уборщики, «которые, не надеясь найти в этом живом месиве что-либо, кроме не представлявших никакого интереса продуктов распада личности, вооружились скребками и двинулись к стоку нечистот, толкая перед собой всю кучу разом».

«Ализа с нежностью посмотрела на Колена. Он был настолько открытым, что видно было, как голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах его рук».

«Он наклонился, чтобы сорвать голубовато-розовую орхидею, которую мороз выгнал из земли».

Это фантастическая и гротескная лирика. Абсурд, преисполненный поэзии.

Смысловая многослойность и остроумная ироничность, виртуозная вязь из намеков и пародийных гипербол — таков роман Виана.

Казалось бы, трудно было удивить и покориť этим читателя после Кафки с непостижимой изменчивостью рисуемой им действительности, после алогизма дадаистов, после прихотливых скачков мысли и чувства и неожиданнейших преображений мира у сюрреалистов, после возникновения театра абсурда, после бурного развития фантастики всех видов. Да и наличие множества наслаивающихся друг на друга в повествовании смыслов никак не могло рассматриваться после Джойса как нечто новое. И тем не менее...

Чем дальше читатель продвигается по «Пене дней», тем естественнее представляются ему самые невероятные эпизоды, самые абсурдные повороты действия. Роман диктует читателю свою собственную логику, и в какой-то момент массовый западный читатель, как, впрочем, и читатель элитарный, подчинился этой логике — ро-

ман Виана стал поистине знаменит. (Русский перевод «Пены дней» выполнен Л. З. Лунгиной, изобретательно и точно передавшей стилистическую систему романа, его игровое богатство и особенность авторской интонации.)

Гротеск, алогизм окрашены у Виана в различные эмоциональные тона. Наряду с алогизмом сатирическим у Виана исключительно важен и алогизм, преисполненный поэзией. «Пена дней» при всей своей причудливости, пародийности персонажей — это роман о подлинной, глубокой и нежной любви. Юный, богатый, избалованный Колен (таков он на первых страницах книги), влюбившись, жертвует для своей избранницы всем. Бескорыстной и чистой была к нему и любовь Хлои.

Любовь противопоставлена миру стяжательства и насилия. Когда Колен, разорившись в поисках работы, набредает на фабрику оружия, где теплом своего тела надо выращивать из металлических цилиндров стволы винтовок, то оказывается, что из выращенных им стволов растут прекрасные белые розы. А единственным лекарством, которое помогало заболевшей Хлое и на какое-то время отсрочило ее смерть, были цветы.

Роман кончается трагически. Умирает Хлоя, гибнет от рук полицейских друг Колена, погибает в пожаре возлюбленная друга. Меняются даже вещи, окружающие героев. Блистательное жилище Колена становится жалким, сжимается и тускнеет, добрый дух его дома, серая мышка с черными усиками, кончает жизнь самоубийством. Но герои романа не изменяют себе, своему выбору, своему чувству. Атмосфера нежности и верной любви снова оживает в финале романа, где сквозь призму гротеска проступает облик Колена, гибнущего из-за тоски по Хлое.

Примечательно, что эту атмосферу не могут разрушить не только ироническая интонация романа, но и те сцены абсурдной, эксцентрической жестокости, которых в нем немало. Любовь и нежность в романе главенствуют. Очевидно, они и обусловили триумф романа в 60-е годы. Но только ли они?

После первой мировой войны в западном искусстве царил экзотичный экспрессионизм, после второй мировой войны, напротив, на какое-то время верх взяла стихия безыскусственной человечности и уважительного отношения к простейшим вещам в их реальной конкретности. Доминировало стремление как бы осмотреться в новом, полуразрушенном мире и как-нибудь об-

житься в нем — со всеми его тяготами. При этом обнаруживались самые разные стороны человеческого существа — порой и лукавство, и корысть, и мошенничество, но все они, если можно так выразиться, выглядели злом «простительным». Ведь самое страшное зло, зло фашизма, было еще у всех на памяти. Свое наиболее полное выражение искусство, построенное на таком добродушном восприятии окружающей жизни, получило в итальянском неореализме. Вряд ли случайно итальянские неореалистические фильмы покорили тогда весь мир.

Но время такой первоначальной ориентировки постепенно прошло. Стали вырисовываться новые черты западного общества — черты общества потребления с его бездуховностью и угрозой конформизма. И почти сразу же, а быть может даже опережая их развитие, обозначилось и искусство, противостоящее бездуховности и конформизму. Оно было многообразным. Но в самых своих высоких проявлениях это было искусство, где герой упорно противопоставлял особость своей внутренней жизни внешнему миру, хотя никакой защиты от этого мира у него не было. Странные, чудаковатые люди, подростки, полунородные — такие герои возникают у Сэлинджера, у Бёлля, у Феллини. Они не хотят, даже не могут поступиться своей душой, не могут не выполнить ее велений. Несмотря на беспомощность, несмотря на то, что они смешны, а порой попросту нелепы. Души этих героев обладают особой силой, которую в конце концов хотя бы смутно ощущают все, с кем они соприкасаются, — силой, помогающей одержать моральную победу даже в том случае, когда внешние обстоятельства свидетельствуют, казалось бы, о полном крахе.

«Над пропастью во ржи» Сэлинджера или «Глазами клоуна» Бёлля являются романами и испытания в самом прямом смысле этого слова, то есть новой разновидностью того типа романа, который восходит к самым древним этапам развития эпического искусства, многообразно переплетаясь в позднейшие времена с противостоящим ему романом воспитания героя. Появление этих и подобных им произведений искусства имело значение не только литературное, эстетическое, но и непосредственно социальное. В них нашел свое первоначальное, пусть и своеобразно преломленное, отражение протест западной молодежи против укрепляющегося общества потребления, против всеобщего конформизма. **А отразив какие-то черты такого протес-**

та, эти произведения стали в свою очередь катализаторами оппозиционных устремлений молодежи. Во всяком случае, между той волной молодежного движения, которая прокатилась по Западу, достигнув своего апогея в молодежных волнениях 1968 года, и искусством, настаивающим на самоценности души каждого человека, существует определенная взаимосвязь.

И было вполне естественно, что во Франции, где это движение приняло особенный размах, оно обратилось к произведению, которое хотя и было написано более двадцати лет назад, но по-своему, в крайне заостренном и сконцентрированном виде утверждало право людей отстаивать свою внутреннюю жизнь, свою любовь, душу свою в борьбе против враждебного мира. «Пена дней» — тоже роман испытания. А необычная парадоксальность и алогичность его образной и языковой ткани делали этот роман еще более близким сознанию молодежи 60-х годов, тяготевшей именно ко всему парадоксальному, даже абсурдному.

Трагическим, но, к сожалению, вполне закономерным образом молодежное движение 60-х годов не принесло с собой никакого подлинного обновления. Хуже того: несмотря на стоявшие у его истоков высокие этические требования, оно, взятое в контексте всей западной общественной жизни, превратилось в питательную среду для насилия. Развившиеся в его среде экстремистские группы превратились в организации кровавых террористов. Разумеется, художники, чьи произведения в той или иной мере содействовали формированию западного молодежного движения середины века, предвидеть это не могли. Хотя такие великие писатели XIX столетия, как Достоевский и Иб-

сен, уже в свое время во весь голос говорили о том, что само по себе справедливое требование каждой отдельной личности прав на свободу индивидуального поведения может привести к величайшей несправедливости и жестокости по отношению к другим людям.

Но ни сэлинджеровский Колфилд, ни бёлевский Шнир, ни виановский Колен не хотят утверждать свое «я» за чей-нибудь счет. Правда, в «Пене дней» есть эпизод, свидетельствующий как будто о противном. Спеша на свидание, Колен броском конька срезает голову у служителя на катке. Но происшествие настолько балаганно, что его никак нельзя принять всерьез. К тому же в романе ранее мимоходом отмечено, что у служителя голова не человека, а голубя. (В предисловии к книге, написанном Г. К. Косиковым, верно подмечено, что эпизод с убийством на катке — реализованная метафора, доведенная до сверхгротеска материализация стремления Колена немедленно устранить все, что препятствует его встрече с любимой.) Хотя Колен в этом эпизоде на мгновение приобщается к окружающему его миру жестокого абсурда, но лишь внешне и минутно. В своей сути Колен приобщен к любви.

Это не позволило роману затеряться в потоке каждодневной литературы и после тех лет, которые своим особым социально-этическим настроением вынесли «Пёну дней» на поверхность. Ведь потребность ощутить глубинную жизнь души, прикоснуться к подлинной любви, пусть и изображенной в формах подчеркнуто гротескных, всегда была и, наверное, всегда будет свойственна людям.

В. АДМОНИ.

Ленинград.



Политика и наука

У ИСТОКОВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

К 100-летию со дня рождения М. В. Фрунзе

М. В. Фрунзе. Избранные произведения. М. Воениздат. 1984. 559 стр.

В книге выдающегося полководца и военного теоретика М. В. Фрунзе есть произведение, написанное в необычном для автора жанре. Это очерк «Памяти Перекопа и Чонгара». Примечателен он тем, что интересно и талантливо рассказывает о людях, навсегда завоевавших сердца и своих современников, и поколений советских лю-

дей, которые пришли им на смену, — очерк посвящен героям гражданской войны. Читаешь о них и еще глубже начинаешь понимать истоки жизнелюбия и отваги тех, кто в тяжелейшей борьбе с контрреволюцией добыл молодой республике победу.

«Шла самая энергичная работа по подготовке штурма Чонгарского перешейка.

Для этой цели все время по ночам производились поиски наших разведывательных отрядов на тот берег... со всех сторон побережья... свозились перевозочные средства (лес, лодки и пр.)... никаких технических средств у войск под рукой не было... работу эту производили люди в условиях страшной стужи (стоял ноябрь.— В. К.), полураздетые и разутые, лишенные возможности хотя где-нибудь обогреться и не получавшие даже горячей пищи и питья».

Так было в дни подготовки к боям за Крым. А сами бои?

Фрунзе, в то время командующий армиями Южного фронта, рассказывает в очерке, ценой каких невероятных усилий была одержана победа над Врангелем. Победили сила духа красноармейцев, их безудержный революционный порыв, неистовая вера в то, что новый мир обязательно будет построен. Победил новый человек, так широко потом вошедший на страницы замечательных произведений советской литературы. Например, лирические герои Владимира Луговского — красивые, благородные мужчины с неугасимыми душами, острой тревогой за людей и нежной любовью к ним — в большинстве своем получили закалку в огне гражданской войны. Сидя в седлах боевых коней, они, как и герои очерка «Памяти Перекопа и Чонгара», видели «дрожь степного простора», «махновских тачанок следы», вдыхали «запах соли и йода, летящий с ночных Сивашей»...

Очерков, непосредственно посвященных героям гражданской войны, в книге немного. Хочется сказать — к сожалению, немного, потому что, читая ее, отмечаешь и зоркий глаз автора, и его умение выписать детали, и яркий публицистический язык (например, о штурме Перекопа: «Революционный порыв оказался сильнее соединенных усилий природы, техники и смертоносного огня»). Сколько интересного о людях в буденовках мог бы еще рассказать нам прославленный полководец!

Но главным делом всей его недолгой жизни (Фрунзе умер сорокалетним) было военное искусство. Рецензируемая книга содержит в основном статьи и речи замечательного военачальника, посвященные этой теме.

Материалы, вошедшие в книгу, являются бесценными документами. Фрунзе, стоявший у истоков строительства Вооруженных Сил страны, авторитетно свидетельствует, как Красная Армия после гражданской войны переходила на мирное положение, как в те нелегкие годы хозяйственной раз-

рухи организовывалась оборона страны, как готовились военные кадры, что представляла собой военная реформа 1924—1925 годов и т. д. Дело было архитрудное. «Вопрос о строении Красной Армии,— говорил на VIII съезде РКП(б) В. И. Ленин,— был совершенно новым, он совершенно не ставился даже теоретически... Мы брались за дело, за которое никто в мире в такой широте еще не брался... Мы шли от опыта к опыту... нащупывая, пробуя, каким путем при данной обстановке может быть решена задача. А задача стояла ясно. Без вооруженной защиты социалистической республики мы существовать не могли».

Книга Фрунзе рассказывает и о том, в каких направлениях работала тогда военная теоретическая мысль, искавшая наиболее точные и безошибочные решения в важнейшем деле. Многие идеи, высказанные военачальником в те годы, выдержали проверку на полях сражений в дни Великой Отечественной войны и до сих пор не потеряли своей злободневности, остаются в арсенале нашей военной теории. «Сохранит ли в будущем политическая работа в армии то место, которое она имела в минувшей гражданской войне?.. несомненно да. Где бы ни пришлось вести в будущем военную борьбу Союзу Советских Республик, эта борьба всегда будет носить классовый, революционный характер... Поэтому и политработа целиком сохранит свое место и значение. Она по-прежнему будет являться новым, добавочным родом оружия, страшного для всякого из наших врагов». Вот такая категорически высказанная точка зрения. А на другой странице: «Можно быть... очень хорошим марксистом и в то же время скверным командиром, потому что недостаточно одного коммунистического знания, знания партийной программы и даже хорошего знания марксистской теории, чтобы быть в курсе военных вопросов, в курсе военной теории и практики. Их надо изучать и знать...» Фрунзе — за высокий профессионализм военных кадров, и книга содержит не только общие призывы к этому, но и немало размышлений чисто профессионального порядка: о наступлении и обороне, роли конницы и новой техники, о моральной и психологической подготовке бойца, о возрастающем значении авиации, артиллерии, бронетанковых войск.

Особое место в творческом наследии Фрунзе занимают его работы, посвященные военной доктрине государства. К этой важнейшей стороне военной теории полководец обратился сразу же после граждан-

ской войны. Это был, по его мнению, «один из наиболее важных вопросов, привлекающих внимание нашей современной военной мысли». Одна из статей, содержащаяся в рецензируемой книге, так и называется: «Единая военная доктрина и Красная Армия». В ней выдающийся военный теоретик впервые дал определение военной доктрины, раскрыл ее зависимость от классового характера государства, его политики и уровня развития производительных сил. В то же время автор с присущей ему скромностью писал в статье: «Формулировка эта отнюдь не претендует на конструктивную законченность и полную логическую безупречность». В других статьях последует уточнение формулировки. Но нигде, ни на одной странице книги мы не найдем ни тени колебания, не увидим ни малейшего сомнения автора в необходимости выработать «единое военное мышление». А такие сомнения кое-кто в те годы пытался посеять. Главным оппонентом Фрунзе по этому вопросу был Троцкий, утверждавший, что марксизм неприменим к военной науке, да и самой военной науки не существует, есть лишь военное ремесло. На XI съезде партии Фрунзе резко выступил против этих в корне неверных взглядов Троцкого, и съезд одобрил проект постановления «Об укреплении Красной Армии», написанный полководцем.

Раскрывая понятие «военная доктрина», Фрунзе говорит о характере будущей войны, способах ее ведения, о том, как надо строить Вооруженные Силы страны, обучать и воспитывать личный состав; принципиальное значение имел и тезис, высказанный, в частности, в докладе «Военно-политическое воспитание Красной Армии»: «Жизнь армии складывается из двух моментов: политического и чисто военно-технического». Заглянем в Советскую военную энциклопедию, изданную в 1977 году. Как сейчас толкуется понятие «военная доктрина»? Читаем: «Доктрина военная — принятая в государстве на данное время система взглядов на цели и характер возможной войны, на подготовку к ней страны и вооруженных сил, а также на способы ее ведения... В д. в. различают две тесно связанные и взаимообусловленные стороны — политическую и военно-техническую, при ведущей роли первой». Формулировка, очень близкая той, которую дал Фрунзе еще в 20-х годах, когда только закладывались основы нашей военной теории.

Полководцу, стоявшему у руля Вооруженных Сил СССР, приходилось постоянно держать руку на пульсе международной

политики. В книге немало страниц, где Фрунзе демонстрирует блестящие образцы анализа событий в мире. Приведу только один пример, в котором речь идет о фактах, не потерявших, к сожалению, своей актуальности и в наши дни.

Как известно, страны НАТО, и прежде всего США, сейчас усиленно муссируют тезис о якобы имеющей место военной угрозе миру со стороны СССР. Пропагандистский прием этот, оказывается, придуман отнюдь не сегодня — он использовался еще в те годы, когда наша страна только начинала восстанавливать разрушенное после гражданской войны народное хозяйство, а Красная Армия испытывала немалые трудности и организационного и материального порядка. Для чего это делалось империалистами тогда? Для того же, для чего делается и сейчас: чтобы демагогическими разглагольствованиями об «угрозе» со стороны СССР отвлечь внимание мировой общественности от собственных милитаристских устремлений. В докладе на III съезде Советов СССР в 1925 году председатель РВС СССР и народный комиссар по военным и морским делам СССР М. В. Фрунзе привел немало фактов «бешеной травли, которую ведет буржуазная пресса против Советского Союза...». «На основании... фактов,— сказал он, в частности,— вы увидите... какая бешеная горячка вооружения происходит во всех странах... Чем же оправдывают наши соседи эти вооружения? Они оправдывают их ссылками на рост вооружений Советского Союза, на угрозу со стороны „красного империализма“». Фрунзе разоблачал лживость придуманного буржуазной пропагандой тезиса, указывал на его полное несоответствие мирной политике социалистического государства. «Прошлой весной мы призвали только часть контингента, а призыв остальной части отсрочили до осени. Для всех ясно, что в течение всего лета мы имели армию на 100 тыс. меньшую, чем полагалось по штатам. И несмотря на это, в английской газете «Морнинг пост» в то же самое время появляется статья под многоговорящим заглавием: «Московский милитаризм». Стоит только кому-нибудь из наших товарищей сделать замечание о необходимости внимания делу обороны Союза, как сейчас же в иностранной печати появляется ряд статей, указывающих на приготовление к войне со стороны

СССР. Если воинственных стремлений никак не отыщешь, то делается примечание, что этот мирный тон специально взят для того, чтобы скрыть воинственные настроения...» Такая «логика» буржуазной прессы знакома нам по статьям, публикующимся и сейчас, в 80-е годы.

«Избранные произведения» М. В. Фрунзе с интересом прочитает и специалист (историк, военный) и обыкновенный читатель, которому дороги в книге в первую очередь содержащиеся в ней мысли.

В. КАЗАКОВ.



«ПАРАДОКСЫ» ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Геннадий Лисичкин. Тернистый путь к изобилию. Очерки. М. «Советский писатель». 1984. 382 стр.

Без беллетристики — так назвал В. Овечкин свою не опубликованную при жизни, недавно напечатанную в газете «Советская Россия» статью. Без беллетристики — значит, не обещаю никаких сюжетов, никаких решительно литературных украшений и занимательности. Один голый разговор о жизни.

Именно такой строгий подход к жизненному материалу характерен и для новой книги Геннадия Лисичкина.

Не раз мы вместе с автором бывали за «круглыми столами» по сельской публицистике, на творческих конференциях, и меня всегда поражали точность, лаконичность, образность его выступлений. Каждое из высказываний можно было развернуть в разговор о проблеме. От впечатления, что Лисичкин всегда дает только самый сгусток, самую суть, невозможно избавиться и теперь, читая его очерки. Суховатый и даже, я бы сказал, жесткий стиль письма поначалу настораживает, но незаметно оказываешься во власти деловых суждений, излагаемых с большой душевной и гражданской смелостью.

С точки зрения критиков, требующих от очерка одной беллетристики, автор книги вторгается в «запретную» сферу хозяйственных вопросов. Думаю, претензии насчет некомпетентности очеркиста в данном случае можно сразу отбросить: большой знаток экономики, ныне ученый, Лисичкин после окончания института руководил колхозом, в качестве обозревателя центральных газет изучал сельское хозяйство различных республик страны и зарубежный опыт. Он не признает искусственных преград для очеркиста, считая своим долгом не только рассказать о болевых хозяйственных проблемах, но и предложить читателю свой, подчас необычный взгляд, неожиданное решение.

«Все еще широко распространено мнение, что сельское хозяйство в наше время призвано лишь выполнять свою традиционную роль — кормить всех досыта и обеспечивать

сырьем промышленность. Сельскохозяйственные продукты, в первую очередь зерно, превращаются из обычного товара в средство политического давления и шантажа на мировой арене. Достаточно вспомнить поведение американцев во время чилийского кризиса, когда свое зерно они использовали для давления на демократические силы, возглавляемые Альенде».

Да, мы часто ограничиваемся разговором об уважительном, почтительном и даже святом отношении к хлебу как основному продукту питания, хлебу-спасителю. А вот Лисичкин добавляет: хлеб — это политическая сила, мощь страны. Каким образом ее увеличить, поднять роль сельского хозяйства в развитии социализма в целом? Вопрос не праздный, сама жизнь требует быстрого его решения. Доказательства в книге Лисичкина убедительны, а примеры настолько яркие, что поражаешься, как мог не знать о них до сих пор. «В 1976 году за одну тонну пшеницы можно было купить на мировом рынке пять тонн сырой нефти, а сейчас всего лишь восемьсот килограммов. Хлеб стал безумно дорог, он становится валютой валют».

Вот вам еще один аспект хлебной проблемы: не всякий хлеб выгодно производить, а только с низкой себестоимостью. Это тоже повод для раздумий.

«Жестокость экономики заключается в том, что, к сожалению, нельзя потреблять больше, чем произведено!» — напоминает автор в очерке «Хлеб надо заработать». Выходит, мы его не всегда зарабатываем? Автор не боится сказать прямо: да, очень часто не зарабатываем. И вот цепочка доказательств. «Оплата одного человека-дня в колхозах и совхозах увеличилась с 1965 года в два раза, а урожайность, например, зерновых выросла с 13,7 центнера до 16. Такая же картина и в животноводстве. Удой на корову вырос с 1853 килограммов до 2094. И это мы говорим лишь о продуктивности живого труда, а если учесть еще

и рост затрат овещественного труда: стоимость тех новых машин, зданий, которые здесь появились (а это единственно правильный способ подсчета производительности труда!), то разрыв окажется еще большим».

Сейчас в периодике печатается немало очерков-раздумий о судьбе деревни старой, о рождении новой. Они изобилуют личными впечатлениями, семейными и деревенскими преданиями. В большинстве своем это интересные, заставляющие задуматься и взгрустнуть вещи. Однако некоторым из них не хватает, на мой взгляд, ясности в понимании происходящего. Не видно этой самой ясности, компетентности и в действиях отдельных организаций, осуществляющих руководство сельским хозяйством. О том, что временами сельскохозяйственное производство организовывали у нас без учета его специфики и реальных нужд, говорят тяжелые последствия многочисленных новаций. В верхах, бывало, пытались решить то, что должно решаться на месте, в конкретных условиях. «Попробуйте всерьез разобраться в причине неудач с кукурузой, с травами, с «елочками», — пишет Лисичкин в очерке «Гектары, центнеры, рубли», — и вы увидите, в чем корень зла: решали, быть или не быть «елочкам», кукурузе и так далее, отнюдь не... те, кто должен был претворять все это в жизнь».

Интересен очерк (иначе — глава книги) «Человек, кооперация, общество», в котором автор напоминает высказывание В. И. Ленина, что «личная заинтересованность поднимает производство», что социалистическую экономику надо строить «не на энтузиазме непосредственно, а при помощи энтузиазма, рожденного великой революцией, на личном интересе, на личной заинтересованности». Когда этим словам придается упрощенный смысл, сводящийся к одному росту заработной платы, начинает слабо чувствоваться обратная связь человек — общество. Лисичкин вскрывает причины, которые мешают рабочему и колхознику проявить личный интерес, инициативу в ускорении роста производства. Это и прохладное отношение коллектива к передовику, рационализатору, перекрывающему норму, и отсутствие у руководителя хозяйства стимула для мобилизации всех резервов на выполнение плана, так как этим он сам себе ставит подножку, затрудняет выполнение нормативов в следующем году. Автор не без основания называет последнее противоречие одним из главных препятствий на пути к ускоренному росту производительности труда.

Что сразу же захватывает читателя в книге Лисичкина — это кажущаяся парадоксальность его утверждений. К примеру, такое: «Никогда на Руси не питались так обильно, как в наши дни». Мы-то привыкли считать, что у нас и мяса не везде в достатке, и масла вроде бы надо побольше. Экскурс в прошлое и скрупулезное знание современного положения дел помогают автору доказать, что нынешние трудности кроются не в кажущемся уменьшении производства сельскохозяйственных продуктов, а в возросшей покупательной способности, в психологических аспектах потребления и в деятельности партнеров села. Повернув наше внимание на сложную механику взаимоотношений отраслей, Лисичкин показывает те пружины, которые работают слабо, усложняя жизнь сельских тылов, создавая проблему коммуникаций.

Или другой «парадокс». Мы постоянно слышим, что совхозы по сравнению с колхозами — хозяйства, имеющие более высокую форму социалистической собственности. Отчего же в них дела идут частенько куда хуже, чем в «низших» хозяйствах? «По нашему мнению, сама схема организации управления совхозами препятствует проявлению местной инициативы, хозяйственной предприимчивости, оперативности и гибкости в решении важнейших вопросов производства», — не боится заявить Лисичкин.

Не торопитесь его опровергать. На стороне автора, доказывающего эту мысль, и статистические данные, и личный опыт, и увиденное своими глазами во время многочисленных поездок по стране. «Стоит лишь встать на точку зрения товарности нашего производства, как сразу же открывается возможность выработать... объективные критерии для решения главных вопросов...

В первую очередь само собой отпадает искусственное разделение социалистических предприятий на «высшие» и «низшие» и образуется единая система руководства хозяйством на основе использования стоимостных категорий. Это решительно изменит характер планирования производства в колхозах и совхозах».

«Парадоксы» Лисичкина дают возможность увидеть проблему как бы на изломе. Один из очень интересных его очерков, посвященных сельской жизни, так и называется: «Сельские парадоксы». Но это не был бы очерк Лисичкина, если бы не сохранилось в заглавии оговорки: не просто «Сельские парадоксы», но и «Как их устраняют».

Книга еще раз подтверждает истинное предназначение публициста: быть там, где обществу в данный момент всего больнее. Присущее Лисичкину социальное чутье помогает ему увидеть раньше многих коллег по жанру острые конфликты, узкие места, к которым следует привлечь общественное внимание и, возможно, круто изменить подход.

Отстаивая свой публицистический метод, Лисичкин ссылается на высказывание одного экономиста: трудности чаще всего возникают не там, где не хватает средств, денег, а там, где нет здоровых, перспективных идей. Без них не сформируется живое экономическое мышление, основанное на подлинном знании объективных законов.

Не случайно мы находим в книге адреса новых идей, например белгородский эксперимент. Привлек внимание автора и сельскохозяйственный опыт наших соседей из Болгарии и Венгрии. Очерк «Логика урожая», например, не просто рассказывает о благотворных последствиях хозяйственной самостоятельности в Венгрии. Это раздумья и сравнения. Вот свидетельство одного из директоров венгерского совхоза: «При директивных показателях, доведшихся до хозяйства, мы держали свиней, хотя с кормами всегда было у нас плохо. Не зерновой профиль производства в наших условиях, а свинья хлеба просит. Требовали, чтобы мы и сахарную свеклу сдавали, а она не растет на наших песках. Такое же положение было и с подсолнечником. А когда мы получили право строить структуру производства,

исходя из местных условий, сразу перестали заниматься тем, что нам невыгодно».

Интересен опыт венгерских друзей и в создании так называемых личных ферм, использовании личных подсобных хозяйств крестьян для общественного блага. У нас зарождается такая практика, однако, не поняв сути дела, кое-кто уже высказывает опасение: не превратится ли крестьянин или горожанин, работающий в подсобном хозяйстве, в кулака? Пусть уж лучше сидит на скамейке возле своего дома и ничем не занимается...

Лисичкин не боится вступить в спор с такими осторожными людьми. Он утверждает, что «„семейные“ фермы помогают воспитанию чувства хозяина земли. Это новая форма социалистической собственности, способствующая увеличению эффективности социалистического производства, ускорению темпов роста сельского хозяйства».

Обо всем, что содержит эта емкая книга, не расскажешь. Надо прочитать ее, чтобы понять сложную механику современного хозяйствования и, следуя за автором, взглянуть по-новому на существующие трудности. На Всесоюзной творческой конференции писателей в Алма-Ате, посвященной 30-летию освоения целины, Ю. Суровцев отметил в книге Лисичкина «лиричность экономиста, создающего особую художественно-человеческую атмосферу». Окунуться в эту атмосферу, чтобы шире и глубже узнать жизнь современного села, очень полезно.

Владимир СИТНИКОВ.

ИЗ РЕДАКЦИИ ИОННИИ ПИИИИИ

ЭРНСТ ГЕНРИ



В МАСШТАБАХ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ

Об острой потребности в крупных произведениях на международно-политическую тему говорилось на одном из последних пленарных заседаний Совета по критике и литературоведению Союза писателей СССР. Все выступавшие сошлись на том, что для советских литераторов, и прежде всего для наиболее талантливых из них, пришло время решительно включиться в международную политику. Нужны сильные политические романы, пьесы, сценарии для кинокартин.

Писать на международно-политическую тему для литератора, конечно, не значит перекладывать на художественный язык то, что мы читаем в газетах или слышим по радио. Из этого ничего стоящего не выйдет, читатели быстро сбегут от такого произведения. Нельзя довольствоваться и захватывающим авантурным или детективным жанром. Что, мне кажется, должно как бы дозветь над темой? Идея разительного прорыва человека социалистического общества в старое общество в эпоху безумного атомного танца этого общества со смертью; идея наступления человека социалистического общества.

Начало уже положено — появились произведения Г. Боровика, Ю. Семенова, С. Дангулова. В одном из недавно опубликованных интервью С. Залыгин признается: «...сейчас готовлюсь к работе над совсем новой для себя вещью, в совсем новом стиле и с новым содержанием. Это будет памфлет в образах, он будет посвящен международным событиям, по жанру — нечто среднее между прозой и драматургией. Тема животрепещущая: мир, угроза войны, ответственность человека за все, что происходит на земле».

С большим интересом встречены читателями политические романы А. Чаковского. Я уже писал в своем послесловии к его роману «Неоконченный портрет», в котором он рассказывает о жизни Франклина Рузвельта, что отношения между Вашингтоном и Москвой играли вчера, играют сегодня и будут играть завтра важнейшую роль на всемирной сцене... Ставя эти отношения в центр рассказа, Чаковский и написал сугубо реалистический роман. Материал об этой проблеме у него, прямо или косвенно, чуть ли не на каждой странице. Поэтому роман звучит.

Чаковский приводит слова Рузвельта, сказанные 7 января 1944 года: «Я содрогаюсь при мысли, что произойдет с человечеством, в том числе и с нами, если нынешняя война не закончится прочным миром и вспыхнет новая война, когда наши сегодняшние малыши достигнут призывного возраста» Иначе говоря, уже 40 лет назад ставился вопрос: погибнет ли человечество? И это только часть всей нынешней кардинальной темы, призванной побудить широкого читателя самому думать дальше о настоящем и будущем. А как важно, чтобы он думал и понимал происходящее в нашу эпоху, думал и понимал — не только у нас, но и за рубежом!

Да, начало положено. Но то, что сделано, мне кажется, еще недостаточно для переживаемых нами огневых дней в мировой истории. Надо создать действительно крупные вещи, которые прозвучат на весь мир и навсегда останутся в мировой литературе. Пусть такое произойдет в 80-х годах.

Время действительно не ждет. Нельзя слишком долго выжидать, когда история движется так феноменально быстро, не давая людям передышки, меняя все на све-

те так круто и глубоко. Нельзя бесконечно откладывать появление советского продолжения «Войны и мира».

О чем писать, ясно. Как писать? Я не прозаик, не художник, советовать не мне. Талантливые сами почувствуют, идея зажжет их. Это не значит говорить громкие слова, шум умаляет силу мысли. Но это значит физически ощущать беспримерную философию современной истории. Она дает все.

Придется мучиться? Вне всякого сомнения, и здорово мучиться. Но разве это не та мука, которая потом делает измученного счастливым, а старика превращает в молодого? Та мука, важнее которой ничего нет для творческой личности!

Гигантские исторические перемены происходят на наших глазах с целыми континентами, не только с нашей Европой, но и с Африкой, с Латинской Америкой (и там не только с Чили, Никарагуа, с Кубой), более скрыто с Северной Америкой. Как может советский литератор удержаться от того, чтобы не писать об этом?

Я не знаю, как выразить мои мысли по этому поводу точнее и понятнее. Но думаю, что тот, у кого что-то стоящее в этом направлении уже зародилось в уме, какая-то искра уже блеснула в сердце и уже по-хорошему его мучает (надо, чтобы мучила!), тот меня поймет.

Я думаю прежде всего о молодых писателях, талантливых и смелых, о тех, у которых ощущение грандиозности современности неотступно жжет душу. О тех, кто обладает силой не только художественного, но и политического и научного воображения и кто не привык писать по шпаргалкам.

Хочется добавить и вот что еще. По моему глубококому убеждению, чисто организационные меры тут не помогут, хотя кому-нибудь (опять-таки из молодых, я думаю) работу, возможно, облегчат. Талантливость нельзя организовать. Но вот критики (не ворчливые) помочь несомненно могут, и даже очень. Только им надо самим повнимательнее и побыстрее взглядеться в ту же сторону.

Вспоминаю строки Маяковского, написанные им в 1926 году,— строки из «Разговора с фининспектором о поэзии»:

Долг наш — реветь
медногорлой сиреной
в тумане мещанья,
у бурь в кипеньи.
Поэт
всегда должник вселенной,
платящий на горе
проценты
и пени.
Я
в долгу перед Бродвейской лампионией,
перед вами, багдадские небеса,
перед Красной Армией.
перед вишнями Японии —
перед всем,
про что
не успел написать.

Он ощущал себя должником вселенной.

К словам поэта едва ли надо еще что-то добавлять. Они написаны для 80-х годов. Должники вселенной среди нас есть.

Ведь мы еще не совсем — и далеко не все — понимаем, что когда-нибудь люди будут изучать каждый день, каждый час нашей жизни, изучать происходящее в мире сейчас, на наших глазах как самую необъятную, самую великую литературную тему за всю историю.

Тот из писателей, кто вовремя поймет это, заслужит благодарность своего народа.

КОРОТКО О КНИГАХ



НИКОЛАЙ ПОЛОТАЙ. Черноморская Мадонна. Севастопольские новеллы. Симферополь. «Таврия». 1984. 286 стр.

Написать биографию поколения — дело непростое. Да еще какого поколения! Тех, чье детство и юность совпали с революционными боями, с первыми шагами советской власти, с гражданской войной. Те годы давно стали историей, которую учат в школе, но для Н. Полотая память о них — это память о детстве, а оно видится ясно, как будто было вчера.

Своей книге автор дал подзаголовок «Севастопольские новеллы». С Севастополем связана вся жизнь Н. Полотая, в Севастополе происходят и описываемые в новеллах события.

Книга разделена на две части — «Заре навстречу» и «Морской корень», и не только потому, что первая часть рассказывает о дореволюционном времени, революции и гражданской войне, а во второй — описывается время более позднее, вплоть до наших дней. Дело еще и в том, что для автора, участника его рассказов, это два разных возрастных периода, и пишет он о них по-разному — с точки зрения десятилетнего подростка, главным образом наблюдателя, и с точки зрения человека взрослого, опытного, которого наблюдателем уже не назовешь: он активное действующее лицо, один из создателей новой жизни.

Перед читателем проходят образы тех, кто делал революцию. Это и Антонов-Овсенко, тот самый, что объявил Временное правительство низложенным, и легендарный лейтенант Шмидт (рассказы «Красный шафер», «Тайна одной фотографии»), и просто неизвестный в кожаной куртке, бежавший из белогвардейской тюрьмы, которого автор со своими друзьями прятали в подвале с углем (рассказ «Анка-комиссар»). Восприятие ребенка в рассказах органически сочетается с восприятием человека, прожившего долгую, трудную жизнь. Автор будто бы помогает самому себе, десятилетнему пацану, не потерять главного в водовороте событий.

И еще одна очень важная тема книги Н. Полотая. Это — связь времен, связь поколений. Автор словно задает вопрос: жива ли она? И отвечает: да, жива! Хотя безжалостное время уносит друзей, тех самых

мальчишек и девчонок, которые были первыми комсомольцами, которые жизнью своею, сами, может быть, того не осознавая, творили историю, бредили Маяковским, тогда еще не классиком советской поэзии, а Маяковским — старшим боевым товарищем, чьи выступления они слушали в переполненных залах. «Уходят друзья. Навсегда. Остаются воспоминания. Только они не дают никому умереть. Память надо беречь, как величайшую ценность. Она накрепко связывает тебя с миром, с людьми живущими и умершими; для нее нет прошлого, ее волшебная сила оживляет все, к чему прикаснешся, что казалось навеки забытым и прожитым безвозвратно».

Для автора его герои дня нынешнего — часто все те же комсомольские вожакИ 20-х, не растерявшие с годами своего боевого задора («„Нестор" с улицы Кази», «Жора Переволокин»). Они прожили достойную жизнь, а что может быть достойнее этого? Книга Н. Полотая написана с грустью и с улыбкой, поэтично-восторженно и бесхитростно, и — главное — с желанием, чтобы нынешние поколения лучше узнали о том, как жили их деды, как воевали, как любили, как несли свою любовь через годы испытаний и побед.

Н. Полотай говорит, что хорошо бы учредить награды за человеколюбие, честность, душевность. Таких наград нет — ни орденов, ни почетных грамот. Но есть книги, которые рассказывают нам о людях, их заслуживших.

А. Филимонов.



С. ШЕРВИНСКИЙ. Стихи разных лет. М. «Советский писатель». 1984. 144 стр.

Автор этой книги — наш современник, хотя и родился в 1892 году. Уже семьдесят второй год (с 1913-го) он занимается литературным трудом. И шестьдесят первый год трудится как переводчик (с 1924-го) За всей этой арифметикой — большая жизнь. Большая, как и вклад Сергея Васильевича Шервинского в нашу культуру.

Начинал он, как и многие, со стихов. Но долгое время оставался поэтом малоизвестным. По свидетельству В. Левика, С. В. Шер-

винский, выпустивший в ранней молодости одну книгу, «считал свою музу недостаточной интересной для широкого круга читателей». Стоит ли об этом сожалеть? Не знаю. Потому что ясно вижу и справедливости ради говорю: С. В. Шервинский не стал таким поэтом, чья деятельность была бы соизмерима с его переводческой работой.

Перу С. В. Шервинского принадлежат роман «Ост-Индия», спорное, но интересное исследование «Ритм и смысл. К изучению поэтики Пушкина», учебник «Художественное чтение» — все это пребывает в тени его заслуженно знаменитых переводов.

Он не просто много перевел. Важно то, что он дарил нашему читателю. Софокл — «Эдип-царь», «Антигона», «Электра» и другие трагедии... Овидий — «Любовные элегии», «Метаморфозы», «Скорбные элегии»... Вергилий — «Буколики»... Гёте — «Римские элегии»... И еще — Еврипид, Плавт, Катулл... И еще — Ронсар, Низами, Хафиз...

Но стал бы он таким переводчиком, если бы не был поэтом, мастером?

Старая ты, старая олива!
Меж сестер, серебряных олив,
Поневоле стала сиротлива,
Их на триста лет опередив.

Приподняв твои печали вдовья
На пустынный ветра проилов.
Расщепился в две ноги слоновья
Пепельный, в сухих морщинах ствол.

Но еще, забывшись, ливней просят
И цветут как бы исподтишка,
И в усердьи крайнем плодоносят
Три твоих еще живых сучка.

И не видно, как за ливнем следом,
И таясь, и млея, и спеша,
Закипает юношеским бредом
Древняя древесная душа.

В сборник вошли стихотворные циклы о Венеции, Армении, Феодосии, поэтические портреты Ахматовой, Сарьяна, цикл философских сонетов «Озаренный» и многое другое. И хотя ощущается определенная избыточность историко-культурных и географических реалий, понимаешь — она у С. В. Шервинского оправдана. Так, скажем, волошинский Коктебель для современного образованного читателя есть уже некий «культурный знак», подсвеченный работами поэтов, художников, мемуаристов, а для С. В. Шервинского это страница его собственной жизни:

Однажды в созревании луны
Мы цепью вслед за танцем Мусажета
В ритмичной пляске мчались до волны —
И пали на колени — знак привета
Селене полной. Может быть, смешны
Бывали мы, но памятью согрета
И глупость лучших лет...

Часть стихотворений была написана еще в то далекое от нас время, когда, словами самого поэта, «на скрижалях бытия еще судеб решение не читалось», но сборник воспринимается как отрадный факт именно сегодняшней литературной жизни (то же можно сказать и о поэтических книгах известных литературоведов — М. М. Морозова,

В. А. Мануйлова, В. Г. Адмони). Хочется верить, что читателя еще ждут радостные открытия такого рода.

На фоне современного стихотворческого полководья книга С. В. Шервинского — настоящий урок строгости формы, словесной точности, истинной поэтической культуры

Андрей Василевский.



А. И. МАМОНОВ. Пушкин в Японии. М. «Наука». 1984. 328 стр.

Так случилось, что наследие Пушкина в Японии, в течение ста лет привлекавшее к себе внимание переводчиков, литературоведов и читателей этой страны, оказалось практически вне поля зрения русского и советского востоковедения. Книга А. Мамонова, литературоведа и переводчика японской поэзии, — первое у нас фундаментальное исследование «японского» Пушкина.

Огромную роль в пропаганде пушкинского творчества в Японии сыграли выдающиеся японские русисты. Среди них — почетный доктор филологических наук Ленинградского государственного университета Ясуги Садатоси, основатель художественного реалистического перевода с русского писатель Фтабатэй Симэй и другие. В конце XIX — начале XX века необходимость реалистического подхода к переводу явно назрела, ибо переложение на японский язык русских, в частности пушкинских, произведений выглядело порой просто курьезным. Так, отмечает А. Мамонов, название «Капитанской дочки» в переводе Такасу Дзискэ (1883 год) звучало следующим образом: «Дневник бабочки, размышляющей о душе цветка. Удивительные вести из России», а некоторые персонажи носили загадочные имена — Джон Смит (Петр Гринев), Клинтон (Савельич), Мэри (Маша). Но именно с «Капитанской дочки», и это подчеркивается в монографии, началось в Японии распространение пушкинского наследия, равно как и всей русской литературы.

Автор дает детальную и одновременно целостную картину развития пушкиноведческой мысли в Японии, показывает ее эволюцию. В разделе «К истории японского пушкиноведения» рассказано о наиболее интересных работах японских пушкиноведов довоенного и послевоенного времени: Ясуги Садатоси, Накады Хадзимэ, Курахары Корэхито и других. Предлагается вполне логичная периодизация исследований и переводов пушкинских произведений в Японии, дающая наглядное представление о триумфальном шествии по стране пушкинских творений. Если первый период (1883—1916) «характеризуется трактовкой творчества поэта исключительно как далекого от реальной жизни, его гражданские мотивы полностью игнорируются», то в 1917—1945 годы «в традиционное представление о Пушкине — чистом лирике — вносятся некоторые изменения», а с 1946 года по настоящее время (третий период) Пушкин «не только лирик и гуманист, он признанный поэт-гражданин, великий носитель передовых освободитель-

ных идей и этим особенно дорог демократическим силам страны».

Пушкинское наследие, показывает А. Мамонов, сыграло большую роль в творчестве и даже в судьбах некоторых японских литераторов. Крупный пролетарский поэт Огума Хидэо с гордостью называл себя пушкинистом. Нельзя без волнения читать строки о Пушкине, продиктованные на смертном одре пушкинистом Наруми Кандзо (1899—1974). Много сделали для пропаганды русского языка и Пушкина в Японии президент Японского общества русистов, профессор Кимура Сэйити и преподаватель В. Д. Бубнова.

Весьма важен в теоретическом плане раздел «Значение пушкинского наследия и его роль в современной японской литературе», в котором особо подчеркивается всемирно-историческое значение творчества Пушкина и его гуманистическая, освободительная, интернационалистическая направленность.

Ценным для изучения проблемы, связанной с бытованием русской классики в странах Востока, бесспорно станет и приведенный А. Мамоновым в конце книги богатейший перечень произведений Пушкина, изданных в Японии, насчитывающий несколько сот наименований. Такого обширного библиографического свода нет больше ни у нас, ни за рубежом, включая Японию.

Думаю, что книга «Пушкин в Японии» внесет заметный вклад в развитие советско-японских научных и литературных связей.

Н. Чегодарь,

кандидат филологических наук.



БОРИС АСОЯН. «Дикие гуси» убивают на рассвете. М. Политиздат. 1984. 175 стр.

В аэропорту Хитроу мне однажды довелось присутствовать на импровизированной пресс-конференции Джона Бэнкса, только что вернувшегося из Белфаста. На другой день после пресс-конференции лондонские газеты писали: «Джон Бэнкс вербует наемников из рядов британской армии в Ольстере, обещая большие деньги за «работу» в Африке». Приводилось высказывание вербовщика: «Мои ребята уничтожили тысячу человек в Анголе»...

Джон Бэнкс — одна из многих шестеренок механизма, поставляющего наемников в горячие точки планеты. Зачем, во имя чего? Для подавления национально-освободительных движений, для защиты интересов международного империализма. Напомним, что среди наемников-англичан, осужденных Народным революционным судом Анголы, не было ни одного, кто не служил бы до этого в британской армии. Особо отличились те, кто прошел школу Ольстера: они были самыми жестокими головорезами. У наемников своя, особая роль — они действуют там, где нежелательно участие «зеленых беретов», проводят такие операции, в каких не намерено публично признаваться ни одно западное правительство.

Ученый и журналист Борис Асоян впервые в нашей литературе рассматривает наемничество как фактор, оказывающий все более заметное влияние на политическую ситуацию в различных регионах земного шара. Большой документальный материал, личные впечатления автора, который несколько лет провел в Африке в качестве корреспондента, свидетельствуют: наемничество становится важной составной частью политики государственного терроризма США и их западных союзников.

Кто же они, эти «солдаты удачи», как именуют на Западе наемников? «Несмотря на различия в национальности, вероисповедании, образовании, происхождении, возрасте и взглядах на жизнь, для всех них характерно одно: они убивают за деньги, — пишет Б. Асоян. — ...Наемники живут под вымышленными именами и готовы отправиться в любой район мира, где пахнет жареным и хорошим кушем. Они высаживаются с вертолетов в африканских джунглях и расстреливают крестьян, поднявшихся на борьбу с кровавым диктатором, служат телохранителями у «народных избранников», которые боятся своего собственного народа, проникают в чужую страну под видом туристов или бизнесменов, чтобы свергнуть неугодный их хозяевам режим и поставить у власти марионеточное правительство...» «Да, меня наняли! — говорит один из наемников, оставшихся в Зимбабве после провозглашения независимости. — Наняли, чтобы убивать красных и черных! Понятно?! Да, мне за это хорошо платят. И правильно делают: чем больше будут платить, тем больше красных я убью!»

Главный поставщик средств на оплату кровавых дел — Центральное разведывательное управление США. Под эгидой ЦРУ и на его деньги создаются все новые конторы по вербовке наемников, оно же снабжает «солдат удачи» оружием и выводит их на цели. Отыскивая связи между, казалось бы, разрозненными событиями и явлениями, Асоян доказывает, что именно ЦРУ явилось первоисточником грязных трюков, заговоров и диверсий на африканском континенте.

Книга Асояна написана в свободной публицистичной манере, в ней, не стесняясь, а дополняя и оттеняя друг друга, соседствуют и репортаж, и интервью, и очерк, и фрагменты серьезного исследования. Автор дает читателю возможность увидеть, против кого и при каких обстоятельствах действуют наемники. Для этого привлечены многообразные сведения о политической, экономической, социальной обстановке в современной Африке. Расширение темы? Да. Продиктованное логикой авторского отношения к материалу, его желанием объяснить причины и истоки.

Эдгар Чепоров.



В. Ф. АСМУС. Историко-философские этюды. М. «Мысль». 1984. 318 стр.

Собранные в книге работы В. Ф. Асмуса по истории зарубежной философии вмещают два с половиной тысячелетия философ-

ской мысли и захватывают почти полвека творческой деятельности ученого, свидетельства о его необычайно широком культурно-историческом кругозоре. Один из очерков, о Платоне, посвящен преимущественно проблемам эстетики и теории искусства. Другой, о Руссо, отражает прежде всего политико-правовые и этические воззрения французского философа в системе всего его мирозерцания. Третий, о Гегеле, раскрывает взаимоотношения диалектической и формальной логики...

Казалось бы, тематический разброс очерков уже предопределил фрагментарность, этюдность книги, не претендующей на единство и по своему названию. Однако — вопреки столь очевидной логике — книга получилась удивительно цельной и стройной. Отдельные этюды, расположенные в порядке простой хронологии, образовали единый сюжет, через историю философских идей показывающий историю всей культуры. Ведь философия, по образному выражению К. Маркса, не только «духовная квинт-эссенция своего времени», но и «живая душа культуры».

Завязка сюжета — универсальное учение Платона, ученого, художника и политика в одном лице, философское зеркало «детства человечества» в его неповторимо прекрасном облике. Рассказ об эйдологии (платоновском учении об идеях) сменяет повествование о Т. Кампанелле, причудливо соединившем материалистическое сознание позднего итальянского Возрождения с глубоко укоренившимся в средневековой схоластике традициями неоплатонизма. В свою очередь натурфилософское учение Кампанеллы, пронизанное наивным сенсуализмом, предвещает апологию природы и чувства у Руссо, а социалистические утопии автора «Города солнца» во многом превосходят не менее утопическую теорию «общественного договора».

Своей кульминации историко-философский сюжет В. Ф. Асмуса достигает в тот момент, когда нравственно-психологическая «критика культуры», составляющая отличительную черту руссоизма, специфически интерпретируется в философской концепции «культуры как отчуждения», выдвинутой Ф. Шиллером. Драматические противоречия культуры, нарушающей универсальное и гармоничное развитие личности и человечества в целом, в философских теориях Шиллера, Гегеля и Конга разрешаются по-разному. Если для Шиллера спасение заключено в искусстве, в действии на человека эстетической формы, поднимающей его «со ступени чувственности на ступень разумности», то по Гегелю ту же роль призвана сыграть наука логика — упорядоченное философское знание, реализующее «определенность идей» в диалектике разума и рассудка. Что касается О. Конта, то родоначальник позитивизма увидел путь дальнейшего развития культуры в систематическом синтезе результатов «положительных» наук, освоении всех предшествующих культурных традиций, а философии в этом процессе отвел роль классификатора частнонаучного опыта.

Функцию историко-философской развязки в книге Асмуса выполняют два последних этюда — об А. Бергсоне и У. Джемсе. Обращаясь к творчеству этих влиятельных бур-

жуазных философов XX века, интуитивиста и прагматика, советский философ обнаруживает в их учениях разительное сходство. Это антиинтеллектуализм, алогизм, иррационализм, агностицизм — все те «измы», которые в совокупности образуют «печальный памятник заката буржуазной теоретической мысли». «Есть что-то жалкое, недостойное в том наивном и веселом благодушии, с которым Джемс — на глазах всего культурного мира — гасит светильник разума и логоса в темных пучинах мистического «опыта», — пишет автор в конце книги. — Но исторические процессы непреложны и неотвратимы»

Философско-исторический оптимизм Асмуса, переполняющий его книгу, основан на убеждениях, выношенных всей историей мировой культуры. Это твердая и ясная вера в конечное торжество человеческого разума. Это отчетливое сознание того, что поступательное развитие культуры необратимо, и потому все призывы «к возвращению из неприглядного настоящего в навсегда покинутое и уже невозможное прошлое» бессмысленны и в конечном счете реакционны. Философские истины, концентрирующие в себе духовный опыт целых эпох, являют собой непреходящие культурные ценности, а великие заблуждения прошлого памятны новым поколениям людей как уроки истории.

Повествуя о тернистых путях философских истин и драматических судьбах человеческой культуры, Асмус ни в чем не облегчает задач, стоящих перед его читателем. Доверительное и требовательное обращение к собеседнику предполагает взаимность: творческий труд автора изначально рассчитан, говоря словами самого Асмуса, на «чтение как труд и творчество».

И. Кондаков.



Д. С. ЛИХАЧЕВ, А. М. ПАНЧЕНКО, Н. В. ПОНЬРКО. Смех в Древней Руси. Л. «Наука». 1984. 295 стр.

Поэтика древнерусского скоморошества и юродства до сих пор остается тайной. Исследования Д. Лихачева, А. Панченко и Н. Поньрко позволяют приобщиться к ней и понять, что древняя христианская Русь вовсе не была страной постников, ханжей и аскетов, почувствовать неразрывную, прямо и обратно пропорциональную связь между полнокровным духовным и телесным разгулом жизни и противостоящими ему подвижничеством и аскетизмом, часто уживающимися в одной личности.

Сложные отношения между официальным благочестием и «кромешным» балагурством не вмещаются в такие понятия, как «пародия» и «кощунство», ибо среди «кощунствующих» оказались бы и канонизированные святые, и самые видные деятели церкви и государства.

Благодаря книге мы осознали шутовские карнавалы, парады и ассамблеи Петра как вышедшую на поверхность подспудную стихию веселья, испокон веку присущую русской жизни. Подпольный, запретный мир смеха стал не только узаконенным, но и

общепринятым. И тотчас же мир аскетический, доселе бывший официальным, переместился в антимир запретного старообрядческого подполья.

Странно звучит само словосочетание «юмор протопопа Аввакума». Лихачев не оставляет сомнения: Аввакум смеялся. Но когда! Во время воображаемых казней и пыток над врагами и реальными — над собой. Вот Аввакум мысленно четвертует Никона, но заведомая неосуществимость казни делает этот эпизод комичным. Вот, едва не утонув в ледяной воде, смеясь, выходит на берег. А то уподобляет себя и единомышленников, сжигаемых в огне, мошкаре, летящей на огонь, ибо огонь — Христос. Смех Аввакума — это своеобразный «религиозный смех, столь характерный для Древней Руси в целом. Это щит от соблазна, гордыни, житейский выход из греха и одновременно проявление доброты к своим учителям, терпения и смирения».

Самая спорная — глава об Иване Грозном. То, что Грозный подделывался под юродивого и называл себя «Парфением Уродивым», свидетельствует о явном самозванстве. Волка не перерядишь в овцу, из-под маски юродивого торчат царские клыки. Сам Лихачев среди пестроты и разнообразия стиля Грозного четко выделяет, что принадлежит самому царю без позы и маски: «В целом надо сказать, что ругательства составляют в языке Грозного наиболее устойчивую и характерную для его языка лексическую группу».

При всем уважении к государственным заслугам этого властителя мы не можем рассматривать как лицедейство казни и пытки, сопровождавшиеся чтением из священных и законодательных книг. «Он мучитель в жизни и в своих писаниях, действующий в них так же, как актер с элементами скоморошества», — пишет Лихачев. Но разве актер — «мучитель в жизни»? Между мучительством в жизни и мучительством на сцене такая же разница, как между убийством Ленского и просто убийством. Если убийца нарядится в цилиндр, как Грозный облакался в монашеские одежды, природа преступления не изменится и эстетика будет здесь лишь прикрытием, но отнюдь не искусством.

Это единственное место в книге, вызывающее принципиальное несогласие. Возводя Грозного в ранг писателя и лицедея, мы

лишь извращаем его истинную роль государственного деятеля, ибо он плохой писатель и неискренний лицедей.

Исследования А. Панченко посвящены русскому юродству. Юродство — не столько слово, сколько пантомима, театралогия. В философском споре юродивый может прокричать «уа», а в церкви делать непристойные жесты. Нагота юродивого — одежда души. Его брань — хвала, а похвала может стать смертным приговором. В литургическом народном театре средневековья были гениальные актеры: Василий Блаженный Московский, Никола Салос Псковский, Авраамий Смоленский, Прокопий Устюжский. Их юродство не было прикрытием тайных житейских замыслов. Не были эти люди и ущербленными, душевнобольными. Их «безумие» — эстетическое обвинение безумного мира. Их «глупость» и «дурачество» восходят к «дурачествам» Сократа, а позднее сказались на деятельности Григория Сковороды, в поэзии Велимира Хлебникова. Это важный элемент подлинного искусства во все времена.

Примитивное представление о крестьянских праздниках, имеющих якобы антихристианский и даже языческий характер, разрушают главы публикации Н. Поньрко «Святочный и масленичный смех». На самом деле символика воды, огня, сжигаемой соломенной масленицы — неотъемлемая часть рождественской и пасхальной службы. В рождество переряжаются, выворачивают наизнанку одежду, мужчины переодеваются в женские наряды, ибо перерядился мир. Земля стала небом, бог — человеком, а смерть — лишь маска, преддверие воскрешения. Соломенная масленица — это символ тленной сжигаемой плоти, противостоящей истинно живому — зерну.

В XVII—XVIII веках со времен Никона церковь стала решительно отрекаться от фольклорной обрядности, рационализм начал теснить мифологию. Святочные гуляния запрещались со времен Алексея Михайловича, а юродивых стали заточать в монастыри при Петре. Борьба эта так и не завершилась полной победой рационального. Можно с уверенностью сказать, что смешовая жизнеутверждающая стихия Древней Руси осталась непобежденной.

Константин Кедров.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

Ю. В. Андропов. Ленинизм — неисчерпаемый источник революционной энергии и творчества масс. Избранные речи и статьи. 559 стр. Цена 1 р. 30 к.

Календарь школьника. 1985. 127 стр. Цена 1 р.

А. Нежный. Огонь над песками. Повесть о Павле Полторацком. («Пламенные революционеры») 367 стр. Цена 1 р. 40 к.

П. Подляшук. Богатырская симфония. Документальная повесть о Е. Д. Стасовой. Изд. 2-е, дополненное. 270 стр. Цена 60 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Амлинский. Бывший Машков переулком. Роман, повесть, рассказы. 320 стр. Цена 1 р.

Я. Милев. Седьмой континент. Стихотворения. Перевод с болгарского. 110 стр. Цена 70 к.

П. П. Пазолини. Избранное. Перевод с итальянского. («Современная зарубежная лирика») 62 стр. Цена 20 к.

О. Смирнов. Красный дым. Повести. 334 стр. Цена 1 р. 40 к.

«РАДУГА»

Есть боль иная... Стихи фламандских поэтов. Перевод с нидерландского. 192 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Кант. Рассказы и размышления. Перевод с немецкого. 349 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. Найпол. Повести и рассказы. Перевод с английского. 268 стр. Цена 2 р. 20 к.

Современная филиппинская новелла. 60--70-е годы. Перевод с тагальского и английского. 432 стр. Цена 2 р. 60 к.

«СОВРЕМЕННИИ»

К. Воробьев. Крик. Повесть. 48 стр. Цена 20 к.

А. Генатулин. Золотая моя колыбель. Рассказы, повесть. 240 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Кардин. Точка пересечения. Литературно-критические очерки. 336 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Мананин. Где сходилась небо с холмами. Повести. 207 стр. Цена 1 р. 10 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Э. Ветемаа. Сребропраща. Романы. Перевод с эстонского. 256 стр. Цена 95 к.

Г. Горышин. По тропинкам поля своего. Странствия. Размышления. 336 стр. Цена 1 р. 40 к.

Г. Дочанашвили. Одарю тебя трижды. Роман. Перевод с грузинского. 496 стр. Цена 2 р.

В. Насущенко. С утра до вечера. Рассказы. 287 стр. Цена 85 к.

«ИСКУССТВО»

А. Вампилов. Избранное. 589 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Занушняк. Вечера рассказа. 343 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Каплер. Избранные произведения. В 2-х тт. Т. 2. Странствия в искусстве; Странствия журналиста. 607 стр. Цена 2 р. 70 к.

Ю. Тюрин. Кинематограф Василия Шукшина. 318 стр. Цена 1 р. 40 к.

«НАУКА»

Э. Т. А. Гофман. Эликсиры сатаны. Роман. 286 стр. Цена 3 р.

Контекст. 1983. Литературно-теоретические исследования. 237 стр. Цена 1 р. 90 к.

Б. Якушин. Гипотезы о происхождении языка 136 стр. Цена 50 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Э. Межелайтис. Стихотворения. Перевод с литовского. 255 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Попов. Корни. Хроника одного села. Перевод с болгарского. 310 стр. Цена 2 р. 10 к.

Русская народная поэзия. Эпическая поэзия. 439 стр. Цена 2 р. 30 к.

А. Твардовский. Стихотворения Поэмы. 560 стр. Цена 2 р. 40 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Байконур. Очерки, поэмы, стихи, хроника. Составители В. Савельев, К. Селихов. Алма-Ата. «Жазушы» 366 стр. Цена 2 р. 50 к.

Между Волгой и Уралом. Произведения писателей автономных республик Поволжья и Урала. Составитель Г. Паушкин. Казань. Татарское книжное издательство. 414 стр. Цена 1 р. 90 к.

Современники о Ф. И. Тютчеве. Составитель В. Деханова. Тула. Приокское книжное издательство. 158 стр. Цена 25 к.

К. Стародуб. В. Емельянова. И. Краусова. От Кремля до Садовых. Путеводитель по литературным местам Москвы. «Московский рабочий». 256 стр. Цена 1 р. 40 к.

Б. Шергин. Повести и рассказы Лениздат. («Мастера русской прозы XX в.») 495 стр. Цена 1 р. 90 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Муддагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции: 103806. ГСП. Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2 Тел. 200-08-29.

Слано в набор 23.11.84 г. Подписано к печати 28.12.84 г. А 11758.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-п. л.)
26,83 уч.-изд. л.

Тираж 430 000 экз. (1-й завод 1 — 200 000 экз.). Зак. 4126.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6. Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636